



ФЛОБЕР



ГЮСТАВ
ФЛОБЕР



*



ГЮСТАВ
ФЛОБЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ


ТОМ
3

БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“

Издательство „Правда“

Москва 1956

Собрание сочинений
осуществляется под наблюдением
А. Ф. Иващенко

Воспитание чувств

ИСТОРИЯ ОДНОГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



I

Около шести часов утра 15 сентября 1840 года пароход «Город Монтеро», готовый отчалить от набережной св. Бернара, выпускал густые клубы дыма.

Спешили запыхавшиеся люди; бочки, канаты, бельевые корзины загораживали дорогу; матросы никому не отвечали; все толкались; тюки лежали горой в проходе около машин, и шум сливался с гудением пара; вырываясь через отверстия в обшивке труб, он заволакивал все белесоватой пеленой, а колокол на баке не переставая звонил.

Наконец судно отвалило, и берега, застроенные складами, верфями и мастерскими, потянулись, медленно развертываясь, точно две широкие ленты.

Молодой человек, лет восемнадцати, с длинными волосами, неподвижно стоял около штурвала, держа подмышкой альбом. Сквозь мглу он всматривался в какие-то колокольни, в какие-то неизвестные здания; потом в последний раз обвел глазами остров св. Людовика, Старый город, собор Богоматери и, наконец, глубоко вздохнул: Париж исчезал из глаз.

Г-н Фредерик Моро, недавно получивший диплом бакалавра, возвращался в Ножан-на-Сене, где ему предстояло томиться целых два месяца, прежде чем он уедет «изучать право». Мать, снабдив сына необходимой суммой денег, отправила его в Гавр — навестить дядю, который, как она надеялась, мог оставить ему наследство; Фредерик приехал оттуда только

накануне и, не имея возможности остановиться в столице, вознаградил себя тем, что возвращался домой самым длинным путем.

Суматоха улеглась; все разошлись по своим местам; кое-кто стоя грелся у машины; а труба с медленным ритмическим хрипением выбрасывала дым, поднимавшийся черным султаном; на медных частях появились капельки, стекавшие по ним; палуба дрожала от легкого внутреннего сотрясения, и колеса, быстро вращаясь, разбрасывали брызги.

Река была окаймлена песчаными мелями. По пути встречались то плоты, которые начинали раскачиваться на волнах от парохода, то какая-нибудь лодка без парусов и в ней человек, удивший рыбу; вскоре зыбкая мгла рассеялась, показалось солнце, холм, возвышавшийся на правом берегу Сены, стал постепенно понижаться, а на противоположном берегу, еще ближе к реке, появился новый холм.

Он увенчан был деревьями, среди которых мелькали приземистые домики с итальянскими крышами. Вокруг них — сады, спускающиеся по склону и отделенные друг от друга новыми оградами, железные решетки, газоны, теплицы и вазы с геранью, симметрично расставленные на перилах, где можно было облокотиться. Не один путешественник, завидев эти нарядные приюты отдохновения, жалел, что не он их владелец, и рад был бы прожить здесь до конца своих дней с хорошим бильярдом, лодкой, женой или каким-нибудь другим предметом мечтаний. Удовольствие, которое испытывали впервые совершавшие путешествие по воде, способствовало излияниям. Весельчаки уже начинали шутить. Многие пели. Было весело. Кое-кто приложился уже к рюмке.

Фредерик думал о комнате, в которой он будет жить, о плане драмы, о сюжетах для картин, о будущих любовных увлечениях. Он находил, что счастье, которого заслуживало совершенство его души, медлит. Он декламировал про себя меланхолические стихи; нетерпеливо расхаживал по палубе; дошел до конца ее, где висел колокол, и здесь, среди пассажиров и матросов, увидел господина, который развлекал комплиментами какую-то крестьянку и при этом вертел золотой крестик, висевший у нее на груди. Мужчина был весельчак, курчавый, лет сорока. Коренастую фигуру плотно облегал черная бархатная куртка, две изумрудные запонки переклани на его батистовой сорочке, а из-под широких белых панталон видны были какие-то необыкновенные сапоги из красного сафьяна с синими узорами.

Присутствие Фредерика не смутило его. Он несколько раз к нему оборачивался и подмигивал, словно хотел с ним заговорить; потом угостил всех стоявших вокруг сигаретками. Но,

соскучившись, видимо, в этой компании, он вскоре отошел. Фредерик последовал за ним.

Вначале разговор касался различных сортов табака, потом самым естественным образом перешел на женщин. Господин в красных сапогах дал молодому человеку несколько советов; он излагал теории, рассказывал анекдоты, ссылаясь на собственный опыт и вел свой развращающий рассказ отеческим, забавно простодушным тоном.

Он считался республиканцем, много путешествовал, был знаком с закулисной жизнью театров, ресторанов, газет и со всеми артистическими знаменитостями, которых фамильярно называл по имени; Фредерик вскоре поделился с ним своими планами; он их одобрил.

Но, внезапно прервав разговор, он взглянул на трубу парохода, потом, быстро бормоча, стал производить длинные вычисления, чтобы узнать, «сколько получится, если поршень сделает в минуту столько-то ходов», и т. д. А когда цифра была определена, начал восхищаться пейзажем. По его словам, он был счастлив, что бросил все свои дела.

Фредерик чувствовал некоторое почтение к нему и не устоял против желания узнать, как его зовут. Незнакомец ответил скороговоркой:

— Жак Арну, владелец «Художественной промышленности» на бульваре Монмартр.

Слуга в фуражке с золотым галуном подошел к нему и сказал:

— Не пройдет ли вниз, сударь? Мадмуазель плачет. Он исчез.

В «Художественной промышленности», предприятию смешанном, объединялись газета, посвященная живописи, и лавка, где торговали картинами. Это название Фредерику неоднократно приходилось читать в родном городе у книготорговца на огромных объявлениях, где имя Жака Арну занимало видное место.

Солнце стояло над самой головой, в его лучах сверкали железные скрепы мачт, металлическая обшивка судна и поверхность воды; от носа парохода расходились две борозды, тянувшиеся до самых лугов. При каждом повороте реки взгляд вновь встречал все те же ряды серебристых тополей. Берега были совсем безлюдны. В небе застыли белые облачка, и скука, смутно разлитая во всем, казалось, замедляла движение парохода и придавала путешественникам еще более невзрачный вид.

За исключением нескольких буржуа, ехавших в первом классе, все это были рабочие и лавочники с женами и детьми. В ту пору принято было похуже одеваться в дорогу; поэтому

почти все были в каких-то старых шапках или вылинявших шляпах, в обтрепанных черных фраках, истершихся за канцелярскими столами, или же в сюртуках, так долго служивших их владельцам за прилавком магазина, что вся материя на пуговицах продралась; иногда под жилетом с отворотами виднелась коленкоровая рубашка, забрызганная кофе; галстуки, превратившиеся в лохмотья, были заколоты булавками из накладного золота; матерчатые туфли придерживались штрипками. Два-три проходимца, с бамбуковыми тростями на кожаных петлях, косились по сторонам, а отцы семейств тарашили глаза и приставали ко всем с вопросами. Одни разговаривали стоя, другие — присев на свои пожитки; некоторые спали, забившись в угол; кое-кто занялся едой. На палубе валялись ореховая скорлупа, окурки сигар, кожура от груш, обрезки колбасы, принесенной в бумаге; три столяра-краснодеревца в блузах не отходили от буфетной стойки; арфист в лохмотьях отдыхал, облокотившись на свой инструмент; по временам слышно было, как в топку бросают уголь, раздавались возгласы, смех; а капитан, не останавливаясь, шагал по мостику от одного кожуха к другому. Чтобы пройти к своему месту, Фредерик толкнул дверцу первого класса, потревожив двух охотников с собаками.

И словно видение предстало ему.

Она сидела посередине скамейки одна; по крайней мере он больше никого не заметил, ослепленный сиянием ее глаз. Как раз когда он проходил, она подняла голову; он невольно склонился и только потом, когда сам занял место, несколько дальше с той же стороны, что и она, стал смотреть на нее.

На ней была соломенная шляпа с широкими полями и розовыми лентами, развевавшимися по ветру за ее спиной. Гладко причесанные черные волосы были собраны очень низко, изгибаясь над линией длинных бровей, и, казалось, любовно окружали овал ее лица. Платье из светлой кисеи с мушками ложилось многочисленными складками. Она что-то вышивала, и ее прямой нос, ее подбородок, вся ее фигура вырисовывались на фоне голубого неба.

Она продолжала сидеть все в той же позе, и он несколько раз прошелся взад и вперед, стараясь скрыть свои намерения; потом остановился возле ее зонтика, прислоненного к скамье, и сделал вид, будто следит за лодкой на реке.

Никогда не видел он такой восхитительной смуглой кожи, такого чарующего сана, таких тонких пальцев, просвечивающих на солнце. На ее рабочую корзинку он глядел с изумлением, словно на что-то необыкновенное. Как ее имя, откуда она, что у нее в прошлом? Ему хотелось увидеть обстановку ее комнаты, все платья, которые она когда-либо носила, людей, с которыми она знакома; и даже стремление обладать ею исчезало

перед желанием более глубоким, перед мучительным любопытством, которому не было предела.

Подошла негритянка с косынкой на голове, ведя за руку девочку, уже большую. Ребенок только что проснулся и был весь в слезах. Нянька посадила девочку к себе на колени: «Барышня плохо себя ведет, а ведь ей скоро исполнится семь лет; мама ее разлюбит; слишком уж часто прощаются ей капризы». И Фредерик радостно слушал, точно все это было для него откровением.

Уж не была ли она родом андалузка или креолка? И не с островов ли вывезла она эту негритянку?

За ее спиной, на медной обшивке борта, лежала длинная шаль с лиловыми полосами. Не раз, наверно, на море, в сырые вечера она куталась в эту шаль, укрывала ею ноги, спала в ней! Но бахрома перетягивала шаль вниз, она постепенно скользила — вот-вот упадет в реку. Фредерик бросился и подхватил ее. Дама сказала:

— Благодарю вас, сударь.

Глаза их встретились.

— Жена, ты готова?— крикнул г-н Арну, появляясь на лестнице.

М-ль Марта побежала к нему и, обхватив его шею, стала дергать за усы. Раздались звуки арфы, девочке захотелось «посмотреть на музыку», и вскоре негритянка, посланная за арфистом, привела его в первый класс. Арну узнал в нем бывшего натурщика; к удивлению присутствующих, он стал говорить ему «ты». Арфист откинул свои длинные волосы, вытянул руки и начал играть.

То был восточный романс, где речь шла о кинжалах, цветах и звездах. Человек в лохмотьях пел пронзительным голосом; стук машины врвался в мелодию, нарушая такт; арфист сильнее ударял по струнам; они дрожали, и, казалось, в их металлических звуках слышны были рыдания и жалобы гордой, но побежденной любви. Леса, тянувшиеся по обоим берегам, спускались к самой воде; проносился свежий ветерок; г-жа Арну с рассеянным видом глядела вдаль. Когда музыка умолкла, она несколько раз сомкнула и разомкнула веки, словно пробуждаясь от сна.

Арфист смиренно приблизился к ним. Пока Арну искал мелочь, Фредерик протянул руку и, стыдливо разжав ее над фуражкой музыканта, положил туда луидор. Не тщеславие побудило его подать эту милостыню на глазах у нее, а порыв души, почти благоговейный, к которому он мысленно приблизил и ее.

Арну, пропуская его впереди себя, дружески предложил ему пройти вниз. Фредерик уверял, что только что позавтракал;

на самом деле он умирал от голода, а в кошельке у него не было уже ни сентима.

Но тут же Фредерик решил, что он имеет право, как и всякий другой, находиться в каюте.

Несколько буржуа, сидя за круглыми столами, уже ели; между ними сновал официант; супруги Арну расположились в глубине направо; Фредерик сел на длинный бархатный диванчик, убрав газету, лежавшую на нем.

В Монтеро им предстояло пересечь в шалонский дилижанс. Их путешествие по Швейцарии рассчитано на месяц. Г-жа Арну упрекнула мужа в том, что он слишком балует ребенка. Он что-то шепнул ей на ухо, должно быть какую-нибудь любезность, потому что она улыбнулась. Потом он встал и задернул занавеску на окне за ее спиной.

Потолок, низкий и совершенно белый, резко отражал свет. Фредерик, сидевший против нее, различал тень от ее ресниц. Она прикасалась губами к стакану, отламывала кусочки хлеба; медальон из бирюзы на золотом браслете в виде цепочки время от времени позвякивал, ударяясь о тарелку. А те, что были кругом, как будто и не замечали ее.

Иногда в иллюминатор можно было увидеть борт лодки, причаливавшей к пароходу, чтобы принять или высадить пассажиров. Люди, сидевшие за столами, наклонялись к иллюминаторам и называли местность.

Арну выражал недовольство поваром; а когда подали счет, он возмутился и потребовал, чтобы сбавили цену. Затем он повел молодого человека на бак — выпить грогу, но Фредерик скоро вернулся под тент, куда снова пришла г-жа Арну. Она читала тоненькую книжку в серой обложке. Уголки ее рта временами приподнимались, и словно луч удовольствия озарял ее лицо. Он позавидовал тому, кто сочинил все эти вещи, видимо занимавшие ее. Чем больше он любовался ею, тем сильнее чувствовал, как между нею и им возникает пропасть. Он думал о том, что вот сейчас надо будет расстаться с нею навсегда, не дождавшись от нее ни единого слова, не оставив у нее даже воспоминания!

Справа тянулась равнина; налево пастбище постепенно переходило в холм, где виднелись виноградники, орешник, мельница, вся в зелени, а дальше — тропинки, которые зигзагами вились по белой скале, уходившей в небо. Какое счастье подниматься рядом с нею на холм, обняв ее за талию, меж тем как платье ее будет задевать пожелтевшие листья, слушать ее голос, видеть сияние ее глаз! Пароход мог бы остановиться, им стоило лишь сойти на берег; но все то, что казалось так просто, было не легче, чем повернуть солнце.

Немного дальше открылся замок с остроконечной крышей,

с четырехугольными башенками. Перед его фасадом рассти-
лались цветники, а липовые аллеи уходили в глубь парка, смы-
каемая высокими темными сводами. Он представил себе, что она
гуляет вдоль живой изгороди. В эту минуту на крыльцо, где
стояли кадки с померанцевыми деревьями, вышли дама и мо-
лодой человек. Потом все скрылось.

Девочка играла подле него. Фредерик хотел ее поцеловать.
Она спряталась за няниной спиной; мать пожурела ее за то,
что она нелюбезна с господином, который спас шаль. Не при-
глашение ли это вступить в беседу?

«Быть может, она теперь заговорит со мной?» — спрашивал
он себя.

Времени оставалось мало. Как добиться приглашения к
Арну? И Фредерик не придумал ничего лучшего, как обратить
его внимание на осенние тона пейзажа, и прибавил:

— Недалеко уже и зима, время балов и обедов!

Но Арну всецело был поглощен своим багажом. Показался
сюрвильский берег, приближались мосты; вот миновали канат-
ный завод, ряд низких домов; на берегу стояли котлы с дег-
тем, разбросаны были щепки, а на песке вертелись колесом
мальчишки. Фредерик узнал человека в куртке и закричал ему:

— Поскорей!

Причалили. Он с трудом отыскал Арну в толпе пассажиров,
и тот, пожимая ему руку, сказал:

— Всех благ, дражайший.

Выйдя на набережную, Фредерик оглянулся. Она стояла
около руля. Он обратил к ней взгляд, в который хотел вложить
 всю свою душу: она не пошевельнулась, как будто ничего не
произошло. Не отвечая на приветствие слуги, Фредерик крик-
нул на него:

— Почему ты не подъехал ближе?

Слуга стал извиняться.

— Какой бестолковый! Дай мне денег!

И Фредерик отправился в харчевню поесть.

Четверть часа спустя ему захотелось как бы невзначай зай-
ти на почтовый двор. Не увидит ли он ее еще раз?

«К чему?» — спросил он себя.

И, сев в американку, поехал. Не обе лошади принадлежали
его матери. Вторую она попросила у г-на Шамбриона, сборщи-
ка податей. Исидор, выехавший накануне, до вечера отдыхал
в Брэ, а ночевал в Монтеро, так что лошади, передохнув, резво
бежали теперь.

Без конца тянулись жнивья. Дорогу окаймляли два ряда
деревьев, кучи булыжника мелькали одна за другой, и мало-
помалу ему вспомнилось все путешествие — Вильнев-Сен-
Жорж, Аблон, Шатийон, Корбей и другие места, — вспомнилось

так ярко, что теперь он различил новые подробности, более тонкие черты. Из-под нижней оборки ее платья выступала ножка в узком шелковом ботинке коричневого цвета; тиковый тент поднимался над ее головой словно широкий балдахин, и красные кисточки его бахромы все время трепетали от ветра.

Она была похожа на женщин из книг романтиков. Он ничего бы не прибавил к ее облику, ничего бы не убавил в нем. Мир внезапно расширился. Она была той лучезарной точкой, в которой сосредоточивалось все, и, убаюканный движением экипажа, он устремил взгляд к облакам, полузакрыв веки и весь отдался радости мечтательной и беспредельной.

В Брэ он не стал ждать, пока лошадям зададут овса, и один пошел вперед по дороге. Арну звал ее «Мари». Он крикнул громко: «Мари!» Голос его замер в воздухе.

Небо на западе пылало широким пурпурным пламенем. Большие скирды ржи, подымавшиеся среди сжатых полей, отбрасывали огромные тени. Вдали, где-то на ферме, залаяла собака. Он вздрогнул, охваченный необъяснимым волнением.

Когда Исидор догнал его, он сел на козлы, чтобы править. Неуверенность миновала. Он твердо решил во что бы то ни стало войти в дом Арну и ближе познакомиться с ними. У них должно быть весело, к тому же и сам Арну ему нравился; а там — как знать? Кровь бросилась ему в лицо: в висках стучало; он щелкнул бичом, дернул вожжи, и лошади так понесли, что старый кучер то и дело повторял:

— Потише! Да потише! Вы их загоните.

Фредерик понемногу успокоился и стал слушать, что рассказывал слуга.

Его, Фредерика, ждут с нетерпением. М-ль Луиза даже плакала — так хотелось ей проехаться в экипаже.

— Какая мадмуазель Луиза?

— Да дочка господина Рокка!

— Ах, я и забыл! — небрежно ответил Фредерик.

Между тем лошади выбились из сил. Обе они хромали, и на башне св. Лаврентия пробило только девять, когда Фредерик прибыл на Оружейную площадь, где стоял дом его матери. Этот просторный дом с садом, выходящим в поле, придавал еще больше веса г-же Моро, самой уважаемой особе во всей округе.

Она происходила из старинного дворянского рода, теперь угасшего. Муж ее, плебей, за которого выдали ее родители, погиб на дуэли, когда она была беременна, и оставил ей расстроенное состояние. Она принимала у себя три раза в неделю и время от времени давала прекрасные званые обеды. Но каждая свеча заранее была на счету, а арендная плата ожидалась с нетерпением. Эта ограниченность средств, которую она скры-

вала как порок, придавала ей серьезность. Но добродетель ее проявлялась без ханжества, без озлобления. Малейшая ее милостыня казалась ей величайшим благодеянием. С ней советовались о выборе прислуги, о воспитании молодых девиц, о том, как варить варенье, и его преосвященство останавливался у нее, когда объезжал епархию.

Г-жа Моро питала в отношении своего сына честолюбивые надежды. Она, как бы заранее принимая меры предосторожности, не любила, когда при ней порицали правительство. В первое время Фредерику необходима будет протекция; потом, благодаря своим способностям, он станет советником, посланником, министром. Его успехи в Санском коллеже давали основание для ее гордости: он получил первую награду.

Когда он вошел в гостиную, все с шумом поднялись, его стали обнимать; потом расставили стулья и кресла широким полукругом у камина. Г-н Гамблен тотчас же спросил его, как он смотрит на дело г-жи Лафарж. Ее на шумевший процесс сразу же вызвал горячий спор; правда, г-жа Моро, к сожалению г-на Гамблена, прекратила его; он видел в нем пользу для молодого человека — будущего юриста — и с обидой покинул гостиную.

Да и чему было удивляться, раз это приятель дядюшки Рокка? В связи с дядюшкой Рокком речь зашла и о г-не Дамбрёзе, который только что приобрел поместье Ла-Фортель. Но Фредерика уже отвел в сторону сборщик податей, интересуясь его мнением о последнем труде г-на Гизо. Все желали узнать, каковы дела Фредерика, и г-жа Бенуа ловко приступила к вопросам, справившись о здоровье дядюшки. Как поживает этот милый родственник? О нем что-то ничего не слышно. Ведь у него есть в Америке троюродный брат?

Кухарка доложила, что г-ну Фредерику подано кушать. Гости из скромности удалились. А когда мать и сын остались одни, она вполголоса спросила:

— Ну что?

Старик принял его очень сердечно, но своих намерений не открывал.

Г-жа Моро вздохнула.

«Где-то она сейчас?— думал он.— Дилижанс катит, и, наверно, закутавшись в шаль, она дремлет, прислонясь прелестной головкой к суконной обивке кареты».

Когда они уже поднимались в свои спальни, мальчик из гостиницы «Созвездие лебеда» принес записку.

— Что такое?

— Делорье просит меня зайти,— ответил Фредерик.

— А! Твой товарищ!— с презрением усмехнулась г-жа Моро.

— Нашел время, право!

Фредерик был в нерешительности. Но дружба пересилила. Он взялся за шляпу.

— По крайней мере не уходи надолго,— сказала ему мать.

II

Отец Шарля Делорье, бывший пехотный капитан, выйдя в отставку в 1818 году, возвратился в Ножан, женился, а на деньги, составлявшие приданое, купил должность судебного пристава, которая еле-еле давала ему средства к существованию. Озлобленный долгой цепью несправедливостей, страдая от старых ран и не переставая жалеть об императоре, он изливал на окружающих душивший его гнев. Не многих детей били так часто, как его сына. Несмотря на побои, мальчуган проявлял упорство. Если мать пыталась за него заступиться, отец обходился с нею так же грубо, как и с сыном. Наконец капитан посадил его в свою контору, и мальчик целыми днями должен был, согнувшись, переписывать дела, отчего правое плечо у него стало заметно выдаваться.

В 1833 году, по предложению председателя суда, капитан продал свою контору. Жена его умерла от рака. Он переехал в Дижон; потом, устроившись в Труа, занялся поставкой рекрутов и, добившись для Шарля половинной стипендии, отдал его в Санский коллеж, где с ним и встретился Фредерик. Но одному было двенадцать лет, другому пятнадцать; к тому же характер и происхождение отделяли их друг от друга множеством преград.

В комод Фредерика водилась всякая снедь, были редкостные вещицы — туалетный прибор, например. Он любил долго спать по утрам, наблюдать полет ласточек, читать драматические пьесы и, жалея о приятностях домашней жизни, находил жизнь в коллеже тяжелой.

Сыну судебного пристава она, наоборот, казалась привольной. Он учился так хорошо, что к концу второго года перешел в третий класс. Однако — вследствие ли бедности или сварливого своего нрава — он окружен был недоброжелательством. Но вот однажды случилось, что, когда на дворе, перед целой ватагой учеников средних классов, служитель обозвал его нищим, мальчик схватил его за горло и убил бы, если бы не подоспели три надзирателя. Фредерик, исполненный восхищения, бросился обнимать его. С того дня и началась у них дружба. Привязанность старшего, несомненно, льстила тщеславию мальчика, а старший был счастлив встретить такую преданность.

На время каникул отец не брал его из коллежа. Перевод Платона, случайно попавшийся Шарлю, привел его в восхи-

щение. Он увлекся метафизикой и быстро сделал большие успехи, ибо за изучение ее он взялся, полный юной силы, с гордостью пробуждающегося сознания; Жуффруа, Кузен, Ларомигьер, Мальбранш, шотландцы — все, что имелось в библиотеке, было прочитано. Ему пришлось украсть ключ, чтобы добывать книги.

Развлечения Фредерика были менее серьезного свойства. На улице Трех волхвов он срисовал родословную Христа, вырезанную на одной из колонн, потом — портал собора. После средневековых драм он взялся за мемуары Фруассара, Комина, Пьера де Летуаля, Брантома.

Образы, которые это чтение вызывало в его уме, так его захватили, что он чувствовал потребность их воспроизвести. Он лелеял гордую надежду стать со временем французским Вальтером Скоттом. А Делорье обдумывал обширную философскую систему, которая могла бы иметь самое широкое применение.

Они разговаривали обо всем этом на переменах, во дворе, перед правоучительной надписью под часами; они перешептывались в капелле под самым носом у св. Людовика; они мечтали о том же и в дортуаре, окна которого выходили на кладбище. В дни, когда бывала прогулка, они становились в последней паре и болтали без умолку.

Они говорили о том, что будут делать, когда окончат колледж. Прежде всего они предпримут большое путешествие — на деньги, которые Фредерик, достигнув совершеннолетия, получит со своего капитала. Потом они возвратятся в Париж, станут вместе работать, никогда не разлучаясь, а от своих трудов будут отдыхать, наслаждаясь любовью принцесс в атласных будуарах или тешась шумными оргиями с знаменитыми куртизанками. Взлеты надежды сменялись сомнениями. После приступов веселой болтливости наступало глубокое молчание.

Летними вечерами они долго бродили по каменистым дорожкам вдоль виноградников или по большой дороге между полей, где, освещенные заходящим солнцем, колыхались колосья и веял запах дягиля; когда им становилось душно, они ложились на спину, одурманенные, опьяненные. Их товарищи в одних жилетах бегали вперегонки или пускали воздушных змеев. Надзиратель сзывал их. Домой возвращались вдоль садов, пересеченных ручейками, потом шли бульварами в тени старых стен; шаги гулко отдавались среди пустынных улиц; открывалась калитка, все поднимались по лестнице, и ими овладевала тоска, как после долгого кутежа.

Г-н инспектор утверждал, что они восторгаются друг другом. Однако если в старших классах Фредерик занимался, то лишь благодаря увещаниям товарища; а на каникулы в 1837 году он повез Делорье к своей матери.

Молодой человек не понравился г-же Моро. Ел он необычайно много, отказывался ходить по воскресеньям в церковь, рассуждал в духе республиканцев; наконец до нее дошел слух, что он водил ее сына в непристойные места. За ними стали следить. От этого они еще больше прежнего привязались друг к другу, и когда на следующий год Делорье покинул коллеж и уехал в Париж изучать право, расставание было мучительным.

Фредерик рассчитывал там встретиться с ним. Они не виделись два года; когда они кончили обниматься, то пошли к мостам, чтобы как следует наговориться.

Когда сын потребовал отчета по опеке, капитан, содержащий теперь бильярдный зал в Вильноксе, пришел в ярость и наотрез отказал ему в поддержке. Стремясь в будущем получить по конкурсу профессорскую кафедру и не имея денег, Делорье поступил старшим клерком к адвокату в Труа. Он намеревался ценою всяческих лишений скопить четыре тысячи франков, и если ему даже ничего не достанется из материнского наследства, все же у него будут средства, чтобы спокойно заниматься в течение трех лет, в ожидании места. Значит, надо было отказаться, по крайней мере сейчас, от их давнего плана — совместно поселиться в столице.

Фредерик поник головой. Первая греза его рушилась.

— Утешься, — сказал сын капитана, — жизнь велика, мы молоды. Я к тебе приеду. Брось об этом думать.

Он потряс его за руки и, чтобы отвлечь друга от мрачных мыслей, начал расспрашивать его о путешествии.

Фредерик мало что мог рассказать. Но при воспоминании о г-же Арну печаль его рассеялась. Он не стал говорить о ней — его удерживала стыдливость. Зато он распространялся об Арну — что тот говорил, какие у него манеры, какие связи; и Делорье настойчиво советовал ему поддерживать это знакомство.

Фредерик последнее время ничего не писал; его литературные взгляды изменились; он выше всего ставил страсть; Вертер, Рене, Франк, Лара, Лелия и другие, менее замечательные, персонажи почти в равной мере восхищали его. Порою ему казалось, что только музыка способна выразить его глубокое волнение; тогда он грезил симфониями; порою же его увлекал внешний облик предметов, и тогда ему хотелось быть живописцем. Впрочем, он сочинял и стихи; Делорье очень одобрил их, но не просил почитать еще.

Сам же он забросил метафизику. Теперь его занимали социальная экономия и французская революция. Он был высокий малый двадцати двух лет, худой, с большим ртом, решительный на вид. В тот вечер на нем было скверное люстриновое пальто, а башмаки его побелели от пыли, так как он пеш-

ком проделал весь путь от Вильнокса, только чтобы повидать Фредерика.

К ним подошел Исидор. Г-жа Моро просит г-на Фредерика вернуться и, боясь, как бы он не озяб, посылает ему плащ.

— Да останься!— сказал Делорье.

И они продолжали ходить из конца в конец по обоим мостам, что подводят к острову, образуемому каналом и рекою.

Когда они поворачивали в сторону Ножана, прямо перед ними появлялись дома, спускающиеся по склону; направо, из-за лесопилен с закрытыми шлюзами, виднелась церковь, налево же, окаймленные изгородью из кустарника, тянулись вдоль берега сады, которые лишь с трудом удавалось различить. А по направлению к Парижу дорога спускалась совершенно прямо, и луга уходили в даль, окутанную ночью мглой. Ночь была безмолвная, пронизанная беловатым сиянием. Запах влажной листвы доходил до них; запруженная река, шагах в ста отсюда, несла свои волны с тем сильным и мягким шумом, что создается падением воды в темноте.

Делорье остановился и сказал:

— Добрые люди мирно спят — забавно! Терпение! Готовится новый восемьдесят девятый год. Мы устали от конституций, хартий, хитростей, всякой лжи. О, если бы у меня была своя газета или трибуна, как бы я все это тряхнул! Но если хочешь что-либо предпринять, нужны деньги. Вот проклятье — быть сыном кабатчика и растрачивать молодость в поисках куска хлеба.

Он опустил голову и закусил губы, дрожа от холода в своем легком пальто.

Фредерик накинул ему на плечи половину своего плаща. Они закутались в него и, обнявшись, пошли рядом.

— Как же я буду жить там один, без тебя?— говорил Фредерик. (Горечь друга вновь пробудила в нем тоску.) — Я бы еще, пожалуй, сделал что-нибудь, будь со мной любящая женщина... Чему ты смеешься? Любовь — это пища и как бы атмосфера гения. Необычайные переживания порождают высокие творения. Но искать ту, которая мне нужна, — от этого я отказываюсь! Впрочем, даже если я когда-нибудь ее и найду, она меня оттолкнет. Я принадлежу к отверженным, я угасну, владея сокровищем и не зная, был ли то алмаз или бриллиант.

Чья-то тень легла на мостовой, и тотчас же они услышали:

— Мое почтение, господа.

Слова эти произнес маленький человечек в широком коричневом сюртуке и в фуражке, из-под козырька которой торчал острый нос.

— Господин Рокк?— сказал Фредерик.

— Он самый!— ответил голос.

Житель Ножана объяснил свое появление тем, что ходил осматривать волчьи капканы в своем саду у реки.

— Так вы вернулись в наши края? Прекрасно! Я это узнал от дочурки. В добром здравии, надеюсь? Еще не скоро уезжаете?

И он удалился, недовольный, вероятно, тем, как его встретил Фредерик.

Действительно, г-жа Моро не поддерживала с ним знакомства; дядюшка Рокк находился в незаконном сожителстве со своей служанкой и не пользовался уважением, хотя и был у г-на Дамбрёза агентом по выборам и управляющим.

— У банкира, что живет на улице Анжу? — спросил Делорье. — Знаешь, любезнейший, что ты должен был бы сделать?

Исидор во второй раз прервал их беседу. Ему было велено непременно привести Фредерика. Г-жу Моро беспокоит его отсутствие.

— Хорошо, хорошо, сейчас, — сказал Делорье, — ночевать он придет домой.

И прибавил, когда слуга ушел:

— Тебе надо бы попросить этого старика ввести тебя к Дамбрёзам; нет ничего полезнее, как бывать в богатом доме! Раз у тебя есть черный фрак и белые перчатки, — пользуйся этим. Тебе следует бывать в таком обществе. Потом ты и меня введешь в него. Ведь это миллионер, подумай только! Постарайся понравиться ему, да и жене его тоже. Сделайся ее любовником!

Фредерик возмутился.

— Да ведь, какжется, я говорю тебе всем известные вещи! Вспомни Растиньяка из «Человеческой комедии». Ты добьешься удачи, я уверен.

Фредерик питал такое доверие к Делорье, что даже растерялся, и, забывая о г-же Арну или мысленно применяя к ней то, что было сказано по поводу другой, не мог удержаться от улыбки.

Клерк прибавил:

— И последний мой совет: сдавай экзамены. Звание всегда пригодится. И брось ты своих католических и сатанических поэтов, которые в философии ушли не дальше, чем люди двенадцатого века. Твое отчаяние глупо. Самым великим людям еще труднее было начинать, — тому же Мирабо хотя бы. Впрочем, расстанемся мы не на такой уж долгий срок. Мошенника отца я заставлю вернуть мою долю. Но мне пора идти, прощай! Нет ли у тебя ста су? Мне надо заплатить за обед.

Фредерик дал ему десять франков, остаток от тех денег, что он утром взял у Исидора.

В двадцати туазах от мостов, на левом берегу, в слуховом окошке низкого дома блестел огонек.

Делорье заметил его. Сняв шляпу, он торжественным тоном сказал:

— Венера, властительница небес, привет тебе! Но Ниццета — мать Целомудрия. Как на нас клеветали по этому поводу, боже ты мой!

Этот намек на приключение, в котором участвовали они оба, развеселил их. Идя по улицам, они громко смеялись.

Потом, расплатившись в гостинице, Делорье проводил Фредерика до перекрестка у больницы, и друзья, после долгих объятий, расстались.

III

Прибыв однажды утром, через два месяца, в экипаже на улицу Цапли, Фредерик первым долгом намеревался сделать свой торжественный визит.

Случай ему благоприятствовал. Дядюшка Рокк принес ему сверток с бумагами, прося лично вручить их г-ну Дамбрёзу, а к свертку была приложена незапечатанная записка, в которой он представлял своего молодого земляка.

Г-жу Моро это поручение как будто удивило. А Фредерик и виду не показал, как оно ему приятно.

Г-н Дамбрёз был собственно графом д'Амбрёз, но с 1825 года, мало-помалу изменяя своему титулу и своему кругу, он обратился к промышленности, и вот, умея проведать обо всем, что творится в любой конторе, принимая участие в любом предприятии, подстерегая всякий благоприятный случай, он, хитрый, как грек, и трудолюбивый, как овернец, нажил, по слухам, значительное состояние; кроме того, он был кавалером Почетного легиона, членом генерального совета в департаменте Обы, депутатом и, не сегодня-завтра, пэром Франции; будучи вообще услужливым, он надоедал министру непрерывными просьбами о пособиях, ерденах, табачных привилегиях, а когда бывал недоволен властью, склонялся к левому центру. Его жена, хорошенькая г-жа Дамбрёз, чье имя встречалось в журналах мод, председательствовала в благотворительных обществах. Угождая герцогиням, она смягчала гнев аристократического предместья и позволяла думать, будто г-н Дамбрёз еще может раскаяться и быть полезным.

Молодой человек, отправляясь к ним, волновался.

— Лучше было бы надеть фрак. Меня, наверно, пригласят на бал на следующей неделе. Что мне скажут?

Мысль о том, что г-н Дамбрёз всего-навсего буржуа, вер-

нула ему прежнюю самоуверенность, и он смело выпрыгнул из кабриолета на тротуар улицы Анжу.

Толкнув одну половину ворот, он пересек двор, поднялся на крыльцо и вошел в вестибюль, пол которого был выложен пестрым мрамором.

Двойная прямая лестница, устланная красным ковром с медными прутьями, тянулась вдоль высоких блестящих стен, отделанных под мрамор. У нижних ступенек стояло банановое дерево; его широкие листья касались бархата перил. С двух бронзовых канделябров свисали на цепочках фарфоровые шары; через зияющие отдушины калорифера проникал тяжелый нагретый воздух; и слышно было только тиканье больших часов, стоявших на другом конце вестибюля под развешанным на стене оружием.

Раздался звонок; появился лакей и провел Фредерика в маленькую комнату, где было два несгораемых шкафа и полки, заваленные папками. Г-н Дамбрёз писал, сидя за полукруглым бюро посередине комнаты.

Он пробежал письмо дядюшки Рокка, вскрыл перочинным ножом холст, в который были зашиты бумаги, и стал просматривать их.

Издали он, благодаря своей худощавой фигуре, мог бы сойти за человека еще молодого. Но его редкие седые волосы, хилое тело, а главное, необычайно бледное лицо указывали на расшатанное здоровье. В серо-зеленых глазах, холодных, как стекло, таилась неумолимая энергия. Скулы у него были широкие, суставы на пальцах узловатые.

Наконец он встал и обратился к молодому человеку с несколькими вопросами об общих знакомых, о Ножане, о его занятиях; потом, поклонившись, отпустил. Фредерик вышел другим ходом и очутился в конце двора, около каретных сараев.

Синяя двухместная карета, запряженная вороной лошастью, стояла перед подъездом. Дверцу открыли, в экипаж села дама, и он с глухим стуком покатил по песку.

Фредерик оказался у ворот, к которым он подошел с другой стороны, в одно время с каретой. Проезд был недостаточно широк, и ему пришлось подождать. Молодая женщина, высунувшись в окошко, тихо говорила с привратником. Фредерик видел только ее спину, покрытую фиолетовой накидкой. Но она исчезла внутри кареты, обитой голубым репсом с кистями и шелковой бахромой. Там все заполнял собою наряд дамы; из этой маленькой стеганой шкатулки веяло запахом ириса и как бы смутным благоуханием женской изысканности. Кучер отпустил поводья, лошадь рванула, задела за тумбу, и все скрылось.

Фредерик возвращался пешком по бульварам.

Он жалел, что не мог разглядеть г-жу Дамбрёз.

Уже миновав улицу Монмартр, он повернул голову, привлеченный скоплением экипажей, и на противоположной стороне, прямо против себя, прочитал надпись на мраморной доске:

ЖАК АРНУ

Как это он раньше не подумал о ней? Виноват Делорье. И Фредерик подошел к магазину; однако не вошел в него; он ждал, не появится ли она.

В большие зеркальные окна были видны искусно размещенные статуэтки, рисунки, гравюры, каталоги, номера «Художественной промышленности», а условия подписки повторялись и на двери, украшенной посередине инициалами издателя. Вдоль стен, прислоненные к ним, расставлены были большие картины, блестящие лаком, а в глубине — две горки с фарфором, бронзой, соблазнительными и занятными вещами; в промежутке между ними начиналась маленькая лестница с триповой портьерой наверху, у выхода на площадку; а люстра старинного саксонского фарфора, зеленый ковер на полу, стол с инкрустацией придавали всему помещению вид скорее гостиной, чем магазина.

Фредерик притворился, будто разглядывает рисунки. После бесконечных колебаний он вошел.

Приказчик откинул портьеру и сообщил, что хозяин не будет «в магазине» до пяти часов. Но если поручение, можно передать...

— Нет, я зайду еще раз,— скромно ответил Фредерик.

Следующие дни он занялся поисками квартиры; свой выбор он остановил на помещении в третьем этаже меблированных комнат на улице св. Гиацинта.

С новеньким бюваром подмышкой он отправился на первую лекцию. Триста молодых людей без шляп наполняли аудиторию, расположенную амфитеатром, а старец в красной мантии излагал что-то монотонным голосом; по бумаге скрипели перья. Здесь был тот же запах пыли, что и в классах коллежа, стояла такая же кафедра, царила та же скука! Целых две недели Фредерик ходил сюда. Но не успели еще коснуться и третьей статьи, как он бросил Гражданский кодекс, а с институциями расстался на *Summa divisio personarum*¹.

Радости, на которые он надеялся, не приходили, и вот, исчерпав все запасы одной из библиотек, бегло осмотрев Лувр и несколько раз подряд побывав в театре, он впал в совершеннейшую праздность.

¹ Основное разделение лиц (субъектов гражданского права) (лат.).

Тысячи мелочей, до сих пор неизвестных, усугубляли его тоску. Ему приходилось считать бельё и терпеть присутствие привратника, невежи с повадками больничного служителя, от которого, когда он, не переставая ворчать, являлся утром, чтобы оправить постель, так и несло алкоголем. Самая комната, украшенная алебастровыми часами, ему не нравилась. Стены были тонкие; он слышал, как студенты варят пунш, смеются, поют.

Устав от одиночества, он решил разыскать одного из своих прежних товарищей — Батиста Мартинона и нашел его в буржуазном пансионе на улице Сен-Жак, где тот зубрил у горящего камина судопроизводство.

Против него сидела женщина в ситцевом платье и штопала носки.

Мартинон был, что называется, красавец-мужчина: высокий, круглолицый, с правильными чертами лица и бледноголубыми глазами навывкате; его отец, крупный землевладелец, предназначал его для судейской карьеры, и Мартинон, уже теперь желая казаться серьезным, отпустил окладистую бороду.

Так как уныние Фредерика не имело никакой резонной причины, то его сетования на жизнь остались непонятны Мартинону. Сам он каждое утро посещал лекции, потом гулял в Люксембургском саду, вечером выпивал в кофейной полпорции кофе и, имея полторы тысячи франков в год, пользуясь любовью простой мастерицы, считал себя вполне счастливым.

«Что за счастье!» — мысленно воскликнул Фредерик.

В университете же он завел другое знакомство — с г-ном де Сизи, происходившим из знатной семьи и приятностью манер напоминавшим девицу.

Г-н де Сизи занимался рисованием, увлекаясь готикой. Несколько раз они вместе ходили любоваться часовней и собором Богоматери. Но изысканность молодого патриция скрывала ум самый убогий. Все поражало его; он долго смеялся малейшей шутке и выказывал наивность столь полную, что сперва Фредерик принимал его за шутника, а под конец увидел, что он глуп.

Итак, излить душу было некому; он все еще ждал приглашения от Дамбрёзов.

На Новый год он послал им визитные карточки, но от них не получил ничего.

Он опять зашел в «Художественную промышленность».

Он зашел туда и в третий раз и застал, наконец, Арну, который о чем-то спорил, окруженный пятью-шестью посетителями, и едва ответил на его поклон; Фредерика это обидело. Тем не менее он продолжал искать средства, как бы проникнуть к ней.

Сперва он задумал почаще приходить и прицениваться к картинам. Потом решил послать в журнал несколько статей, «очень талантливых», чтобы таким способом завязать отношения. Может быть, лучше всего прямо пойти к цели, признаться в любви? И он сочинил письмо в двенадцать страниц, полное лирических порывов и риторических обращений, но разорвал его и ничего не сделал, ничего не предпринял, парализованный боязнью неудачи.

Над магазином Арну, во втором этаже, были три окна, в которых по вечерам всегда горел свет. Там двигались тени, особенно одна — ее тень; и он проделывал длинный путь, лишь бы взглянуть на эти окна и посмотреть на эту тень.

Как-то раз в Тюильри ему повстречалась негритянка, которая вела за руку маленькую девочку; она напомнила ему негритянку г-жи Арну. Она, должно быть, как и другие, также бывает здесь; и всякий раз, когда он проходил через Тюильри, сердце его билось надеждой увидеть ее. В солнечные дни он продолжал свои прогулки вплоть до Елисейских Полей.

Небрежно откинувшись в колясках, чуть покачиваясь, проезжали мимо него женщины с развевающимися от ветра вуалями; мерно двигались лошади, лакированная кожа сидений поскрипывала. Экипажей становилось все больше; начиная от Круглой площадки, они замедляли движение и запружали всю дорогу — грива к гриве, фонарь к фонарю; стальные стремяна, серебряные уздечки, медные пряжки то тут, то там выделялись блестящими точками среди мельканья рейтузов, белых перчаток и мехов, которые свешивались на гербы, украшавшие дверцы карет. Он чувствовал себя словно затерянным среди какого-то чуждого мира. Его глаза, блуждая, следили за женскими головками, и смутные черты сходства вызывали в его памяти г-жу Арну. Он представлял себе, как она, среди толпы других, сидит в одной из этих маленьких карет, похожих на карету г-жи Дамбрёз. Но солнце садилось, и холодный ветер поднимал облака пыли. Кучера прятали подбородки в воротники, колеса вертелись быстрее, макадамовая мостовая скрипела; и все экипажи мчались по длинной аллее, друг друга задевая, обгоняя, друг от друга удаляясь, а потом, на площади Согласия, разъезжались в разные стороны. За Тюильри небо окрашивалось в аспидный цвет. Деревья сада сливались в два огромных массива; вершины их еще лиловели. Зажигались газовые рожки, а Сена, зеленая на всем своем протяжении, покрывалась у мостовых быков серебристой рябью.

Фредерик ходил обедать по абонементу за сорок три су в ресторан на улице Лагарп.

Он с пренебрежением смотрел на старую стойку красного дерева, на грязные салфетки, на неопрятное серебро и на шля-

пы, висевшие по стене. Его окружали студенты, такие же, как он сам. Они разговаривали о своих профессорах, о своих любовницах. Какое было ему дело до профессоров! И разве у него есть любовница? Избегая их веселья, он приходил как можно позже. На всех столах еще не убраны были обеды. Оба лакея, усталые, дремали в углах, и запах кухни, ламп и табака наполнял опустевшую комнату.

Потом он медленно возвращался по улицам. Фонари показывались, на лужах дрожали длинные желтоватые отсветы. Вдоль тротуаров скользили тени под зонтиками. На мостовой было грязно, спускалась мгла, и ему казалось, что этот безграничный сырой мрак, окутывая его, обволакивает и его душу.

Угрызения совести дали себя знать. Он опять стал ходить на лекции. Но так как из того, что уже объяснялось, он ничего не знал, то даже самые простые вещи затрудняли его.

Он начал писать роман под заглавием «Сильвио, сын рыбака». Дело происходило в Венеции. Героем был он сам, героиней — г-жа Арну. Называлась она Антония, и, чтобы овладеть ею, он убивал нескольких дворян, сжигал часть города и пел под ее балконом, где развевались от дуновения ветерка красные штофные занавески с бульвара Монмартр. Совпадения с действительностью, слишком уж частые, совсем смутили его, когда он их заметил; он не стал продолжать, и бездействие его еще усилилось.

Тогда он стал умолять Делорье приехать и поселиться вместе с ним. Они устроятся и сумеют прожить на две тысячи франков, получаемые им на содержание; все будет лучше, чем эта нестерпимая жизнь. Делорье еще не мог уехать из Труа. Он рекомендовал Фредерику развлекаться и посещать Сенекаля.

Сенекаль был репетитором по математике, человек большого ума и республиканских убеждений, будущий Сен-Жюст, по словам клерка. Фредерик три раза поднимался к нему на шестой этаж, но визит ему не был отдан. Больше он туда не пошел.

Ему захотелось развлечься. Он стал ходить на балы Оперы. Не успевал он войти, как это бурное веселье обдавало его холодом. К тому же его удерживал и страх перед неудачей денежного свойства, так как он воображал, будто ужин с маской требует огромных расходов и является рискованным походом.

А между тем ему казалось, что его должны любить. Порою он просыпался с сердцем, полным надежд, тщательно одевался, точно готовясь к свиданию, и совершал по Парижу бесконечные прогулки. Каждый раз, завидев женщину, шедшую впереди или приближавшуюся ему навстречу, он говорил се-

бе: «Вот она!», и каждый раз было новое разочарование. Мысль о г-же Арну еще усиливала его вожделения. Он, может быть, встретит ее на своем пути; мечтая приблизиться к ней, он рисовал в своем воображении странные стечения обстоятельств, необыкновенные опасности, от которых он ее спасет.

А дни протекали все с тем же скучным однообразием, в кругу заведенных привычек. Он перелистывал брошюры под аркадами Одеона, ходил в кафе читать «Ревю де Дё Монд», заходил на час в какую-нибудь из аудиторий «Коллеж де Франс» — послушать лекцию о китайском языке или по политической экономии. Каждую неделю он писал пространные письма Делорье, время от времени обедал с Мартиноном, иногда встречался с г-ном де Сизи.

Он взял напрокат рояль и стал сочинять немецкие вальсы.

Однажды вечером в театре Пале-Рояль он в одной из лицевых лож заметил Арну и рядом с ним женщину. Она ли это? Экран из зеленой тафты у барьера ложи закрывал ее лицо. Наконец занавес поднялся, экран убрали. Это была особа высокого роста, лет тридцати, уже поблекшая, с толстыми губами; когда она смеялась, открывался ряд великолепных зубов. Она фамильярно разговаривала с Арну и похлопывала его веером по пальцам. Потом показалась белокурая девушка с красноватыми, словно от слез, веками и села между ними. Теперь Арну склонился к ее плечу, что-то ей говорил, она слушала и не отвечала. Фредерик изощрялся в догадках, кто такие эти женщины, одетые в простые темные платья с гладкими отложными воротничками.

Когда представление кончилось, он поспешил в коридоры. Толпа заполняла их. Арну, впереди него, медленно спускался по лестнице, держа под руку обеих женщин.

Свет от газового рожка вдруг упал на него. На его шляпе был креп. Не умерла ли она? Эта мысль так мучила Фредерика, что на другой день он побежал в «Художественную промышленность», наскоро выбрал одну из гравюр, выставленных на витрине, и, расплачиваясь, спросил приказчика, как чувствует себя г-н Арну.

Приказчик ответил:

— Очень хорошо.

Фредерик, бледнея, задал и второй вопрос:

— А госпожа Арну?

— Госпожа Арну — тоже.

Фредерик даже забыл взять гравюру.

Зима кончилась. Весной ему было не так тоскливо, он стал готовиться к экзамену и, выдержав его посредственно, сразу же уехал в Ножан.

В Труа, к своему другу, он не наведалься, чтобы не дать матери повода к замечаниям. По возвращении в Париж он отказался от прошлогодней квартиры, нанял на набережной Наполеона две комнаты и обставил их. Надежда на приглашение к Дамбрёзам покинула его; великая страсть к г-же Арну начинала угасать.

IV

Однажды декабрьским утром, когда он шел на лекцию по судопроизводству, ему показалось, что на улице Сен-Жак больше оживления, чем обычно. Студенты стремительно выходили из кафе, другие перекликались в открытые окна своих квартир; лавочники, стоя на тротуаре, с беспокойством глядели по сторонам; закрывались ставни; а когда он попал на улицу Суффло, то увидел огромную толпу, окружавшую Пантеон.

Молодые люди, кучками от пяти до двенадцати человек, прогуливались, взявшись под руки, и подходили к стоявшим тут и там группам, более многочисленным; в конце площади, у решетки, о чем-то с жаром рассуждали люди в блузах, меж тем как полицейские в треуголках набекрень, заложив руки за спину, шагали вдоль стен, звонко ступая тяжелыми сапогами по каменным плитам. Вид у всех был таинственный и недоумевающий; чего-то явно ждали; у каждого на языке так и вертелся вопрос, от которого приходилось воздерживаться.

Фредерик стоял подле молодого благообразного блондина с усами и бородкой, какие носили щеголи времен Людовика XIII. Фредерик спросил его о причине беспорядков.

— Ничего не знаю,— ответил тот,— да и они сами не знают! Это у них так принято! Потеха!

И он расхохотался.

Петиции о реформе, распространяемые среди национальной гвардии для сбора подписей, перепись Юмана и другие события уже целых полгода вызывали в Париже непонятные сборища народа; и повторялись они столь часто, что газеты даже перестали о них упоминать.

— Четкости им недостает и ясности,— продолжал сосед Фредерика.— Сдается мне, милостивый государь, что мы вырождаемся. В доброе время Людовика Одиннадцатого и даже во времена Бенжамена Констана среди школяров было больше вольнолюбия. Теперь они, по-моему, смирны, как овечки, глупы, как пробки, и годны, прости господи, лишь в бакалейщики. И это еще называют учащейся молодежью!

Он сделал широкий жест руками, вроде Фредерика Леметра в роли Робера Макэра.

— Учащаяся молодежь, благословляю тебя!

Затем, обратившись к тряпичнику, перебиравшему раковины от устриц подле тумбы у винной лавки, спросил:

— А ты тоже принадлежишь к учащейся молодежи?

Старик поднял безобразное лицо, все покрытое седой щетиной, среди которой выделялись красный нос и бессмысленные пьяные глаза.

— Нет, ты, как мне кажется, скорее из тех, кому не миновать виселицы и кто, снуя в народе, полными пригоршнями сыплет золото... О! Сыпь, патриарше, сыпь! Подкупай меня сокровищами Альбиона! Are you English?¹ Я не отвергаю даров Артаксеркса! Однако потолкуем о таможенном союзе.

Фредерик почувствовал, как кто-то тронул его за плечо; он обернулся. Это был Мартинон, страшно бледный.

— Ну вот,— сказал он, глубоко вздохнув,— опять бунт!

Он боялся навлечь на себя подозрения и очень сокрушался. Особенно тревожили его люди в блузах, будто бы принадлежавшие к тайным обществам.

— Да разве существуют тайные общества? — сказал молодой человек с усами.— Это все старые сказки, которыми правительство запугивает буржуа!

Мартинон попросил его говорить потише, опасаясь полиции.

— Так вы еще верите в полицию? А в сущности, почему знать, сударь, может быть я и сам сыщик?

И он с таким видом посмотрел на Мартинона, что тот сперва не понял шутки. Толпа оттеснила их, и всем троиm пришлось стать на лесенке, ведущей к коридору, за которым находилась новая аудитория.

Вскоре толпа раздалась сама собой; некоторые сняли шляпы; они приветствовали знаменитого профессора Самюэля Рондело, который в широком своем сюртуке, с очками в серебряной оправе, сдвинутыми на лоб, страдая от одышки, медленно шел читать лекцию. Он был один из тех, кто в области права составлял гордость XIX века, соперник Цахариев и Рудорфов. Удостоившись недавно звания пэра Франции, он ни в чем не изменил своих привычек. Было известно, что он беден, и все относились к нему с большим уважением.

Между тем в конце площади раздались голоса:

— Долой Гизо!

— Долой Притчарда!

— Долой предателей!

— Долой Луи-Филиппа!

Толпа пришла в движение и, стеснившись у закрытых ворот во двор, не давала профессору пройти. Он остановился у

¹ Вы англичанин? (англ.)

лестницы. Вскоре он показался на третьей, верхней ступени. Он начал говорить; толпа загудела, заглушая его слова. Только что он был любим, а теперь его уже ненавидели, ибо он представлял собою Власть. Всякий раз, как он пытался заговорить громче, крики начинались опять. Он сделал широкий жест, предлагая студентам следовать за ним. Общий рев был ответом. Профессор презрительно пожал плечами и исчез в коридоре. Мартинон воспользовался местом, где он стоял, и скрылся в одно время с ним.

— Какой трус! — сказал Фредерик.

— Он осторожен! — ответил молодой человек.

Толпа разразилась аплодисментами. Отступление профессора было ее победой. Из всех окон выглядывали любопытные. Некоторые запевали «Марсельезу», другие предлагали идти к Беранже.

— К Лаффиту!

— К Шатобриану!

— К Вольтеру! — заорал белокурый молодой человек с усами.

Полицейские старались проложить себе дорогу и говорили как можно мягче:

— Расходитесь, господа; расходитесь по домам!

Кто-то крикнул:

— Долой убийц!

Со времени сентябрьских волнений это стало обычным бранным словом. Все подхватили его. Блюстителям общественного порядка гикали, свистали; они побледнели; один из них не выдержал и, увидев низенького подростка, подошедшего слишком близко и смеявшегося ему прямо в лицо, оттолкнул его с такой силой, что тот, отлетев шагов на пять, упал навзничь у лавки виноторговца. Все расступились; но почти тотчас же покатился и он сам, сбитый с ног каким-то геркулесом, волосы которого торчали из-под клеенчатой фуражки, точно свалывшаяся пакля.

Он уже несколько минут стоял на углу улицы Сен-Жак; быстро освободившись от широкой картонки, которую нес, он бросился на полицейского и, подмяв его под себя, изо всей силы принялся барабанить кулаками по его физиономии. Подбежали другие полицейские. Страшный детина был так силен, что для его укрощения потребовалось не менее четырех человек. Двое трясали его за шиворот, двое тащили за руки, пятый коленкой пинал его в зад, и все они ругали его разбойником, убийцей, бунтовщиком, и, растерзанный, с обнаженной грудью, в одежде, от которой висели ключья, он уверял, что не виноват; он не мог хладнокровно смотреть, как бьют ребенка.

— Меня зовут Дюссардьё. Служу я у братьев Валенсар,

в магазине кружев и мод, на улице Клери. Где моя картонка? Отдайте мне картонку!

Он твердил: «Дюссардьё!.. С улицы Клери! Отдайте картонку».

Однако он смирился и стоически дал увести себя в участок на улицу Декарта. Целый поток устремился ему вслед. Фредерик и усатый молодой человек шли непосредственно за ним, полные восхищения перед приказчиком, возмущенные насильем Власти.

Но по мере того, как они приближались к цели, толпа рассеивалась.

Полицейские время от времени оборачивались с самым свирепым видом, а так как буйанам больше нечего было делать, зевакам не на что смотреть, все мало-помалу разбрелось. Встречные прохожие разглядывали Дюссардьё и вслух делали оскорбительные замечания. Какая-то старуха даже крикнула со своего порога, что он украл хлеб; эта несправедливость еще усилила раздражение обоих приятелей. Наконец дошли до кордегардии. Оставалось всего человек двадцать. Стоило им увидеть солдат, как разбежались и они.

Фредерик и его товарищ смело потребовали, чтобы арестованный был освобожден. Полицейский пригрозил им, что, если они будут упорствовать, их тоже посадят. Они вызвали начальника, объявили свои фамилии и сказали, что они студенты-юристы, утверждая, что задержанный их коллега.

Их ввели в совершенно пустую комнату с неоштукатуренными закопченными стенами, вдоль которых стояли четыре скамьи. В задней стене открылось окошечко. Показались огромная голова Дюссардьё, его всклокоченные волосы, маленькие доверчивые глазки, приплюснутый нос — черты, чем-то напоминавшие морду добродушного пса.

— Не узнаешь нас? — сказал Юссонэ. Так звали молодого человека с усами.

— Но... — пробормотал Дюссардьё.

— Брось дурака валять! — продолжал тот. — Ведь известно, что ты студент-юрист, так же как и мы.

Несмотря на их подмигиванья, Дюссардьё ничего не сообщал. Он как будто хотел собраться с мыслями, потом вдруг спросил:

— Нашли мою картонку?

Фредерик, уже потерявший надежду, посмотрел на него. А Юссонэ ответил:

— А! Папку, в которую ты кладешь записи лекций? Да, да, успокойся!

Они еще усерднее принялись делать ему знаки. Дюссардьё понял наконец, что они пришли ему помочь, что его возвыша-

ют до звания студента и приравнивают к молодым людям, у которых такие белые руки, и замолчал.

— Хочешь кому-нибудь что-либо передать?

— Нет, благодарствуйте, никому!

— А родным?

Он опустил голову и не ответил; бедняга был незаконно-рожденный. Приятели удивились его молчанию.

— Есть у тебя что курить? — опять спросил Фредерик.

Тот пощупал у себя в кармане, потом извлек из него обломки трубки, прекрасной пенковой трубки с чубуком черного дерева, серебряной крышкой и мундштуком из янтаря.

Он три года трудился, желая сделать из нее нечто совершенное. Он всегда держал ее в замшевом футляре, курил ее как можно медленнее, никогда не клал на мрамор и каждый вечер вешал у изголовья своей постели. Теперь он потряхивал черепки в руке, из-под ногтей его сочилась кровь; он опустил голову на грудь и, раскрыв рот, остановившимся взглядом невыразимо печальных глаз созерцал остатки своей радости.

— Дать ему сигар? А? — шопотом спросил Юссонэ, делая жест, как будто хочет их достать.

Фредерик уже успел положить на окошечко полный портсигар.

— Бери! И до свиданья! Не унывай!

Дюссардьё схватил протянутые ему руки. Он вне себя сжимал их, голос его прерывался от слез.

— Как?.. Это мне!.. Мне!

Приятели, чтобы избежать его благодарности, удалились и вместе пошли завтракать в кафе Табурэ, против Люксембургского сада.

Разрезая бифштекс, Юссонэ сообщил своему спутнику, что он сотрудничает в журналах мод и сочиняет рекламы для «Художественной промышленности».

— У Жака Арну? — спросил Фредерик.

— Вы с ним знакомы?

— Да... Нет... То есть я видал его, познакомился с ним.

Он небрежным тоном спросил Юссонэ, встречается ли тот с его женой.

— Иногда, — отвечал сотрапезник.

Фредерик не решился продолжать расспросы; человек этот занял теперь в его жизни огромное место; когда позавтракали, Фредерик заплатил по счету, что не вызвало никаких возражений со стороны Юссонэ.

Симпатия была взаимная; они обменялись адресами, и Юссонэ дружески пригласил его пройтись с ним до улицы Флеюс.

Они находились посреди сада, когда сотрудник Арну, за-

держав дыхание, вдруг состроил отчаянную гримасу и закричал петухом. И все петухи по соседству ответили ему протяжными «ку-ка-ре-ку».

— Это условный знак, — сказал Юссонэ.

Они остановились около театра Бобино, перед домом, к которому вел узкий проход. На чердаке в окошечке, между настилкой и душистым горошком, показалась молодая женщина, простоволосая, в корсете; она опиралась обеими руками на водосточный желоб.

— Здравствуй, ангел мой, здравствуй, детка! — Юссонэ посылал ей воздушные поцелуи.

Он ногой толкнул калитку и скрылся.

Фредерик ждал его целую неделю. Он не решался идти к нему сам, чтобы не подать вида, будто ему не терпится получить ответное приглашение на завтрак; но он исходил весь Латинский квартал, надеясь встретиться с ним. Как-то вечером он столкнулся с Юссонэ и привел его к себе в комнату на набережной Наполеона.

Беседа длилась долго; они разговорились по душам. Юссонэ мечтал о театральной славе и театральных заработках. Он участвовал в сочинении водевилей, которых никто не ставил, «имел массу планов», придумывал куплеты; некоторые из них он пропел. Потом, заметив на этажерке книгу Гюго и томик Ламартина, разразился сарказмами по поводу романтической школы. Эти поэты не обладают ни здравым смыслом, ни даром правильной речи, и не французы они — вот что главное. Он хвалился с званием языка и к самым красивым оборотам придирался с той ворчливой строгостью, с той академичностью вкуса, которой отличаются люди легкомысленные, когда они рассуждают о высоком искусстве.

Фредерик был оскорблен в своих пристрастиях; ему хотелось тут же порвать знакомство. Но почему не рискнуть сразу заговорить о том, от чего зависит его счастье? Он спросил литературного юнца, не может ли тот ввести его к Арну.

Это не представляло трудностей, и они условились на следующий день.

Юссонэ не пришел в назначенное время; затем обманул еще три раза. Однажды в субботу, около четырех часов, он явился. Но, пользуясь тем, что был нанят экипаж, он сперва велел остановиться у Французского театра, где должен был получить билет в ложу, заехал к портному, к белошвейке, писал в швейцарских записки. Наконец они прибыли на бульвар Монмартр. Фредерик прошел через магазин и поднялся по лестнице. Арну узнал его, увидав в зеркале, стоявшем против конторки, и, продолжая писать, протянул ему через плечо руку.

В тесной комнате с одним окном во двор столпилось чело-

век пять-шесть; у задней стены в алькове, между двумя портретами коричневого штофа, был диван, обитый такой же материей. На камине, заваленном всякими бумагами, стояла бронзовая Венера, а по сторонам ее, в полной симметрии, — два канделябра с розовыми свечами. Направо, у этажерки с папками, сидел в кресле человек, все время не снимавший шляпы, и читал газету; стены сплошь были увешаны эстампами и картинами, ценными гравюрами или эскизами современных мастеров, с надписями, в которых выражалась самая искренняя приязнь к Жаку Арну.

— Как живете? — спросил он, обернувшись к Фредерику. И, прежде чем тот ответил, шопотом спросил Юссонэ:

— Как зовут вашего приятеля?

Потом — опять вслух:

— Возьмите сигару, там, на этажерке, в коробке.

«Художественная промышленность», находившаяся в центре Парижа, была удобным местом для встреч, нейтральной территорией, где запросто сходились соперники. В тот день здесь можно было увидеть Антенора Брева, портретиста королей, Жюля Бюрё, который своими рисунками популяризировал алжирские войны, карикатуриста Сомбаз, скульптора Вурда, кой-кого еще; и никто из них не соответствовал представлениям, сложившимся у студента. Манеры у них были простые, речи — вольные. Мистик Ловариас рассказал непристойный анекдот, а у создателя восточного пейзажа, известного Дитмера, под жилетом была надета вязаная фуфайка, и поехал он домой в омнибусе.

Речь шла вначале о некоей Аполлонии, бывшей натурщице, которую Бюрё будто бы видел на бульваре, когда она ехала в карете цугом. Юссонэ объяснил эту метаморфозу, перечислив целый ряд ее покровителей.

— Здорово же этот молодчик знает парижских дэвчонок! — сказал Арну.

— После вас, если что останется, ваше величество, — ответил шалун, на военный лад отдавая честь — в подражание гренадеру, который дал Наполеону выпить из своей фляги.

Потом зашел спор о нескольких полотнах, где моделью служила голова Аполлонии. Подверглись критике отсутствующие собратья. Удивлялись высоким ценам на их произведения, и все начали жаловаться, что недостаточно зарабатывают, как вдруг вошел человек среднего роста, во фраке, застегнутом на одну пуговицу; глаза у него были живые, а вид полубезумный.

— Этакие вы мещане! — воскликнул он. — Ну что же из того, помилуйте. Старики, создавшие шедевры, не думали о миллионах. Корреджо, Мурильо...

— А также Пеллерен, — вставил Сомбаз.

Но тот, не обращая внимания на колкость, продолжал рассуждать с таким пылом, что Арну два раза принужден был повторить ему:

— Моя жена рассчитывает на вас в четверг. Не забудьте!

Эти слова вернули Фредерика к мысли о г-же Арну. В квартиру, наверно, проходят через комнатку, что за диваном? Арну, которому нужно было взять носовой платок, только что отворял туда дверь; у задней стены Фредерик заметил умывальник. Но вот в углу возле камина раздалось какое-то ворчание; оно исходило от субъекта, сидевшего в кресле и читавшего газету. Ростом он был пяти футов девяти дюймов, сидел, полузакрыв глаза, волосы у него были седые, вид величавый, и звали его Режембар.

— Что такое, гражданин? — спросил Арну.

— Еще новая низость со стороны правительства!

Дело шло об увольнении какого-то школьного учителя; Пеллерен проводил параллель между Микеланджело и Шекспиром. Дитмер собрался уходить. Арну догнал его и вручил ему две ассигнации. Юссонэ счел момент благоприятным.

— Не могли бы вы дать мне аванс, дорогой патрон?

Но Арну опять уселся и теперь разносил какого-то старца в синих очках, весьма противного на вид.

— Ах! И хороши же вы, дядюшка Исаак! Обесценены, пропали три картины. Все на меня плюют! Теперь все их знают! Что прикажете с ними делать? В Калифорнию, что ли, их отослать? К чорту? Молчите!

Специальность старика заключалась в том, что он подделывал на картинах подписи старых мастеров. Арну отказывался платить и грубо выпроводил его. Совсем по-иному встретил он чопорного господина в орденах, с бакенбардами и в белом галстуке.

Опершись локтем на оконную задвижку, он долго и вкрадчиво что-то говорил ему. А потом разразился:

— Ах, граф, достать посредника для меня не составляет трудности.

Дворянин смирился, Арну вручил ему двадцать пять луидоров, а как только тот ушел, воскликнул:

— И несносны же они, эти знатные господа!

— Все они дрянь! — пробормотал Режембар.

По мере того как время шло, дела у Арну становилось все больше; он раскладывал статьи, распечатывал конверты, подводил итоги; на стук молотка, раздававшийся из магазина, выходил понаблюдать за упаковкой, потом снова садился за работу и, продолжая водить по бумаге стальным пером, отвечал на шутки. В тот вечер ему предстояло обедать у своего поверенного, а на другой день уехать в Бельгию.

Прочие беседовали о всяких злободневных вещах: о портрете Керубини, о полукруглом зале Академии художеств, о предстоящей выставке. Пеллерен ругал Институт. Слетни переплетались со спорами. В этой комнате с низким потолком собралось столько народу, что негде было повернуться, а мерцание розовых свечей пробивалось сквозь сигарный дым, точно солнечные лучи сквозь туман.

Дверь около дивана отворилась, и вошла высокая худая женщина с движениями столь резкими, что на черном шелковом платье звякали все брелоки ее часов.

Это была та самая особа, которую Фредерик прошлым летом видел в Пале-Рояле. Некоторые называли ее по имени и обменивались с ней рукопожатиями. Юссонэ вырвал, наконец, у Арну пятьдесят франков; часы пробили семь; все стали расходиться.

Арну предложил Пеллерену подождать, а сам увел м-ль Ватназ в туалетную комнату.

Фредерик не слышал их слов: говорили они шопотом. Но вдруг женский голос зазвучал громче:

— Полгода как дело сделано, а я все жду!

Наступило долгое молчание, м-ль Ватназ вновь появилась. Арну опять пообещал ей что-то.

— Ну-ну! Еще посмотрим!

— Прощайте, счастливый человек! — сказала она уходя.

Арну быстро вернулся в туалетную комнату, почернил усы, оправил подтяжки, чтобы ту же натянулись штрипки, и, моя руки, сказал:

— Мне бы надо было два панно над дверьми, по двести пятьдесят штука, в жанре Буше. Можно рассчитывать?

— Идет, — ответил художник, покраснев.

— Хорошо! И не забывайте мою жену!

Фредерик проводил Пеллерена до конца предместья Пуассоньер и попросил позволения время от времени его навещать; согласие было любезно дано.

Пеллерен читал все труды по эстетике, чтобы открыть истинную теорию прекрасного, будучи убежден, что, найдя ее, создаст шедевры. Он окружал себя всевозможными пособиями, рисунками, слепками, моделями, гравюрами и, терзаясь, искал; он винил погоду, свои нервы, свою мастерскую, выходил на улицу, думая там обрести вдохновение, вздрагивал, будто оно уже осенило его, потом бросал начатую картину и задумывал другую, которая должна была быть еще прекраснее. И вот, мучимый жаждой славы и теряя время в страхах, веря в тысячи нелепостей, в системы, в критику, в необходимость каких-то правил или какой-то реформы искусства, он дождался пятидесяти лет, не создав ничего, кроме набросков. Непокоримая

гордость не позволяла ему унывать, но он всегда был чем-нибудь раздражен и вечно находился в том искусственном и все же неподдельном возбуждении, которое отличает актеров.

Когда вы входили к нему, первым делом бросались в глаза две большие картины, на которых коричневые, красные и синие мазки выделялись, точно пятна на фоне белого холста. Все это было покрыто целой сетью линий, начерченных мелом и беспорядочно сплетавшихся все вновь и вновь; в сущности ничего нельзя было понять. Пеллерен объяснил содержание этих двух композиций, указывая большим пальцем на еще недостающие части. Одна из картин должна была изображать «Безумие Навуходоносора», другая — «Рим, сжигаемый Нероном». Фредерик был в восхищении от них.

Он был в восхищении и от этюдов женщин с распущенными волосами и от пейзажей, на которых во множестве встречались искривленные бурей стволы, но главное — от набросков пером на мотивы Калло, Рембрандта или Гойи; в оригинале он их не знал. Пеллерен относился пренебрежительно к этим работам своей молодости; теперь он стоял за высокий стиль; он стал красноречиво рассуждать о Фидии и Винкельмане. Предметы, окружавшие его, еще усиливали впечатление от его слов: здесь можно было увидеть череп на аналое, несколько ятаганов, мошашскую рясу; Фредерик однажды ее надел.

Когда он приходил рано, то заставлял Пеллерена в кровати, неудобной, покрытой рваным ковром: Пеллерен ложился поздно, так как усердно посещал театры. Прислуживала ему старуха в лохмотьях, обедал он в кухмистерской и жил без любовницы. Благодаря познаниям, приобретенным где попало, парадоксы его были забавны. Ненависть ко всему заурядному и мещанскому прорывалась у него наружу сарказмами, полными великолепного лиризма, а к мастерам он чувствовал такое благоговение, которое и его почти что возвышало до них.

Но почему он никогда не говорил о г-же Арну? Что до ее мужа, то порою он называл его славным малым, порою — шарлатаном. Фредерик ждал, когда он начнет откровенничать.

Однажды, перелистывая рисунки в одной из его папок, Фредерик в портрете какой-то цыганки нашел нечто общее с м-ль Ватназ, а так как эта особа его интересовала, он решил спросить, кто она такая.

Прежде она, насколько знал Пеллерен, была учительницей в провинции; теперь дает уроки и пытается писать в маленьких газетах.

Судя по ее обращению с Арну, можно было — так думалось Фредерику — счесть ее за его любовницу.

— О, какое там! С него довольно и других!

Тогда молодой человек, отвернув лицо, покрывшееся кра-

ской стыда от гнусной догадки, которую он решил высказать, развязно спросил:

— Жена отвечает ему, верно, тем же?

— Вовсе нет! Она порядочная женщина!

Фредерик почувствовал угрызения совести и еще усерднее стал посещать редакцию.

Большие буквы, из которых на мраморной доске над магазином складывалось имя Арну, казались ему чем-то совершенно особенным и полным значения, точно священные письмена. По широкому покатоному тротуару идти было легко, дверь отворялась почти сама собой, а ручка ее, гладкая на ощупь, казалась, наделена была мягкостью и чуткостью, словно живая рука, которую он сжимает в своей. Он незаметно стал приходить с такой же точностью, как Режембар.

Каждый день Режембар садился в свое кресло у камина, брал «Насиональ», уже не отрывался от него и мысль свою выражал каким-нибудь восклицанием или же просто пожимал плечами. Время от времени он вытирал лоб скрученным в спираль носовым платком, который висел у него на груди между двумя пуговицами зеленого сюртука. Панталоны у него были со складками, он носил полусапожки и длинный галстук, а благодаря шляпе с загнутыми полями его легко можно было узнать в толпе.

В восемь часов утра он спускался с высот Монмартра и заходил на улицу Нотр-Дам-де-Виктуар выпить белого вина. Его завтрак, за которым следовало несколько партий на бильярде, длился часов до трех. Тогда он направлялся к пассажиру Панорам выпить абсента. После пребывания у Арну он заходил в Бордоский кабачок выпить вермута; затем, вместо того чтобы вернуться к жене, домой, он часто предпочитал пообедать в одиночестве, в маленьком кафе на площади Гайон, где заказывал «домашние блюда, что-нибудь попроще!». Напоследок он еще перебирался в какую-нибудь бильярдную и просиживал там до двенадцати, до часу ночи, до тех пор, пока не тушили газ и не запирали ставни и хозяин заведения, изнемогая, не умолял его уйти.

Но не любовь к выпивке привлекала в подобные места гражданина Режембара, а давняя привычка к политическим разговорам; с годами пыл его угас, он пребывал в угрюмом молчании. По серьезности его лица можно было подумать, что он весь поглощен мировыми вопросами. Его мысль не проявлялась, и никто, даже его друзья, не знали, занимается ли он чем-нибудь, хоть он и говорил, будто у него деловая контора.

Арну, казалось, питал к нему беспредельное уважение. Однажды он сказал Фредерику:

— Он-то все знает, уж будьте покойны! Умница!

Как-то в другой раз Режембар разложил на конторке бумаги, касавшиеся залежей фарфоровой глины в Бретани, Арну не сомневался в его опытности.

Фредерик стал еще более учтив с Режембаром — настолько, что время от времени угощал его абсентом, и хотя считал его глупым, нередко целые часы проводил в его компании — потому только, что тот был другом Жака Арну.

Торговец картинами, человек передовой, которому привелось помочь кое-кому из современных художников при первых их шагах, пытался увеличить свои доходы, сохраняя в то же время артистические замашки. Он стремился к раскрепощению искусства, к прекрасному по дешевой цене. Все виды парижской промышленности, вырабатывающей предметы роскоши, испытали на себе его влияние, благотворное для мелочей и пагубное для всего значительного. Подлаживаясь изо всех сил под вкус большинства, он сбивал с пути искусных художников, развращал талантливых, выжимал последние соки из слабых и прославлял посредственных; он держал их в руках благодаря своим связям и своей газете. Всякие бездарности жаждали видеть свои картины в витрине Арну, обойщики брали у него рисунки мебели. Фредерик видел в нем и миллионера, и любителя искусств, и дельца. Все же многое удивляло его, ибо господин Арну был ловок в торговых делах.

Так, из Германии или Италии ему присылали картину, купленную в Париже за полторы тысячи франков, и он, предъявляя на нее накладную в четыре тысячи, перепродавал ее из любезности за три с половиной. Одна из обычных его проделок состояла в том, что он требовал от художников впридачу к купленной картине небольшую копию под тем предлогом, будто собирается сделать с нее гравюру; копию он всегда продавал, а гравюра никогда не появлялась. Того, кто жаловался, что это эксплуатация, он только похлопывал по животу. Он был, впрочем, превосходный малый, не жалел сигар, говорил «ты» незнакомым людям и, если начинал восторгаться каким-нибудь произведением или человеком, то уже, невзирая ни на что, настаивал на своем, не скупился на хлопоты, на статьи, на рекламу. Он считал себя вполне честным и, чувствуя потребность излить душу, простодушно рассказывал о разных своих неблагоприятных проделках.

Как-то раз, чтобы досадить собрату, который основал газету, тоже посвященную живописи, и давал в честь этого события большой званый обед, Арну попросил Фредерика написать в его присутствии, незадолго до назначенного часа, письма приглашенным, что обед отменяется.

— Это ведь не затрагивает чести, понимаете?

И молодой человек не решился отказать ему в услуге.

На другой день после этого, зайдя вместе с Юссонэ в контору Арну, Фредерик увидел, как в двери (той, что выходила на лестницу) мелькнул подол женского платья.

— Тысячу извинений! — сказал Юссонэ. — Если бы я знал, что здесь женщины...

— О, да это моя жена, — ответил Арну. — Она проходила мимо и решила меня навестить.

— Как так? — спросил Фредерик.

— Ну да. И пойдет сейчас домой!

Прелесть окружающего исчезла тотчас же. То, что было разлито здесь, как ему чудилось, теперь исчезло, или, пожалуй, всего этого никогда и не было. Он испытал бесконечное удивление и словно боль измены.

Арну, роясь у себя в ящике, улыбался. Не над ним ли он смеется? Приказчик положил на стол кипу сырых бумаг.

— А! Вот и афиши! — воскликнул торговец. — Мне сегодня не скоро удастся пообедать!

Режембар взял за шляпу.

— Как, вы покидаете меня?

— Семь часов! — сказал Режембар.

Фредерик последовал за ним.

На углу улицы Монмартр он обернулся: он взглянул на окна второго этажа и мысленно усмехнулся, чувствуя жалость к себе, вспоминая, с какой любовью он столь часто созерцал их! Где же она живет? Как встретиться с ней теперь? Одиночество вновь зияло вокруг него, вокруг его желаний — еще необъятнее, чем когда бы то ни было!

— Пойдем отведаем ее? — предложил Режембар.

— Кого это е?

— Полынной.

И, уступая его настойчивым просьбам, Фредерик позволил затащить себя в Бордоский кабачок. Пока его собутыльник, облокотившись на стол, разглядывал графин, Фредерик смотрел во все стороны. Но вот на тротуаре показалась фигура Пеллерена; Фредерик торопливо застучал в окно, и не успел еще художник усесться, как Режембар спросил, почему его больше не видно в «Художественной промышленности».

— Лопнуть мне, если я туда пойду. Он скотина, мещанин, мерзавец, плут!

Эта брань была приятна раздосадованному Фредерику. Все же он был ею задет, так как ему казалось, что она слегка затрагивает и г-жу Арну.

— Что же он вам такое сделал? — спросил Режембар.

Вместо ответа Пеллерен топнул ногой и громко засопел.

Он втайне занимался кой-какими делами, например, изготовлением портретов цветным карандашом или подделкой про-

изведений великих мастеров в расчете на непросвещенного любителя, а так как эти работы унижали его, то обычно он предпочитал о них молчать. Но «гнузность Арну» слишком обозлила его. Он облегчил душу.

По заказу Арну, сделанному в присутствии Фредерика, он принес ему две картины. И торговец позволил себе критиковать их! Он порицал композицию, колорит и рисунок, главное — рисунок, словом, ни за что не хотел их взять. И Пеллерен, вынужденный к тому же истечением срока векселя, уступил их еврею Исааку, а через две недели тот же Арну продал их за две тысячи франков какому-то испанцу.

— Ни единым су не дешевле. Какая подлость! И ведь это не единственная, ей-богу! Не сегодня-завтра мы еще увидим его на скамье подсудимых!

— Это уж вы преувеличиваете! — робко сказал Фредерик.

— Ну вот еще! Преувеличиваю! — воскликнул художник, ударив кулаком по столу.

Грубая выходка Пеллерена вернула молодому человеку самоуверенность. Конечно, можно было бы вести себя более прилично; однако если, по мнению Арну, эти полотна...

— Плохи? Договаривайте! Да вы их видели? Понимаете вы в этом деле? А ведь я, знаете, мой миленький, дилетантов не признаю!

— Э! Да меня это и не касается! — сказал Фредерик.

— С какой же стати вы защищаете его? — холодно спросил Пеллерен.

Молодой человек пробормотал:

— Да... потому что я ему друг.

— Так поцелуйте его от меня! Добрый вечер!

И художник ушел, совершенно взбешенный, ни словом, разумеется, не обмолвившись о счете.

Фредерик, защищая Арну, сам убедил себя в его правоте. В пылу своего красноречия он ощутил нежность к этому человеку, умному и доброму, на которого его друзья клеветают и который теперь работает один, всеми покинутый. Он не стал противиться странному желанию тотчас же увидеть его. Десять минут спустя он уже отворял дверь в магазин.

Арну с приказчиком составлял невероятных размеров афиши для выставки картин.

— Ба! Какими судьбами вы снова к нам?

Этот простой вопрос привел Фредерика в замешательство, и, не зная, что ответить, он спросил, не нашлась ли случайно его записная книжка, маленькая записная книжка в синем кожаном переплете.

— Та, где вы храните письма женщин? — сказал Арну.

Фредерик покраснел, как девушка, и стал защищаться, опровергая подобное предположение.

— Так, значит, ваши стихи? — не унимался торговец.

Он перебирал образцы, разложенные перед ним, рассуждал о их форме, цвете, о бордюре; а Фредерика все сильнее и сильнее раздражал его озабоченный вид, главное же — его руки, двигавшиеся по афишам, большие руки, немного вялые, с плоскими ногтями. Наконец Арну поднялся, сказал: «Вот и готово!» и фамильярно взял его за подбородок. Эта вольность не понравилась Фредерику, он попятился; потом он переступил порог конторы, последний раз в жизни — так он думал. Даже самое г-жу Арну как будто унижала вульгарность ее мужа.

На той же неделе он получил письмо, которым Делорье сообщал, что прибудет в Париж в следующий четверг. И Фредерик с новой страстью вернулся к этой привязанности, более прочной и более возвышенной. Такой человек стоит всех женщин. Ему больше не нужны будут ни Режембар, ни Пеллерен, ни Юссонэ — никто. Чтобы лучше устроить своего друга, он купил железную кровать, второе кресло, распределил на две части свое постельное белье; в четверг утром он уже одевался, чтобы ехать встречать Делорье, как вдруг у дверей раздался звонок. Вошел Арну.

— Всего два слова. Мне вчера прислали из Женевы чудесную форель; мы рассчитываем на вас, сегодня ровно в семь... Улица Шуазель, дом двадцать четыре. Не забудьте же!

Фредерик принужден был сесть. Колени у него дрожали. Он повторял: «Наконец! Наконец!» Потом он написал своему портному, шапочнику, башмачнику и отправил эти три записки с тремя рассыльными. В замке повернулся ключ, и появился привратник с сундуком на плечах.

Увидев Делорье, Фредерик задрожал, как застигнутая врасплох изменница жена.

— Какая муха тебя укусила? — спросил Делорье. — Ведь ты, вероятно, получил мое письмо?

Фредерик не в силах был солгать.

Он раскрыл объятия и бросился к нему на грудь.

Потом клерк рассказал свою историю. Отец отказался дать отчет по опеке, вообразив, что необходимость в этом отпадает в силу десятилетней давности. Но Делорье, весьма сведущий в судопроизводстве, в конце концов выцарапал все материнское наследство, чистых семь тысяч франков, которые были тут, при нем, в старом бумажнике.

— Это на черный день, про запас. Завтра же с утра надо будет подумать, куда их поместить, да и мне самому пристроиться. А сегодня — отдых от всех забот, и я весь к твоим услугам, старина.

— О, ты не стесняйся! — сказал Фредерик.— Если на сегодняшний вечер у тебя что-нибудь важное...

— Ну вот еще! Я был бы порядочный мерзавец...

Этот случайно оброненный эпитет, как оскорбительный намек, кольнул Фредерика в самое сердце.

Привратник расставил на столе перед камином котлеты, заливное, лангусты, десерт и две бутылки бордо. Делорье был тронут таким приемом.

— Ты по-царски угощаешь меня, честное слово!

Они говорили о прошлом, о будущем и время от времени протягивали руки через стол, с нежностью глядя друг на друга. Но вот посыльный принес новую шляпу. Делорье громко заметил, какая блестящая у нее тулья.

Потом портной самолично доставил фрак, отутюженный им.

— Можно подумать, что сегодня твоя свадьба,— сказал Делорье.

Час спустя явилась третья личность и из большого черного мешка извлекла пару великолепных лакированных ботинок. Пока Фредерик их примерял, башмачник насмешливо рассматривал обувь провинциала.

— Вам, сударь, ничего не требуется?

— Благодарю,— ответил клерк, пряча под стул ноги в старых башмаках со шнуровкой.

Унижение, которому подвергся Делорье, смутило Фредерика. Он все медлил с признанием. Наконец, словно что-то вспомнив, воскликнул:

— Ах, черт возьми, я и забыл!

— Что такое?

— Сегодня я обедаю в гостях!

— У Дамбрэзов? Почему ты никогда не писал мне о них?

Нет, он обедает не у Дамбрэзов — у Арну.

— Ты бы меня предупредил! — сказал Делорье.— Я приехал бы днем позже.

— Это было невозможно! — резко ответил Фредерик.— Я только сегодня утром получил приглашение.

И чтобы загладить свою вину и отвлечь внимание друга, он стал развязывать веревки, опутывавшие сундук, разложил в комод все его вещи, хотел уступить ему свою постель, говорил, что ляжет сам в дровяном чулане. Потом, уже с четырех часов, он принялся за свой туалет.

— Времени у тебя еще достаточно! — сказал Делорье.

Наконец Фредерик оделся и ушел.

«Вот они, богачи!» — подумал Делорье. И отправился обедать на улицу Сен-Жак в знакомый ему ресторанчик.

Фредерик несколько раз останавливался на лестнице,— так билось у него сердце. Одна из перчаток, слишком узкая, лоп-

нула, а пока он засовывал разорванное место под манжету, Арну, следом за ним подымавшийся по лестнице, схватил его за руку и ввел в свою квартиру.

Передняя была в китайском вкусе — с расписным фонарем на потолке, с бамбуками по углам. Проходя через гостиную, Фредерик споткнулся о тигровую шкуру. Свечей еще не зажигали, лишь в глубине будуара горели две лампы.

М-ль Марта явилась и сообщила, что мама одевается. Арну поднял ее и поцеловал; потом, желая сам выбрать в погребе несколько бутылок вина, он оставил Фредерика с девочкой.

Она очень выросла со времени поездки в Монтеро. Ее темные волосы длинными локонами спускались на голые руки. Из-под короткого платьица, более пышно, чем у балерины, видны были розовые икры, и вся ее милая фигурка дышала свежестью, точно букет цветов. Compliments гостя она выслушала с видом кокетки, остановила на нем глубокий пристальный взгляд, потом, проскользнув среди мебели, исчезла, словно кошка.

Он больше не испытывал волнения. Шары ламп, покрытые кружевной бумагой, бросали на стены, которые были обтянуты лиловым атласом, мягкий молочный свет. Сквозь каминную решетку, похожую на большой веер, видны были горящие уголья; рядом с часами стоял ларец с серебряными застежками. Тут и там разбросаны были всякие домашние вещицы: на диванчике — кукла, на спинке стула — косынка, а на рабочем столике — вязанье, в котором, остриями вниз, торчали две спицы слоновой кости. В этой комнате все говорило о жизни мирной, добропорядочной и семейственной.

Арну вернулся; из-за другой портьеры показалась г-жа Арну. На нее падала тень, и сперва он различил только ее лицо. Платье на ней было черное бархатное, а волосы покрывала длинная алжирская сетка красного шелка, которая, обвившись вокруг гребня, спускалась на левое плечо.

Арну представил Фредерика.

— О! Я прекрасно помню вас,— ответила она.

Потом, почти в одно и то же время, прибыли остальные гости: Дитмер, Ловариас, Бюрё, композитор Розенвальд, поэт Теофиль Лоррис, два художественных критика, товарищи Юссонэ, владелец писчебумажной фабрики и, наконец, знаменитый Пьер-Поль Мейнсиус, последний представитель высокой живописи, который с бодростью нес не только бремя славы, но и свои восемьдесят лет и огромный живот.

Когда гости направились в столовую, г-жа Арну взяла его под руку. Одно место оставалось свободным — для Пеллерена. Арну его любил, хотя и эксплуатировал. К тому же он опасал-

ся его беспощадно злого языка — настолько, что, желая его смягчить, поместил в «Художественной промышленности» его портрет, за которым следовали гиперболические похвалы, и Пеллерен, более падкий на славу, чем на деньги, появился часам к восьми, совершенно запыхавшись. Фредерик вообразил, что они уже давно помирились.

Общество, кушанья — все нравилось ему. Комната была обтянута тисненой кожей наподобие зала в средневековом вкусе; против голландской этажерки находился поставец для чубуков, а стаканы богемского хрусталя разной окраски, расставленные на столе среди цветов и фруктов, создавали впечатление иллюминации в саду.

Ему пришлось выбирать между десятью сортами горчицы. Он ел даспашьо, кэри, имбирь, корсиканских дроздов, римскую лапшу; он пил необыкновенные вина, либффрауенмильх и то-кайское. Умение угостить действительно было для Арну делом чести. Он ублажал кондукторов почтовых карет, которые представляли ему разную снедь, и водил знакомство с поварами богатых домов, сообщавшими ему рецепты приправ.

Но больше всего занимали Фредерика разговоры. При его любви к путешествиям он наслаждался рассказами Дитмера о Востоке; его интерес ко всему театральному утолял Розенвальд, говоривший об опере, а суровая жизнь богемы показалась ему забавной сквозь призму той веселости, с которой Юссонэ в красочных тонах описал, как он провел целую зиму, питаясь одним только голландским сыром. Потом спор о флорентийской школе, возникший между Ловариасом и Бюрёе, открыл ему целые сокровища, расширил его горизонт, и он уже едва сдерживал свой восторг, когда Пеллерен воскликнул:

— Оставьте меня в покое с вашей отвратительной реальностью! Что это значит — реальность? Одни видят черное, другие — голубое, большинство видят глупое. Нет ничего менее естественного, чем Микеланджело, и ничего более замечательного. Забота о внешнем правдоподобии обличает современную низость, и если так будет продолжаться, искусство превратится бог весть в какую ерунду, оно станет менее поэтичным, чем религия, и менее занимательным, чем политика. Его цели, — да, цели, заключающейся в том, чтобы возбуждать в нас восторг не личного характера, — вы не достигнете какими-либо пустячками, как бы вы ни ухищрялись, отделывая их. Взять, например, картины Бассолье: мило, нарядно, чисто и не тяжеловесно! Можно положить в карман, взять с собой в дорогу. Нотариусы платят за такие вещи по двадцать тысяч франков, а идеи тут на три су; но без идеи не может быть ничего великого! Без величия не может быть ничего прекрасного! Олимп — это гора! Самым потрясающим памятником неизменно останутся пира-

миды! Лучше излишество, чем умеренность, пустыня, чем трогуар, дикарь, чем парикмахер!

Слушая эти слова, Фредерик глядел на г-жу Арну. Они проникали в его сознание, как куски металла падают в горнило, они сливались с его страстью и претворялись в любовь.

Он сидел через три места от нее, на той же стороне стола. Время от времени она слегка наклонялась и поворачивала голову, чтобы сказать несколько слов своей дочке; она улыбалась, и на щеке у нее появлялась ямочка, придававшая ее лицу выражение еще большей мягкости и доброты.

Когда были поданы ликеры, она скрылась. Разговор стал очень вольным; г-н Арну в нем блистал, и Фредерик был удивлен цинизмом всех этих мужчин. Но как бы то ни было, интерес к женщинам словно устанавливал между ним и ими равенство, поднимавшее Фредерика в собственном мнении.

Вернувшись в гостиную, он приличия ради взял один из альбомов, лежавших на столе. Крупнейшие современные художники украсили его своими рисунками, заполнили его страницы прозой, стихами или просто-напросто оставили автограф; среди знаменитых имен встречалось много неизвестных, а любопытные мысли лишь мелькали среди потока глупостей. Все они содержали более или менее прямые похвалы г-же Арну. Фредерику страшно было бы написать здесь хоть одну строчку.

Она пошла в будуар принести ларец с серебряными застегками, который он заметил на камине. Это был подарок ее мужа, работа времен Возрождения. Друзья Арну хвалили его покупку, жена благодарила; он почувствовал прилив нежности и при всех поцеловал ее.

Разговор продолжался, гости расположились группами, старик Мейнсюс сидел с г-жой Арну на диванчике у камина; она наклонялась к его уху, их головы соприкасались, и Фредерик согласился бы стать глухим, немощным и безобразным ради громкого имени и седых волос, словом, лишь бы обладать чем-то таким, что дало бы ему право на подобную близость. Он терзался в душе, негодуя на свою молодость.

Но она перешла в тот угол гостиной, где был он, спросила его, знаком ли он с кем-нибудь из гостей, любит ли живопись, давно ли учится в Париже. Каждое слово, произнесенное ею, казалось ему чем-то новым, возможным только в ее устах. Он внимательно разглядывал бахрому ее головного убора, касавшуюся одним краем ее обнаженного плеча, и не отрывал от него взгляда, мысленно погружаясь в белизну этого женского тела; однако он не смел поднять глаза, посмотреть ей прямо в лицо.

Розенвальд прервал их беседу, попросив г-жу Арну что-нибудь спеть. Он взял несколько аккордов, она ждала; губы

ее приоткрылись, и понеслись чистые протяжные ровные звуки.

Фредерик не понял итальянских слов песни.

Она начиналась в торжественном ритме, напоминавшем церковный напев, потом музыка оживлялась в нарастающем движении, шли звонкие раскаты, и вдруг все замирало; тогда широко и медленно возвращалась нежная начальная мелодия.

Г-жа Арну стояла у рояля, опустив руки, глядя куда-то в пространство. Порою, чтобы прочесть ноты, она щурила глаза и на миг вытягивала шею. Ее контральто на низких нотах принимало зловещий оттенок, от него веяло холодом, и ее прекрасное лицо, с длинными бровями, склонялось к плечу; грудь ее вздымалась, она разводила руками, томно откидывала голову, словно кто-то бесплотный целовал ее, а рулады продолжали нестись; она взяла три высоких ноты, спустилась вниз, затем снова взяла еще более высокую ноту и, после паузы, кончила фермато.

Розенвальд остался у рояля. Он продолжал играть для себя. Время от времени кто-нибудь из гостей исчезал. В одиннадцать часов, когда уходили последние, Арну вышел с Пеллереном под предлогом, что проводит его. Он был из числа тех, которые чувствуют себя больными, если не «пройдутся» после обеда.

Г-жа Арну вышла в переднюю; Дитмер и Юссонэ поклонились ей, она протянула им руку; она протянула ее и Фредерику, и он всем существом ощутил это прикосновение.

Он простился со своими приятелями; ему надо было остаться одному. Сердце его было переполнено. Почему она протянула ему руку? Был ли то необдуманный жест или знак поощрения? «Да полно, я с ума сошел». Впрочем, не все ли равно, раз он может теперь посещать ее когда угодно, дышать тем же воздухом, что она?

На улицах было безлюдно. Изредка проезжала тяжелая повозка, сотрясая мостовую. Дома следовали один за другим — серые фасады, закрытые окна; и он с пренебрежением думал о всех этих человеческих существах, которые спят за этими стенами, живут, не видя ее и даже не подозревая, что она существует. Он утратил представление о пространстве, о месте, где находился, ничего не помнил и, стуча каблуками, ударя тростью по ставням лавок, шел все прямо вперед, наугад, растерянный, послушный какому-то влечению. Его охватило сыростью. Он понял, что стоит на одной из набережных.

Фонари блестя двумя прямыми бесконечными линиями, и длинные красные языки дрожали в воде, уходя в глубину. Вода была аспидного цвета, а небо, менее темное, как будто опиралось на сумрачные громады, возвышавшиеся по обеим

сторонам реки. Здания, которых не было видно, еще усиливали мрак. Над крышами плыл светящийся туман; все шумы сливались в одно гудение; дул легкий ветерок.

Дойдя до середины Нового моста, Фредерик остановился; сняв шляпу, открыв грудь, он вдыхал воздух. И он чувствовал, как из глубины его существа подымается нечто неиссякаемое, прилив нежности, расслаблявший его, как движение воды перед глазами. На церковной башне медленно пробило час, словно чей-то голос позвал его.

В этот миг им овладел тот трепет души, когда кажется, что вы переноситесь в высший мир. Необыкновенный талант,— к чему, он сам еще не знал,— внезапно родился в нем. Он серьезно спрашивал себя, быть ли ему великим живописцем или великим поэтом, и выбрал живопись, ибо это занятие может приблизить его к г-же Арну. Так, значит, он нашел свое призвание! Цель его жизни теперь ясна, а будущее непреложно.

Он запер дверь и услышал, как кто-то храпит в темном чулане рядом с его комнатой. То был его товарищ. Он о нем и забыл.

В зеркале он увидел свое лицо. Он нашел, что хорош собой, и остановился на минуту поглядеть на себя.

V

Утром на следующий день он купил ящик с красками, кисти, мольберт. Пеллерен согласился давать ему уроки, и Фредерик привел его к себе на квартиру посмотреть, не упустил ли он чего-нибудь, нужного для живописи.

Делорье уже вернулся. А в другом кресле сидел какой-то молодой человек. Клерк показал на него:

— Вот он! Это Сенекаль.

Фредерику он не понравился. Лоб его казался выше благодаря тому, что волосы были подстрижены бобриком. Что-то жесткое и холодное сквозило в его серых глазах, а от длинного черного сюртука, от всей одежды так и несло педагогикой, церковными поучениями.

Сперва разговор шел о новостях дня, между прочим о «Stabat Mater» Россини; когда спросили мнение Сенекалья, он заявил, что никогда не бывает в театре. Пеллерен открыл ящик с красками.

— Это все для тебя? — спросил клерк.

— Да, конечно!

— Ну? Вот затея!

И он наклонился к столу, за которым математик-репетитор перелистывал том Луи Блана. Он принес его с собою и теперь вполголоса читал оттуда отдельные места, между тем как Пел-

лерен и Фредерик вместе рассматривали палитру, шпатель, тюбики с красками; потом они заговорили об обеде у Арну.

— У торговца картинами? — спросил Сенекаль. — Хорош гусь, нечего сказать!

— А что? — сказал Пеллерен.

Сенекаль ответил:

— Человек, который выколачивает монету политическими гнусностями.

И он заговорил о знаменитой литографии, на которой изображено все королевское семейство, занятое вещами назидательными: в руках у Луи-Филиппа свод законов, у королевы молитвенник, принцессы вышивают, герцог Немурский пристегивает саблю; г-н де Жуанвиль показывает младшим братьям географическую карту; в глубине видна двуспальная кровать. Эта картинка, носившая название «Доброе семейство», радовала буржуа, но огорчала патриотов. Пеллерен раздраженным тоном, словно он был автор, ответил, что одно мнение стоит другого. Сенекаль возражал. Искусство должно иметь единственной целью нравственное совершенствование масс! Следует прибегать лишь к таким сюжетам, которые побуждают к добродетельным поступкам, все остальные вредны.

— Все зависит от выполнения! — кричал Пеллерен. — Я могу создать шедевр!

— Если так, тем хуже для вас! Никто не имеет права...

— Что?

— Да, сударь, никто не имеет права возбуждать во мне интерес к тому, что я осуждаю. К чему нам старательно сработанные безделки, из которых нельзя извлечь никакой пользы, скажем, все эти Венеры, все ваши пейзажи? Я тут не вижу ничего поучительного для народа. Лучше покажите нам его горести, заставьте нас преклоняться перед жертвами, которые он приносит! Ах, боже мой, в сюжетах недостатка нет: ферма, мастерская...

Пеллерен заикался от возмущения; ему показалось, что он нашел довод:

— Мольера вы признаете?

— Да! — сказал Сенекаль. — Я восхищаюсь им как предтечей французской революции.

— Ах! Революция! Где там искусство! Никогда не было более жалкой эпохи!

— Более великой, сударь!

Пеллерен скрестил руки и взглянул на него в упор:

— Из вас, по-моему, вышел бы отличный солдат национальной гвардии!

Противник, привыкший к спорам, отвечал:

— Я в ней не состою и ненавижу ее так же, как вы. Но по-

добными принципами развращают массы! Это, впрочем, и входит в расчеты правительства; оно не было бы так сильно, если бы его не поддерживала целая свора.

Художник встал на защиту торговца, ибо мнения Сенекаля вывели его из себя. Он даже решился утверждать, что у Жака Арну поистине золотое сердце, что он предан своим друзьям, нежно любит жену.

— О! О! Если бы ему предложить хорошую сумму, он не отказался бы сделать из нее натурщицу.

Фредерик побледнел:

— Наверно, он вас очень обидел, сударь?

— Меня? Нет! Я видел его один лишь раз, в кафе, с приятелем. Вот и все.

Сенекаль говорил правду. Но рекламы «Художественной промышленности» изо дня в день раздражали его. Арну был в его глазах представителем среды, которую он считал губительной для демократии. Суровый республиканец, он во всяком проявлении изящества подозревал испорченность, сам же был лишен всяких потребностей и отличался непоколебимой честностью.

Разговор уже не клеился. Художник вскоре вспомнил о назначенной встрече, репетитор — о своих учениках; когда они ушли, Делорье, после долгого молчания, стал задавать разные вопросы об Арну.

— Со временем представишь меня, не правда ли, старина?

— Конечно,— сказал Фредерик.

Потом они стали думать, как им устроиться. Делорье без труда получил место второго клерка у адвоката, записался на юридический факультет, купил необходимые книги, и жизнь, о которой они так мечтали, началась.

Она была прекрасна благодаря очарованию молодости. Делорье не заговаривал о денежных делах, и Фредерик о них не говорил. Он производил все расходы, убирал в шкафу, занимался хозяйством; но если надо было отчитать привратника, за это брался клерк, продолжая и теперь, как в коллеже, играть роль покровителя и старшего.

Целый день они не виделись и встречались только вечером. Каждый садился на свое место у камина и принимался за работу. Но вскоре они ее бросали. И не было конца излишним, приступам беспричинной веселости, а порою случались и ссоры — из-за накопившей лампы или затерянной книги, минутные вспышки гнева, разрешавшиеся смехом.

Дверь в дровяной чулан оставалась открыта, так что и лежа в постелях они еще могли болтать.

Утром они без сюртуков расхаживали по балкону; вставало солнце, над рекой зыбился легкий туман, с цветочного

рынка, который был поблизости, долетали визгливые крики, а дымок от их трубок клубился в чистом воздухе, освежавшем их заспанные глаза; вдыхая его, они чувствовали веяние необъятных надежд, разлитых всюду.

По воскресеньям, если не было дождя, они вместе выходили и, взявшись под руку, шли по улицам. Очень часто у них возникала одна и та же мысль, иногда, разговаривая, они ничего не видели вокруг себя. Делорье стремился к богатству как к средству властвовать над людьми. Ему хотелось бы приводить в движение как можно больше народа, делать побольше шума, иметь трех секретарей в своем распоряжении и раз в неделю давать большой политический обед. Фредерик обставлял себе дворец в мавританском вкусе, где он мог бы проводить жизнь лежа на диванах, обитых турецкой тканью, под журчанье водометов, и где ему прислуживали бы негры-пажи; и все эти предметы мечтаний приобретали в конце концов такую осязательность, что он приходил в отчаяние, как будто утратил их.

— К чему говорить обо всем этом,— говорил он,— раз у нас никогда этого не будет?

— Как знать! — замечал Делорье.

Несмотря на свои демократические взгляды, он советовал Фредерику завязать знакомство с Дамбрёзами. Тот ссылался на свои попытки.

— Полно. Зайди еще! Тебя пригласят.

В середине марта они, в числе других довольно крупных счетов, получили счет из кухмистерской, где брали обеды. Фредерик, не имея всей требуемой суммы, занял сто экю у Делорье; две недели спустя он обратился к нему с подобной же просьбой, и клерк пробрал его за то, что он тратит так много у Арну.

Тут он действительно не соблюдал умеренности. Вид Венеции, вид Неаполя, вид Константинополя занимали в его комнате три стены, тут и там висели этюды коней Альфреда де Дрё, на камине стояла скульптура Прадье, на рояле валялись номера «Художественной промышленности», на полу в углах — папки, и от всего этого становилось так тесно, что некуда было положить книгу, трудно двинуть локтем. Фредерик уверял, что все это ему нужно для живописи.

Он работал у Пеллерена. Но Пеллерена часто не бывало дома, ибо он имел обыкновение присутствовать на всех похоронах и при всех событиях, о которых газетам полагалось давать отчет, и Фредерик целые часы проводил в мастерской совершенно один. Тишина большой комнаты, где слышно было только, как возятся мыши, свет, падавший с потолка, даже гудение в печи — все составляло тот своеобразный духовный

уют, который его здесь окружал. Потом его глаза, оторвавшись от работы, начинали блуждать по облупившейся стене, по безделушкам на этажерке, торсам, покрытым густою пылью, как лоскутками бархата, и, точно путник, который сбился в лесу с пути и которого все тропинки приводят все к одному и тому же месту, Фредерик в глубине каждой своей мысли находил воспоминание о г-же Арну.

Он назначал себе день, когда пойдет к ней; поднявшись на третий этаж и уже стоя у ее дверей, он не сразу решался позвонить. Вот приближались шаги; дверь отворялась, и когда он слышал слова: «Барыни нет дома»,— ему как будто возвращали свободу, с сердца сваливалась тяжесть.

Все же иногда он заставал ее. В первый раз у нее были три дамы; в другой раз — тоже под вечер — пришел учитель чистописания м-ль Марты. Мужчины, которых принимала у себя г-жа Арну, с визитами не являлись. Фредерик, из скромности, больше не заходил.

Но чтобы получить приглашение на обед в четверг, он каждую среду неизменно появлялся в «Художественной промышленности» и оставался там дольше всех, дольше даже, чем Режембар, до последней минуты, делая вид, что рассматривает гравюру, пробегает газету. Наконец Арну говорил ему: «Вы завтра вечером свободны?» Приглашение он принимал прежде, чем фраза доводилась до конца. Арну как будто привязался к нему. Он учил его разбираться в винах, варить пунш, готовить рагу из бекасов; Фредерик покорно следовал его советам,— он любил все, что было связано с г-жой Арну: ее мебель, ее прислугу, ее дом, ее улицу.

Он безмолвствовал во время этих обедов; он созерцал ее. На правом виске у нее была маленькая родинка, волосы, гладко зачесанные на уши, были более темны, чем вся прическа, и всегда как будто немного влажны по краям; она время от времени приглаживала их двумя пальцами. Он изучил форму каждого ее ногтя, наслаждался шелестом ее шелкового платья, когда она проходила в дверь, украдкой вдыхал аромат ее носового платка; ее гребень, ее перчатки, ее кольца были для него вещами особенными, значительными, как произведения искусства, почти живыми, как человеческие существа; все они волновали его сердце и усиливали его страсть.

У него не хватало выдержки скрыть ее от Делорье. Когда он возвращался от г-жи Арну, то будил его, как бы нечаянно, лишь бы поговорить о ней.

Делорье, спавший в дровяном чулане около умывальника, продолжительно зевал. Фредерик садился на постель у него в ногах. Сперва он говорил об обеде, потом рассказывал о множестве незначительных мелочей, в которых видел

знаки презрения или расположения к нему. Однажды, например, она не пошла с ним под руку, предпочла идти с Дитмером, и Фредерик был в отчаянии.

— Ах, что за вздор!

А как-то раз она его назвала своим «другом».

— Если так, будь смелей!

— Да я не решаюсь,— говорил Фредерик.

— Ну, тогда и не думай о ней! Спокойной ночи!

Делорье повертывался к стене и засыпал. Он не понимал этой любви, которую считал последней юношеской слабостью; а так как их близость его уже, очевидно, не удовлетворяла, ему пришла в голову мысль собирать раз в неделю общих друзей.

Друзья приходили по субботам, часов около девяти.

Все три алжирские занавески бывали аккуратно задернуты, лампы и четыре свечи зажжены; посреди стола ставился картуз с табаком и трубками, а вокруг него — бутылки пива, чайник, графин с ромом и печенье. Спорили о бессмертии души, сравнивали профессоров.

Однажды Юссонэ привел на вечер высокого молодого человека, одетого в сюртук с чересчур короткими рукавами и, видимо, стеснявшегося. Это был тот самый парень, которого они в прошлом году хотели выволочь из участка.

Так как он не мог возратить картонку с кружевами, потерянную во время свалки, хозяин обвинил его в воровстве и грозил судом; теперь он служил приказчиком в транспортной конторе. Юссонэ встретился с ним утром на улице и привел его, так как Дюссардьё, из благодарности, захотел повидать и «другого».

Он протянул Фредерику портсигар, еще совершенно полный, ибо с благоговением берег его, надеясь вернуть. Молодые люди пригласили его заходить. Он стал у них бывать.

Все чувствовали друг к другу приязнь. Их ненависть к правительству была возведена в степень неоспоримого догмата. Один только Мартинон пробовал защищать Луи-Филиппа. Против него пускали в ход все общие места, примелькавшие в газетах: возведение укреплений вокруг Парижа, сентябрьские законы, Притчарда, лорда Гизо,— так что Мартинон умолкал, опасаясь кого-нибудь задеть. В коллеже он за семь лет ни разу не был наказан, а теперь на юридическом факультете умел нравиться профессорам. Обычно он ходил в широком рыжем сюртуке, носил резиновые калоши; но в один из вечеров он явился одетый прямо женихом: на нем был бархатный жилет, белый галстук, золотая цепочка.

Удивление возросло, когда стало известно, что он от г-на Дамбрёза. Банкир действительно купил на днях у отца Мар-

тинона крупную партию леса; старик представил ему сына, и Дамбрёз пригласил обоих к обеду.

— Много ли там было трюфелей? — спросил Делорье. — Удалось ли тебе обнять его супругу где-нибудь в дверях *sicut decet*?¹

Тут разговор коснулся женщин. Пеллерен не допускал, что могут быть красивые женщины (он предпочитал тигров); вообще самка человека — существо низшее в эстетической иерархии.

— То, что пленяет вас в ней, как раз и снижает ее как идею; я имею в виду волосы, грудь...

— Однако, — возразил Фредерик, — длинные черные волосы, большие черные глаза...

— О! Знаем! — воскликнул Юссонэ. — Довольно андалузок среди зелени лугов! Античность? Слуга покорный! Ибо в конце концов — надо же сказать правду — какая-нибудь лоретка много занятнее Венеры Милосской! Будем же галлами, чорт возьми! Будем жить, коли сумеем, как в дни Регентства!

Струись, вино; вы, девы, улыбайтесь!

От брюнетки поспешим к блондинке! Согласны вы, дядюшка Дюссардьё?

Дюссардьё не отвечал. Все пристали к нему, чтобы узнать его вкусы.

— Ну, так вот, — сказал он краснея, — я хотел бы любить всегда одну и ту же!

Это было сказано так, что на миг наступило молчание: одних изумило его чистосердечие, а другим в его словах открылось то, о чем они, быть может, втайне мечтали сами.

Сенекаль поставил свою кружку пива на дверной карниз и догматическим тоном заявил, что проституция — тирания, а брак — безнравственность, и поэтому лучше всего воздержание. Делорье смотрел на женщин как на развлечение, — только и всего. Г-ну де Сизи они внушали всякого рода опасения.

Ему, воспитанному под наблюдением благочестивой бабушки, общество этих молодых людей представлялось заманчивым, словно какой-нибудь притон, и поучительным, словно Сорбонна. На уроки для него не скупилась; и он проявлял величайшее усердие, вплоть до того, что пробовал курить, невзирая на тошноту, всякий раз мучившую его после курения.

Фредерик окружал его заботами. Он восторгался оттенками его галстуков, мехом его пальто и в особенности ботинками, тонкими, как перчатки, вызывающе изящными и блестящими; внизу на улице его всегда ждал экипаж.

¹ Как приличествует (лат.).

Однажды после его отъезда,— а в тот вечер шел снег,— Сенекаль принялся жалеть его кучера. Потом направил свое красноречие против желтых перчаток, против Жокей-клуба. Любого рабочего он ставит выше, чем этих господ.

— Я-то по крайней мере тружусь, я беден!

— Оно и видно,— сказал, наконец, Фредерик, потеряв терпение.

Репетитор затаил на него злобу за эти слова.

Но вот, услышав как-то раз от Режембара, что он немного знает Сенекалья, Фредерик захотел оказать любезность приятелю Арну и пригласил его бывать; встреча обоим патриотам была приятна.

Впрочем, друг от друга они отличались.

Сенекаль, у которого голова была клином, признавал только системы. Режембар, напротив, видел в фактах только факты. Его беспокоил главным образом вопрос о рейнской границе. Он утверждал, что понимает толк в артиллерийском деле, и одевался у портного Политехнической школы.

Когда ему, в первое его посещение, предложили пирожного, он с презрением пожал плечами и сказал, что это годится лишь для женщин; в следующие разы он оказался не более учтив. Как только суждения собеседников затрагивали предметы более высокие, он бормотал: «О! Только без утопий! Без фантазий!» В области искусства (хоть он и посещал мастерские, где иногда, из любезности, давал урок фехтования) взгляды его не отличались глубиной. Он сравнивал стиль г-на Мараста со стилем Вольтера, г-жу де Сталь с м-ль Ватназ — только потому, что последняя написала «весьма смелую оду в честь Польши». И, наконец, Режембар раздражал всех и в особенности Делорье, ибо он, гражданин, был свой человек у Арну. А клерк жаждал попасть к ним в дом, надеясь завязать там полезные знакомства. «Когда же ты поведешь меня к ним?» — спрашивал он Фредерика. Но Арну то был чрезмерно занят делами, то собирался куда-нибудь ехать; потом оказывалось, что вообще уже не стоит, так как скоро обеды прекратятся.

Если бы ради друга надо было рискнуть жизнью, Фредерик не отступил бы. Но так как он стремился выставить себя в самом выгодном свете, следил за своими выражениями, манерами, костюмом и даже в «Художественную промышленность» являлся всегда в безукоризненных перчатках, то он боялся, как бы Делорье, в старом черном фраке, своими судейскими замашками и самоуверенностью в разговоре не произвел дурного впечатления на г-жу Арну, что могло бы скомпрометировать и его, унизив в ее глазах. Против других он не возражал, но именно этот человек стеснил бы его в тысячу

раз больше, чем остальные. Клерк заметил, что он не хочет исполнить обещанного, и молчание Фредерика казалось ему еще большим оскорблением.

Он хотел бы руководить им во всем, видеть, как он развивается в согласии с идеалами их юности, и праздность Фредерика возмущала его, как непослушание и как измена. К тому же Фредерик, всецело занятый мыслями о г-же Арну, часто говорил о ее муже, и Делорье придумал невыносимый способ дразнить его, состоявший в том, что он раз сто в день в конце каждой фразы, словно маниак-идиот, повторял фамилию Арну. На стук в дверь он отвечал: «Войдите, Арну!» В ресторане он заказывал бри «по образцу Арну», а ночью, прикидываясь, что у него кошмар, будил приятеля воплем: «Арну! Арну!»

Наконец Фредерик, изнемогая, сказал ему как-то жалобным тоном:

— Да оставь ты меня в покое с этим Арну!

— Ни за что! — ответил клерк:

Он всюду, он во всем, то хладный, то палящий,
Встает Арну...

— Да замолчи же! — закричал Фредерик, сжимая кулаки. И кротко добавил:

— Ты ведь знаешь, мне тяжело говорить на эту тему.

— О! Извини, старина, — ответил Делорье, поклонившись весьма низко, — теперь мы примем в расчет нервы благородной девицы! Еще раз прошу прощения! Тысяча извинений! Так был положен конец насмешкам.

Но три недели спустя, как-то вечером, он сказал Фредерику:

— А знаешь, я сегодня видел госпожу Арну!

— Где?

— В суде, с адвокатом Баландаром; брюнетка, среднего роста — так ведь?

Фредерик в знак подтверждения кивнул. Он ждал, что Делорье будет говорить. При малейшем слове восхищения он излил бы всю душу, готов был бы обожать его; тот все молчал; наконец Фредерик, которому не терпелось, равнодушным тоном спросил, что он думает о ней.

Делорье находил, что она «недурна, но все же ничего особенного».

— А, ты находишь? — сказал Фредерик.

Наступил август месяц, время держать второй экзамен. По общему мнению, двух недель было достаточно, чтобы подготовиться к нему. Фредерик, не сомневаясь в своих силах, сряду проглотил первые четыре книги Процессуального ко-

декса, первые три — Уложения о наказаниях, несколько отрывков из Уголовного судопроизводства и часть Гражданского судопроизводства с примечаниями г-на Понселе. Накануне экзамена Делорье заставил его взяться за повторение, которое продолжалось до утра, а чтобы воспользоваться и последними минутами, он, уже идя с ним по улице, все не переставал его спрашивать.

Так как в одни и те же часы происходили экзамены по разным предметам, то во дворе было много народа, между прочим — Юссонэ и Сизи; когда дело шло о ком-нибудь из товарищей, было принято приходить на экзамен. Фредерик облекся в традиционную черную мантию; вместе с другими тремя студентами, сопровождаемый целой толпой, он вошел в большой зал, где на окнах не было занавесок, а вдоль стен тянулись скамьи. Посередине, вокруг стола, покрытого зеленым сукном, стояли кожаные стулья. Стол отделял кандидатов от господ профессоров, восседавших в красных одеяниях, с горностаем через плечо, в беретах с золотым галуном.

Фредерик был предпоследним в списке — скверное место. Отвечая на первый же вопрос — о разнице между условием и договором, — он перепутал определения, но профессор, славный малый, сказал ему: «Не смущайтесь, милостивый государь, успокойтесь!», потом, задав два легких вопроса, на которые получил неясный ответ, перешел, наконец, к четвертому. Фредерик был расстроен столь плохим началом. Из публики Делорье знаками давал ему понять, что не все еще потеряно, и второй его ответ — на вопрос из уголовного права — оказался сносным. Но после третьего, связанного с тайным завещанием, тревога Фредерика усилилась: профессор все время оставался бесстрастным. Юссонэ уже складывал руки для аплодисментов, а Делорье непрерывно пожимал плечами. Наконец пришла пора отвечать по судопроизводству! Дело шло о возражении со стороны третьих лиц. Профессор, неприятно удивленный тем, что ему приходится выслушивать теории, противоположные его собственным, резко спросил его:

— Это что же, милостивый государь, ваше мнение? Как же вы согласуете принцип статьи тысяча триста пятьдесят первой Гражданского кодекса с таким необыкновенным способом предъявлять иск?

У Фредерика очень болела голова — ведь он всю ночь не спал. Солнечный луч, проникнув в щель жалюзи, ударял ему прямо в лицо. Стоя за столом, он переминался с ноги на ногу и теребил усы.

— Я жду вашего ответа! — сказал человек в золотистом берете.

Жест Фредерика его, видимо, раздражал, и он добавил:
— В бороде вы его не отыщете!

Этот сарказм вызвал смех среди слушателей; польщенный профессор смягчился. Он задал ему еще два вопроса — о вызове в суд и об ускоренном судопроизводстве, затем опустил голову в знак одобрения; публичный экзамен был окончен. Фредерик вернулся в вестибюль.

Пока сторож снимал с него мантию, чтобы тотчас же надеть ее на другого, друзья окружили Фредерика и привели его в полное замешательство своими противоречивыми мнениями о результате экзамена. Этот результат вскоре был объявлен у входа в зал чьим-то звучным голосом:

«Номеру третьему... дана отсрочка!»

— Срезался! — сказал Юссонэ. — Идемте!

Около швейцарской им повстречался Мартинон, красный, взволнованный, со смеющимися глазами и с ореолом победы вокруг чела. Он только что благополучно сдал последний экзамен. Оставалась лишь диссертация. Через две недели он уже будет лицензиатом. Семья его знакома с министром, перед ним открывается «блестящая карьера».

— Этот все-таки тебя перегнал, — сказал Делорье.

Нет большего унижения, чем видеть глупца, преуспевающего там, где ты терпишь неудачу. Рассерженный Фредерик ответил, что ему наплевать. Стремления у него более высокие. А когда Юссонэ собрался уходить, Фредерик отвел его в сторону и сказал:

— У них, разумеется, об этом ни слова.

Сохранить секрет было легко, ибо Арну на следующий день уезжал в путешествие по Германии.

Вернувшись вечером домой, клерк нашел в своем друге странную перемену: он делал пируэты, насвистывал; а когда Делорье выразил свое удивление по этому поводу, он объявил, что не поедет к матери; на каникулах он будет заниматься.

Радость охватила его, когда он узнал, что Арну уезжает. Теперь он может являться туда, когда захочет, не опасаясь никакой помехи в своих посещениях. Уверенность в полной безопасности придаст ему отваги. Наконец-то он не будет вдали от *нее*, не будет разлучен с *нею*. Нечто более крепкое, чем железная цепь, приковывало его к Парижу, внутренний голос повелевал ему остаться.

Возникли препятствия. Он преодолел их, написав матери; прежде всего он признался в своей неудаче, вызванной изменениями в программе, — случайность, несправедливость; впрочем, все выдающиеся адвокаты (он приводил имена) проваливались на экзаменах. Но он рассчитывает снова держать их в ноябре. А так как времени ему нельзя терять, то в нынешнем

году он не поедет домой и просит, помимо денег, присылаемых ему на три месяца, еще двести пятьдесят франков — на занятия с репетитором, которые принесут ему большую пользу; все это было разукрашено сожалениями, утешениями, нежностями и заверениями в сыновней любви.

Г-жа Моро, ждавшая его на следующий день, вдвойне была огорчена. Она утаила его неудачу и ответила ему, чтобы он «все-таки приезжал». Фредерик не уступил. Начался разлад. Тем не менее к концу недели он получил деньги на три месяца и сумму, которая предназначалась репетитору, а в действительности послужила для уплаты за светлосерые панталоны, белую фетровую шляпу и трость с золотым набалдашником.

Когда все это оказалось в его распоряжении, он подумал: «А может быть, такая затея достойна парикмахера?»

И им овладели большие сомнения.

Чтобы решить, идти ли ему к г-же Арну, он три раза подбрасывал монету. Все три раза предзнаменование было благоприятно. Итак, то было веление судьбы. Фиакр отвез его на улицу Шуазель.

Он быстро поднялся по лестнице, потянул за шнур от звонка; звонок не зазвонил: Фредерик чувствовал, что вот-вот лишится чувств.

Тогда он с неистовой силой дернул тяжелую кисть красного шелка. Колокольчик зазвенел, потом постепенно замолк; и опять ничего не стало слышно. Фредерик испугался.

Он приложил ухо к двери; ни звука! Он заглянул в замочную скважину, но ничего не увидел в передней, кроме двух тростинок на фоне обоев с узором из цветов. Он собрался уже уходить, но передумал. На этот раз он совсем тихонько постучал. Дверь отворилась, и вот, со всклокоченными волосами, багровым лицом и недовольным видом, на пороге предстал сам Арну.

— Ба! Как это вас, чорт возьми, занесло? Входите!

Он ввел его, только не в будуар и не в свою комнату, а в столовую, где на столе стояла бутылка шампанского и два бокала; он отрывисто спросил:

— Вам, дорогой друг, что-нибудь нужно от меня?

— Да нет! Ничего, ничего! — пробормотал молодой человек, стараясь чем-либо объяснить свое посещение.

В конце концов Фредерик сказал, что пришел справиться о нем, так как слышал от Юссонэ, будто он в Германии.

— Ни в коем случае! — ответил Арну. — Что за куриные мозги у этого молодца, все слышит наизуот.

Чтобы скрыть свое замешательство, Фредерик расхаживал взад и вперед по комнате. Зацепившись за ножку стула, он уронил зонтик, лежавший на нем; ручка слоновой кости разбилась.

— Боже мой! — воскликнул он. — Как мне жаль, что я разбил зонтик госпожи Арну!

При этих словах торговец поднял голову и как-то странно улыбнулся. Фредерик, воспользовавшись случаем заговорить о ней, робко спросил:

— А можно ее увидеть?

Она, оказывается, была у себя на родине, у больной матери.

Он не осмелился спросить, сколько продлится ее отсутствие. Он лишь спросил, откуда родом г-жа Арну.

— Из Шартра. Это вас удивляет?

— Меня? Нет! Почему? Нисколько!

Теперь им решительно не о чем было говорить. Арну, свернув папиросу, расхаживал кругом стола и отдувался. Фредерик, прислонившись к печке, рассматривал стены, шкаф, паркет, и прелестные образы вереницей тянулись в его памяти, вернее, перед его глазами. Наконец он вышел.

Обрывок газеты, скомканный в шарик, валялся на полу в передней; Арну поднял его и, встав на цыпочки, засунул в звонок, чтобы продолжить, как он выразился, нарушенный послеобеденный отдых. Потом, пожимая Фредерику руку, сказал:

— Пожалуйста, предупредите привратника, что меня нет дома!

И изо всей силы захлопнул за ним дверь.

Фредерик медленно спустился по лестнице. Неудача первой попытки лишала его надежды на дальнейший успех. Наступили три месяца, полных тоски. Занятий у него не было никаких, и безделье еще усиливало его печаль.

Он целыми часами глядел со своего балкона на реку, которая текла между сероватыми набережными, почерневшими кое-где от грязи сточных труб, на плот для стирки белья у самого берега, где мальчишки иногда забавлялись тем, что купали в илистой воде какого-нибудь пуделька. Не оборачиваясь налево, в сторону Каменного моста у собора Богоматери и трех висячих мостов, он всегда устремлял взгляд на набережную Вязов, на густые старые деревья, напоминавшие липы у пристани Монтеро. Башня св. Иакова, Ратуша, церкви св. Гервасия, св. Людовика, св. Павла возвышались прямо напротив, среди моря крыш, а на востоке, точно огромная золотая звезда, сверкал ангел Июльской колонны, меж тем как с другого края небосклона круглой громадой рисовался голубой купол Тюильри. В этом направлении, где-то там, дальше, должно было находиться жилище г-жи Арну.

Фредерик возвращался в комнату; он ложился на диван и предавался беспорядочным думам — о планах работ, о том, как себя вести, о будущем, к которому рвался. Наконец, чтобы уйти от самого себя, он отправлялся на улицу.

Он шел, куда глаза глядят, по Латинскому кварталу, обычно столь шумному, но в эту пору пустынному, так как студенты разъезжались по домам. Длинные стены учебных заведений, как будто еще более растянувшиеся от этого безмолвия, стали еще угрюмее; мирная повседневность давала о себе знать всякого рода шумами: птица билась в клетке, скрипел токарный станок, сапожник стучал молотком, а старьевщики, бредя посреди улицы, тщетно вопрошали взглядом каждое окно. В глубине безлюдных кафе продавщицы зевали между полными графинами; газеты лежали в порядке на столах читален; в прачечной от порывов теплого ветра колыхалось белье. Время от времени он останавливался перед лавкой букиниста; omnibus, который проезжал мимо, задевая тротуар, заставлял его обернуться; а добравшись до Люксембургского сада, он дальше уже и не шел.

Иногда надежда чем-нибудь развлечься притягивала его к бульварам. Из темных переулков, где веяло сыростью, он попадал на большие пустынные площади, залитые солнцем, а от какого-нибудь памятника на мостовую падала черная зубчатая тень. Но вот опять начинали грохотать повозки, опять тянулись лавки, и толпа оглушала его — особенно по воскресеньям, когда от самой Бастилии вплоть до церкви св. Магдалины среди пыли, среди несмолкающего шума неся по асфальту огромный зыблющийся людской поток; его прямо тошнило от пошлости всех этих лиц, глупости разговоров, дурацкого самодовольства, написанного на потных лбах. Однако сознание, что сам он стоит выше этих людей, ослабляло усталость от этого зрелища.

Каждый день Фредерик ходил в «Художественную промышленность», а чтобы узнать, когда вернется г-жа Арну, очень странно расспрашивал о здоровье ее матери. Ответ Арну оставался неизменным: «Дело идет на поправку, жена с девочкой вернутся на будущей неделе». Чем дольше она медлила с возвращением, тем больше беспокойства проявлял Фредерик, так что Арну, тронутый этим сочувствием, раз пять — шесть приглашал его обедать в ресторан.

Во время этих длительных свиданий с глазу на глаз Фредерик понял, что торговец картинами не блещет умом. Но Арну мог заметить охлаждение, и к тому же надо было хоть в некоторой степени отплатить ему за его любезности.

Желая устроить все как можно лучше, он продал старьевщику за восемьдесят франков все новые свои костюмы и, прибавив к этой сумме сотню, остававшуюся у него, пошел к Арну пригласить его на обед. Там оказался Режембар. Пошли в ресторан «Трех провансальских братьев».

Гражданин прежде всего снял сюртук и, уверенный в одо-

брении своих сотрапезников, составил меню. Но хотя он и отправлялся на кухню, чтобы самолично переговорить с поваром, спускался в погреб, все закоулки которого он знал, и вызывал хозяина ресторана, причем «намылил ему голову»,— его не удовлетворили ни кушанья, ни вина, ни сервировка. При каждом новом блюде, при каждой новой марке вина он, после первого же куса, первого же глотка, бросал вилку или отодвигал бокал; потом, поставив локти на стол, вопил, что в Париже невозможно стало пообедать. Наконец, не зная, какое блюдо придумать, Режембар заказал себе «попросту» бобов на прованском масле, которые, хоть и не вполне удались, все же несколько умиротворили его. Затем у него завязался с лакеем диалог о прежних лакеях у «Провансальских братьев»: «Что случилось с Антуаном? А с неким Эженом? А с Теодором, тем маленьким, что прислуживал всегда внизу? В ту пору еда здесь была куда более тонкая, а бургонское — такое, какого никогда уж и не встретишь!»

Потом речь зашла о ценах на земли в пригородах в связи с какой-то спекуляцией Арну, беспроектной. Пока что он терял на процентах. Так как он ни за что не соглашался продавать, Режембар предложил свести его с одним человеком, и оба принялись с карандашом в руках за какие-то вычисления, продолжавшиеся до конца десерта.

Кофе пошли пить в пассаж Сомон, в кофейню, помещавшуюся на антресолях. Фредерик, все время стоя, следил за бесконечными партиями на бильярде, за которыми следовали бесчисленные кружки пива; и он пробыл тут до полуночи, сам не зная зачем, из малодушия, по глупости или в смутной надежде на какую-нибудь случайность, благоприятную для его любви.

Когда же он вновь увидит ее? Фредерик приходил в отчаяние. Но однажды вечером, в конце ноября, Арну сказал ему: — Знаете, вчера вернулась жена!

На следующий день, в пять часов, он уже входил к ней.

Он начал поздравлять ее с выздоровлением матери, которая была так тяжело больна.

— Да нет. Кто вам сказал?

— Арну!

У нее вырвалось легкое «а-а!»; потом она прибавила, что сперва у нее были серьезные опасения, но теперь все прошло.

Она сидела у камина в глубоком вышитом кресле. Он расположился на диване, шляпу держал на коленях, и разговор был томительный; она каждую минуту умолкала; он не находил повода заговорить о своих чувствах. А когда он пожаловался, что должен изучать о крючкотворство, она сказала: «Да... я понимаю... процессы!» и склонила голову, внезапно поглощенная какими-то мыслями.

Он жаждал их узнать, уже и не думал ни о чем ином. Наступали сумерки, сгущая тени вокруг.

Она встала, так как ей надо было выйти по делу, потом появилась вновь в бархатной шляпке и черной накидке, отороченной беличьим мехом. Он осмелился предложить себя в провожатые.

Уже совсем стемнело, погода была холодная, и густой зловонный туман заволакивал фасады домов. Фредерик вдыхал его с наслаждением — ведь сквозь ватную подкладку он ощущал форму ее локтя, а ее ручка в замшевой перчатке на двух пуговицах, ее маленькая ручка, которую ему хотелось покрыть поцелуями, опиралась на его руку. Было скользко, и они шли не совсем твердой походкой; ему казалось, что их обоих, окутанных облаком, укачивает ветер.

Блеск фонарей на бульварах вернул его к действительности. Случай был подходящий, надо было спешить. Он решил, что признается в любви, когда минуют улицу Ришельё. Но почти в ту же минуту она остановилась у посудного магазина и сказала:

— Вот мы и дошли, благодарю вас. До четверга, не правда ли, как всегда?

Обеды возобновились, и чем чаще он бывал у г-жи Арну, тем большее испытывал томление.

Созерцание этой женщины изнуряло его, словно аромат слишком крепких духов. Он чувствовал, как что-то проникает в самые глубины его существа, подчиняя себе все другие его ощущения, становясь для него новой формой бытия.

Проститутки, встречавшиеся ему при свете газовых фонарей, певицы, выводившие рулады, наездницы, мчавшиеся галопом, мешанки, шедшие пешком, гризетки у своих окон — все женщины напоминали ее, в силу сходства или резкого контраста. Он смотрел на выставленные в лавках кашемировые шали, кружева и подвески из драгоценных камней, рисуя в своем воображении, как они драпируют ее стан, украшают ее корсаж, огнями сверкают в ее черных волосах. На лотках у цветочниц цветы распускались для того, чтобы, проходя мимо, она могла выбрать их; в витрине башмачника атласные туфельки, отороченные лебяжьим пухом, казалось, ждали ее ножек; все улицы вели к ее дому; экипажи на площадях стояли только для того, чтобы скорее можно было приехать к ней; Париж был связан с ней, и весь этот огромный город, полный стольких голосов, гудел, точно исполинский оркестр, вокруг нее.

Когда он приходил в Ботанический сад, вид пальмы уносил его в далекие страны. Вот они путешествуют вместе на спине верблюда, в палатке на слоне, в каюте яхты среди лазурного архипелага или рядом на двух мулах с бубенцами, спотыкающихся в траве о разбитые колонны. Порою он останавливался

в Лувре перед старинными полотнами, а так как любовь преследовала его и в былых веках, то лица на картинах он заменял образом любимой. Она в высоком головном уборе молилась на коленях за свинцовой решеткой окна. Властительница обеих Кастилий или Фландрии, она восседала в накрахмаленных брыжах и в стянутом лифе с пышными буфами. Или спускалась по огромной порфировой лестнице, окруженная сенаторами, в парчовом платье, под балдахином из страусовых перьев. А порою она представлялась его мечтам в желтых шелковых шальварах, на подушках, в гареме, и все, что было прекрасного,— мерцание звезд, мелодия, ритм фразы, какое-нибудь очертание,— все это внезапно и незаметно возвращало его помыслы к ней.

Но он был уверен, что всякая попытка сделать ее своей любовницей будет напрасна.

Однажды вечером Дитмер, войдя, поцеловал ее в лоб; Ловариас сделал то же самое и сказал:

— Вы позволите, не так ли? Это право друзей...

Фредерик пробормотал:

— Мне кажется, мы все здесь друзья?

— Но не все старые! — возразила она.

Это значило, что косвенным путем она уже заранее отвергает его.

Но что же делать? Сказать ей, что он ее любит? Она, наверно, попросит, чтобы он оставил ее, или даже с негодованием выгонит его из дома. Он же любые мучения предпочел бы страшной участи больше никогда не видеть ее.

Он завидовал таланту пианистов, шрамам солдат. Он мечтал об опасной болезни, надеясь хоть таким путем привлечь ее внимание.

Одно удивляло его — то, что он не ревновал к Арну; и он не мог представить себе ее иначе, как одетой, — настолько естественной казалась ее стыдливость, отодвигавшая ее пол в какую-то таинственную тень.

А меж тем он мечтал о счастье жить с нею, говорить ей «ты», подолгу гладить ее волосы или стоять перед ней на коленях, обняв ее стан, упиваться ее взглядом, в котором светилась ее душа. Для этого пришлось бы побороть злой рок; а он, неспособный к действию, проклиная бога и обвиняя себя в малодушии, метался в плену у своих желаний, как узник в каземате. Он задыхался от тоски, не оставлявшей его. Он целыми часами сидел неподвижно или вдруг разражался слезами; но однажды, когда у него нехватило сил сдержаться, Делорье сказал ему:

— Да что с тобою, чорт возьми?

Оказывается, Фредерик страдает нервами. Делорье не пове-

рил. Увидев такие муки, он почувствовал, как в нем пробуждается былая нежность к другу, и пытался вернуть ему бодрость. Такой человек, как он, и вдруг падает духом. Что за нелепость! В юности еще куда ни шло, но позднее — это только потеря времени.

— Ты мне портишь моего Фредерика! Я требую прежнего. Человек, еще порцию! Он был мне по вкусу! Ну, выкури трубку, скотина! Да встряхнись ты, ведь ты меня приводишь в отчаяние!

— Правда, — сказал Фредерик, — я с ума схожу!

Клерк продолжал:

— А, старый трубадур, я ведь знаю, что тебя печалит. Сердечко? Признайся-ка. Ерунда! Одну потеряем, четырех найдем. За добродетельных дам нас утешают другие. Хочешь, я познакомлю тебя с женщинами? Стоит только сходить в «Альгамбру». (Это были публичные балы, недавно открывшиеся в конце Елисейских Полей и потерпевшие крах уже в следующем сезоне, чему виной явилась роскошь, преждевременная для такого рода предприятий.) Там, говорят, весело. Съездим туда! Возьми, если хочешь, своих приятелей; я согласен даже на Ружембара!

Фредерик не пригласил Гражданина. Делорье обошелся без Сенекалья. Они захватили с собой только Юссонэ, Сизи и Дюссардьё, и один фиакр доставил всех пятерых к подъезду «Альгамбры».

Две галлерей в мавританском стиле, параллельные одна другой, тянулись справа и слева. Прямо против входа высилась стена дома, занимавшая весь задний план, а четвертая сторона (там, где был ресторан) изображала ограду монастыря, с цветными стеклами, в готическом вкусе. Над эстрадой, где играли музыканты, раскинулось нечто вроде китайского шатра; земля была покрыта асфальтом, а венецианские фонари, висевшие на столбах, казались издали венцом из разноцветных огней над толпой танцующих. То тут, то там на пьедестале покоилась каменная чаша, из которой поднималась струйка воды. Среди листвы виднелись гипсовые статуи — Гебы и купидонов, еще липкие от свежей масляной краски; а благодаря многочисленным аллеям, посыпанным яркожелтым песком и тщательно расчищенным, сад казался гораздо обширнее, чем был на самом деле.

Студенты прогуливались со своими возлюбленными; приказчики из модных лавок важно выступали, щеголяя тросточками; воспитанники коллежей закуривали сигары; старые холостяки расчесывали гребешком свои крашенные бороды; были тут англичане, русские, приезжие из Южной Америки, три восточных человека в фесках. Лоретки, гризетки, публичные женщины

пришли сюда в надежде найти покровителя, любовника, золотую монету или просто ради удовольствия потанцевать, и их платья, светлозеленые, темновишневые и фиолетовые, проносились, развеваясь, среди раkitника и сирени. Мужчины почти все были в костюмах из клетчатой материи, иные, несмотря на прохладный вечер, в белых панталонах. Зажигались газовые рожки.

Юссонэ, благодаря своим связям с модными журналами и мелкими театрами, знал многих женщин; он посылал им воздушные поцелуи и время от времени покидал друзей, чтобы поговорить с той или иной из них.

Делорье завидовал его развязности. Он нагло пристал к высокой блондинке в нанковом платье. Она угрюмо посмотрела на него и сказала: «Нет, любезный, никакого к тебе доверия!» — и пошла от него.

Он вновь попытал счастья — теперь с толстой брюнеткой, наверное сумасшедшей, ибо при первом же его слове она вскочила, грозя позвать полицию, если он не отстанет. Делорье натянуто рассмеялся; потом, увидев маленькую женщину, которая сидела в сторонке под фонарем, пригласил ее на кадриль.

Музыканты, сидевшие на эстраде в обезьяньих позах, пиликали и трубили вовсю. Капельмейстер, стоя, автоматическим движением отбивал такт. Все сбились в кучу и веселились; развязавшиеся ленты шляпок задевали за галстуки, сапоги путались в юбках; все ритмично подпрыгивали; Делорье прижимал к себе маленькую женщину и, охваченный неистовством канкана, бесновался среди танцующих пар, точно большая марионетка. Сизи и Дюссардье продолжали прогуливаться; молодой аристократ направлял лорнет на девиц, но, несмотря на угрозы приказчика, не смел заговорить с ними, воображая, будто у таких женщин «всегда спрятан в шкафу человек с пистолетом, выскакивающий оттуда, с тем чтобы заставить вас подписать вексель».

Они вернулись к Фредерику. Делорье уже не танцевал, и все были заняты мыслью, как же закончить вечер; вдруг Юссонэ воскликнул:

— А! Вот маркиза д'Амаэги!

Это была бледная женщина со вздернутым носом, в митенках до локтей, с длинными черными локонами, свисавшими на щеки, точно собачьи уши. Юссонэ сказал ей:

— Надо бы нам устроить у тебя маленький кутеж, восточный раут. Постарайся собрать кой-кого из подруг для этих французских рыцарей. Ну, что тебя смущает? Может быть, ты ждешь своего идадьго?

Андалузка стояла потупившись; зная отнюдь не роскошный образ жизни своего приятеля, она опасалась, как бы ей не при-

шлось расплачиваться за него. Но как только она заикнулась о деньгах, Сизи предложил пять наполеондоров, все содержимое своего кошелька; дело было решено. Однако Фредерик уже исчез.

Ему показалось, что он узнал голос Арну; он заметил дамскую шляпку и поспешил под сень боскета, тут же недалеко.

М-ль Ватназ была наедине с Арну.

— Извините! Я вам не помешал?

— Ничуть! — ответил торговец.

Из последних слов их разговора Фредерик понял, что Арну прибежал в «Альгамбру» поговорить с м-ль Ватназ о неотложном деле и, повидимому, был не совсем спокоен, так как спросил ее с тревогой в голосе:

— Вы вполне уверены?

— Вполне уверена! Вас любят! Ах, что за человек!

И она надулась на него, выпятив свои толстые губы, почти кровавого цвета — так они были накрашены. Зато у нее были чудесные глаза, карие с золотистыми отблесками в зрачках, умные, полные любви и чувственности. Они, точно лампы, озаряли ее желтоватое и худое лицо. Арну как будто наслаждался резкостью ее обращения. Он наклонился к ней и сказал:

— Вы так милы, поцелуйте же меня!

Она взяла его за уши и поцеловала в лоб.

В этот миг танцы прекратились, и на месте капельмейстера появился красивый молодой человек, чрезмерно полный, с белым, как воск, лицом; у него были длинные черные волосы, ниспадавшие на плечи, как у Христа, лазоревого цвета бархатный жилет, расшитый большими пальмовыми ветками, вид гордый, точно у павлина, и глупый, точно у индюка; поклонившись публике, он запел шансонетку. В ней крестьянин описывал свое путешествие в столицу; артист пел на нижненормандском наречии, изображая пьяного; а после припева:

То-то хохот, то-то смех
Там в Париже — прямо грех!

раздавался всякий раз топот, которым публика выражала свой восторг. Дельмас, этот мастер «выразительного пения», был слишком ловок, чтобы дать ему остыть. Ему поспешили вручить гитару, и он жалобно пропел романс под названием «Брат албанки».

Слова напомнили Фредерику песню, которую на пароходе, между двумя колесными кожухами, пел арфист в лохмотьях. Его глаза невольно устремлялись к краю платья, расстилавшегося перед ним. За каждым куплетом следовала длительная пауза, и шелест ветра, игравшего листвою, казался шумом волн.

М-ль Ватназ, раздвинув ветви бирючины, закрывавшие эстраду, пристально смотрела на певца; ее ноздри раздувались, глаза были прищурены, и вся она как будто отдавалась чувству глубокой сосредоточенной радости.

— Превосходно! — сказал Арну. — Я понимаю, почему вы нынче вечером в «Альгамбре»! Вам, моя милая, нравится Дельмас.

Она не хотела признаться.

— О! Какая стыдливость!

И он указал на Фредерика.

— Может быть, из-за него? Вы неправы. Нет более скромного юноши!

Остальные, искавшие своего приятеля, тоже вошли в зеленую беседку. Юссонэ их представил. Арну всем предложил сигары и угостил всю компанию шербетом.

М-ль Ватназ покраснела, увидев Дюссардье. Она вскоре поднялась со своего места и протянула ему руку:

— Вы не узнаете меня, господин Огюст?

— Откуда вы ее знаете? — спросил Фредерик.

— Мы вместе служили в одном магазине! — ответил он.

Сизи дергал его за рукав, они вышли; и едва они скрылись, как м-ль Ватназ начала восхвалять характер Дюссардье. Она даже прибавила, что «его сердце — это особый дар».

Потом завели речь о Дельмасае, который благодаря своей мимике мог бы рассчитывать на успех в театре; и завязался спор, в котором попадались вперемешку Шекспир, цензура, стиль, народ, сборы театра «Порт Сен-Мартен», Александр Дюма, Виктор Гюго и Дюмерсан. Арну был знаком с несколькими знаменитыми актрисами; молодые люди даже наклонились, чтобы лучше слышать его. Но слова его заглушал грохот музыки; а как только заканчивалась полька или кадрили, все бросались к столикам, подзывали официантов, хохотали; пробки от бутылок пива и шипучего лимонада хлопали в гущу листвы; женщины кудахтали, как куры; временами каких-нибудь два господина затевали драку; был задержан вор.

Музыка заиграла галоп, и танцоры наводнили аллеи. Запыхавшиеся, с покрасневшими и улыбающимися лицами, они летели вихрем, и от него развевались платья и фалды сюртуков; тромбоны ревели все громче; ритм ускорялся; за средневековой монастырской оградой послышался треск, стали разрываться ракеты; завертелися солнца; изумрудное сияние бенгальских огней целую минуту освещало весь сад, и при последней ракете у толпы вырвался глубокий вздох.

Расходились медленно. В воздухе плавало облако порохового дыма. Фредерик и Делорье шаг за шагом продвигались в толпе, как вдруг им представилось зрелище: Мартинон требовал

сдачу у вешалки, где хранятся зонты; он сопровождал даму лет пятидесяти, некрасивую, великолепно одетую и принадлежавшую неизвестно к какому общественному кругу.

— Этот молодчик,— сказал Делорье,— не так прост, как можно подумать. Но где же Сизи?

Дюссардьё показал на кабачок, в котором они увидели потомка рыцарей за чашей пунша, в обществе розовой шляпки.

Юссонэ, куда-то исчезнувший минут пять тому назад, появился вновь.

На руку его опиралась девушка, вслух называвшая его «котик».

— Перестань,— говорил он ей.— Перестань! Нельзя же на людях! Лучше называй меня виконтом! Это будет в стиле кавалера времен Людовика Тринадцатого и мягких сапог, что мне нравится. Да, дражайшие, это моя старая приятельница! Не правда ли, она мила?

Он взял ее за подбородок.

— Приветствуй этих господ! Они все сыновья пэров Франции! Я поддерживаю с ними знакомство, чтобы попасть в посланники!

— Какой вы шутник! — вздохнула м-ль Ватназ.

Она попросила Дюссардьё проводить ее домой.

Арну посмотрел им вслед, потом обратился к Фредерику:

— Нравится вам эта Ватназ? Впрочем, вы на этот счет не откровенны! Мне кажется, вы скрываете ваши увлечения?

Фредерик, побледнев, стал клясться, что ничего не скрывает.

— Да ведь неизвестно, есть ли у вас любовница, — продолжал Арну.

Фредерику хотелось назвать наудачу какое-нибудь имя. Но это могли пересказать ей. Он ответил, что в самом деле у него нет любовницы.

Торговец порицал его за это.

— Нынче вечером вам представлялся подходящий случай. Отчего вы не сделали, как другие? Все уходит с женщиной.

— Ну, а вы? — сказал Фредерик, выведенный из терпения такой настойчивостью.

— О! Я дело другое, мой милый! Я возвращаюсь к собственной жене!

Он кликнул кабриолет и скрылся.

Друзья пошли пешком. Дул восточный ветер. Оба молчали. Делорье жалел, что не блеснул перед издателем журнала, а Фредерик погрузился в свою печаль. Наконец он заметил, что бал показался ему глупым.

— А кто виноват? Если бы ты не бросил нас для своего Арну...

— Э! Все, что бы я ни сделал, все было бы совершенно бесполезно!

Но у клерка были свои теории. Чтобы чего-нибудь добиться, стоит лишь сильно пожелать.

— А между тем ты сам только что...

— Наплевать мне было! — сказал Делорье, сразу пресекая намек. — Стану я путаться с бабами!

И он начал обличать их жеманство, их глупость; словом, они ему не нравятся.

— Будет тебе рисоваться! — сказал Фредерик.

Делорье замолчал. Потом вдруг предложил:

— Хочешь пари на сто франков, что я сговорюсь с первой же встречной!

— Идет!

Первой им попалась навстречу отвратительная нищая, и они уже стали терять надежду, как вдруг на середине улицы Риволи увидели высокую девушку, которая несла картонку.

Делорье подошел к ней под арками. Она быстро свернула по направлению к Тюильри и вскоре вышла на площадь Карусели, оглядываясь по сторонам. Она бросилась за фиакром; Делорье нагнал ее. Теперь он шел рядом с ней, сопровождая свои слова выразительными жестами. Наконец она взяла его под руку, и они двинулись дальше по набережным. Они дошли до Шатле, где потратили по крайней мере минут двадцать, шагая взад и вперед по тротуару, точно два матроса на вахте. Но вот вдруг они перешли мост Казначейства, пересекли Цветочный рынок, вышли на набережную Наполеона. Фредерик вслед за ними вошел в подъезд. Делорье дал ему понять, что он им помешает и ему остается лишь последовать их примеру.

— Сколько у тебя еще в кошельке?

— Две монеты по сто су!

— Хватит! Покойной ночи!

Фредериком овладело то удивление, какое испытываешь при виде удавшейся шутки. «Он надо мной смеется, — думал Фредерик. — Что, если я подымусь?» Делорье, пожалуй, решит, что он завидует его любовному приключению? «Как будто я сам не знаю любви, да еще во сто раз более редкой, более благородной, более сильной!» Что-то похожее на гнев толкало его вперед. Он очутился у подъезда г-жи Арну.

Ни одно окно в ее квартире не выходило на улицу. И все-таки он остановился, не сводя глаз с фасада, как будто, созерцая его, он мог взглядом пробиться сквозь стену. Сейчас, наверно, она почивает, спокойная, как заснувший цветок; чудесные черные волосы лежат на кружевах подушки, губы полуоткрыты, руку она подложила под голову.

Ему померещилась и голова Арну. Он отошел, убегая от этого видения.

Фредерик вспомнил совет Делорье и ужаснулся. Тогда он стал бродить по улицам.

Когда навстречу приближался пешеход, Фредерик старался разглядеть его лицо. Порою луч света скользил у него под ногами, описывая на гладкой мостовой огромную дугу в четверть круга, и из темноты появлялся человек с корзиной на плечах и с фонарем. В некоторых местах от ветра сотрясалось железо дымовой трубы; откуда-то издали доносились звуки, они сливались с шумом в его голове, и тогда ему чудилось, будто в воздухе смутно звучит ритурнель кадрили. Ходьба поддерживала в нем это опьянение; он оказался на мосту Согласия.

И тут ему вспомнился другой вечер, год тому назад, когда, в первый раз возвращаясь от нее, он вынужден был остановиться, — так сильно билось его сердце, полное надежд. Все они умерли теперь!

Неслись темные облака, временами заволакивавшие луну. Фредерик смотрел на нее, думая о беспредельности пространств, о ничтожестве жизни, о тщете всего. Наступил рассвет; зубы его стучали, и вот, полусонный, промокший от тумана и весь в слезах, он спросил себя, почему бы не положить этому конец. Стоит лишь сделать одно движение. Голова тянула его своею тяжестью, он уже видел свой труп, плывущий по воде; Фредерик наклонился. Парапет был несколько широк, и только от усталости Фредерик не попытался перепрыгнуть через него.

Страх овладел им. Он вернулся на бульвары и в изнеможении опустился на скамейку. Его разбудили полицейские, уверенные, что он «кутнул».

Фредерик встал и опять пошел. Но так как он чувствовал сильный голод, а все рестораны были закрыты, то он поел в кабачке на Крытом рынке. Потом, рассчитав, что еще слишком рано, он до четверти девятого бродил вокруг Ратуши.

Делорье давно уже отпустил свою красотку; теперь он писал, сидя за столом посредине комнаты. Часов около четырех в комнату вошел г-н де Сизи.

Благодаря Дюссардые он накануне вечером вступил в беседу с некоей дамой и даже проводил ее в экипаже вместе с ее мужем до самого дома, где она ему назначила свидание. Он только что оттуда. Ее имени там не знают!

— Так чем же я могу вам помочь? — сказал Фредерик.

Тогда молодой дворянин стал молотить всякий вздор; он говорил о м-ль Ватназ, об андалузке и обо всех прочих. Наконец, после множества всяких отступлений, он изложил цель своего посещения: полагаясь на скромность приятеля, он пришел про-

свить его содействия в одной попытке, после которой он окончательно сможет считать себя мужчиной. Фредерик ему не отказал. Он посвятил в эту историю и Делорье, только скрыв от него то, что касалось его лично.

Клерк нашел, что «теперь он привел себя в полный порядок». Столь послушное отношение к его советам привело его в еще лучшее настроение.

Именно своей веселостью он и пленил с первой же встречи м-ль Клеманс Давиу, вышивальщицу золотом для военной обмундировки, кротчайшее в мире создание, стройное, как тростник, с большими голубыми глазами, вечно изумленными. Клерк злоупотреблял ее наивностью — вплоть до того, что уверял ее, будто награжден орденом; когда они оставались наедине, он украшал свой сюртук красной ленточкой, но на людях он будто бы воздерживался от этого, чтобы не унижать своего начальника, как он объяснял. Впрочем, он держал ее на известном расстоянии, позволяя себя ласкать, как какой-нибудь паша, и шутки ради называл ее «дочь народа». Она всякий раз приносила ему букетик фиалок. Фредерик не хотел бы такой любви.

Все же, когда они под руку уходили обедать к Пенсону или к Барийо в отдельный кабинет, им овладевала странная тоска. Фредерик не подозревал, какие страдания он причинял Делорье в течение целого года, каждый четверг, когда, собираясь идти на улицу Шуазёль, чистил себе ногти.

Однажды вечером, стоя у себя на балконе и глядя им вслед, он вдали на Аркольском мосту заметил Юссонэ. Тот знаками стал звать его, а когда Фредерик спустился с пятого этажа, сказал:

— Дело вот в чем: в субботу двадцать четвертого именины госпожи Арну.

— Как? Ведь ее зовут Марией?

— И Анжелой. Да не все ли равно? Праздновать будут у них на даче, в Сен-Клу; мне поручено известить вас. В три часа у редакции вас будет ждать экипаж. Итак, решено! Простите, что побеспокоил вас. Но у меня столько дела!

Едва Фредерик вернулся, как привратник подал ему письмо: «Господин и г-спожа Дамбрёз просят господина Ф. Моро сделать им честь пожаловать к обеду в субботу 24 сего месяца. Сообразоволите ответить».

«Слишком поздно», — подумал он.

Тем не менее он показал письмо Делорье, который воскликнул:

— А! Наконец-то! Но ты как будто недоволен! Почему?

Фредерик, после некоторого колебания, сказал, что на этот день у него еще другое приглашение.

— Доставь ты мне удовольствие — плюнь на улицу Шюазёль! Брось глупости! Если ты стесняешься, я напишу вместо тебя.

И клерк в третьем лице написал, что приглашение принято.

Зная свет лишь сквозь лихорадку своих вожделиний, он представлял его себе как искусственное создание, действующее по математическим законам. Званный обед, встреча с влиятельным лицом, улыбка красивой женщины могли вызвать целый ряд поступков, вытекающих один из другого, иметь гигантские последствия. Некоторые парижские салоны были в его глазах машинами, принимающими сырой материал и путем переработки придающими ему ценность во сто раз большую. Он верил в существование куртизанок, которые дают советы дипломатам, в выгодные браки, заключенные с помощью интриг, в гениальность каторжников, в случайность, покорную сильной руке. Словом, он считал знакомство с Дамбрёзами столь полезным и проявил такое красноречие, что Фредерик уже не знал, какое принять решение.

Но, как бы то ни было, раз предстоит именины г-жи Арну, он должен сделать ей подарок; он, разумеется, подумал о зонтике, желая загладить свою неловкость. И вот ему попался шелковый зонтик сизого цвета с резной ручкой из слоновой кости, привезенный из Китая. Но он стоил сто семьдесят пять франков, а у Фредерика не было ни одного су, и он даже жил в кредит, в счет ожидаемых денег. Все же он непременно хотел его купить и, хоть это ему и претило, обратился к Делорье.

Делорье ответил, что у него нет денег.

— Мне нужно,— сказал Фредерик,— очень нужно!

А когда Делорье еще раз извинился, он вышел из себя.

— Ты бы мог иногда...

— Что?

— Ничего!

Клерк понял. Он взял из своих сбережений требуемую сумму и, отсчитав монету за монетой, сказал:

— Не требую расписки, потому что живу на твой счет!

Фредерик бросился ему на шею, всячески уверяя его в своей дружбе. Делорье остался холоден. На другой день он увидел на рояле зонтик.

— Ах! Вот оно что!

— Я, может быть, его пошлю,— малодушно ответил Фредерик.

Случай ему помог: вечером он получил письмо с траурной каймой, в котором г-жа Дамбрёз, сообщая о смерти дяди, сожалела, что должна отложить удовольствие с ним познакомиться.

К двум часам Фредерик пришел в контору газеты. Вместо

того чтобы ждать его и везти в своем экипаже, Арну уехал еще накануне, поддавшись желанию подышать свежим воздухом.

Он каждый год, едва появлялись первые листья, в течение нескольких дней подряд с самого утра отправлялся за город, совершая большие прогулки по полям, пил молоко на фермах, заигрывал с крестьянками, справлялся об урожае и привозил с собою в носовом платке пучки салата. Наконец он осуществил давнишнюю свою мечту — купил себе дачу.

Пока Фредерик разговаривал с приказчиком, пришла мадмуазель Ватназ и была разочарована, что не застала Арну. Он, может быть, еще дня на два останется там. Приказчик посоветовал ей «поехать туда»; она не могла; что до письма, то она боялась, как бы оно не пропало. Фредерик предложил его передать. Она быстро написала записку и стала умолять Фредерика, чтобы он вручил ее без свидетелей.

Сорок минут спустя он уже был в Сен-Клу.

Дом находился на самом холме, в ста шагах от моста. Садовую ограду скрывали посаженные двумя рядами липы, к самому берегу реки спускалась широкая лужайка. Калитка была открыта, и Фредерик вошел.

Арну, растянувшись на траве, играл с котятками. Забава эта, видимо, поглощала его всецело. Письмо мадмуазель Ватназ нарушило его благодушное состояние.

— Чорт возьми! Чорт возьми! Неприятно! Она права; мне надо ехать.

Потом, засунув послание в карман, он доставил себе удовольствие показать гостю свои владения. Он показал все — конюшню, сарай, кухню. Гостиная была направо; за окнами, выходящими в сторону Парижа, виднелся трельяж, увитый ломоносом. Но вот у них над головой раздалась рулада: г-жа Арну, думая, что она в доме одна, развлекалась пением. Она упражнялась в гаммах, трелях, арпеджо. Одни ноты словно застывали в воздухе, другие быстро падали, точно капельки в водопаде, и голос ее, проникая сквозь жалюзи, разрывал глубокую тишину и поднимался к голубому небу.

Вдруг она умолкла — пришли соседи, супруги Удри.

Потом она сама появилась на крыльце, а когда стала спускаться по ступенькам, Фредерик увидел ее ногу. Г-жа Арну была в открытых туфельках бронзовой кожи с тремя поперечными переплетками, которые золотой решеткой выделялись на фоне чулка.

Прибыли гости. За исключением адвоката Лефошера, все это были завсегдатаи четвергов. Каждый принес какой-нибудь подарок: Дитмер — сирийский шарф, Розенвальд — альбом романсов, Бюрё — акварель. Сомбаз — собственную карикатуру,

а Пеллерен — рисунок углем, изображающий нечто вроде плясок смерти, отвратительную фантазию, посредственную по выполнению. Юссонэ решил обойтись без подношения.

Фредерик, выждав, после всех преподнес ей свой дар.

Она очень благодарила его. Тогда он сказал:

— Но... это почти что долг! Я так на себя досадовал...

— За что? — возразила она. — Я не понимаю!

— К столу! — сказал хозяин и схватил его под руку; потом на ухо шепнул: «Уж вы и недогадливы!»

Ничего не могло быть приятней для глаз, чем эта столовая с бледнозелеными стенами. На одном ее конце каменная нимфа погружала кончик ноги в бассейн, имевший форму раковины. В открытые окна был виден весь сад с длинной лужайкой, на краю которой возвышалась старая шотландская сосна, высохшая больше чем наполовину; клумбы здесь были разбиты неравномерно, без строгого порядка; по ту сторону реки широким полукругом развертывались Булонский лес, Нейи, Севр, Медон. За оградой, прямо напротив, скользила по воде парусная лодка.

Говорили сперва о виде, открывавшемся отсюда, потом о пейзаже вообще, и споры только еще начались, когда Арну приказал слуге заложить в половине десятого кабриолет. Письмо от кассира звало его в город.

— Хочешь, чтоб я поехала с тобой? — сказала г-жа Арну.

— Еще бы!

И он отвесил ей низкий поклон:

— Вы же знаете, сударыня, что жить без вас невыносимо.

Все стали поздравлять ее, что у нее такой прекрасный муж.

— О! Так ведь я не одна! — мягко заметила г-жа Арну, показывая на дочку.

Потом опять речь зашла о живописи, заговорили о картине Рюисдаля, за которую Арну надеялся выручить значительную сумму, и Пеллерен спросил, верно ли, что пресловутый Саул Матиас приезжал в прошлом месяце из Лондона и предлагал за нее двадцать три тысячи франков.

— Как нельзя более верно!

И Арну обратился к Фредерику:

— Это как раз тот господин, с которым я в тот вечер был в «Альгамбре», не по своему желанию, уверяю вас; эти англичане вовсе незанимательны!

Фредерик, подозревавший, что письмо м-ль Ватназ скрывает какую-то любовную историю, изумился, с какой легкостью почтенный Арну нашел приличный повод, чтобы удрать в город, но эта новая ложь, совершенно ненужная, заставила его вытаращить глаза.

Торговец самым обыкновенным тоном прибавил:

— А как зовут того высокого молодого человека, вашего приятеля?

— Делорье,— поспешил ответить Фредерик.

И, чтобы загладить вину, которую он перед ним чувствовал, стал расхваливать его незаурядный ум.

— Неужели? Но на вид он не такой славный, как тот, другой, приказчик из транспортной конторы.

Фредерик проклинал Дюссардьё. Вдруг она подумает, что он водится с простонародьем.

После разговор зашел о том, как украшается столица, о новых кварталах, и старик Удри в числе крупных дельцов назвал г-на Дамбрёза.

Фредерик, пользуясь случаем привлечь к себе внимание, сказал, что знаком с ним. Но Пеллерен разразился филиппикой против лавочников: торгуют ли они свечами или деньгами, разницы он в них не видит. Затем Розенвальд и Бюрё стали рассуждать о фарфоре; Арну разговаривал с г-жой Удри о садоводстве; Сомбаз, весельчак старого закала, забавлялся тем, что подтрунивал над ее мужем, он именовал его Одри, по имени актера, потом заявил, что он, наверно, потомок анималиста Удри, ибо на лбу у него заметна шишка четвероногих. Он даже захотел ощупать его череп, а тот не давался — из-за парика; и десерт закончился среди раскатов смеха.

После того как выпили кофе в саду под липами, покурили и несколько раз прошлись по дорожкам, все общество отправилось к реке — погулять на берегу.

Остановились около рыбака, чистившего угрей в своей палатке. М-ль Марта захотела на них поглядеть. Рыбак высыпал их на траву; девочка бросилась на колени, стала их ловить; она то смеялась от удовольствия, то вскрикивала от испуга. Все угри погибли. Арну заплатил за них.

Потом он затеял катанье на лодке.

С одной стороны горизонт начинал бледнеть, а с другой — по небу широкой волной разливался оранжевый свет, приобретающий красноватый оттенок у вершины холмов, которые стали совсем черными. Г-жа Арну сидела на большом камне, спиной к этому зареву пожара. Остальные бродили поблизости; Юссонэ, стоя внизу у самой реки, бросал в воду камешки.

Арну вернулся, раздобыв старую лодку, в которую, несмотря на увещания наиболее благоразумных, посадил своих гостей. Лодка стала погружаться в воду; пришлось высадиться.

В гостиной, обтянутой ситцем, уже горели свечи в хрустальных жирандолях. Старушка Удри мирно дремала в кресле, а прочие слушали г-на Лёфшера, рассуждавшего о знаменитостях адвокатуры. Г-жа Арну стояла в одиночестве у окна; Фредерик подошел к ней.

Они говорили о том же, о чем и другие. Она восхищалась ораторами; он же предпочитал славу писателя. Но ведь наверно,— продолжала она,— испытываешь большее наслаждение, когда непосредственно воздействуешь на толпу, когда видишь, что ей передаются все чувства твоей души. Подобные примеры не соблазняют Фредерика — он не честолюбив.

— Ах! Но почему же? — сказала она.— Немного честолюбия не мешает.

Они стояли у окна друг подле друга. Ночь расстилалась перед ними, словно громадный темный покров, усеянный блестками серебра. В первый раз они говорили не о безразличных вещах. Он даже узнал ее антипатии и вкусы; некоторые ароматы были для нее мучительны, исторические книги ее занимали, она верила в сны.

Он затронул тему любовных приключений. Бедствия, причиняемые страстью, вызывали в ней сочувствие, но она возмущалась мерзким лицемерием; и эта прямота души так гармонировала с правильными чертами ее прекрасного лица, что казалось, будто между ними существует какая-то зависимость.

Порой она улыбалась, на миг задерживая на нем свой взор. Тогда он чувствовал, как взгляд ее проникает ему в душу, подобно тем могучим солнечным лучам, что пронизывают воду до самого дна. Он любил ее без всякой задней мысли, без надежды на взаимность, самозабвенно; и в своих немых порывах, похожих на пыл благодарности, хотел бы покрыть ее лоб градом поцелуев. В то же время некая внутренняя сила словно возвышала его над самим собой; то была жажда принести себя в жертву, потребность немедленно доказать свою преданность, тем более сильная, что он не мог ее удовлетворить.

Он не уехал вместе с другими, Юссонэ тоже. Они должны были возвращаться в экипаже; кабриолет уже стоял у подъезда, когда Арну спустился в сад нарвать роз. Цветы он перевязал ниткой, а так как стебли были разной длины, он порылся у себя в кармане, полном бумажек, взял первую попавшуюся, завернул букет, скрепил его толстой булавкой и с чувством преподнес его жене.

— Вот, дорогая моя,— и прости, что я не подумал о тебе!

Но она вскрикнула: булавка, нелепо воткнутая, уколола ее, и она ушла к себе в спальню. Ее ждали с четверть часа. Наконец она снова появилась, схватила Марту и поспешно села в коляску.

— А букет? — спросил Арну.

— Нет, нет, не стоит!

Фредерик побежал за ним; она ему крикнула:

— Не надо мне его!

Но он быстро принес букет и сказал, что опять завернул его в бумагу, так как цветы валялись на полу. Она засунула их за кожаный фартук, напротив сидения, и экипаж тронулся.

Фредерик, сидевший рядом с ней, заметил, что она вся дрожит. Проехав мост, Арну стал поворачивать налево.

— Да нет,— крикнула она,— ты ошибаешься! Надо туда, направо!

Она, видимо, была раздражена: все волновало ее. Наконец, когда Марта закрыла глаза, она вытащила букет и бросила его за дверцу, потом схватила Фредерика за руку, другой рукой делая ему знак никогда об этом не заговаривать. Затем приложила к губам носовой платок и более не двигалась.

Двое их спутников, сидевшие на козлах, беседовали о типографии, о подписчиках. Арну, правивший небрежно, среди Булонского леса сбился с пути. Пришлось ехать какими-то узкими аллеями. Лошадь шла шагом; ветви деревьев задевали верх экипажа. В темноте Фредерик ничего не видел, кроме глаз г-жи Арну; Марта лежала у нее на коленях, а он поддерживал ей голову.

— Она вас стесняет? — спросила мать.

Он отвечал:

— Нет! О нет!

Медленно подымались столбы пыли; экипаж проезжал через Отейль; все дома были заперты; то тут, то там фонарь освещал угол стены, потом опять въезжали в темноту; вдруг Фредерик заметил, что она плачет.

Что это — угрызения совести? Желание? Ее печаль, причины которой он не знал, трогала его, словно нечто, касавшееся его самого; теперь между ними возникла новая связь, своего рода сообщничество; и он ее спросил так ласково, как только мог:

— Вам не по себе?

— Да, немного,— ответила она.

Экипаж катил, жимолость и сирень, перекинув ветки за садовые ограды, наполняли ночной воздух томным благоуханием. Ее платье с многочисленными оборками закрывало ему ноги. Ему казалось, что это детское тело, лежащее между ними, связывает его со всем ее существом. Он наклонился к девочке и, откинув ее красивые темные волосы, тихонько поцеловал в лоб.

— Вы добрый! — сказала г-жа Арну.

— Почему?

— Потому что любите детей.

— Не всех!

Он ничего больше не сказал, но протянул к ней левую руку и широко раскрыл ладонь, вообразив, что, может быть, она

сделает то же самое и руки их встретятся. Потом ему стало стыдно, и он отдернул руку.

Скоре выехали на мостовую. Экипаж катил быстрее, газовые рожки становились все многочисленнее — это был Париж. Юссонэ соскочил с козел. Фредерик вышел из экипажа, только когда они въехали во двор; потом он притаился за углом улицы Шаузэль и, стоя там, увидал Арну, который медленно шел в сторону бульваров.

Со следующего же дня Фредерик изо всех сил принялся за работу.

Он видел себя в зале суда зимним вечером, когда защитительная речь близится к концу, лица присяжных бледны, а трепещущая толпа напирает на перегородки, так что они трещат; он говорит уже четыре часа, подводит итоги всем своим доказательствам, открывает новые и при каждой фразе, при каждом слове чувствует, как нож гильотины, повисший где-то там, за его спиной, поднимается все выше; потом он видел себя на трибуне Палаты депутатов, — он оратор, на устах которого спасение целого народа; он топит противников своими уподоблениями, уничтожает одним ответом; в голосе его слышатся и громы и музыкальные интонации; все есть у него — ирония, пафос, гнев, величие. Она тоже там, где-то в толпе, она скрывает под вуалью слезы восхищения; потом они встречаются; и ни разочарование, ни клевета, ни обиды не коснутся его, если она скажет: «Ах! Это прекрасно!» и проведет по его лбу своими тонкими руками.

Эти образы, точно маяки, сияли на его жизненном горизонте. Возбужденный ум его окреп и стал более гибким. До августа месяца он заперся у себя и выдержал последний экзамен.

Делорье, который с таким трудом натаскивал его еще раз ко второму экзамену в конце декабря и к третьему — в феврале, удивлялся его рвению. Воскресли прежние надежды. Через десять лет Фредерик должен стать депутатом, через пятнадцать — министром. Почему бы нет? При помощи наследства, которое вскоре будет в его распоряжении, он может основать газету; с этого он начнет; а там видно будет. Что касается Делорье, то он попрежнему мечтал о кафедре на юридическом факультете, и свою докторскую диссертацию он защитил так замечательно, что удостоился похвалы профессоров.

Через три дня после него защитил диссертацию и Фредерик. Перед отъездом на каникулы он решил устроить пикник, которым завершились бы субботние сборища.

На пикнике он был весел. Г-жа Арну находилась теперь у своей матери в Шартре. Но скоро он встретится с ней вновь и в конце концов станет ее любовником.

Делорье, как раз в тот день допущенный к ораторским

упражнениям на набережной Орсе, произнес речь, вызвавшую немало аплодисментов. Хотя обычно он был воздержан, но на этот раз напился и за десертом сказал Дюссардь:

— Вот ты — честный человек! Когда я разбогатею, я сделаю тебя моим управляющим.

Все были счастливы. Сизи не предполагал кончать курс. Мартинон для продолжения стажа собирался уехать в провинцию, где он будет назначен помощником прокурора; Пеллерен готовился приступить к большой картине на тему «Гений революции». Юссонэ на следующей неделе должен был читать директору «Театра развлечений» план пьесы и в успехе не сомневался:

— Построение драмы не вызывает спора! В страстях я знаю толк — я достаточно таскался по свету; а что до остроумия, так это моя профессия!

Он сделал прыжок, стал на руки и несколько раз прошелся вокруг стола.

Эта мальчишеская выходка не развеселила Сенекаля. Из пансиона, где он служил, его прогнали за то, что он побил сына аристократа. Терпя все большую нужду, он винил в этом общественный строй, проклинал богатых; свои чувства он изливал перед Режембаром, еще более разочарованным, унылым, привередливым. Гражданин занимался теперь вопросами бюджета и обвинял камарилью в том, что она теряет в Алжире миллионы.

Он не мог лечь спать, не заглянув в кабачок «Александр», и поэтому исчез еще в одиннадцать часов. Остальные ушли позднее; прощаясь с Юссонэ, Фредерик узнал от него, что г-жа Арну должна была вернуться накануне.

Он пошел в контору дилижансов поменять билет, чтоб уехать на день позже, и часов около шести явился к ней. Ее возвращение, сказал привратник, откладывается на неделю. Фредерик пообедал в одиночестве, потом слонялся по бульварам.

Розовые облака, очертаниями напоминая шарфы, тянулись над крышами; уже начинали поднимать навесы над окнами лавок; на уличную пыль брызнул дождь из бочек для поливки, и неожиданная свежесть смешивалась вдруг с запахами кофеен, в открытые двери которых видны были, среди серебра и позолоты, целые снопы цветов, отражавшиеся в высоких зеркалах. Толпа медленно двигалась. Мужчины, стоя группами среди тротуара, вели разговоры; женщины проходили мимо, и в их взглядах была та нега, а на лицах та матовая бледность камелии, которую вызывает усталость от сильной жары. Что-то необъятное было разлито в воздухе, окутывало дома. Никогда Париж не казался Фредерику таким прекрасным. Будущее

представлялось ему бесконечной вереницей лет, полных любви.

Он остановился перед театром «Порт Сен-Мартен», посмотрел на афишу и, так как делать ему было нечего, взял билет.

Играли какую-то старую феерию. Зрителей было мало; в слуховые окошки над райком видно было небо — маленькие синие квадратики, а кинкеты рампы тянулись сплошной линией желтых огней. Сцена изображала невольничий рынок в Пекине — с колокольчиками, гонгами, султаншами, остроконечными колпаками, а действие пересыпалось игрою слов. В антракте Фредерик пошел бродить по безлюдному фойе и увидел в окно у подъезда, на бульваре, большое зеленое ландо, запряженное парой белых лошадей, с кучером в коротких штанах.

Он уже возвращался на свое место, когда в первую ложу бельэтажа вошли дама и господин; у мужа было бледное лицо, окаймленное жидкими седыми бакенбардами, орден в петличке и тот холодный вид, который принято считать присущим дипломатам.

Его жена, по крайней мере лет на двадцать моложе его, ни высокая, ни маленькая, ни безобразная, ни хорошенькая, блондинка с локонами по английской моде, в платье с гладким лифом, держала в руке широкий черный кружевной веер. Чтобы объяснить, почему люди подобного круга в эту пору сезона приехали в театр, надо было предположить или какую-то случайность, или скуку при мысли о вечере, который им предстояло провести вдвоем. Дама покусывала веер, господин зевал. Фредерик не мог вспомнить, где он видел это лицо.

Проходя по коридору в следующем антракте, он встретил их и неуверенно поклонился; г-н Дамбрёз, узнав его, подошел и сразу же стал извиняться за непростительную небрежность. Это был намек на многочисленные визитные карточки, которые Фредерик посылал по советам клерка. Однако он путал года и думал, что Фредерик еще только на втором курсе. Потом он сказал Фредерику, что завидует его поездке в деревню. Ему самому надо бы отдохнуть, но дела удерживают его в Париже.

Г-жа Дамбрёз, опираясь на руку мужа, чуть наклоняла голову, и любезно-оживленное выражение ее лица не соответствовало печали, которая только что была на нем.

— Все же тут есть и прекрасные развлечения! — сказала она по поводу последних слов мужа. — Какая глупая пьеса! Не правда ли, сударь?

И все трое продолжали стоять, разговаривая о театре и новых пьесах.

Фредерик, привыкший к ломанью провинциальных мещанок, еще ни у одной женщины не видал такой непринужденности в

обращении, той простоты, которая на самом деле есть не что иное, как утонченность, и в которой люди наивные видят проявление внезапной симпатии.

Они рассчитывали видеть его у себя, как только он вернется; г-н Дамбрёз поручил передать привет дядюшке Рокку.

Фредерик, возвратясь домой, не преминул рассказать об этой встрече Делорье.

— Великолепно! — заметил клерк. — И только не давай мамаше вертеть тобою! Возвращайся сразу же!

На другой день по его приезде г-жа Моро после завтрака повела сына в сад.

Она выразила радость по поводу того, что он получил теперь звание, ибо они не так богаты, как думают люди; земля приносит мало дохода; арендаторы платят неважно; она даже была вынуждена продать свой экипаж. Наконец она ознакомила его с положением дел.

Когда, овдовев, она впервые оказалась в стесненных обстоятельствах, один коварный человек, г-н Рокк, одолжил ей денег и, помимо нее, возобновлял и переносил сроки векселя. Вдруг он сразу потребовал все, и она пошла на его условия, за смехотворную цену уступив ему Прельскую ферму. Десять лет спустя, при крахе банка в Мелёне, ее капитал погиб. В ужасе перед необходимостью заложить недвижимость и желая сохранить прежний образ жизни, который в будущем мог принести пользу ее сыну, она, когда г-н Рокк снова явился к ней, еще раз согласилась на его предложения. Но теперь она в расчете с ним. Короче говоря, у них остается приблизительно десять тысяч франков годового дохода, из них на долю Фредерика — две тысячи триста, все, что осталось от наследства отца!

— Не может быть! — воскликнул Фредерик.

Она сделала движение головой, означавшее, что это вполне может быть.

Но дядя-то оставит ему что-нибудь?

Это совершенно неизвестно!

И они молча прошли по саду. Наконец она прижала его к груди и сказала голосом, сдавленным от слез:

— Ах! Бедный мой мальчик! Мне пришлось отказаться от стольких надежд!

Он сел на скамейку под тенью густой акации.

Ее совет — поступить клерком к адвокату Пруараму, который впоследствии передаст ему свою контору; если он хорошо поведет дела, то сможет ее перепродать и найти богатую невесту.

Фредерик уже не слушал. Он машинально смотрел поверх изгороди в соседний сад.

Там была девочка лет двенадцати, рыжеволосая, совсем одна. Из ягод рябины она сделала себе серьги, серый полотняный лиф спускался с ее плеч, чуть золотистых от загара; на белой юбке были пятна от варенья, и во всей ее фигурке, напряженной и хрупкой, чувствовалась грация хищного зверька. Присутствие незнакомца, повидимому, удивило ее; держа в руках лейку, она вдруг остановилась и вперила в него свои прозрачные голубовато-зеленые глаза.

— Это дочка господина Рокка,— сказала г-жа Моро.— Он недавно женился на своей служанке и узаконил ребенка.

VI

Разорен, ограблен, погублен!

Фредерик продолжал сидеть на скамейке, словно ошеломленный ударом. Он проклинал судьбу, ему хотелось кого-нибудь прибить; и он приходил в еще большее отчаяние от того, что чувствовал над собой гнет какого-то оскорбления, бесчестья; ибо раньше он воображал, что отцовское состояние будет со временем приносить тысяч пятнадцать годового дохода, и дал это понять супругам Арну! Теперь его сочтут за хвастуна, за мошенника, за темного плута, который втерся к ним в надежде на какие-то выгоды! А она, г-жа Арну! Как теперь встречаться с нею?

Впрочем, это совершенно невозможно, раз у него всего лишь три тысячи годового дохода! Ведь не может он вечно жить на четвертом этаже, иметь в услужении только привратника и целый год являться все в тех же жалких черных перчатках, побелевших на пальцах, в просаленной шляпе, в одном и том же сюртуке. Нет! Нет! Ни за что! А между тем жить без *нее* невыносимо. Правда, многие не имеют никакого состояния, Делорье в том числе, — и ему показалось малодушием, что он придает такую важность столь ничтожным вещам. Нужда, быть может, во сто крат умножит его способности. Мысль о великих людях, работающих где-то там, в мансардах, возбуждала его. Душу г-жи Арну подобное зрелище должно тронуть, и она умилится. Пожалуй, эта катастрофа в конце концов окажется счастьем; подобно землетрясениям, благодаря которым обнаруживаются сокровища, она вызвала к жизни скрытые богатства его натуры. Но во всем мире есть только одно место, где могут их оценить, — Париж! Ибо в его представлении искусство, наука и любовь (эти три лика божества, как сказал бы Пеллерен) всецело подчинены столице.

Вечером он объявил матери, что вернется в Париж. Г-жа Моро была удивлена и возмущена. Это безумие, нелепость. Лучше бы он послушался ее советов, то есть остался бы с нею, служа в конторе. Фредерик пожал плечами: «Полноте!» — и решил, что такое предложение его оскорбляет.

Тогда добрая женщина прибегла к другому способу. Тихо всхлипывая, она нежным голосом стала говорить о своем одиночестве, своей старости, о жертвах, принесенных ею. Теперь, когда она так несчастна, он покидает ее! Потом, намекая на близость своей смерти, сказала:

— Боже мой, потерпи немножко! Скоро ты будешь свободен!

Эти жалобы повторялись раз двадцать в день в течение целых трех месяцев, а в то же время приятности домашней жизни подкупали его; он наслаждался мягкой постелью, полотенцами, на которых не было дыр, и вот, обессиленный, лишенный воли, словом, побежденный страшной силой кротости, Фредерик позволил отвести себя к мэтру Пруараму.

Он не выказал там ни знаний, ни усердия. До сих пор на него смотрели как на молодого человека с большими задатками, как на будущую гордость департамента. И все были разочарованы.

Первое время он думал про себя: «Надо сообщить г-же Арну» — и целую неделю обдумывал письма, полные дифирамбов, и коротенькие записки в стиле лапидарном и возвышенном. Его удерживала боязнь признаться в своем положении. Потом он решил, что лучше написать ее мужу. Арну знает жизнь и поймет его. Наконец, после двухнедельных колебаний, он решил:

«Да что там! Мне больше не видаться с ними. Пусть забудут меня! По крайней мере я не уроню себя в ее мнении! Она подумает, что я умер, и пожалеет обо мне... быть может».

Так как самые крайние решения не стоили ему труда, то он дал себе клятву никогда больше не возвращаться в Париж и даже не справляться о г-же Арну.

А между тем все, вплоть до запаха газа и грохота omnibusов, вызывало в нем сожаления. Он мечтательно вспоминал всякое слово, слышанное от нее, тембр ее голоса, блеск ее глаз и, считая себя конечным человеком, не делал уже ничего, решительно ничего.

Он вставал очень поздно и смотрел в окно на проезжавшие мимо возы. Особенно скверно чувствовал он себя первые полгода.

Все же бывали дни, когда им овладевало негодование на самого себя. Тогда он уходил из дому. Он шел по лугам, которые зимой наполовину затоплены разливом Сены. Их разделяют ряды тополей. То тут, то там подымается мостик. Он бро-

дил до вечера, ступая по желтым листьям, вдыхая туман, перепрыгивая через канавы; по мере того как кровь сильнее стучала в висках, его охватывала неистовая жажда деятельности; ему хотелось стать охотником в Америке, поступить слугою к восточному паше или матросом на корабль; свою меланхолию он изливал в длинных письмах к Делорье.

Тот из кожи лез вон, лишь бы пробиться. Малодушное поведение друга и вечные его жалобы казались ему глупостью. Вскоре их переписка почти сошла на нет. Всю свою обстановку Фредерик подарил Делорье, который продолжал жить в его квартире. Мать время от времени заговаривала на эту тему; наконец он сознался в сделанном им подарке, и мать стала бранить его. Как раз в это время ему принесли письмо.

— Что с тобой? — спросила она. — Ты дрожишь?

— Что со мной? Да ничего! — ответил Фредерик.

Делорье сообщал ему, что поселил у себя Сенекалья и они уже две недели живут вместе. Итак, Сенекаль пребывает сейчас среди вещей, связанных с Арну. Он может продать их, делать замечания на их счет, шутить. Фредерик почувствовал себя оскорбленным до глубины души. Он ушел к себе в комнату. Ему хотелось умереть.

Мать позвала его. Ей надо было посоветоваться с ним относительно каких-то насаждений в саду.

Этот сад, похожий на английский парк, был разделен посередине частоклом, и одна половина принадлежала дядюшке Рокку, у которого на берегу реки был еще и огород. Соседи, находившиеся в ссоре, избегали появляться в саду в одни и те же часы. Но с тех пор как вернулся Фредерик, г-н Рокк чаще стал гулять там и не скупился на любезности по его адресу. Он сочувствовал сыну г-жи Моро, которому приходится жить в маленьком городке. Однажды он ему сказал, что г-н Дамбрёз о нем спрашивал. В другой раз он стал распространяться о Шампани, по обычаю которой титул переходил к детям по женской линии.

— В ту пору вы были бы знатным господином, ведь ваша матушка урожденная де Фуван. И, право, что ни говори, а имя кое-что да значит! Впрочем, — прибавил он, лукаво глядя на него, — все зависит от министра юстиции.

Эти притязания на аристократизм удивительно противоречили всему его облику. Он был мал ростом, а просторный коричневый сюртук нарушал пропорции его туловища, удлинняя его. Когда он снимал фуражку, показывалось почти женское лицо с необычайно острым носом; желтые волосы напоминали парик; кланялся он при встречах очень низко, задевая стены.

До пятидесяти лет он довольствовался услугами Катерины; она была родом из Лотарингии, его ровесница, и лицо ее было

изрыто оспой. Но в 1834 году он вывез из Парижа красавицу блондинку с овечьим выражением лица и «царственной осанкой». Вскоре она стала важно разпуливать с огромными серьгами в ушах, а после рождения дочери, записанной под именем Елизаветы-Олимпии-Луизы Рокк, все стало ясно.

Катерина, снедаемая ревностью, думала, что возненавидит ребенка. Напротив, она полюбила девочку. Она окружила ее заботами, вниманием и ласками, чтобы занять место матери и восстановить против нее малютку, и это не стоило большого труда, ибо г-жа Элеонора совершенно забросила дочь, предпочитая болтать со своими поставщиками. На другой же день после свадьбы она побывала с визитом в доме супрефекта, перестала говорить служанкам «ты» и решила, считая это хорошим тоном, держать девочку в строгости. Она присутствовала на уроках; учитель, старый чиновник из мэрии, не знал, как взяться за дело. Ученица бунтовала, получала пощечины, а потом плакала на коленях у Катерины, неизменно признававшей ее правоту. Тогда женщины ссорились; г-н Рокк заставлял их умолкнуть. Он женился из любви к дочери и не хотел, чтобы ее мучили.

Она часто ходила в изодранном белом платье и в панталонах с кружевами, но в большие праздники ее одевали как принцессу, назло обывателям, которые, ввиду ее незаконного рождения, запрещали своим малышам водиться с нею.

Она жила одна в своем саду, качалась на качелях, гонялась за бабочками, потом вдруг останавливалась, глядя, как жук садится на розовый куст. Должно быть, этот образ жизни и придавал ее лицу выражение смелости и в то же время мечтательности. Она была такого же роста, как Марта, так что Фредерик, уже при второй их встрече, сказал ей:

— Вы мне позволите поцеловать вас, мадмуазель?

Девочка подняла голову и ответила:

— Пожалуйста!

Но частокोल отделял их друг от друга.

— Надо на него влезть, — сказал Фредерик.

— Нет, подними меня!

Он перегнулся через ограду и, схватив ее подмышки, поцеловал в обе щеки, потом таким же образом поставил ее на место; это повторялось несколько раз.

Непосредственная, как четырехлетний ребенок, едва слышав, что идет ее друг, она бросалась к нему навстречу или же, спрятавшись за дерево, тявкала по-собачьи, чтобы испугать его.

Как-то раз, когда г-жи Моро не было дома, он привел ее в свою комнату. Она открыла все флаконы с духами и густо намадила себе волосы; потом без стеснения улеглась на его постели, но не думала спать.

— Я воображаю, что я твоя жена,— сказала она.

На следующий день он застал ее всю в слезах. Она призналась, что «оплакивает свои грехи», а когда он захотел узнать о них, она ответила, опустив глаза:

— Не спрашивай меня!

Приближался день первого причастия; утром ее повели исповедоваться.

После таинства она не стала благоразумнее. Порою она впадала прямо в ярость; тогда, чтобы успокоить ее, прибегали к Фредерику.

Он часто уводил ее с собою на прогулку. Пока он, шагая, предавался своим грезам, она собирала маки вдоль нив, а если замечала, что он грустнее, чем обычно, старалась утешить его нежными словами. Его сердце, не знавшее взаимной любви, отозвалось на эту детскую привязанность; он рисовал ей человечков, рассказывал истории и стал читать ей вслух.

Он начал с «Романтических анналов», в ту пору знаменитого собрания стихов и прозы. Потом, забыв о ее возрасте, — до того он пленился ее умом, — он прочел ей «Аталу», «Сен-Мара», «Осенние листья». Но однажды ночью (в тот вечер она слушала «Макбета» в незатейливом переводе Летурнера) она проснулась с криком: «Пятно! Пятно!», зубы ее стучали, она дрожала и, устремив испуганные глаза на правую руку, терла ее и говорила: «Все то же пятно!» Наконец пришел врач и не велел волновать ее.

Местные буржуа увидели в этом лишь дурное предзнаменование для ее нравственности. Пошли толки, что «сын Моро» хочет сделать из нее в будущем актрису.

Вскоре внимание было привлечено другим событием, а именно приездом дядюшки Бартелеми. Г-жа Моро отвела ему собственную спальню и в своей предупредительности дошла до того, что в постные дни стала подавать скоромное.

Старик оказался не очень любезным. Не было конца сравнениям между Гавром и Ножаном, где, по его мнению, воздух тяжелый, хлеб скверный, улицы плохо вымощены, провизия неважная, а жители города ленивые. «Что за жалкая у вас торговля!» Он осуждал своего покойного брата за сумасбродство; то ли дело он сам; ведь он нажил капитал, который дает двадцать семь тысяч ливров годового дохода! В конце концов, спустя неделю, он уехал и, уже стоя на подножке экипажа, проронил мало обнадеживающие слова:

— Мне всегда отрадно знать, что вы живете в достатке.

— Ты ничего не получишь! — сказала г-жа Моро, возвращаясь в комнаты.

Приехал он только по ее настояниям, и она всю неделю добивалась, — слишком явно, может быть, — чтобы он открыл

свои намерения. Она рассказывалась в том, что сделала, и сидела теперь в кресле, опустив голову, сжав губы. Фредерик, сидя против нее, следил за ней взглядом, и оба молчали, как было пять лет тому назад, когда он приехал из Монтеро. Это совпадение, невольно пришедшее ему в голову, напомнило ему о г-же Арну.

В эту минуту под окном раздалось шелканье бича, и послышался голос, звавший его.

То был дядюшка Рокк — один в своей повозке. Он собирался провести целый день в Ла-Фортель, у г-на Дамбрёза, и дружески предложил Фредерику поехать с ним.

— Со мной вам не надо приглашений, не беспокойтесь!

Фредерик охотно бы согласился. Но чем объяснить свое окончательное переселение в Ножан? У него не было подходящего летнего костюма. Наконец, что скажет мать? Он отказался.

С этих пор сосед был менее дружелюбен. Луиза подрастала. Г-жа Элеонора опасно заболела, и общение прервалось, к великому удовольствию г-жи Моро, опасавшейся, что знакомство с подобными людьми повредит карьере сына.

Она мечтала купить ему место в канцелярии суда. Фредерик не особенно сопротивлялся этому намерению. Теперь он сопровождал ее к обедне, по вечерам играл с нею в империал; он привык к провинции, погружался в нее, и даже самая его любовь приобрела какую-то замогильную сладость, дремотное очарование. Свою скорбь он столько раз изливал в письмах, столько раз вспоминал о ней, читая книги или гуляя среди полей и на все ее распространяя, что она почти иссякла, и г-жа Арну представлялась ему как бы покойницей, чья могила, к его удивлению, ему даже неизвестна, — такой тихой и смиренной стала его привязанность.

Однажды, 12 декабря 1845 года, часов в девять утра кухарка подала Фредерику в комнату письмо. Адрес был написан крупными буквами, незнакомым ему почерком, и Фредерик, еще сонный, не торопился его распечатать. Наконец он прочел:

«Гаврский мировой судья, III округ.
Милостивый государь,

Ваш дядя, господин Моро, скончавшись *ab intestat*...»¹

Он наследник!

Фредерик вскочил с постели, босиком, в одной рубашке, как будто за стеной вспыхнул пожар; он провел рукой по лицу, не веря собственным глазам, думая, что еще видит сон, и, желая убедиться в истинности происшедшего, настежь открыл окно.

¹ Не оставив завещания (*лат.*).

Выпал снег; крыши побелели; и на дворе он даже заметил лохань для стирки, на которую наткнулся накануне вечером.

Он три раза подряд перечитал письмо. Никакого сомнения! Все состояния дяди! Двадцать семь тысяч ливров годового дохода! И неистовая радость потрясла его при мысли, что он увидит г-жу Арну. Отчетливо, как в галлюцинации, он узрел себя рядом с ней, у нее в доме; он привез ей какой-то подарок, завернутый в папиросную бумагу, а у подъезда его ждет тильбюри, нет, лучше двухместная карета! Да, черная двухместная карета, со слугою в коричневой ливрее. Он слышит, как лошадь бьет копытом, а позвякивание уздечки сливается с нежными звуками их поцелуев. Так будет каждый день, до бесконечности. Он станет принимать их у себя, в своем доме; столовая будет обита красным сафьяном, будуар желтым шелком, всюду диваны! И какие этажерки! Китайские вазы! Какие ковры! Эти образы неслись столь стремительно, что у него закружилась голова. Тогда он вспомнил о матери и пошел к ней, все не выпуская письма из рук.

Г-жа Моро пыталась сдерживать свое волнение и чуть не лишилась чувств. Фредерик обнял ее и поцеловал в лоб.

— Милая матушка, ты теперь снова можешь купить экипаж. Улыбнись же, не надо плакать, будь счастлива!

Через десять минут новость распространилась вплоть до предместий. Тут поспешили явиться мэтр Бенуа, г-н Гамблен, г-н Шамбион, все друзья. Фредерик убежал от них на минуту, чтобы написать Делорье. Пришли новые гости. Всю вторую половину дня заполнили поздравления. За всем этим позабыли о жене Рокка, а между тем она была «совсем плоха».

Вечером, когда они остались вдвоем, г-жа Моро сказала сыну, что советует ему обосноваться в Труа, заняться адвокатурой. В родных краях его знают лучше, чем где-либо в другом месте, здесь он легче может найти богатую невесту.

— Ну, это уж слишком! — воскликнул Фредерик.

Не успел он овладеть своим счастьем, как у него хотят его отнять. Он объявил о своем категорическом решении поселиться в Париже.

— А что там делать?

— Ничего!

Г-жа Моро, удивленная его поведением, спросила, кем он намерен стать.

— Министром! — ответил Фредерик.

И он уверил ее, что несколько не шутит, что он хочет пойти по дипломатической части, что к этому его побуждают и познания и склонности. Сперва он поступит в Государственный совет, пользуясь протекцией г-на Дамбрёза.

— Так ты с ним знаком?

— Еще бы! Через господина Рокка!

— Странно,— сказала г-жа Моро.

Он пробудил в ее сердце старые честолюбивые мечты. Она отдалась им и ни о чем другом уже не заговаривала.

Фредерик — повинуйся он только своему нетерпению — уехал бы тотчас же. На другой день все места в дилижансе оказались проданы; ему пришлось терзаться до следующего дня, до семи часов вечера.

Когда они садились обедать, протяжно прозвучали три удара церковного колокола, и служанка, войдя в комнату, объявила, что г-жа Элеонора скончалась.

Эта смерть в сущности ни для кого не была несчастьем, даже для ребенка. Девочке это со временем пойдет лишь на пользу.

Так как дома стояли совсем рядом, то слышна была суматоха, доносились голоса; и мысль об этом трупе, который лежит так близко от них, бросала на их расставание траурную тень. Г-жа Моро раза два-три вытирала глаза, у Фредерика сжималось сердце.

Когда кончили обедать, Катерина остановила его в дверях. Барышня непременно хочет видеть его. Она ждет его в саду. Он вышел, перескочил через изгородь и, натыкаясь на деревья, направился к дому г-на Рокка. В одном из окон второго этажа горел свет, из темноты показалась тень, и голос прошептал: — Это я.

Она показалась ему выше обыкновенного, должно быть благодаря черному платью. Не зная, с какими словами обратиться к ней, он только взял ее за руку и со вздохом сказал:

— Ах, бедная моя Луиза!

Она не ответила. Она посмотрела на него долгим, внимательным взглядом. Фредерик боялся опоздать на дилижанс; вдали он уже будто слышал стук колес и решил покончить:

— Катерина мне говорила, что ты хочешь что-то...

— Да, верно, я хотела вам сказать...

Это «вы» удивило его; она умолкла, и он спросил:

— Ну что же?

— Не помню. Забыла! Правда ли, что вы уезжаете?

— Да, сейчас.

Она переспросила:

— Ах, сейчас?.. Совсем?.. Мы больше не увидимся?

Рыдания душили ее.

— Прощай! Прощай! Поцелуй меня!

И она порывисто обняла его.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



I

Когда Фредерик занял свое место в глубине экипажа и дилижанс тронулся, дружно подхваченный пятеркой лошадей, им овладел какой-то восторг. Как архитектор создает план дворца, так он заранее обдумывал свою жизнь. Он наполнил ее утонченностью и великолепием; она возносилась к горным высотам; она являла величайшее изобилие, и созерцание ее так глубоко захватило его, что внешний мир для него исчез.

Лишь когда поровнялись с сурденским косогором, он обратил внимание на местность. Проехали только пять километров, самое большее. Фредерик был возмущен. Он опустил окно, чтобы смотреть на дорогу. Он несколько раз задавал кондуктору вопрос, когда в точности они приедут. Мало-помалу он успокоился и сидел в своем углу с открытыми глазами.

Фонарь, привешенный к козлам, освещал крупы коренников. А впереди Фредерик различал лишь гривы остальных лошадей, зыблущиеся, словно белые волны; от их дыхания по обе стороны упряжи клубился пар; железные цепочки звякали, стекла дрожали в рамах, и тяжелый экипаж мерно катился по дороге. То тут, то там из мрака выступали стена сарая или одинокий постоялый двор. Порою, когда проезжали какую-нибудь деревню, видно было в пекарне зарево топившейся печи и чудовищные силуэты лошадей, пробежавшие по дому, стоящему напротив. На станциях, пока лошадей перепрягали, на минуту водворялась глубокая тишина. Кто-то топал по крыше

экипажа, и на крыльце появлялась женщина, защищая рукой свечу. Потом кондуктор вскакивал на подножку, и дилижанс снова трогался в путь.

В Мормане Фредерик услышал, как часы пробили четверть второго.

«Так, значит, сегодня,— подумал он,— уже сегодня, совсем скоро!»

Но мало-помалу его надежды и воспоминания, Ножан, улица Шуазель, г-жа Арну, мать — все смешалось.

Его разбудил глухой стук колес по доскам: ехали по Шарантонскому мосту — это был Париж. Тогда его спутники сняли один — фуражку, а другой — фуляровый платок, надели шляпы и занялись разговорами. Первый — краснолицый толстяк в бархатном сюртуке — был купец; второй ехал в столицу посоветоваться с врачом; и вот Фредерик, испугавшись, не причинил ли ему ночью беспокойства, стал вдруг извиняться, — так училище действовало счастье на его душу.

Так как Вокзальная набережная была, видимо, затоплена, ехать продолжали прямо, и опять появились поля. Вдали дымили высокие фабричные трубы. Потом повернули на Иври. Въехали на какую-то улицу; внезапно он увидел купол Пантеона.

Взрытая равнина напоминала груды развалин. Крепостной вал образовал горизонтальную выпуклость; вдоль пешеходных дорожек, окаймлявших шоссе, выстроились низенькие деревца без веток, защищенные планками, которые утыканы были гвоздями. Фабрики химических изделий чередовались с лесными складами. В полуоткрытые высокие ворота, какие бывают на фермах, виднелась внутренность отвратительных дворов, полных нечистот, с грязными лужами посередине. На длинных трактирных зданиях цвета бычьей крови между окнами второго этажа бывали изображены два скрещенных бильярдных кия в венке из намалеванных цветов; то тут, то там попадались жалкие лачуги, лишь наполовину отстроенные и оштукатуренные. Потом по обе стороны потянулись сплошной линией дома, и на их обнаженных фасадах кое-где высывалась гигантская сигара из жести, указывавшая табачную лавку, то виднелась вывеска повивальной бабки, изображавшая представительную женщину в чепце, которая укачивала младенца, завернутого в стеганое одеяло с кружевами. Углы домов были заклеены афишами, на три четверти изодранными и трепетавшими от ветра, точно лохмотья. Проходили рабочие в блузах, проезжали повозки с бочонками пива, прачечные фургоны, тележки с мясом; моросил дождь, было холодно, на бледном небе — ни просвета, но там, за мглюю, сияли глаза, которые для него стоили солнца.

У заставы долго стояли, так как весь проезд запрудили торговцы яйцами, ломовики и стадо овец. Караульный, опустив капюшон шинели, шагал взад и вперед перед своей будкой, чтобы согреться. Акцизный чиновник влез на империал, и звонко раздался сигнал почтового рожка. По бульвару промчались рысью, вальки стучали, построжки болтались. Длинный бич щелкал в сыром воздухе. Кондуктор громко кричал: «Эй! Берегись!» — и метельщики сторонились, пешеходы отскакивали назад, брызги грязи летели в окна дилижанса; навстречу двигались возы, кабриолеты, омнибусы. Наконец показалась решетка Ботанического сада.

Желтоватая Сена почти достигала настила мостов. От нее веяло прохладой. Фредерик всей грудью вдыхал ее, наслаждаясь благодатным воздухом Парижа, словно напоенным любовью и насыщенным мыслью; он умилился, увидев первый фиакр. И все было ему мило — даже солома, устилавшая пороги винных погребков, даже чистильщики сапог с их ящиками, даже приказчик из бакалейной лавки, размахивающий жаровой для кофе. Торопливо проходили женщины под зонтиками; Фредерик высовывался, вглядывался в их лица; ведь случай мог привести сюда и г-жу Арну.

Тянулись магазины, толпа становилась гуще, шум оглушительней. Миновав набережную св. Бернара, Ла-Турнель и набережную Монтебелло, продолжали путь по набережной Наполеона; ему захотелось взглянуть на окна своей квартиры, но это было далеко. Потом по Новому мосту еще раз перебрались через Сену, доехали до Лувра, улицами св. Гонория, Круа-де-Пти-Шан и дю-Булуа попали на улицу Цапли и въехали во двор гостиницы.

Чтобы продлить удовольствие, Фредерик одевался как можно медленнее и даже пошел на бульвар Монмартр пешком; улыбаясь при мысли, что вот сейчас на мраморной доске снова увидит любимое имя, он поднял глаза. Ни витрины, ни картин — ничего!

Он бросился на улицу Шуазёль. Господа Арну не жили там больше, вместо привратника сидела какая-то соседка. Фредерик подождал его; наконец он появился — это был не тот. Он не знал их адреса.

Фредерик зашел в кафе и за завтраком навел справку в «Торговом альманахе». Там оказалось триста разных Арну, но не было Жака Арну. Где же они живут? Адрес должен знать Пеллерен.

Он отправился в самый конец предместья Пуассоньер, в его мастерскую. У двери не было ни звонка, ни молотка; он несколько раз изо всей силы постучал кулаком, звал, кричал. Ему ответила пустота.

Потом он вспомнил об Юссонэ. Но где разыскать такого человека? Однажды Фредерику случилось проводить его до дома, где жила его любовница,— на улицу Флерюс. Дойдя до улицы Флерюс, Фредерик спохватился, что не знает, как зовут эту девицу.

Он прибегнул к полицейской префектуре. Он блуждал с лестницы на лестницу, из канцелярии в канцелярию. Адресный стол заканчивал работу. Ему предложили прийти на другой день.

Потом он стал заходить ко всем торговцам картинами, каких только мог обнаружить, и справлялся, не знают ли они Арну. Г-н Арну больше не занимался торговлей.

Наконец, упав духом, измученный, разбитый, он вернулся к себе в гостиницу и лег в постель. Когда он натягивал на себя простыню, ему вдруг пришла в голову одна мысль, и он даже подпрыгнул от радости:

«Режембар! Какой я дурак, что не вспомнил о нем!»

На следующий день он уже к семи часам утра был на улице Богоматери-победительницы перед винным погребком, где Режембар имел обыкновение пить белое вино. Погребок был еще закрыт; Фредерик решил пройтись поблизости и через полчаса вернулся. Режембар уже ушел. Фредерик бросился на улицу. Вдали как будто мелькнула его шляпа; похоронная процессия и траурные кареты преградили ему путь. Когда же препятствие исчезло, видение скрылось.

К счастью, он вспомнил, что Гражданин каждый день ровно в одиннадцать часов завтракает в ресторанчике на площади Гайон. Надо было запастись терпением; после бесконечных скитаний от Биржи до Магдалины и от Магдалины до театра «Жимназ» Фредерик ровно в одиннадцать часов вошел в ресторан, уверенный, что найдет там своего Режембара.

— Не знаю такого! — надменно сказал хозяин ресторана.

Фредерик стал настаивать; тогда тот ответил:

— Я с ним больше не знаком, сударь! — и, величественно подняв брови, кивнул головой, намекая на некую тайну.

Когда они виделись в последний раз, Гражданин упомянул кабачок «Александр». Фредерик съел сдобную булку и, вскочив в кабриолет, спросил кучера, нет ли где-нибудь в квартале св. Женевьевы кафе под названием «Александр». Кучер доставил его на улицу Фран-Буржуа-Сен-Мишель к заведению с таким названием, и на вопрос Фредерика: «Нельзя ли видеть г-на Режембара?» — хозяин ответил с улыбкой более чем любезной:

— Мы еще не видели его сегодня, сударь,— и бросил на свою супругу, сидевшую за конторкой, многозначительный взгляд.

Затем он взглянул на стенные часы.

— Но он придет, надеюсь, минут через десять, через четверть часа самое большее. Селестен, живо газеты! Что угодно заказать?

Фредерик, хоть ему и не хотелось ничего, проглотил рюмку рома, потом рюмку кирша, потом рюмку кюрасо, потом пил разные гроги, холодные и горячие. Он прочел весь номер «Векка» и перечитал его; изучил, вплоть до мельчайших особенностей бумаги, карикатуры «Шаривари»; под конец он знал наизусть все объявления. Время от времени на тротуаре раздавались шаги — это он! — и чей-то силуэт появлялся за окном, но всякий раз проходил мимо!

От скуки Фредерик переходил с места на место; он сел у задней стены, потом пересел направо, затем налево; он устраивался на середине диванчика, раскинув руки. Но кот, мягко ступавший по бархатной спинке, пугал его своими прыжками, когда внезапно бросался к подносу, чтобы слизать капли сиропа, а хозяйский ребенок, несносный четырехлетний малыш, играл трещоткой на ступеньках конторки. Его мамаша, маленькая бледная женщина с испорченными зубами, бессмысленно улыбалась. Что могло произойти с Режембаром? Фредерик ждал его, погружаясь в беспредельное отчаяние.

Дождь, словно град, стучал по поднятому верху кабриолета. В окно с раздвинутой кисейной занавеской он видел на улице несчастную лошадь, стоявшую неподвижнее, чем деревянный конь. Между колесами как раз приходилась сточная канавка, превратившаяся теперь в огромный ручей, а кучер, накрывшись фартуком, дремал; однако, опасаясь, как бы его седок не удрал, он время от времени приоткрывал дверь, весь мокрый, низвергая с себя потоки воды; и если бы взгляды обладали разрушительной силой, то от часов ничего бы не осталось — так пристально смотрел на них Фредерик. А между тем они продолжали идти. Господин Александр расхаживал взад и вперед, повторяя: «Да уж будьте уверены, он придет! Он придет!» — и, чтобы развлечь Фредерика, заводил разговоры, рассуждал о политике. Свою любезность он довел до того, что предложил сыграть партию в домино.

Наконец в половине пятого Фредерик, пребывавший здесь с двенадцати часов, вскочил с места и объявил, что больше не станет ждать.

— Я и сам ничего не пойму, — простодушно ответил хозяин кафе, — первый раз господин Леду не приходит!

— Как? Господин Леду?

— Ну да, сударь!

— Я же сказал: Режембар! — вне себя воскликнул Фредерик.

— Ах, простите, пожалуйста! Вы ошиблись! Не правда ли, госпожа Александр, ведь этот господин сказал: Леду?

И обратился к официанту:

— Ведь и вы слышали так же, как и я?

Официант, желая, очевидно, за что-то отомстить хозяину, ограничился лишь улыбкой.

Фредерик велел ехать на бульвары, возмущенный потерей времени, страшно негодуя на Гражданина и пламенно мечтая узреть его, точно некоего бога; он твердо решил извлечь его из глубин любого, хотя бы и самого отдаленного, винного погреба. Экипаж раздражал Фредерика, он его отпустил; мысли путались в его голове; потом вдруг все названия кафе, которые когда-либо произносил при нем этот дурак, разом вспыхнули в его памяти, словно бесчисленные огни фейерверка: кафе Гаскар, кафе Грембер, кафе Альбу, кабачок Бордоский, Гаванский, Гаврский, Бёф-а-ла-Мод, Немецкая пивная, «Мамаша Морель», и он посетил их все по очереди. Но в одном оказывалось, что Режембар только сейчас вышел, в другом — что он, может быть, придет; в третьем его уже полгода не видели; еще в одном он накануне заказал на субботу жаркое из баранины. Наконец у трактирщика Вотье Фредерик, отворив дверь, столкнулся с официантом.

— Вы знаете господина Режембара?

— Как же, сударь, еще бы не знать! Ведь я имею честь прислуживать ему. Он наверху, сейчас кончает обедать!

И даже сам хозяин заведения, с салфеткой подмышкой, подошел к нему:

— Вы, сударь, спрашиваете господина Режембара? Он только что был здесь.

Фредерик выругался, но хозяин стал уверять, что он непременно найдет его у Бутвилена.

— Даю вам честное слово! Он ушел немножко раньше, чем обычно, у него деловое свидание с какими-то господами. Но, повторяю, вы его застанете у Бутвилена, на улице Сен-Мартен, номер девяносто два, второй подъезд, во дворе налево, на антресолях, правая дверь!

Наконец сквозь облака табачного дыма он увидел его; Режембар сидел в одиночестве в задней комнате позади бильярда, в самой глубине; перед ним стояла кружка пива; он опустил подбородок, и вид у него был задумчивый.

— Ах! Долго же я вас искал!

Режембар, не двинувшись с места, протянул ему два пальца и, словно они виделись только вчера, произнес несколько незначительных фраз по поводу открытия сессии.

Фредерик прервал его, спросив тоном самым непринужденным, каким только мог:

— Как поживает Арну?

— Ответа пришлось ждать долго. Режембар полоскал горло своим напитком.

— Недурно!

— А где он теперь живет?

— Да... на улице Паради-Пуассоньер,— отвечал удивленный Гражданин.

— Какой номер?

— Тридцать семь... Вы, право, чудак!

Фредерик встал.

— Как, вы уже уходите?

— Да, да, мне надо ехать, я и позабыл, что у меня дело! Прощайте!

Из кабачка Фредерик помчался к Арну, словно подгоняемый теплым ветром, с той необычайной легкостью, какую ощущаешь лишь во сне.

Он вскоре оказался перед дверью, на площадке третьего этажа; прозвонил звонок, вышла служанка, открылась вторая дверь. Г-жа Арну сидела у камина. Арну вскочил и обнял Фредерика. На коленях у нее был мальчик лет трех; дочь ее, теперь такого же роста, как мать, стояла по другую сторону камина.

— Позвольте представить вам вот этого господина,— сказал Арну, схватив сына подмышки.

И несколько минут он забавлялся тем, что высоко подбрасывал и опять подхватывал его.

— Ты его убьешь! Ах, боже мой! Да перестань! — кричала г-жа Арну.

Но Арну клялся, что опасности никакой нет, продолжал игру и даже сюсюкал ласковые слова на своем родном марсельском наречии:

— Ах ты, мой цыпленочек! Соловей мой маленький!

Затем стал расспрашивать Фредерика, почему он так долго не писал, что он делал, что побудило его вернуться.

— Я теперь, друг мой, торгую фаянсом. Но поговорим о вас.

Фредерик сослался на долгий судебный процесс, на здоровье матери, делая на это сильный упор, чтобы казаться интереснее. Короче говоря, теперь он окончательно намерен поселиться в Париже; о наследстве он промолчал, чтобы не повредить в их глазах своему прошлому.

Занавески, так же как и обивка мебели, были из шерстяного штофа коричневого цвета; две подушки лежали рядом в изголовье постели; на угольях в камине грелся чайник; абажур на лампе, стоявшей на краю комода, затенял комнату. Г-жа Арну была в синем мериносовом капоте. Она глядела на поту-

хающие в камине угли и, придерживая одной рукой мальчика за плечо, другой развязывала ему тесемку на кофточке; малыш, оставшись в одной рубашонке, заплакал и стал чесать себе голову, совсем как сын господина Александра.

Фредерик думал, что задохнется от радости; но страсти, перенесенные в новую среду, чахнут, и когда он увидел г-жу Арну не в той обстановке, в которой раньше знал ее, ему показалось, будто она утратила что-то, как-то опустилась, словом, уже не та, что прежде. Спокойствие, которое он ощутил в своем сердце, поразило его. Он осведомился о старых друзьях, в том числе о Пеллерене.

— Я с ним редко вижуся,— сказал Арну.

Она прибавила:

— Мы больше не принимаем, как прежде!

Не было ли это предупреждением, что его больше не будут приглашать? Но Арну, продолжая в том же дружеском тоне, упрекнул Фредерика, что тот не пришел к ним запросто обедать, и стал объяснять, почему переменял занятие.

— Что прикажете делать в дни такого упадка, как сейчас? Высокая живопись вышла из моды! Впрочем, во всяком деле можно найти место искусству. Ведь я, вы знаете, люблю прекрасное! Надо будет на днях свезти вас на мою фабрику.

И он пожелал немедленно показать ему некоторые из своих изделий в кладовой на антресолях.

Блюда, суповые миски, тарелки и тазы загромождали пол. К стенам были прислонены большие изразцовые плиты для ванн и туалетных комнат с мифологическими сюжетами в стиле Возрождения, а посредине, поднимаясь до самого потолка, стояла двойная этажерка, уставленная вазами для мороженого, горшками для цветов, канделябрами, маленькими жардиньерками и большими многокрасочными статуэтками, изображавшими негра или пастушку в стиле помпадур. Объяснения Арну надоели Фредерику, ему было холодно и хотелось есть.

Он поспешил в Английское кафе и роскошно поужинал; за едой он говорил себе:

«Хорош я там был со своими страданиями! Она едва меня узнала! Что за мещанка!»

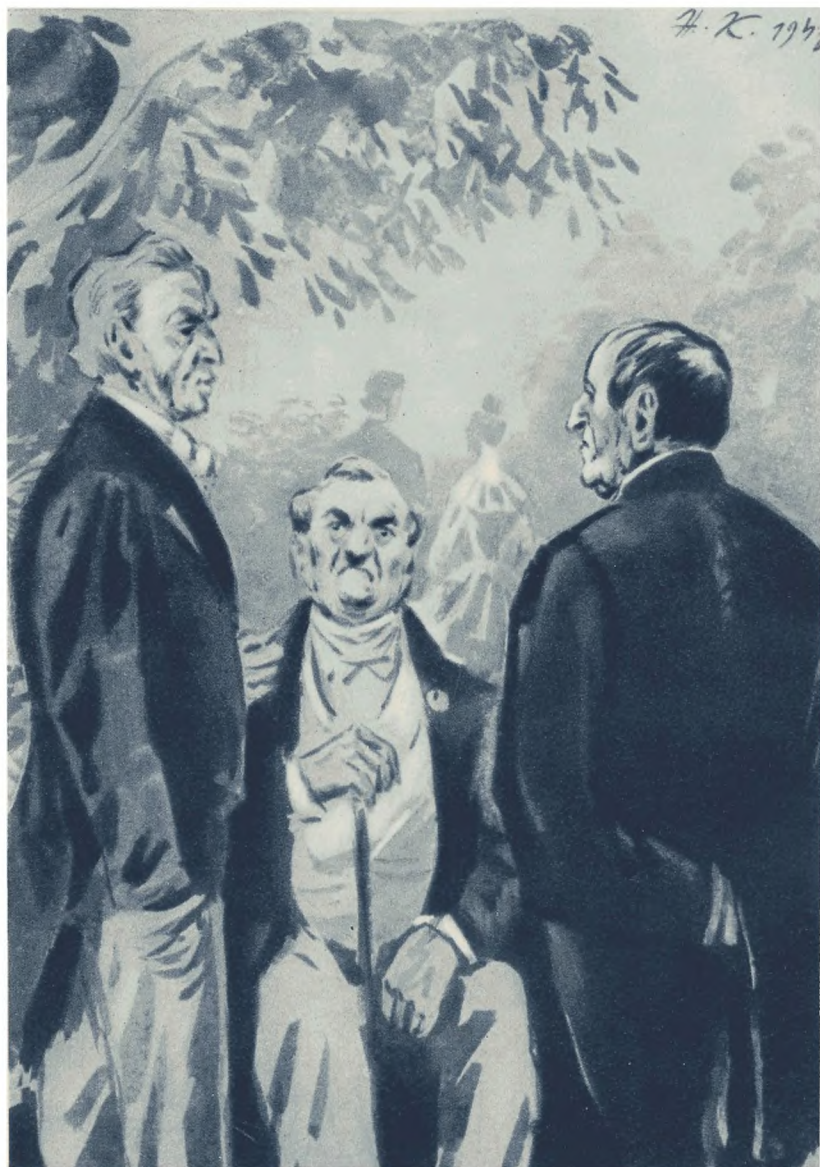
И, почувствовав внезапный прилив сил, он принял эгоистические решения. Его сердце казалось ему таким же твердым, как тот стол, на который он облокотился. Итак, теперь он без страха может пуститься в свет. Ему на память пришли Дамбрёзы; он воспользуется знакомством с ними; потом он вспомнил о Делорье: «А ну его!» Все же он отправил с рассыльным записку, в которой назначил Делорье встречу на другой день в Пале-Рояле, чтобы вместе позавтракать.

К Делорье судьба была не столь милостива.



Худ. Н. Кузьмин. 1947.

«Воспитание чувств» (стр. 61).



Худ. Н. Кузьмин. 1947.

«Воспитание чувств» (стр. 301).

На соискание кафедры он представил диссертацию «О праве духовного завещания», в которой утверждал, что его следует как можно больше ограничить, а так как оппонент подстрекал его на глупости, он наговорил их в достаточном количестве, причем экзаминаторы и глазом не моргнули. Затем случаю было угодно, чтобы темой его первой лекции оказался вопрос о давности. Тут Делорье дал волю самым прискорбным теориям; старые претензии могут предъявляться на равных основаниях с новыми; зачем отнимать у человека его собственность, если он может доказать право на нее хотя бы и по истечении тридцати одного года? Не значит ли это ставить наследника разбогатевшего вора в положение честного человека? Все несправедливости освящаются широким толкованием этого права, которое является тиранией, злоупотреблением силой. Он даже воскликнул:

— Уничтожим его, и франки больше не будут угнетать галлов, англичане — ирландцев, янки — краснокожих, турки — арабов, белые — негров, Польша...

Председатель прервал его:

— Довольно, милостивый государь, довольно! Ваши политические взгляды нас не интересуют; вам придется явиться еще раз!

Делорье не пожелал явиться. Но эта злополучная глава двадцатая третьей книги Гражданского кодекса стала для него камнем преткновения. Он трудился над сочинением о «давности, рассматриваемой как основа гражданского права и естественного права народов», и всецело поглощен был чтением Дюно, Рожериуса, Бальбуса, Мерлина, Вазейля, Савиньи, Тролона и других серьезных трудов. Чтобы свободнее предаваться своим занятиям, он бросил место старшего клерка. Он зарабатывал уроками и писанием кандидатских сочинений, а на ораторских собраниях своей язвительностью пугал консервативную партию, всех молодых доктринеров школы г-на Гизо, так что в определенной среде достиг своего рода известности, сочетавшейся с некоторым недоверием к его личности.

На свидание он пришел в толстом пальто на красной фланелевой подкладке; такое в былую пору носил Сенекаль.

Стесняясь публики, они не стали обниматься и под руку пошли к Вефуру, посмеиваясь от удовольствия, готовые проследить за ними. Как только они остались наедине, Делорье воскликнул:

— Ах, черт возьми, вот когда у нас пойдет отличное житье!

Фредерику не понравилось это желание поскорее присоединиться к его богатству. Друг его слишком был рад за них обоих и недостаточно за него одного.

Потом Делорье рассказал о своей неудаче, а там постепенно о своих трудах, о своей жизни, причем о себе он говорил тоном

стойка, о других же со злобой. Все ему было не по вкусу. Не было ни одного человека с положением, которого он не считал бы кретином или мерзавцем! Из-за плохо вымытого стакана он набросился на официанта, а когда Фредерик кротко упрекнул его, ответил:

— Буду я церемониться с подобными субъектами, которые зарабатывают до шести, до восьми тысяч франков в год, имеют право выбирать, даже, пожалуй, быть избранными! О нет, нет!

Затем — уже игривым тоном:

— Но я забыл, что разговариваю с капиталистом, с золотым мешком — ведь ты же теперь золотой мешок!

И, вернувшись опять к вопросу о наследстве, он выразил мысль, заключавшуюся в том, что наследование по боковой линии (вещь сама по себе несправедливая, хотя в данном случае он очень рад) будет отменено в ближайшие дни, как только произойдет революция.

— Ты думаешь? — сказал Фредерик.

— Будь уверен! Так не может продолжаться! Слишком много приходится страдать! Когда я вижу в нужде таких людей, как Сенекаль...

«Вечно этот Сенекаль!» — подумал Фредерик.

— А вообще что нового? Ты все попрежнему влюблен в госпожу Арну? Наверно, прошло? А?

Фредерик, не зная, что ответить, закрыл глаза и опустил голову.

Относительно Арну Делорье сообщил, что его газета принадлежит теперь Юссонэ, преобразовавшему ее. Называется она «Искусство» — литературное предприятие, товарищество на паях, по сто франков каждый; капитал общества — сорок тысяч франков; каждому пайщику предоставляется право печатать в нем свои рукописи, ибо «товарищество имеет целью издавать произведения начинающих, избавляя талант, может быть даже гений, от мучительных кризисов,— и так далее... Понимаешь, какое вранье!» Все же и тут можно было бы кое-что сделать — поднять тон означенного листка, потом, сохранив тех же редакторов и обещав подписчикам продолжение фельетона, преподнести им политическую газету; предварительные затраты не были бы чрезмерно велики.

— Что ты об этом думаешь, а? Хочешь заняться?

Фредерик предложения не отверг. Но придется подождать, пока он не приведет в порядок свои дела.

— Тогда, если тебе что-нибудь понадобится...

— Благодарю, мой милый! — сказал Делорье.

Затем они закурили дорогие сигары, облокотясь на подоконник, обитый бархатом. Сверкало солнце, воздух был мягкий, птицы, стаями порхавшие в саду, опускались на деревья; бле-

стели бронзовые и мраморные статуи, омытые дождем; няньки в передниках болтали, сидя на скамейках; слышен был детский смех и непрерывный плеск фонтана.

Озлобление Делорье смutilo Фредерика; но под влиянием вина, разлившегося по жилам, он, полусонный, отяжелевший, обратив лицо прямо к солнцу, не испытывал ничего, кроме необъятного блаженства, бессмысленной неги,—точно растение, насыщенное влагой и теплом. Делорье, полузакрыв глаза, смотрел куда-то вдаль. Грудь его вздымалась, и вот он заговорил:

— Ах, как это было прекрасно, когда Камилл Демулен, стоя вон там на столе, звал народ на приступ Бастилии! В то время люди жили, они могли проявить себя, показать свою силу! Простые адвокаты приказывали генералам, оборванцы побивали королей, а теперь...

Он умолк; потом вдруг снова:

— Да, будущее чревато событиями!

И, барабаня пальцами по стеклу, продекламировал стихи Бартеlemi:

Вновь явится оно, то грозное Собрание,
Пред коним и теперь вы полны содроганья,
Колосс, что шествует без страха все вперед.

— Как дальше, не помню. Однако уже поздно, не пора ли идти?

На улице он продолжал излагать свои теории.

Фредерик, не слушая его, высматривал в витринах магазинов мебель и материи, подходящие для убранства его квартиры, и, может быть, именно мысль о г-же Арну побудила его остановиться перед магазином случайных вещей, где в витрине были выставлены три фаянсовые тарелки. Их украшали желтые арабески с металлическим отблеском, и каждая стоила сто экю. Он велел их отложить для него.

— Я на твоём месте покупал бы уж скорее серебро,—сказал Делорье, обнаруживая этой любовью к прочным ценностям свое низкое происхождение.

Как только они расстались, Фредерик отправился к знаменитому Помадеру, которому заказал три пары брюк, два фрака, меховую шубу и пять жилетов, потом — к сапожнику, в магазины бельевой и шляпный, всюду настаивая на том, чтобы с заказом поторопились.

Три дня спустя вечером, вернувшись из Гавра, он нашел у себя полный гардероб; ему не терпелось воспользоваться им, и он решил тотчас же сделать визит Дамбрёзам. Но было слишком рано, только восемь часов.

«А что если навестить тех?» — подумал он.

Арну в одиночестве брился перед зеркалом. Он предложил

Фредерику свезти его в одно место, где будет весело, а когда услышал имя г-на Дамбрёза, сказал:

— Ах, вот и к стати! Там вы увидите и его знакомых. Так поедем! Будет занытно!

Фредерик отговаривался. Г-жа Арну узнала его голос и поздоровалась с ним из другой комнаты; дочка ее прихворнула, и сама она была нездорова; раздавалось позвякивание ложечки о стакан, слышался тот смутный шорох, что бывает в комнате больного, когда осторожно передвигают какие-то вещи. Потом Арну скрылся, чтобы попрощаться с женой. Он сыпал разными доводами:

— Ты ведь знаешь, что это важное дело! Я должен там быть, мне это нужно, меня ждут!

— Поезжай, друг мой, поезжай! Развлекись!

Арну крикнул фиакр:

— Пале-Рояль, галлерей Монпансье, дом номер семь.

И откинулся на подушки:

— Ах, как я устал, дорогой мой! Я просто подыхаю! Впрочем, вам-то я могу сказать...

Он таинственно наклонился к уху Фредерика:

— Я стараюсь изготовить краску меднокрасного оттенка, какую пользовались китайцы.

И он объяснил, что такое глазурь и медленный огонь.

В магазине у Шеве ему подали большую корзину, которую он велел отнести в экипаж. Потом он выбрал для «своей бедной жены» винограду, ананасов, разных редкостных лакомств и распорядился, чтобы все это было доставлено на другой день с самого утра.

Затем они отправились в костюмерную; им предстояло ехать на бал. Арну надел короткие синие бархатные штаны, такой же камзол, рыжий парик; Фредерик нарядился в домино; и они поехали на улицу Лавалья, где остановились у дома, третий этаж которого был освещен разноцветными фонариками.

Уже внизу, на лестнице, они услышали звуки скрипок.

— Куда вы привели меня, чорт возьми? — сказал Фредерик.

— К премилой девочке! Не бойтесь!

Грум отворил им дверь, и они вошли в переднюю, где на стульях грудями были набросаны пальто, плащи и шали. Молодая женщина в костюме драгуна времен Людовика XV проходила в этот миг через переднюю. Это была м-ль Роза-Анетта Брон, хозяйка дома.

— Ну как? — спросил Арну.

— Сделано! — ответила она.

— О, благодарю, мой ангел!

И он хотел поцеловать ее.

— Осторожнее, дурак! Ты мне испортишь грим!

Арну представил Фредерика.

— Руку, судары! Милости просим!

Она откинула позади себя портьеру и торжественно объявила:

— Господин Арну, Поваренок, и князь, его друг!

Фредерик сперва был ослеплен огнями; он не видел ничего, кроме шелка, бархата, обнаженных плеч, многоцветной толпы, которая колыхалась под звуки оркестра, скрытого в зелени, среди обтянутых желтым шелком стен, украшенных несколькими портретами пастелью и хрустальными бра в стиле Людовика XVI. По углам, над корзинами цветов, стоявшими на консолях, подымались высокие лампы, матовые колпаки которых похожи были на снежные комья, а прямо напротив, за второй комнатой несколько меньших размеров, открывалась третья, где стояла кровать с витыми колоннами и венецианским зеркалом в изголовье.

Танцы прервались, и раздались рукоплескания, радостный шум при виде Арну, который шествовал с корзиной на голове; снесь подымалась там горбом.

— Осторожней, люстра!

Фредерик поднял глаза — это была та самая люстра старинного саксонского фарфора, что украшала магазин «Художественной промышленности». Воспоминания минувших дней пробудились в нем; но в этот миг солдат-пехотинец в караульной форме, с тем простоватым видом, который по традиции приписывают новобранцам, встал перед ним и в знак удивления развел руками. Несмотря на страшные, до невозможности острые черные усы, изменявшие черты лица, Фредерик узнал в нем своего старого друга Юссонэ. На каком-то тарабарском языке, полуэльзасском, полунегритянском, шалопай рассыпался перед ним в поздравлениях, называя его полковником. Фредерик, смутившись при виде всей этой публики, не знал, что ответить. Но ударили смычком по пюпитру, танцоры и танцорки заняли свои места.

Их было тут человек шестьдесят, женщины по большей части в костюмах поселянок или маркиз, а мужчины, почти все в зрелых годах, одеты были возчиками, грузчиками или матросами.

Фредерик, став у стены, смотрел на кадрили.

Старый красавец в шелковой пурпурной мантии, изображавший дожа, танцевал с г-жой Розанеттой, на которой были зеленый мундир, облегающие штаны и мягкие сапоги с золотыми шпорами. Против них танцевали Арнаут, весь обвешанный ятаганями, и голубоглазая Швейцарка, белая, как молоко, пухлая, как перепелка, в красном корсаже без рукавов.

Высокая блондинка, оперная статистка, желая выставить напоказ свои волосы, доходившие ей до колен, нарядилась ди-каркой и поверх коричневого трико надела лишь кожаный передник, украсив себя браслетами из стеклянных бус и мишурной диадемой, над которой возвышался высокий сноп павлиньих перьев. Впереди нее Притчард, щеголяя в причудливо широком черном фраке, локтем отбивал такт по своей табакерке. Пастушок в духе Ватто, весь лазоревый и серебряный, точно лунный луч, ударял своим посохом по тирсу Вакханки, увенчанной виноградом, в леопардовой шкуре на левом плече и в котурнах с золотыми завязками. По другую сторону Полька в яркокрасном бархатном спенсере колыхала свою газовую юбку над светлосерыми шелковыми чулками и розовыми ботинками с белой меховой оторочкой. Она улыбалась сорокалетнему толстобрюхому кавалеру, наряженному церковным певчим; он подпрыгивал очень высоко, одной рукой приподнимая стихарь, а другой придерживая красную скуфью. Но королевой, звездой была м-ль Лулу, знаменитая танцовщица публичных балов. Так как теперь она была богата, то на ее гладком камзоле черного бархата был широкий кружевной воротник, а обширные шаровары пунцового шелка, плотно обтянутые сзади и схваченные в талии кашемировым шарфом, были украшены вдоль швов живыми белыми камелиями. Ее бледное, чуть одутловатое лицо со вздернутым носом казалось более наглым благодаря всклокоченному парикку, на который была надета серая мужская фетровая шляпа, сдвинутая на правое ухо; а когда м-ль Лулу подскакивала, ее туфельки с бриллиантовыми пряжками чуть не задевали за нос ее кавалера, высокого средневекового барона, изнывавшего в железных доспехах. Был тут и Ангел с золотым мечом в руке и с лебедиными крыльями за спиной; двигаясь взад и вперед, он поминутно терял своего кавалера, Людовика XIV, путал фигуры и мешал танцующим.

Фредерик, глядя на этих людей, чувствовал себя одиноким, ему было не по себе. Он снова думал о г-же Арну, и ему казалось, будто он участвует в каком-то враждебном начинании, замышляемом ей во вред.

Когда кадрили кончилась, к нему подошла г-жа Розанетта. Она немного задыхалась, и ее зеркально-глянцевитый нагрудник слегка приподнимался у нее под подбородком.

— А вы, сударь, — сказала она, — не танцуете?

Фредерик извинился: он не умеет танцевать.

— Вот как? Ну, а со мной? В самом деле не умеете?

Она стояла, перегнувшись всем корпусом на один бок, слегка подогнув колено, и левой рукой поглаживала перламутровую рукоятку шпаги; с минуту она смотрела на Фреде-

рика взглядом полуумоляющим, полунасмешливым. Наконец сказала: «Прощайте», сделала пируэт и скрылась.

Фредерик, недовольный собой и не зная, что делать, стал бродить по комнатам.

Он вошел в будуар, обитый бледноголубым шелком с букетами полевых цветов; на потолке, в кольце позолоченного дерева, амуры среди лазурного неба резвились в облаках, напоминающих перины. Эти чудеса изящества, которые в наши дни были бы убожеством в глазах такой женщины, как Розанетта, ослепили его, и он восхищался всем: искусственными вьюнками вокруг зеркала, экраном у камина, турецким диваном и — в нише стены — неким подобием шатра, обтянутого розовым шелком и покрытого белым муслином. Спальня была обставлена мебелью черного дерева с медной инкрустацией, а на возвышении, покрытом ковром из лебяжьего пуха, стояла широкая кровать под балдахином со страусовыми перьями. Булавки с драгоценными камнями, воткнутые в подушечки, кольца, брошенные на тарелочки, золотые медальоны и серебряные шкатулки — вот что можно было различить в полутьме комнаты, освещенной хрустальной люстрой, которая спускалась на трех цепочках. В маленькую приотворенную дверь видна была теплица, занимавшая террасу во всю ее ширину и заканчивавшаяся вольером.

Такая обстановка не могла ему не понравиться. Молодость вдруг заговорила в нем, он поклялся насладиться всем этим и осмелел; вернувшись в гостиную, где народу теперь было еще больше (все кружилось в какой-то светящейся пыли), и став в дверях, он созерцал танцующих, щурился, чтобы лучше видеть, и впивал томные благоухания, носившиеся в воздухе, словно необъятный поцелуй.

Но рядом с ним, по другую сторону двери, стоял Пеллерен, — Пеллерен в полном параде, — заложив левую руку за жилет, а в правой держа шляпу и белую разорванную перчатку.

— Ба! Давно вас не видно! Где ж это вы были, чорт возьми? Путешествовали? По Италии? Шаблонная она, Италия? Не так здорово, как говорят? Но все равно! Принесите-ка мне, как-нибудь на днях, ваши эскизы.

И, не дожидаясь ответа, художник заговорил о самом себе.

Он сделал большие успехи, окончательно поняв бессмысленность Линии. В произведении искусства должно считаться не столько с Красотой и Единством, сколько с характерностью и разнообразием предметов.

— Ибо все существует в природе, стало быть, все закономерно и все пластично. Дело лишь в том, чтобы схватить тон, — вот и все! Я открыл этот секрет!

И, толкнув Фредерика локтем, он несколько раз повторил: — Видите, я открыл секрет! Вот взгляните-ка на эту маленькую женщину с повязкой сфинкса на волосах, что танцует в паре с Руссином ямщиком, — здесь все четко, сухо, определенно, все плоско и в резких тонах: индиго под глазами, киноварь на щеках, бистр на висках — раз-два!

И он размахивал большим пальцем, словно делал мазки кистью.

— А вот эта толстуха, вон там, — продолжал он, указывая на Рыбную торговку в вишневом платье с золотым крестиком на шее, в батистовой косынке, завязанной на спине узлом, — сплошные округлости; ноздри расплющены, как банты на ее чепце, углы рта приподняты, подбородок опускается, все жирно, слитно, плотно, спокойно и солнечно, настоящий Рубенс! И обе они — совершенство! Где же тогда тип?

Он уже горячился:

— Что такое красивая женщина? Что такое Прекрасное? Ах, Прекрасное, скажете вы мне...

Фредерик прервал его вопросом, кто такой этот Пьеро с козлиным профилем, что благословляет сейчас танцующих в самый разгар кадрили.

— Полное ничтожество! Вдов, отец трех мальчиков. Они у него без штанов, а он проводит время в клубе и живет со своей служанкой.

— А вон тот, одетый средневековым судьей? Он разговаривает у окна с маркизой Помпадур.

— Маркиза — это госпожа Вандаэль, бывшая актриса театра «Жимназ», любовница Дожа, графа де Палазо. Уже двадцать лет, как они живут вместе — неизвестно почему. Что за дивные глаза были когда-то у этой женщины! А гражданин, стоящего рядом с ней, зовут капитаном д'Эрбиньи, он ветеран старой гвардии; кроме ордена Почетного легиона и пенсии ничего не имеет, в торжественных случаях играет роль дядюшки какой-нибудь гризетки, распоряжается на дуэлях и всегда обедает в гостях.

— Каналья? — спросил Фредерик.

— Нет, порядочный человек!

— А!

Художник продолжал называть ему и других, как вдруг заметил господина, который, подобно мольеровским врачам, одет был в черную саржевую мантию, расстегнутую сверху донизу, чтобы всякий мог видеть все его брелоки.

— Перед вами доктор де Рожи; его бесит, что он не знаменит; написал порнографическую медицинскую книгу; охотно лижет сапоги в светском обществе, умеет держать язык за зубами; здешние красотки его обожают. Он и его супруга

(та худошавая Средневековая дама в сером платье) таскаются вместе по всем публичным, да и всяким другим местам. Несмотря на стесненные обстоятельства, у них есть приемные дни, артистические чаепития, на которых читаются стихи. Но тише!

Доктор и в самом деле к ним подошел; и вскоре они, втроем став у дверей гостиной, занялись разговорами; к ним присоединились Юссонэ, потом любовник Дикарки, молодой поэт, жалкое телосложение которого не мог скрыть короткий плащ в стиле Франциска I, и, наконец, остроумный малый, костюмированный турецким стражником. Но его куртка с желтыми галунами так долго путешествовала на спинах странствующих дантистов, широкие красные панталоны в складках так вылинялы, тюрбан, скрученный по-татарски как угорь, являл такое убогое зрелище, словом, весь его наряд был так плачевен и тем не менее так удачен, что женщины даже не скрывали своего отвращения. Доктор утешил его восторженными похвалами по адресу Грузчицы, его любовницы. Этот Турок был сыном банкира.

В промежутке между двумя кадрилями Розанетта направилась к камину, возле которого сидел в кресле полный старичок в коричневом фраке с золотыми пуговицами. Наперекор его поблекшим щекам, которые свисали над высоким белым галстуком, волосы его еще были белокуры и сами вились, точно шерсть пуделя, придавая его облику что-то игривое.

Она слушала его, склонившись к самому его лицу. Потом приготовила ему стакан сиропа, и ничто не могло быть изящнее ее ручек в кружевных манжетах, выступавших из-под обшлага зеленого мундира. Старичок выпил сироп и поцеловал их.

— Да это же господин Удри, сосед Арну!

— Он-то его и погубил! — сказал, смеясь, Пеллерен.

— Как так?

Гость в костюме почтаря из Лонжюмо схватил Розанетту за талию; начался вальс. Все женщины, сидевшие на диванчиках по стенам гостиной, живо поднялись одна за другой, и их юбки, их шаровары, их прически — все закружилось.

Они кружились так близко от Фредерика, что он различал даже капельки пота у них на лбу, и это вращательное движение, все более и более быстрое и равномерное, головокружительное, как-то опьяняло его ум, вызывая в нем другие образы; все эти женщины проносились мимо него, равно ослепительные, но каждая по-иному возбуждала его, смотря по роду своей красоты. Полька, томно отдававшаяся движению танца, внушала ему желание прижать ее к сердцу и унести с ней вдвоем в санях по снежной равнине. Картины безмятеж-

ных наслаждений, где-нибудь в хижине, на берегу озера, раз-
вертывались в поступи Швейцарки, которая вальсировала,
выпрямив стан и потупив взор. Потом вдруг Вакханка, от-
кинув темноволосую головку, будила в нем мечты об иступ-
ленных ласках в олеандровых рощах, в грозу, под еле слыш-
ные звуки тамбурина. Рыбная торговка, задыхаясь от слиш-
ком быстрого темпа, громко смеялась, и он бы хотел, попивая
вместе с ней вино в каком-нибудь поршеронском кабачке,
вволю мять ее косынку, совсем как в доброе старое время.
А Грузчица, едва касаясь паркета, как бы таила в гибкости
своего тела, в серьезном выражении лица всю утонченность
современной любви, обладающей точностью науки и быстро-
летностью птицы. Розанетта кружилась подбоченясь; с ее за-
тейливого парика, подпрыгивавшего над воротником, во все
стороны летела ирисовая пудра, а своими золотыми шпорами
она в каждом туре чуть-чуть не задевала Фредерика.

С последним аккордом вальса явилась м-ль Ватназ в ал-
жирском платке, надетом на голову, с множеством пиастров
на лбу, в виде украшения, с подведенными глазами; на ней
было что-то вроде бурнуса из черного кашемира, который
спускался на светлую юбку, вышитую серебром, а в руке она
держала бубен.

За нею шел высокий мужчина в классическом костюме
Данте; он оказался (теперь она уже не скрывала своих отно-
шений с ним) бывшим певцом из «Альгамбры», который, перво-
начально именуясь Огюстом Деламаром, впоследствии на-
чал называть себя Антенором Делламаре, потом Дельмасом,
потом Бельмаром и, наконец, Дельмаром, видоизменяя и со-
вершенствуя таким путем свою фамилию в соответствии с ро-
стом своей славы; эстраду кабачков он сменил на театр и
только что с успехом дебютировал в театре «Амбигю» в пьесе
«Гаспардо-рыбак».

Юссонэ, увидев его, нахмурил брови. С тех пор, как не
приняли его пьесу, он терпеть не мог актеров. Невозможно
себе представить тщеславие такого сорта господ, а в особен-
ности этого.

«Ну и кривляка, вот посмотрите!»

Отвесив легкий поклон Розанетте, Дельмар прислонился
к камину; он стоял неподвижно, приложив руку к сердцу,
выставив вперед левую ногу, возведя глаза к небу, не снимая
венка из золоченого лавра, надетого на капюшон, и силясь
придать своему взгляду побольше поэтичности, чтобы пленить
дам. Около него, но в некотором отдалении, уже образовал-
ся круг.

Ватназ, после долгих объятий с Розанеттой, подошла к
Юссонэ попросить, чтобы он просмотрел, с точки зрения стиля,

ее труд по педагогике, который она собиралась издать под заглавием «Венок молодым девицам» — литературно-нравственную хрестоматию. Литератор обещал свое содействие. Тогда она спросила, не может ли он в одной из газет, куда имеет доступ, написать что-нибудь похвальное о ее друге, а потом даже поручить ему роль. Юссонэ из-за этого прозевал стакан пунша.

Приготовлял его Арну. Сопровождаемый графским грумом, который держал пустой поднос, он самодовольно предлагал его гостям.

Когда он подходил к г-ну Удри, Розанетта его оставила:

— Ну, а как же то дело?

Он слегка покраснел; потом обратился к старику:

— Наша приятельница говорила мне, что вы так любезны...

— Да, разумеется, располагайте мной, милый сосед.

Тут было произнесено имя г-на Дамбрёза; они разговаривали вполголоса, поэтому Фредерик плохо слышал их; он устремился к другому углу камина, где Розанетта беседовала с Дельмаром.

Лицо актера было вульгарное, рассчитанное, подобно театральным декорациям, на то, что смотреть будут издали; руки у него были толстые, ноги большие, челюсть тяжелая; он ругал самых знаменитых актеров, свысока рассуждал о поэтах, говорил: «мой голос, моя внешность, мои данные», расцветивая свою речь мало понятными ему самому словами, к которым у него было пристрастие, как то: «морбидецца», «аналогичный», «гомогенность».

Розанетта слушала его, в знак согласия кивая головой. Сквозь румяна было видно, как от восхищения загораются ее щеки, и что-то влажное словно флером заволакивало ее светлые глаза неопределенного цвета. Как мог подобный человек очаровать ее? Фредерик разжигал в себе презрение к нему, тем самым, может быть, надеясь уничтожить своего рода зависть, которую тот в нем возбуждал.

М-ль Ватназ была теперь в обществе Арну; очень громко смеясь, она время от времени бросала взгляды на свою подружку, которую г-н Удри тоже не терял из виду.

Потом Арну и Ватназ исчезли; старик подошел к Розанетте и шопотом что-то ей сказал.

— Ну да, да, это решено! Оставьте меня в покое!

И она попросила Фредерика пойти на кухню посмотреть, там ли г-н Арну.

На полу выстроился целый батальон стаканов, налитых не доверху, а разные кастрюли, котелки, сковороды так и прыгали

по плите. Арну распоряжался прислугой, всем говорил «ты», сбивал острый соус, пробовал подливки, шутил с кухаркой.

— Хорошо,—сказал он,— передайте ей, что я сейчас велю подавать.

Танцы прекратились, женщины опять уселись, мужчины расхаживали по комнате. Занавеска на одном из окон топорщилась от ветра, и женщина-Сфинкс, несмотря на увещания, подставила вспотевшие плечи под струю свежего воздуха. Но где же Розанетта? Фредерик в поисках ее прошел дальше, в будуар и в спальню. Некоторые из гостей, желая побыть в одиночестве или остаться с кем-нибудь вдвоем, удалились туда. Шопот смешивался с полутьмой. Слышался смех, приглушенный носовым платком, а на фоне корсажей смутно выделялось медленное и мягкое движение вееров, трепетавших точно крылья раненой птицы.

Войдя в теплицу, Фредерик увидел около фонтана, под широкими листьями ароиды, Дельмара, который лежал на диване, обитом холстом; Розанетта, сидя подле него, гладила рукой его волосы, и они смотрели друг на друга. В тот же момент с другого конца, со стороны вольера, вошел Арну. Дельмар тотчас вскочил, но к выходу направился спокойным шагом, не оборачиваясь, и даже остановился у двери, чтобы сорвать цветок гибиска и вдеть его в петлицу. Розанетта опустила голову; Фредерик, видевший ее в профиль, заметил, что она плачет.

— Что с тобой? — сказал Арну.

Она вместо ответа пожала плечами.

— Это из-за него? — спросил он.

Она обвила руками его шею и, целуя в лоб, медленно произнесла:

— Ты же знаешь, что я всегда буду тебя любить, пузан! Забудь об этом! Идем ужинать!

Медная люстра в сорок свечей освещала столовую, стены которой были сплошь увешаны старинными фаянсовыми изделиями, и от этого резкого света, падавшего совершенно отвесно, еще белее казалось гигантское тюрбо, стоявшее посередине стола, окруженное закусками и фруктами, по краям тянулись тарелки с супом из раков. Шурша платьями, подбирая юбки, рукава и шарфы, женщины садились одна подле другой; мужчины, стоя, устроились по углам. Пеллерен и г-н Удри оказались около Розанетты, Арну — против нее. Палазо и его приятельница только что уехали.

— Счастливого пути! — сказала Розанетта.— Приступим!

И вот церковный певчий, большой шутник, широко перекрестился и стал читать *Venedicite*.¹

¹ «Благословен» (название молитвы) (лат.).

Дамы были скандализованы, и более всех Рыбная торговка, имевшая дочку, которую она желала сделать порядочной женщиной. Арну тоже не любил «таких вещей», считая, что религию следует уважать.

Немецкие часы с кукушкой пробили два часа и вызвали немало острот, относившихся к птице. Тут последовали всякого рода каламбуры, анекдоты, хвастливые речи, пари, ложь, выдаваемая за правду, невероятные утверждения, целый водопад слов, расплывшийся вскоре на частные беседы. Вино лилось, одно блюдо сменялось другим, доктор разрезал жаркое. Гости издали перебрасывались апельсинами, пробками, уходили со своих мест, чтобы с кем-нибудь поговорить. Розанетта часто оборачивалась к Дельмару, который неподвижно стоял за ее спиной; Пеллерен болтал, г-н Удри улыбался. М-ль Ватназ почти одна съела блюдо раков, и скорлупа хрустела на ее длинных зубах. Ангел, усевшись на табурет от фортепиано (единственное сидение, на которое ему позволяли опуститься его крылья), невозмутимо и непрерывно жевал.

— Этакий аппетит! — повторял в изумлении церковный певчий. — Этакий аппетит!

А женщина-Сфинкс пила водку, кричала во все горло, бесновалась, как демон. Внезапно щеки ее раздулись, и, не пытаясь больше сдержать кровь, от которой она задыхалась, она поднесла к губам салфетку, потом швырнула ее под стол.

Фредерик это видел.

— Пустяки!

В ответ на его увещания уехать и подумать о своем здоровье она медленно произнесла:

— Ну да! А какой толк? Одно другого стоит! Жизнь не так уж занята!

И он содрогнулся, охваченный ледящей печалью, как будто перед ним открылись целые миры нищеты и отчаяния, жаровня с угольями подле койки больного, трупы в морге, прикрытые кожаными передниками, под краном, из которого им на волосы льется холодная вода.

Между тем Юссонэ, подсевший на корточках к ногам Дикарки, орал хриплым голосом, передразнивая актера Грассо:

— Не будь жестока, о Челюта! Этот маленький семейный праздник очарователен! Опьяните меня сладострастием, дорогие мои! Будем резвиться! Будем резвиться!

И он стал целовать женщин в плечи. Они вздрагивали, его усы кололи их; потом он вздумал разбить тарелку, стукнув ее слегка о свою голову. Другие последовали его примеру; осколки фаянса летали, точно черепицы в сильный ветер, а Грузчица воскликнула:

— Не стесняйтесь! Это ничего не стоит! Это подарки господина, который их изготавливает!

Все взоры обратились к Арну. Он возразил:

— Ну нет, простите, за все уплачено! — желая, наверно, показать, что он не любовник Розанетты или что он уже перестал им быть.

Но вдруг раздалось два яростных голоса:

— Дурак!

— Бездельник!

— К вашим услугам!

— Я также!

Это ссорились Средневековый рыцарь и Русский ямщик; последний заметил, что при наличии лат храбрости не требуется, Рыцарь принял это за оскорбление. Он хотел драться, другие вмешались, а ветеран гвардии пытался среди всего этого шума поднять голос:

— Господа, выслушайте меня! Два слова! Я человек опытный, господа!

Розанетта, постучав ножом о стакан, добила, наконец, тишины и обратилась сперва к Рыцарю, не снимавшему шлема, потом к Ямщику в мохнатой меховой шапке:

— Снимите для начала вашу кастрюлю! Мне от нее жарко! А вы там — вашу волчью морду! Будете вы меня слушаться, чорт возьми? Посмотрите на мои эполеты! Я ваша капитанша!

Они покорились, и все зааплодировали, крича:

— Да здравствует Капитанша! Да здравствует Капитанша!

Тогда она взяла с камина бутылку шампанского и, подняв ее, стала наливать вино в протянутые к ней бокалы. Но стол был слишком широк, поэтому гости, и в первую очередь женщины, устремились в ее сторону, подымаясь на цыпочки, взбираясь на стулья, так что на минуту образовалась целая пирамида из причесок, обнаженных плеч, вытянутых рук, склоненных станов, и тут же искрились длинные струи вина, ибо Пьеро и Арну в разных концах столовой откупоривали бутылки, обдавая брызгами лица окружающих. Птички из вольера, дверь которого оставили открытой, налетели в столовую, в испуге порхали вокруг люстры, ударяясь об окна, о мебель, а некоторые из них садились на головы, напоминая большие цветы, украшающие прическу.

Музыканты ушли. Рояль перетасили из передней в гостиную. Ватназ села за него, и под аккомпанемент Церковного певчего, который бил в бубен, она с неистовством заиграла кадрили, колотя по клавишам, подобно тому как лошадь бьет копытом землю, и раскачиваясь, чтобы лучше отмечать такт. Капитанша увлекла Фредерика, Юссонэ ходил колесом. Грузчица изгибалась, точно клоун, Пьеро вел себя как орангутанг. Дикар-

ка, раскинув руки, изображала качающуюся лодку. Наконец, дойдя до изнеможения, все остановились; распахнули окно.

В комнату вместе с утренней свежестью ворвался дневной свет. Раздался возглас изумления, потом наступило безмолвие. Дрожали желтые огни свечей, время от времени с треском лопалась розетка; ленты, бусы усеивали пол; на столиках оставались липкие пятна пунша и сиропа; обои были запачканы, платья измялись, запылились; косы обвисли, а из-под румян и белил, которые растеклись вместе с потом, выступала мертвенная бледность лиц с мигающими красными веками.

У Капитанши, свежей, как будто она только что приняла ванну, щеки были розовые, глаза блестящие. Она далеко швырнула свой парик, и волосы ее упали на плечи, точно руно, закрыв собой весь ее костюм, кроме панталон, что производило впечатление забавное и вместе с тем милое.

Сфинксу, который от лихорадки щелкал зубами, понадобилась шаль.

Розанетта побежала за ней к себе в комнату, а гостя двинулась ей вслед; она быстро, перед самым ее носом, захлопнула дверь.

Турок заметил вслух, что никто не видел, как вышел г-н Удри. Все были настолько утомлены, что не обратили внимания на этот ехидный намек.

Потом, в ожидании экипажей, гости стали кутаться в плащи, надевали капоры. Пробыло семь часов. Ангел все еще пребывал в столовой за тарелкой с сардинами в масле, а рядом с ним Рыбная торговка курила папиросы, давая ему житейские советы.

Наконец появились фиакры, все разъехались. Юссонэ, как провинциальный корреспондент, должен был до завтрака прочесть пятьдесят три газеты, Дикарку ждала репетиция в театре, Пеллерена ждал натурщик, Церковному певчему предстояло три свидания. Ангел, ощутив первые приступы расстройства желудка, не в силах был встать. Средневековый барон на руках отнес молодую женщину до фиакра.

— Осторожнее с крыльями! — крикнула в окно Грузчица. М-ль Ватназ, уже стоя на лестнице, сказала Розанетте:

— Прощай, дорогая! Твой вечер очень удался.

Потом наклонилась к ее уху:

— Держи его при себе!

— До лучших времен, — сказала Капитанша, медленно поворачиваясь к ней спиной.

Арну и Фредерик возвращались вместе, так же как и приехали. У торговца фаянсом вид был такой сумрачный, что его спутник решил, уж не болен ли он.

— Я? Нисколько!

Он покусывал усы, хмурил брови, и Фредерик спросил, не дела ли так беспокоят его.

— Да ничуть!

Потом вдруг:

— Ведь вы были знакомы с дядюшкой Удри? Не правда ли?

И со злобой прибавил:

— Богат, старый плут!

Далее Арну заговорил о каком-то важном обжигании, которое сегодня предстояло закончить у него на фабрике. Он хотел присутствовать при этом. Поезд отправлялся через час.

— Надо все-таки зайти поцеловать жену!

«Гм... жену!» — подумал Фредерик.

Наконец он лег спать с невыносимой болью в затылке и выпил целый графин воды, чтобы утолить жажду.

Иная жажда стала мучить его — жажда женщин, роскоши и всего того, что составляет парижскую жизнь. Он чувствовал себя слегка ошеломленным, точно человек, сошедший с корабля, и не успел еще уснуть, как перед ним замелькали плечи Рыбной торговли, бедра Грузчицы, икры Польки, волосы Дикарки. Потом два больших черных глаза, которых на балу не было, появились тоже и, легкие, как бабочки, жгучие, как факелы, уносились, возвращались, трепетали, поднимались до карниза, опускались к его губам. Фредерик изо всех сил, однако безуспешно, пытался вспомнить, чьи это глаза. Но сон уже овладел им; ему казалось, что он вместе с Арну запряжен в дышла фиакра, а Капитанша, сидя на нем верхом, вонзает в него свои золотые шпоры.

II

На углу улицы Ремфорд Фредерик снял небольшой особняк и сразу купил двухместную карету, лошадь, мебель и две жардиньерки, которые выбрал у Арну, чтобы поставить по обе стороны двери в гостиной. За гостиной была еще комната с туалетной. Ему пришла мысль поселить там Делорье. Но как он тогда будет принимать ее, ее, свою будущую любовницу? Присутствие друга будет его стеснять. Он велел разобрать стену, чтобы расширить гостиную, а туалетную превратил в курительную.

Были куплены книги любимых поэтов, путешествия, географические атласы, словари, ибо Фредерик наметил обширный план занятий; он торопил рабочих, бегал по магазинам и в нетерпеливом стремлении насладиться брал все не торгуясь.

По счетам поставщиков Фредерик увидел, что в ближайшее время должен израсходовать тысяч сорок, не считая наследственных пошлин, которые обойдутся более чем в тридцать семь

тысяч; так как состояние его заключалось в недвижимости, то он написал в Гавр своему нотариусу, прося продать часть ее, чтобы расплатиться с долгами и некоторую сумму иметь в своем распоряжении. Потом, желая, наконец, познать то зыбкое, туманное, неопределимое, что носит название «свет», он послал Дамбрёзам записку, прося разрешения посетить их. Г-жа Дамбрёз ответила, что надеется увидеть его завтра у себя.

Это был приемный день. Во дворе стояли экипажи. Два лакея поспешили к нему у подъезда, а третий, стоявший на верхней площадке лестницы, пошел впереди него.

Он миновал переднюю, еще одну комнату, затем большую гостиную с высокими окнами и монументальным камином, на котором стояли часы в виде шара и фарфоровые вазы чудовищных размеров, а из них, точно два золотых куста, поднимались два канделябра со множеством свечей. На стене висели картины в манере Рибейры; величественно ниспадали тяжелые тканые портьеры, а во всей обстановке стиля ампир, в этих креслах, консолях, столах было что-то внушительное и чопорное. Фредерик невольно улыбнулся от удовольствия.

Наконец он вступил в овальную комнату, обшитую розовым деревом, плотно уставленную миниатюрной мебелью и освещавшуюся одним зеркальным окном, которое выходило в сад. Г-жа Дамбрёз сидела у камина, а человек десять гостей образовали около нее полукруг. Встретив Фредерика любезной фразой, она жестом пригласила его сесть, но не выказала удивления, что так давно не видала его.

Когда он вошел, все восхваляли красноречие аббата Кер. Потом по поводу кражи, совершенной каким-то лакеем, стали сокрушаться об испорченности прислуги, и тут начались пересуды. Старая г-жа де Соммери простужена, м-ль де Тюрвизо выходит замуж, Моншароны вернутся не раньше конца января, Бретанкуры также. Теперь принято долго оставаться в деревне. И убожество предметов разговора словно подчеркивалось роскошью обстановки; но то, о чем говорилось, было еще куда менее глупо, чем самая манера вести разговор — без цели, без связи, без оживления. А между тем здесь были люди, выдавшие виды,— бывший министр, кюре большого прихода, два-три крупных государственных деятеля; все они не выходили за пределы самых избитых тем. У одних был вид неутешных вдов, у других повадки барышников, а старики, явившиеся сюда с женами, годились этим женам в деды.

Г-жа Дамбрёз всех принимала одинаково любезно. Как только заговаривали о чьей-нибудь болезни, она скорбно сдвигала брови, когда же речь заходила о балах или вечерах, она сразу становилась веселой. Скоро ей придется отказаться от этих развлечений, так как она берет к себе в дом племянницу

мужа, сироту. Стали превозносить ее самоотверженность: она поступает как настоящая мать.

Фредерик всматривался в нее. Матовая кожа ее лица казалась упругой и была свежей, но тусклой, точно законсервированный плод. Зато волосы, завитые по английской моде, были нежнее шелка, голубые глаза сияли, все движения отличались изяществом. Сидя в глубине комнаты на козетке, она перебирала красную бахрому японского экрана, наверно, чтобы показать свои руки, длинные, узкие, немного худые руки с пальцами, выгнутыми на концах. Она была в сером муаровом платье с глухим лифом, точно пуританка.

Фредерик спросил, не собирается ли она в этом году в Ла-Фортель. Г-жа Дамбрёз еще ничего не могла сказать. Ему это, впрочем, понятно: в Ножане ей, должно быть, скучно. Гостей становилось все больше. По коврам, не переставая, шуршали платья; дамы, присев на кончик стула, похихикав и сказав несколько слов, через пять минут уезжали со своими дочерьми. Вскоре стало невозможно следить за беседой, и Фредерик уже отклонялся, как вдруг г-жа Дамбрёз сказала ему:

— Итак, по средам, господин Моро? — искупая этой единственной фразой все равнодушие, проявленное к нему.

Он был доволен. И все же, выйдя на улицу, он глубоко, с облегчением вздохнул; чувствуя потребность в обществе менее искусственном, Фредерик вспомнил, что он должен сделать визит Капитанше.

Дверь в переднюю была открыта. Две гаванские болонки выбежали к нему навстречу. Раздался голос:

— Дельфина! Дельфина! Феликс, это вы?

Он не пошел дальше; собачонки все еще тявкали. Наконец появилась Розанетта в каком-то пеньюаре из белого муслина, отделанном кружевами, в туфлях на босу ногу.

— Ах, извините, сударь! Я думала, это парикмахер. Одну минутку! Сейчас вернусь!

И он остался один в столовой. Ставни были закрыты. Фредерик обвел взглядом комнату, вспоминая шум, царивший здесь в ту ночь, и вдруг заметил на середине стола мужскую фетровую шляпу, старую, измятую, засаленную, отвратительную. Чья же это шляпа? Нагло выставив свою неряшливую подкладку, она как будто говорила: «А мне наплевать. Я здесь хозяйин».

Вошла Капитанша. Она взяла шляпу, открыла дверь в теплицу, бросила ее туда, затворила дверь (в то же время другие двери открывались и закрывались) и, проведя Фредерика через кухню, впустила его в свою туалетную комнату.

Сразу было видно, что во всем доме это самое излюбленное место, как бы его духовное средоточие. Стены, кресла и широ-

кий упругий диван были обиты ситцем с узором, изображавшим густую листву; на белом мраморном столе стояли два больших таза из синего фаянса; стеклянные полочки, расположенные над ним в виде этажерки, были заставлены флаконами, щетками, гребнями, косметическими карандашами, коробками с пудрой; высокое трюмо отражало огонь, горевший в камине; из ванны свешивалась простыня, а воздух благоухал смесью миндаля и розного ладана.

— Извините за беспорядок! Я сегодня обедаю в гостях!

И, повернувшись на каблуках, она чуть было не раздавила одну из собачонок. Фредерик нашел, что они очаровательны. Она взяла их на руки, поднесла к его лицу их черные мордочки и сказала:

— Ну, улыбнитесь и поцелуйте этого господина!

В комнату вдруг вошел какой-то человек в засаленном пальто с меховым воротником.

— Феликс, милейший,— сказала она,— в воскресенье все будет улажено, непременно.

Вошедший стал ее причесывать. Он сообщал ей новости о ее приятельницах: г-же де Рошегюн, г-же де Сен-Флорентен, г-же Ломбар, все об аристократических дамах, совсем как в доме Дамбрёзов. Потом он заговорил о театрах; нынче вечером в «Амбигю» исключительный спектакль:

— Вы поедете?

— Да нет! Посижу дома!

Появилась Дельфина. Розанетта стала бранить ее за то, что она отлучилась без позволения. Та божилась, что «ходила на рынок».

— Ну тогда принесите мне расходную тетрадь. Вы разрешите?

Вполголоса читая записи, Розанетта делала замечания по поводу каждого расхода. Итог был неверный.

— Верните четыре су сдачи.

Дельфина отдала, и Розанетта ее отпустила.

— Ах, пресвятая дева! Что за мука с этим народом!

Фредерик был неприятно поражен этим брюзжанием. Оно слишком напоминало ему только что слышанное и устанавливало между обоими домами обидное равенство.

Дельфина вновь вошла и, подойдя к Капитанше, что-то шепнула ей на ухо.

— Ну нет! Не желаю!

Дельфина еще раз вернулась:

— Барыня, она не слушает.

— Ах, как это невыносимо! Гони ее прочь!

В этот самый миг дверь толкнула старая дама в черном.

Фредерик ничего не расслышал, ничего не разглядел. Розанетта ринулась в спальню ей навстречу.

Когда она вернулась, щеки у нее горели, и она молча села в кресло. Слеза скатилась у нее по щеке; потом она обернулась к молодому человеку и тихо спросила:

— Как ваше имя?

— Фредерик.

— А, Фредерико! Вам не будет неприятно, что я вас так называю?

И она ласково, почти влюбленно взглянула на него. Но вот она вскрикнула от радости: к ней вошла м-ль Ватназ.

У этой артистической особы совершенно не было ни минуты времени: ровно в шесть часов ей надо возглавить свой табль-д'от, и она задыхалась изнемогая. Первым делом она вынула из сумочки часовую цепочку и листок бумаги, потом разные вещи, покупки.

— К твоему сведению: на улице Жубер продаются шведские перчатки, по тридцать шесть су пара — роскошь! Твой красильщик просит подождать еще неделю. Насчет гипюра я сказала, что зайду потом. Бюньо получил задаток. Вот и все как будто? Итого ты мне должна сто восемьдесят пять франков.

Розанетта достала из ящика десять наполеондоров. У них у обеих не оказалось мелочи, Фредерик предложил свою...

— Я вам отдам,— сказала Ватназ, засовывая в сумочку пятнадцать франков.— Но вы гадкий! Я вас разлюбила: вы в тот вечер ни разу не танцевали со мной. Ах, моя милая, на набережной Вольтера я видела в одной лавке рамку из чучел колибри — прямо прелесть! На твоём месте я бы ее купила. Вот взгляни, как тебе это нравится?

И она показала отрез старинного розового шелка, который купила в Тампле на средневековый камзол Дельмару.

— Он был у тебя сегодня, правда?

— Нет.

— Странно!

И минуту спустя:

— Ты где сегодня вечером?

— У Альфонсины,— сказала Розанетта.

Это был уже третий вариант — как она собирается провести вечер.

М-ль Ватназ опять спросила:

— Ну а насчет старика с Горы что нового?

Но Капитанша, быстро подмигнув ей, заставила ее замолчать, затем проводила Фредерика до передней, чтобы спросить, скоро ли он увидит Арну.

— Пусть он придет, попросите его; конечно, не при супруге.

На площадке у стены стоял зонтик и рядом пара калош.

— Калоши Ватназ,— сказала Розанетта.— Какова ножка, а? Здоровенная у меня подружка?

И мелодраматическим тоном раскатисто произнесла:

— Ей не доверррять!

Фредерик, которому это признание придало смелости, хотел поцеловать ее в шею. Она холодно сказала:

— Ах, пожалуйста! Ведь это ничего не стоит!

Он вышел от нее легкомысленно настроенный и не сомневался, что Капитанша скоро будет его любовницей. Это желание пробудило в нем другое, и, хотя он и был несколько сердит на г-жу Арну, ему захотелось ее увидеть.

К тому же он должен был зайти к ним по поручению Розанетты.

«Но сейчас,— подумал он (было шесть часов),— сам Арну, наверно, дома».

И он отложил визит до следующего дня.

Она сидела в той же позе, что и в первый раз, и шила детскую рубашку. Мальчик играл у ее ног с деревянными животными; Марта поодаль писала.

Он начал с того, что похвалил ее детей. В ее ответе не было и следа глупого материнского тщеславия.

Комната являла вид мирный и спокойный. Солнце ярко светило в окна, углы мебели блестели, а так как г-жа Арну сидела у окна, широкий солнечный луч, падая ей в затылок, на завитки волос, как бы жидким золотом пронизывал ее нежную смуглую кожу. И он сказал:

— Как выросла молодая особа за три года! Помните, мадам, как вы спали у меня на коленях в коляске?

Марта не помнила.

— Это было вечером, мы ехали из Сен-Клу.

Г-жа Арну бросила взгляд, исполненный странной печали. Не запрещала ли она ему всякий намек на их общее воспоминание?

Ее прекрасные черные глаза с блестящими белками медленно двигались под веками, немного тяжелыми, и в глубине ее зрачков таилась беспредельная доброта. Им опять овладела любовь еще более сильная, чем прежде, необъятная; созерцающая, он погружался в оцепенение; но он стряхнул его с себя. Как же поднять себя в ее глазах? Каким способом? И, хорошенько подумав, Фредерик не нашел ничего лучшего, как заговорить о днягах. Он завел речь о погоде, которая здесь не такая холодная, как в Гавре.

— Вы бывали там?

— Да, по делам... семейным... о наследстве.

— А! Очень рада за вас,— сказала она с выражением такого искреннего удовольствия, что он был тронут, словно ему оказали большую услугу.

Потом она спросила, что он намерен делать,— ведь мужчина должен чем-нибудь заниматься. Он вспомнил о своем вымысле и сказал, что рассчитывал попасть в Государственный совет благодаря г-ну Дамбрёзу, депутату.

— Вы, может быть, знаете его?

— Только по фамилии.

Потом, понизив голос, спросила:

— Он ездил с вами на бал тот раз, правда?

Фредерик молчал.

— Это я и хотела узнать; благодарю вас.

Затем она задала ему два-три сдержанных вопроса о его семье и родном городе. Как это любезно, что он не забыл их, хоть и прожил там так долго.

— Но... разве мог я? — спросил он. — И вы сомневались?

Г-жа Арну встала.

— Я полагаю, что вы питаете к нам искреннее и прочное чувство. Прощайте... нет, до свиданья.

И она крепко, по-мужски пожала ему руку. Не залог ли это, не обещание ли? Фредерик ощутил теперь счастье жизни; он сдерживал себя, чтобы не запеть; он испытывал потребность излить свой восторг, проявить великодушие, подать милостыню. Он посмотрел вокруг себя, нет ли человека, которому можно прийти на помощь. Ни один нищий не проходил поблизости, и эта готовность к жертве пропала в нем, едва возникнув, ибо он был не из тех, кто с упорством стал бы искать подходящего случая.

Потом он вспомнил о своих друзьях. Первый, о ком он подумал, был Юссонэ, второй — Пеллерен. К Дюссардьё, занимавшему очень скромное положение, следовало отнестись особенно внимательно; что до Сизи, Фредерик радовался возможности похвастаться перед ним своим богатством. Он письменно пригласил всех четырех отпраздновать с ним новоселье в ближайшее воскресенье, ровно в одиннадцать часов, а Делорье он поручил привести Сенекалья.

Репетитора уже уволили из третьего пансиона за то, что он высказался против распределения наград, обычая, который считал пагубным с точки зрения равенства. Он теперь служил у некоего машиностроителя и уже полгода как не жил с Делорье.

Разлука не была для них тяжела. К Сенекалью последнее время ходили какие-то блузники, все — патриоты, все — рабочие, все — честные люди; адвокату, однако, общество их ка-

залось скучным. К тому же некоторые идеи его друга, превосходящие как орудия борьбы, ему не нравились. Из честолюбия он об этом молчал, стараясь бережно обращаться с ним, чтобы иметь возможность им руководить, ибо он с нетерпением ожидал великого переворота, надеясь пробиться, занять положение.

Взгляды Сенекаля были бескорыстнее. Каждый вечер, кончив работу, он возвращался к себе в мансарду и в книгах искал подтверждения своим мечтам. Он делал заметки к «Общественному договору». Он пичкал себя «Независимым обзором». Он узнал Мабли, Морелли, Фурье, Сен-Симона, Конта, Кабэ, Луи Блана, весь грузный воз писателей-социалистов, тех, которые все человечество хотят поселить в казармах, тех, которые желали бы развлекать его в домах терпимости или заставить корпеть за конторкой; и из смеси всего этого он создал себе идеал добродетельной демократии, нечто похожее и на ферму и на прядильню, своего рода американскую Лакедемонию, где личность существовала бы лишь для того, чтобы служить обществу, более всемогущему, более самодержавному, непогрешимому и божественному, чем какие-нибудь далай-ламы и Навуходоносоры. Он не сомневался в скором осуществлении этой идеи и яростно ратовал против всего, что считал враждебным ей, рассуждая, как математик, и слепо веря в нее, как инквизитор. Дворянские титулы, мундиры, ордена, в особенности ливреи и даже слишком громкие репутации вызывали в нем возмущение, а книги, которые он изучал, и его невзгоды с каждым днем усиливали его ненависть ко всему выдающемуся и ко всякому проявлению превосходства.

— Чем я обязан этому господину, чтобы оказывать ему какие-то любезности? Если я ему нужен, он может сам ко мне прийти!

Делорье прямо потащил его к Фредерику.

Они застали своего приятеля в спальне. Шторы и двойные драпировки, венецианские зеркала — ни в чем не было недостатка; Фредерик в бархатной куртке сидел, развалившись в глубоком кресле, и курил турецкие сигареты.

Сенекаль насупился, как ханжа, попавший на веселое собрание. Делорье окинул все единым взглядом, потом низко поклонился:

— Ваша светлость! Честь имею приветствовать вас!

Дюссардь бросился ему на шею.

— Так вы теперь богаты? Ах, вот это хорошо, чорт возьми, это хорошо!

Сизи явился с крепом на шляпе. После смерти своей бабушки он располагал значительным состоянием и стремился не

столько веселиться, сколько отличаться от других, быть не как все, носить «особый отпечаток». Так он выразался.

Был уже полдень, и все зевали; Фредерик поджидал еще кого-то. При имени Арну Пеллерен состроил гримасу. Он смотрел на него как на ренегата с тех пор, как тот бросил искусство.

— А что, если обойтись без него? Как вы скажете?

Все были согласны.

Слуга в высоких гетрах распахнул дверь, и гости увидели столовую, стены которой были отделаны широкой дубовой панелью с золотым багетом; на двух поставцах стояла посуда. На печке подогревались бутылки с вином; лезвия новых ножей блестели рядом с устрицами; в молочном оттенке тончайших стаканов было что-то нежно манящее, и стол гнулся от дичи, фруктов, разных необыкновенных вещей. Эти тонкости Сенекаль не мог оценить.

Он первым делом потребовал простого хлеба (как можно черствее) и по этому случаю заговорил об убийствах в Бюзансе и о продовольственном кризисе.

Ничего бы этого не случилось, если бы больше заботились о земледелии, если бы все не было отдано во власть конкуренции, анархии, злосчастного принципа «свободной торговли». Вот как создается денежный феодализм, худший, чем феодализм былой. Но берегитесь! Народ в конце концов не выдержит и за свои страдания оплатит капиталистам кровавыми приговорами либо разграблением их дворцов.

Фредерику представилось на миг, как толпа людей с голыми руками наводняет парадную гостиную г-жи Дамбрёз и ударами пик разбивает зеркала.

Сенекаль продолжал: рабочий вследствие недостаточности заработной платы несчастнее, чем илот, негр или пария, особенно если у него дети.

— Путем удушения, что ли, избавляться ему от них, как рекомендует, не помню уж какой, английский ученый, последователь Мальтуса?

И он обратился к Сизи:

— Неужели же мы дойдем до того, что будем следовать советам гнусного Мальтуса?

Сизи, не знавший ни о гнусности, ни даже о самом существовании Мальтуса, ответил, что бедным все-таки много помогают и что высшие классы...

— А! Высшие классы! — проговорил с насмешкой социалист. — Во-первых, никаких высших классов нет; человека возвышает лишь его сердце. Нам не надо милостыни, слышите! Мы хотим равенства, справедливого распределения продуктов.

Он требовал, чтобы рабочий мог стать капиталистом, как солдат — полковником. Цехи, ограничивая число подмастерьев, по крайней мере препятствовали чрезмерному скоплению рабочей силы, а чувство братства поддерживалось празднествами, знаменами.

Юссонэ, как поэт, жалел о знаменах; Пеллерен — также, ибо имел к ним пристрастие с тех пор, как в кафе «Даньо» слышал беседу поборников фаланстера. Он заявил, что Фурье великий человек.

— Полноте! — сказал Делорье. — Старая скотина видит в государственных переворотах проявление божественного возмездия! Это вроде чудака Сен-Симона и его школы с их ненавистью к французской революции — кучка болтунов, желающих восстановить католицизм.

Г-н де Сизи, вероятно из любознательности или для того, чтобы показать себя с хорошей стороны, тихо спросил:

— Так эти ученые держатся других взглядов, чем Вольтер?

— Этого я уступаю вам! — ответил Сенекаль.

— Как? А я думал...

— Да нет же! Он не любил народ!

Потом разговор перешел на современные события: испанские браки, рошфоровскую растрату, новый капитул Сен-Дени, который приведет к увеличению налогов. По мнению Сенекаля, они и так были достаточно велики.

— И для чего, боже ты мой? Чтобы воздвигать дворцы для музейных обезьян, устраивать на площадях блистательные парады или поддерживать среди придворных лакеев средневековый этикет!

— Я читал в «Журнале мод», — сказал Сизи, — что в день святого Фердинанда на балу в Тюильри все были наряжены паяцами.

— Ну, разве это не плачевно! — сказал социалист, с отворачиванием пожимая плечами.

— А версальский музей! — воскликнул Пеллерен. — Стоит о нем поговорить! Эти болваны укоротили одну из картин Делакруа и надставили Гро! В Лувре так хорошо реставрируют полотна, так их подчищают и подмазывают, что лет через десять, пожалуй, от них ничего не останется. А об ошибках в каталоге один немец написал целую книгу. Честное слово, иностранцы смеются над нами!

— Да, мы стали посмешищем Европы, — сказал Сенекаль.

— Все потому, что искусство подчинено короне.

— Пока не будет всеобщего избирательного права...

— Позвольте! — Художник, которого уже двадцать лет не принимали ни на одну выставку, негодовал на Власть. — О, пусть нас оставят в покое. Лично я не требую ничего! Но

только Палаты должны были бы с помощью законов оказывать поддержку искусству. Следовало бы учредить кафедру эстетики и найти такого профессора, который был бы и практиком и в то же время философом и, надо надеяться, сумел бы объединить массы. Хорошо бы вам, Юссонэ, коснуться этого в вашей газете!

— Разве газеты у нас пользуются свободой? Разве сами мы пользуемся ею? — с горячностью воскликнул Делорье. — Когда подумаешь, что, прежде чем спустить лодочку на реку, может потребоваться двадцать восемь формальностей, прямо хочется бежать к людоедам! Правительство пожирает нас! Все принадлежит ему: философия, право, искусство, самый воздух, а изможденная Франция хрипит под сапогом жандарма и сутаной попа.

Так широким потоком будущий Мирабо изливал свою желчь. Наконец он взял стакан, поднялся и, упершись рукой в бок, сверкая глазами, проговорил:

— Я пью за полное разрушение существующего строя, то есть всего, что называют Привилегией, Монополией, Управлением, Иерархией, Властью, Государством! — И добавил более громким голосом: — Которые я хотел бы разбить вот так! — И он бросил на стол красивый бокал, который разлетелся на множество осколков.

Все заплодировали, а больше всех — Дюссардьё.

Зрелище несправедливостей возмущало его сердце. Он тревожился за Барбеса, принадлежа сам к числу тех, кто бросается под экипаж, чтобы помочь упавшим лошадям. Его эрудиция ограничивалась двумя сочинениями; одно из них называлось «Преступления королей», другое — «Тайны Ватикана». Он слушал адвоката, разинув рот, упиваясь его речью. Наконец он не выдержал:

— А я упрекаю Луи-Филиппа в том, что он отступился от поляков!

— Одну минутку! — сказал Юссонэ. — Прежде всего никакой Польши не существует; это выдумка Лафайета. Как правило, все поляки — из предместья Сен-Марсо, а настоящие утонули вместе с Понятовским.

Словом, его «не проведешь», он «разуверился во всем этом». Ведь это все равно, что морской змей, отмена Нантского эдикта и «старая басня о Варфоломеевской ночи».

Сенекаль, не защищая поляков, подхватил последние слова журналиста. Пап оклеветали, они в сущности стоят за народ, а Лигу он назвал «зарей Демократии, великим движением в защиту равенства против индивидуализма протестантов».

Фредерик был несколько удивлен такими идеями. Сизи они, наверно, тоже надоели: он перевел разговор на живые

картины в театре «Жимназ», которые в то время привлекали много зрителей.

Сенекаля и это огорчило. Подобные зрелища развращают дочерей пролетария; а потом и они выставляют напоказ наглую роскошь. Поэтому он оправдывал баварских студентов, оскорбивших Лолу Монтес. По примеру Руссо, он больше уважал жену угольщика, чем любовницу короля.

— Вы отвергаете трюфели! — величественно возразил Юссонэ.

И он встал на защиту подобных дам из внимания к Розанетте. Потом он заговорил о ее бале и костюме Арну.

— Говорят, дела его плохи? — сказал Пеллерен.

У торговца картинами только что закончилось судебное дело из-за участков в Бельвиле, а теперь он состоял членом компании по разработке фарфоровой глины в Нижней Бретани вместе с такими же сомнительными личностями, как он сам.

Дюссардые больше знал на этот счет, так как его хозяин, г-н Муссино, наводил об Арну справки у банкира Оскара Лефевра; тот сообщил, что считает Арну человеком несолидным, — ему приходилось переписывать векселя.

Десерт был окончен; перешли в гостиную, обтянутую так же, как и у Капитанши, желтым шелком и убранную в стиле Людовика XVI.

Пеллерен поставил Фредерику в укор, что он не отдал предпочтения неогреческому стилю; Сенекаль чиркал спичками о шелковую обивку; Делорье никаких замечаний не сделал, но не мог воздержаться от них в библиотеке, которую называл библиотекой маленькой девочки. В ней была собрана большая часть современных авторов. Поговорить о их произведениях было невозможно, так как Юссонэ тотчас же начинал рассказывать анекдоты о них самих, критиковал их внешность, поведение, костюмы, превознося каких-то писателей пятнадцатого ранга, уничтожаясь отзываясь о талантах первостепенных и, разумеется, сокрушаясь о современном упадке. В любой деревенской песенке поэзии больше, чем во всей лирике XIX века; Бальзака захвалили. Байрона уже низвергли, Гюго ничего не смыслит в театре, и так далее.

— Почему, — спросил Сенекаль, — у вас нет книг наших рабочих поэтов?

А г-н де Сизи, занимавшийся литературой, удивился, что не видит на столе у Фредерика «каких-нибудь новейших физиологий — физиологии курильщика, рыболова, таможенного чиновника».

Прятели настолько вывели Фредерика из терпения, что ему захотелось вытолкать их вон. «Нет, я просто глупею!»

И, отведя Дюссардые в сторону, он спросил, не может ли быть ему чем-нибудь полезен.

Добрый малый был растроган. Но он служит кассиром и ни в чем не нуждается.

Затем Фредерик повел Делорье к себе в спальню и вынул из бюро две тысячи франков:

— На, дружище, забирай! Это остаток моих старых долгов.

— Ну... а как же газета? — спросил адвокат. — Ты ведь знаешь, я уже говорил об этом с Юссонэ.

А когда Фредерик ответил, что он «сейчас в несколько стесненных обстоятельствах», Делорье зло усмехнулся.

После ликеров пили вино; после пива — грог; еще раз закурили трубки. Наконец в пять часов гости разошлись; они шагали рядом, храня молчание, как вдруг Дюссардые заговорил о том, что Фредерик превосходно принял их. Все согласились.

Юссонэ заявил, что завтрак был тяжеловат. Сенекаль раскритиковал обстановку Фредерика, изобличающую его пустоту. Сизи был того же мнения. В ней совершенно не заметно «кособого отпечатка».

— Я считаю, — проговорил Пеллерен, — что он безусловно мог бы заказать мне картину.

Делорье молчал, унося в кармане панталон банковые билеты.

Фредерик остался один. Он думал о своих друзьях и чувствовал, что от них его как бы отделяет глубокий ров, полный мрака. Он протянул им руку, но его искренность не вызвала в них отклика.

Он вспомнил все сказанное Пеллереном и Дюссардые относительно Арну. Наверно, это выдумка, клевета. Но с какой стати? И он уже видел г-жу Арну, разоренную, плачущую, распродающую свою обстановку. Эта мысль терзала его всю ночь; на следующий день он отправился к ней.

Не зная, как сообщить ей то, что ему известно, он в разговоре, между прочим, спросил ее, попрежнему ли Арну владеет участками в Бельвиле.

— Да, попрежнему.

— Он теперь, кажется, член компании по добыче фарфоровой глины в Бретани?

— Да.

— На фабрике все идет хорошо, не правда ли?

— Ну да... как будто.

И, видя, что он колеблется, спросила:

— Да что с вами? Вы меня пугаете!

Тогда он сообщил ей об отсроченных векселях. Она опустила голову и сказала:

— Я так и думала!

Действительно Арну ради выгодной спекуляции отказался продать землю, заложил ее за большую сумму и, не находя покупателей, решил поправить дело постройкой фабрики. Затраты превысили смету. Ей больше ничего не известно; он же избегает всяких вопросов и все время уверяет, что «дела идут прекрасно».

Фредерик попытался ее успокоить. Это, может быть, лишь временные затруднения. Впрочем, если он что-нибудь узнает, то сообщит ей.

— Ах да! Пожалуйста,— сказала она, складывая руки с очаровательным выражением мольбы.

Так, значит, он может быть ей полезен. Он входит в ее жизнь, в ее сердце!

Пришел Арну.

— Ах, как мило! Вы зашли, чтобы везти меня обедать! Фредерик опешил.

Арну говорил о разных пустяках, потом предупредил жену, что вернется очень поздно, так как у него назначено свидание с г-ном Удри.

— У него дома?

— Ну, конечно, у него.

Спускаясь по лестнице, он признался, что Капитанша сегодня свободна и он с ней поедет повеселиться в «Мулен Руж», а так как у него всегда была потребность в излишествах, то он и попросил Фредерика проводить его до подъезда Розанетты.

Вместо того чтобы войти, он стал расхаживать по тротуару, глядя на окна второго этажа. Вдруг занавески раздвинулись.

— А! Bravo! Старый Удри ушел. Добрый вечер!

Так, значит, она на содержании у старика Удри? Фредерик теперь не знал, что и думать.

С этого дня Арну стал еще дружелюбнее прежнего; он приглашал его обедать к своей любовнице, и вскоре Фредерик стал посещать оба дома.

У Розанетты бывало занято. К ней заезжали вечером после клуба или театра, пили чай, играли партию в лото; по воскресеньям разыгрывали шарады; Розанетта, самая неугомонная из всех, любила забавные затеи, например, бегала на четвереньках или напяливала на себя вязаный колпак. Когда она смотрела в окно на прохожих, то надевала кожаную шляпу; она курила трубку с чубуком, пела тирольские песни. Днем она от нечего делать вырезала цветы из ситца, сама наклеивала их на стекла окон, намазывала румянами двух своих собачек, зажигала курительные свечки или гадала на картах. Не в силах противиться своим желаниям, она бывала без ума от

безделушки, виденной ею, не спала ночь, спешила ее купить, выменивала на другую, без толку изводила какую-нибудь ткань, теряла свои драгоценности, сорила деньгами, могла бы продать последнюю рубашку, чтобы достать литературную ложку. Она часто просила Фредерика объяснить ей какое-нибудь слово, которое ей случалось прочесть, но не слушала его объяснений, быстро перескакивая с одного предмета на другой, и сыпала вопросами. Приступы веселости сменялись у нее детскими вспышками гнева; или же она погружалась в мечты, сидя на полу перед камином, опустив голову и обхватив колени руками, неподвижнее, чем оцепеневший уж. Не обращая внимания на Фредерика, она одевалась в его присутствии, медленно натягивала шелковые чулки, потом умывала лицо, обдавая все кругом брызгами, и откидывалась назад, словно трепещущая наяда; и ее смех, белизна ее зубов, блеск ее глаз, ее красота, ее веселость пленяли Фредерика и взвинчивали ему нервы.

Г-жа Арну почти всякий раз, как он приходил, или учила читать своего мальчугана, или стояла за стулом Марты, игравшей гаммы; если она занималась шитьем, для него было великим счастьем поднять упавшие ножницы. Все ее движения были спокойно величественны; ее маленькие руки казались созданными для того, чтобы раздавать милостыню, чтобы утирать слезы, а в голосе ее, от природы глуховатом, были ласкающие интонации и как бы легкость ветерка.

Литературой она не восторгалась, но зато ум ее сказывался в чарующе простых и прочувствованных словах. Она любила путешествовать, слушать шум ветра в лесу и с непокрытой головой гулять под дождем. Фредерик наслаждался, слушая все это, и думал, что уже начинается их сближение.

Общение с этими двумя женщинами составляло как бы две мелодии; одна была игривая, порывистая, веселящая, другая же — торжественная, почти молитвенная; и, звуча в одно и то же время, они непрерывно нарастали и мало-помалу сливались, ибо, если г-же Арну случалось прикоснуться к нему хоть кончиком пальца, перед ним вставал, откликаясь на его желания, образ той, другой, потому что с ней он больше мог рассчитывать на удачу; а когда в обществе Розанетты он чувствовал сердечное волнение, тотчас же ему вспоминалась его великая любовь.

Этому смещению способствовало и сходство в обстановке обеих квартир. Один из двух ларей, находившихся в прежнее время на бульваре Монмартр, украшал теперь столовую Розанетты, другой же — гостиную г-жи Арну. В обоих домах столовые сервизы были одинаковые, и даже на креслах валялись такие же бархатные ермолки; далее, множество мелких

подарков — экраны, шкатулки, веера — переходили от жены к любовнице и обратно, ибо Арну, нисколько не стесняясь, часто отбирал у одной подаренное им же, чтобы преподнести другой.

Капитанша вместе с Фредериком смеялась над этой скверной его манерой. Однажды в воскресенье, после обеда, она повела Фредерика за дверь и показала ему в кармане пальто Арну пакет с пирожными, которые он стащил со стола, вероятно чтобы угостить ими свою семью. Г-н Арну пускался на шалости, граничившие с гнусностью. Он считал долгом надуть городскую таможеню; в театр он никогда не ходил за деньги; с билетом второго класса всегда, по его словам, пробирался в первый и рассказывал, как о превосходной шутке, о своем обыкновении в купальнях опускать в кружку для прислуги вместо монеты в десять су пуговицу от штанов; все это, однако, не мешало Капитанше его любить.

Как-то раз она все же сказала в разговоре о нем:

— Ах! Надоел он мне в конце концов! Довольно с меня! Право, куда ни шло, найду себе другого!

Фредерик заметил, что «другой», как ему кажется, уже найден и называется г-ном Удри.

— Ну так что же из того? — сказала Розанетта.

И в голосе ее послышались слезы.

— Ведь я у него так мало прошу, а он не хочет, скотина! Не хочет! Вот обещания — о! — это другое дело.

Он послул ей даже четвертую часть прибылей от пресловутой фарфоровой глины; никаких прибылей не оказывалось, равно как и кашемировой шали, которую он уже полгода мочил ее.

Фредерик сразу решил было подарить ей такую шаль. Но Арну мог счесть это за урок и рассердиться.

Все-таки он был добрый, его жена сама об этом говорила. Но такой сумасброд! Теперь, вместо того чтобы каждый день приглашать гостей к себе, он принимал своих знакомых в ресторане. Он покупал вещи совершенно ненужные, например золотые цепочки, стенные часы, всякие хозяйственные принадлежности. Г-жа Арну даже показала Фредерику в коридоре огромное количество чайников, грелок и самоваров. Наконец однажды она призналась ему в своих тревогах: Арну заставил ее подписать вексель на имя г-на Дамбрёза.

Фредерик между тем не отказывался от литературных замыслов, которые в своем роде были для него вопросом чести. Он хотел написать историю эстетики — итог его разговоров с Пеллереном, потом — изобразить в драмах разные моменты французской революции и, под косвенным влиянием Делорье и Юссонэ, думал сочинить большую комедию. Часто во время

работы перед ним мелькал образ то одной, то другой; он боролся с желанием увидеть ее, сразу же поддавался этому желанию, а возвращаясь от г-жи Арну, бывал еще грустнее.

Однажды утром, когда он у камина предавался меланхолии, вошел Делорье. Крамольные речи Сенекалья беспокоили его патрона, и он снова очутился без средств к существованию.

— Что же я тут, по-твоему, могу сделать? — сказал Фредерик.

— Ничего! Денег у тебя нет, я знаю. Но не можешь ли ты найти ему место через господина Дамбрёза или через Арну? Последнему, должно быть, нужны инженеры на его фабрике.— Фредерика словно осенила мысль: Сенекаль мог бы сообщать ему об отлучках мужа, передавать письма, быть полезным во множестве случаев, которые представятся. Мужчины всегда оказывают друг другу такие услуги. Впрочем, он найдет способ воспользоваться им так, что тот и не догадается. Случай посылает ему пособника, это добрый знак, упускать нельзя; и вот, притворяясь равнодушным, он ответил, что дело, пожалуй, удастся устроить и что он им займется.

Он занялся им немедленно. У Арну было много хлопот с фабрикой. Он искал меднокрасную китайскую краску; но краски улетучивались при обжигании. Чтобы предохранить фаянс от трещин, он к глине примешивал известь; однако изделия становились ломкими, эмаль на рисунках пузырилась, большие пластинки коробились, и, приписывая эти неудачи скверному оборудованию фабрики, он хотел заказать новые дробильные мельницы, новые сушилки. Фредерик вспомнил некоторые из этих подробностей и, придя к Арну, объявил, что отыскал человека, весьма сведущего, способного найти пресловутую красную краску. Арну так и подпрыгнул, потом, выслушав все, ответил, что ему никого не надо.

Фредерик стал расхваливать удивительные познания Сенекалья, являющегося одновременно инженером, химиком и счетоводом, первоклассным математиком.

Фабрикант дал согласие повидаться с ним.

По поводу вознаграждения они повздорили. Фредерик вмешался и к концу недели добился того, что они заключили условие.

Но фабрика находилась в Крейле, и Сенекаль ничем не мог быть ему полезен. Это соображение, весьма простое, повергло Фредерика в уныние, словно настоящая неудача.

Он решил, что чем больше Арну будет отвлекаться от жены, тем больше он сам может рассчитывать на успех у нее. И он стал без конца восхвалять Розанетту; он указал Арну на все, в чем тот перед нею виноват, передал ее недавние смут-



Баррикады (Июльские дни 1830 года).

Худ. В. Адам.



«Этого можно отпустить на свободу, он больше не опасен».

Худ. О. Домье. 1834.

ные угрозы и даже сказал про кашемировую шаль, не утаив, что Розанетта обвиняет его в скупости.

Арну, задетый этим упреком (и к тому же обеспокоенный), подарил Розанетте шаль, но побранил ее за то, что она жаловалась Фредерику; а когда она сказала, что тысячу раз напоминала о его обещании, он стал уверять, что запомнил, так как слишком занят.

На другой день Фредерик явился к ней. Хотя было два часа, Капитанша еще не вставала, а у самого ее изголовья Дельмар за круглым столиком доедал кусок паштета. Она еще издали крикнула: «Получила! Получила!», потом, взяв Фредерику за уши, поцеловала его в лоб, долго благодарила, говоря ему «ты», и даже пожелала посадить его к себе на постель. Ее красивые нежные глаза блестели, влажный рот улыбался, рубашка без рукавов открывала полные руки, и время от времени он чувствовал сквозь батист упругие формы ее тела. Дельмар между тем вращал глазами:

— Но, право же, друг мой, дорогая моя...

То же было потом каждый раз. Как только Фредерик входил, она облокачивалась на подушку, чтобы ему удобнее было ее поцеловать, называла его душкой, прелестью, втыкала ему в петлицу цветок, поправляла галстук; эти нежности всегда усиливались, когда тут же оказывался Дельмар.

Не заигрывает ли она с ним? Фредерик так и подумал. А что до Арну, то ведь он, на месте Фредерику, не постеснялся бы обмануть друга. Имеет же он право не быть добродетельным с его любовницей, раз он добродетелен с его женой; ибо Фредерик считал, что это так, или, вернее, хотел внушить себе это, стараясь оправдать свое удивительное малодушие. Все же свое поведение он считал глупым и решил действовать с Капитаншей напрямик.

И вот однажды днем, когда она наклонилась над комодом, он подошел к ней и обнял ее столь недвусмысленно красноречиво, что она выпрямилась и вся вспыхнула. Он продолжал в том же роде; тогда она расплакалась и сказала, что она очень несчастна, но это еще не основание презирать ее.

Он повторил свои попытки. Она стала держать себя иначе — все время смеялась. Он счел уместным отвечать ей в том же тоне и довел это до крайности. Но он прикидывался слишком уж веселым, чтобы она могла поверить в его искренность, а их товарищеская непринужденность служила помехой для выражения серьезного чувства. Наконец она как-то объявила, что не довольствуется чужими объедками.

— Какими чужими?

— А разве нет? Ступай к госпоже Арну!

Фредерик часто говорил о ней; с другой стороны, Арну

имел такую же привычку; в конце концов Розанетту стали выводить из терпения вечные похвалы этой женщине, и ее упрек был своего рода мезью.

Фредерик затаил на нее обиду.

К тому же она начинала сильно раздражать его. Порою, выставя себя опытной в делах любви, она со злостью говорила об этом чувстве, и ее скептический смешок возбуждал в нем желание дать ей пощечину. Четверть часа спустя любовь оказывалась единственно ценной вещью на свете, и, полузакрыв веки, скрестив руки на груди, словно кого-то обнимая, Розанетта в каком-то опьянении томно шептала: «Ах, да! Это хорошо! Так хорошо!» Невозможно было понять ее, узнать, например, любит ли она Арну; она издевалась над ним и вместе с тем как будто ревновала его. То же и с Ватназ, которую она то называла мерзавкой, то лучшей своей подружкой. Вообще во всем ее облике, даже в том, как она закручивала косы, было что-то неуловимое, похожее на вызов, и он желал ее главным образом ради удовольствия победить и подчинить ее.

Как быть? Ведь часто она, ничуть не церемонясь, выпроваживала его, появляясь на минуту в дверях, чтобы шепнуть: «Я занята до вечера!» — или же он заставал ее в обществе человек двенадцати гостей, а когда они оставались вдвоем, можно было побиться об заклад, что помехи будут возникать непрерывно. Он приглашал ее обедать, она всегда отказывалась; раз как-то согласилась, но не приехала.

В голове его родился чисто макиавеллиевский план.

Зная от Дюссардьё об упреках Пеллерена по его адресу, Фредерик придумал заказать ему портрет Капитанши, портрет в натуральную величину, который потребует много сеансов; сам он не пропустит ни одного из них; обычная неаккуратность художника облегчит свидания наедине. И он предложил Розанетте позировать для портрета, чтобы преподнести свое изображение бесценному Арну. Она согласилась, ибо уже видела свой портрет в Большом салоне, на самом почетном месте, и собравшуюся перед ним толпу; да и газеты заговорят о ней, так что она сразу «войдет в моду».

Пеллерен с жадностью ухватился за предложение. Этот портрет должен сделать из него знаменитость, явиться шедевром.

Он перебрал в памяти все портреты кисти великих мастеров, какие были ему известны, и окончательно остановился на портрете в манере Тициана, решив прибавить к нему украшения во вкусе Веронезе. Итак, он осуществит свой замысел без всяких искусственных теней, в ярком свете, тело выдержит в одном тоне, а на аксессуарах будут падать блики.

«Что, если одеть ее,— думал он,— в розовое шелковое платье? С восточным бурнусом? Ах, нет! К чорту бурнус! Или лучше одеть ее в синий бархат на густосером фоне? Можно бы еще белый гипюровый воротник, черный веер, а позади алюю драпировку?»

И, размышляя таким образом, он с каждым днем расширял свой замысел и восхищался им.

У него забилося сердце, когда Розанетта, в сопровождении Фредерика, явилась к нему на первый сеанс. Он попросил ее стать на некое подобие эстрады посередине комнаты; и, жалуясь на освещение и жалея о прежней своей мастерской, он заставил ее сперва облокотиться на какой-то пьедестал, потом сесть в кресло; то удаляясь, то снова приближаясь к ней, чтобы щелчком поправить складки платья, он, прищурясь, глядел на нее и отрывисто спрашивал у Фредерика советов.

— Ну, так нет же! — воскликнул он. — Я возвращаюсь к прежнему замыслу! Делаю вас венецианкой!

На ней будет платье пунцового бархата с золотым поясом, а из-под широкого рукава, отороченного горностаем, будет видна обнаженная рука, опирающаяся на балюстраду лестницы, которая приходится сзади. Слева, до верхнего края холста, будет подниматься высокая колонна, сливаясь с архитектурными деталями свода. Под его аркой смутно видны купы почти черных апельсиновых деревьев на фоне голубого неба с полосками белых облаков. На выступ лестницы наброшен ковер, на нем — серебряное блюдо с букетом цветов, янтарные четки, кинжал и старинный, чуть пожелтевший ларец слоновой кости, полный золотых цехинов; несколько монет, упавших на пол, протянутся цепью блестящих брызг, привлекая внимание к кончику ее ноги, ибо она будет стоять на предпоследней ступеньке, в ярком свете.

Он принес ящик для упаковки картин и водрузил его на эстраде, чтобы изобразить ступеньку; потом в качестве аксессуаров разложил на табурете, заменявшем балюстраду, свою рабочую блузу, щит, коробку из-под сардин, пучок перьев, нож и, разбросав перед Розанеттой дюжину медяков, попросил ее стать в позу.

— Вообразите себе, что все эти вещи — сокровища, роскошные подарки. Голову немного направо! Превосходно! И не двигайтесь! Такая величественная поза очень подходит к характеру вашей красоты.

Она была в шотландском платье, в руке держала большую муфту и делала усилия, чтобы не расхохотаться.

— А в волосы мы вплетем жемчуга: в рыжих волосах это всегда очень эффектно.

Капитанша возразила, что волосы у нее не рыжие.

— Да не спорьте! Рыжий цвет у художников не тот, что у обывателей!

Он стал набрасывать расположение предметов и так был занят мыслями о великих мастерах Возрождения, что только о них и говорил. Целый час он вслух грезил о жизни этих людей, исполненной великолепия, гениальности, славы и пышности, о триумфальных въездах в города и пирах при свете факелов, среди женщин, полунагих, прекрасных, как богини.

— Вы созданы, чтобы жить так, как жили в те времена. Женщина, подобная вам, была бы достойна принца.

Розанетта находила, что комплименты Пеллерена чрезвычайно милы. Назначен был день следующего сеанса; Фредерик взялся принести аксессуары.

От жарко натопленной печки у Розанетты немного кружилась голова; поэтому назад они направились пешком по улице Дюбак и вышли на Королевский мост.

Была прекрасная погода, холодная, но ясная. Солнце садилось; окна некоторых домов Старого города блестели вдаль, точно золотые дощечки, а сзади, с правой стороны, башни собора Богоматери вырисовывались совсем черные на фоне синего неба, нежно подернутого на горизонте серой дымкой. Подул ветер. Розанетта объявила, что проголодалась, и они вошли в Английскую кондитерскую.

Молодые женщины с детьми ели, стоя у мраморного прилавка, где под стеклянными колпаками жались одна к другой тарелки с пирожными. Розанетта проглотила два бисквита с кремом. От сахарной пудры на углах рта у нее получились усыки. Чтобы вытереть их, она несколько раз вынимала из муфты носовой платок; в обрамлении зеленого шелкового капора лицо ее напоминало распустившуюся розу среди листьев.

Они двинулись дальше; на Рю-де-ла-Пэ она остановилась у ювелирного магазина, стала рассматривать браслет; Фредерик захотел подарить ей его.

— Нет,— сказала она,— побереги деньги.

Его задела эти слова.

— Что это с моим мальчиком? Взгрустнулось?

И разговор снова завязался; Фредерик, как обычно, начал уверять ее в своей любви.

— Ты же знаешь, что это невозможно!

— Почему?

— Ах! Потому что...

Они шли рядом, она опиралась на его руку, и оборки ее платья задевали его ноги. И тут он вспомнил зимние сумерки, когда по этому же самому тротуару с ним рядом шла г-жа Арну, и он настолько поглощен был этим воспоминанием, что перестал замечать Розанетту и думать о ней.

Она смотрела прямо перед собой в пространство, повиснув на его руке, и, словно ленивый ребенок, предоставила ему тащить ее за собой. Был тот час, когда возвращаются с прогулки; по сухой мостовой быстро неслись экипажи. Ей, вероятно, пришла на память лесь Пеллерена, и она вздохнула:

— Ах! Есть же ведь такие счастливицы! Решительно, я создана для богатого человека.

Он грубо возразил:

— Он ведь есть у вас? — ибо г-н Удри, как считали все, был трижды миллионер.

Она, оказалось, только и мечтает, как бы избавиться от него.

— Кто же вам мешает?

И он дал волю желчным насмешкам над этим старым буржуа в парике, убеждая ее в том, что подобная связь недостойна и она должна ее порвать.

— Да,— ответила Капитанша, словно разговаривая сама с собой,— я, наверно, так в конце концов и сделаю.

Фредерика восхитило ее бескорыстие. Она замедлила шаг; он подумал, что она устала. Она упорно не желала садиться в экипаж и отпустила Фредерика у своего подъезда, послав ему воздушный поцелуй.

«Ах! Какая жалость! И подумать, что есть дураки, которые считают меня богатым!»

Он мрачный возвращался домой.

Там его ждали Юссонэ и Делорье.

Журналист, сидя за его столом, рисовал головы турок; адвокат же, забравшись с грязными погами на диван, дремал.

— А, наконец-то! — воскликнул он.— Но что за свирепый вид! Ты можешь меня выслушать?

Мода на него как на релетитора проходила, ибо своих учеников он пичкал теориями, неблагоприятными с точки зрения экзаменов. Он два-три раза выступил в суде, проиграл дела, и каждое новое разочарование все подкрепляло в нем давнюю его мечту о газете, где он мог бы проявлять себя, мстить, извергать свою желчь и свои мысли. К тому же явится известность и богатство. В надежде на это он и обхаживал Юссонэ, имевшего в своем распоряжении газету.

Теперь он выпускал ее на розовой бумаге; он сочинял утки, придумывал ребусы, ввязывался в полемику и даже (не сообщаясь с помещением) собирался устраивать концерты. Годовая подписка «давала право на место в партере в одном из главных театров Парижа; кроме того, редакция обязывалась снабжать господ иногородних всеми требуемыми справками из области искусства и прочими». Но типографщик грозился, хозяину помещения задолжали за девять месяцев, возникали всяче-

ские затруднения, и Юссонэ предоставил бы «Искусству» погибнуть, если бы не заклинания адвоката, который изо дня в день поддерживал в нем бодрость. Делорье захватил его с собой, чтобы придать больший вес своему ходатайству.

— Мы пришли по поводу газеты,— сказал он.

— Ну? Ты еще думаешь о ней! — небрежно ответил Фредерик.

— Разумеется, думаю!

И он снова изложил свой план. Печатаемая биржевые отчеты, они завяжут отношения с финансистами и таким путем получат сто тысяч франков, необходимых для залога. Но для того чтобы листок мог превратиться в политическую газету, надо сперва создать себе широкую клиентуру, а ради этого пойти на некоторые расходы, не считая издержек на бумагу, на печатание, на контору; короче — требовалась сумма в пятнадцать тысяч франков.

— У меня нет капиталов,— сказал Фредерик.

— Ну, а у нас? — сказал Делорье, скрестив руки на груди. Фредерик, обиженный этим жестом, возразил:

— Я-то тут при чем?..

— А, превосходно! У них есть и дрова в камине, и трюфели к обеду, и мягкая постель, библиотека, экипаж, все радости жизни! А если другой дрожит от стужи на чердаке, обедает за двадцать су, трудится, как каторжный, и барахтается в нищете — они тут ни при чем!

И он повторял: «Они тут ни при чем!» с цицероновской иронией, отзывавшейся судебным красноречием.

Фредерик хотел заговорить.

— Впрочем, я понимаю, есть потребности... аристократические; без сомнения... какая-нибудь женщина...

— Ну так что же, даже если и так? Разве я не волен?

И с минуту помолчав, Делорье отозвался:

— О, вполне!

— Обещания — самая удобная вещь.

— Боже мой! Да я не отказываюсь от них! — сказал Фредерик.

Адвокат продолжал:

— В школьные годы дают клятвы, собираются учредить фалангу, подражать «Тринадцати» Бальзака! А потом, когда встретятся, — «прощай, старина, ступай своей дорогой!» Тот, кто мог бы оказать другому услугу, заботливо прибергает все для себя.

— Что?

— Да; ты даже не представил нас Дамбрёзам!

Фредерик посмотрел на него; в старом сюртуке, тусклых очках, страшно бледный, адвокат показался ему столь жалким

существом, что он не мог удержаться от презрительной улыбки. Делорье заметил ее и покраснел.

Он уже взялся за шляпу, чтобы уйти. Юссонэ, полный тревоги, умоляющими взглядами пытался его смягчить и обратился к Фредерику, который повернулся к ним спиной:

— Ну, миленький, будьте моим меценатом. Окажите покровительство искусствам.

Фредерик, с внезапной покорностью судьбе, взял листок бумаги и, нацарапав несколько строчек, подал ему. Лицо Юссонэ просияло. Он передал письмо Делорье:

— Просите извинения, сударь!

Их друг заклинал своего нотариуса прислать ему как можно скорее пятнадцать тысяч франков.

— О! Теперь я тебя узнаю! — сказал Делорье.

— Клянусь честью дворянина, — прибавил журналист, — вы молодец, вас поместят в галерею полезных деятелей!

Адвокат добавил:

— Ты не окажешься в накладе, сделка великолепная.

— Еще бы! — воскликнул Юссонэ. — Я дам голову на отсечение!

И он наговорил столько глупостей и наобещал столько чудес (в которые сам, быть может, и верил), что Фредерик не знал, над ними ли он смеется или над самим собою.

В тот же вечер он получил письмо от матери.

Слегка над ним подтрунивая, она удивлялась, что он еще не министр. Далее она писала о своем здоровье и сообщала, что г-н Рокк теперь стал бывать у нее. «С тех пор как он овдовел, я не считаю неприличным принимать его. Луиза очень изменилась к лучшему». И в постскриптуме: «Ты ничего не пишешь мне о твоём влиятельном знакомом, г-не Дамбрёзе; на твоём месте я воспользовалась бы случаем».

Отчего не воспользоваться? Высокие стремления его покинули, а средства его (он это видел) были недостаточны; после уплаты долгов и передачи друзьям условленной суммы его доход уменьшится на четыре тысячи франков по крайней мере. Впрочем, он испытывал потребность прекратить этот образ жизни и пристроиться к чему-нибудь. Поэтому, обедая на другой день у г-жи Арну, он рассказал о настоящих своей матери, требующей от него, чтобы он избрал себе какую-нибудь профессию.

— А мне казалось, — заметила г-жа Арну, — что господин Дамбрёз должен был вас устроить в Государственный совет? Это бы вам подошло.

Значит, она этого желает. Он повиновался.

Как и в первый раз, банкир сидел за своим бюро и жёстом попросил его подождать несколько минут; какой-то

человек, повернувшись спиной к двери, говорил с ним о важных вещах. Дело шло о каменном угле и предстоящем слиянии нескольких компаний.

По сторонам зеркала висели портреты генерала Фуа и Луи-Филиппа; вдоль стен с панелью на полках до самого потолка громоздились папки; в комнате стояло только шесть соломенных стульев, ибо г-н Дамбрёз не нуждался для своих дел в лучшем помещении; оно было похоже на темные кухни, где готовятся яства для роскошных пиров. Фредерик особенно обратил внимание на два огромных негоряемых шкафа, стоявших по углам. Он задавал себе вопрос, сколько миллионов могут они вмещать. Банкир отпер один из них, железная доска откинулась — там лежали только синие папки.

Наконец посетитель прошел мимо Фредерика. Это был старик Удри. Они поклонились друг другу и покраснели, что, видимо, удивило г-на Дамбрёза. Впрочем, он оказался очень мил. Ничего не было проще, как откомендовать его молодого друга министру. Там будут счастливы принять его на службу; и в довершение любезности он пригласил Фредерика на вечер, который давал на днях.

Фредерик сел в карету, чтобы ехать на вечер к Дамбрёзам, когда ему принесли записку от Капитанши. При свете фонарей он прочел:

«Дорогой, я последовала вашим советам. Только что выставляла моего дикаря. С завтрашнего вечера я свободна! После этого скажите, что я не молодец».

Только и всего! Но ведь это — приглашение на освободившееся место. Он не удержался от восклицания, спрятал записку в карман и поехал.

Два конных полицейских стояли на улице. Над воротами цепью горели плошки, а во дворе лакеи окриками приказывали кучерам подъезжать к крыльцу под навес. В вестибюле шум сразу замолкал.

Пышные растения украшали пролет лестницы; фарфоровые шары лили свет, от которого стены словно переливались белым атласом. Фредерик весело поднимался по лестнице. Слуга объявил его фамилию; г-н Дамбрёз протянул ему руку; вслед за ним появилась г-жа Дамбрёз.

На ней было светлолиловое платье, отделанное кружевами; локоны прически вились пышнее, чем обычно; она не надела ни одной драгоценности.

Она пожурела его за редкие визиты и перекинулась с ним несколькими словами. Гости прибывали; приветствуя хозяев, одни склонялись всем корпусом набок, другие сгибались вдвое, третьи лишь наклоняли голову; прошла супружеская чета,

целое семейство — и все рассеивались в большой гостиной, переполненной народом.

Под самой люстрой, над серединой огромного низкого дивана, возвышалась корзина с цветами, и они свешивались, как перья шляпы, на головы сидевших вокруг женщин; другие расположились в глубоких креслах, расставленных вдоль стен прямыми рядами, которые симметрически прерывались широкими, алого бархата, занавесями на окнах и высокими пролетами дверей с золочеными карнизами.

На паркете толпа мужчин со шляпами в руках производила издали впечатление сплошной черной массы, на фоне которой красными точками мелькали ленточки орденов; благодаря однообразной белизне галстуков она казалась еще темней. За исключением каких-нибудь совсем молодых людей, с пушком вместо бороды, все, видимо, скучали; несколько денди с угрюмым видом покачивались на каблучках. Было много седых голов и париков; то тут, то там лоснился голый череп; лица, багровые или очень бледные, хранили на себе следы страшной усталости — все это были люди, принадлежавшие либо к политическому, либо к деловому миру. Г-н Дамбрёз пригласил также нескольких ученых, судейских, двух-трех известных врачей и скромно отклонял похвалы по поводу его вечера и намеки на его богатство.

Сновали лакеи с широкими золотыми галунами. Большие канделябры, точно огненные букеты, расцветали на фоне обоев, отражались в зеркалах, а буфет в глубине столовой, украшенной жасминовым трельяжем, был похож на алтарь собора или на выставку драгоценностей — столько на нем было блюд, крышек, приборов, ложек серебряных и позолоченных, граненого хрусталя, от которого расходились радужные лучи, скрещиваясь над снейдью. Три другие гостиные были полны художественных вещей: на стенах — пейзажи знаменитых живописцев; на столах — изделия из слоновой кости и фарфор; на консолях — китайские безделушки; перед окнами стояли лаковые ширмы, на каминах возвышались кусты камелий, а веселая музыка напоминала издали жужжание пчел.

Кадриль танцевали немногие, и можно было подумать, что танцоры исполняют скучный долг — так небрежно они скользили в своих бальных туфлях. Фредерик слышал фразы вроде следующих:

— Вы были на последнем благотворительном празднике у Ламберов, мадмуазель?

— Нет, сударь!

— Сейчас будет такая жара!

— Да, можно задохнуться!

— Кто сочинил эту польку?

— Право не знаю, сударыня!

У него за спиной, стоя у окна, три молодящихся старичка шопотом делились непристойными замечаниями; другие разговаривали о железных дорогах, о свободе торговли; какой-то спортсмен рассказывал про случай на охоте; легитимист спорил с орлеанистом.

Переходя от группы к группе, он дошел до комнаты, где играли в карты и где в обществе почтенных людей он увидел Мартинона, «в настоящее время причисленного к столичной прокуратуре».

Его толстое восковое лицо обрамляла, как и подобает, черная бородка, представлявшая собой настоящее чудо,— так приглажен был каждый волосок; а сам он, соблюдая золотую середину между изяществом, которого требовал его возраст, и достоинством, налагаемым его должностью, то упирался большим пальцем подмышку, в подражание шеголям, то закладывал руку за жилет, по примеру доктринеров. Носил он превосходнейшие лакированные ботинки, но виски брил, чтобы иметь лоб как у мыслителя.

Холодно сказав Фредерику несколько слов, он опять повернулся к своим партнерам. Один из них — землевладелец — говорил:

— Это класс людей, мечтающих об общественном перевороте!

— Они требуют организации труда! — подхватил другой.— Можете себе представить?

— Что вы хотите,— возразил третий,— когда мы видим, как рука господина Женуда тянется к «Веку».

— Даже консерваторы именуют себя прогрессивными! Что бы привести нас к чему? К республике! Как будто она во Франции возможна!

Все объявили, что республика во Франции невозможна.

— Во всяком случае,— весьма громко заметил какой-то господин,— революцией занимаются слишком уж много; о ней пишут уйму всякой всячины, множество книг!..

— Не говоря о том,— сказал Мартинон,— что есть, пожалуй, более серьезные предметы для изучения.

Приверженец министерства придрался к театральным скандалам:

— Вот, например, новая драма «Королева Марго»; право, она переходит все границы! К чему было говорить о Валуа? Все это выставляет королевскую власть в невыгодном свете! Вот и ваша пресса! Что ни говори, сентябрьские законы чересчур мягки! Я желал бы, чтобы военные суды заткнули глотки этим журналистам! За малейшую дерзость — тащить в военный трибунал! И все тут!

— Ах, сударь, осторожнее, осторожнее! — сказал профессор. — Не затрагивайте наших драгоценных завоеваний тысяча восемьсот тридцатого года! Будем уважать наши вольности!

По его мнению, следовало произвести децентрализацию, расселить излишек городского населения по деревням.

— Но они охвачены заразой! — воскликнул католик. — Укрепляйте религию!

Мартинон поспешил вставить:

— Действительно, это узда!

Все зло заключалось в современном стремлении подняться над своим классом, достичь роскоши.

— Однако, — заметил один промышленник, — роскошь благоприятствует торговле. Вот почему я одобряю герцога Немурского, который требует, чтобы на вечера к нему являлись в коротких панталонах.

— А господин Тьер приехал в длинных. Вы слышали его острогу?

— Да, прелестно! Но он становится демагогом, и его речь по вопросу о несовместимости осталась не без влияния на покушение двенадцатого мая.

— Ну! Что вы!

— Вот как!

Пришлось расступиться, чтобы пропустить лакея с подносом, старавшегося пройти в зал к игромкам.

На столах горели свечи под зелеными колпачками, по сукну разбросаны были карты и золотые монеты. Фредерик остановился у одного из столов, проиграл пятнадцать наполеондоров, бывших у него в кармане, сделал пируэт и оказался на пороге будуара, где в это время находилась г-жа Дамбрёз.

Будуар был полон дам, сидевших одна подле другой на мягких табуретах. Их длинные юбки вздувались, напоминая волны, из которых подымался стан, а в вырезе корсажей взгляду открывалась грудь. Почти каждая держала букет фиалок. Матовый тон перчаток оттенял живую белизну рук; с их плеч свешивались бахромы и какие-то травы; и порой трепет проходил у них по телу, и тогда казалось, что платье вот-вот спадет. Но вызывающий вид одежды смягчался благопристойным выражением лица, на некоторых даже было написано почти животное спокойствие, и это сборище полуобнаженных женщин вызвало мысль о гареме; Фредерику пришло на ум сравнение еще более грубое. Действительно, здесь были все виды красоты: англичанки с профилем из кипсека, итальянка с черными глазами, огненными, как Везувий, три сестры в голубом, три нормандки, свежие, как яблоны в апреле, высокая рыжеволосая женщина в уборе из аметистов; белые искры бриллиантов, дрожавших на эгретах в волосах, лучистые пятна драгоценных

каменной на груди и нежный отблеск жемчуга, оттенявшего цвет лица,— все сливалось со сверканием золотых колец, с кружевами, пудрой, перьями, с кораллом губ, с перламутром зубов. Куполообразный потолок придавал будуару вид корзины; и ароматный ветерок пробегал от колыхания вееров.

Фредерик, стоя позади, с моноклем в глазу, находил, что не у всех женщин безукоризненные плечи; он думал о Капитанше, и мысль о ней побеждала все иные вожеления, успокаивала его.

Все же он смотрел на г-жу Дамбрёз и признал ее очаровательной, несмотря на несколько большой рот и слишком широкие ноздри. В ней была грация совсем особенная. Даже локоны и те будто были полны какой-то страстной томности, и казалось, что ее гладкий, как агат, лоб многое таит и выдает властный характер.

Рядом с собой она посадила племянницу мужа, девушку довольно некрасивую. Время от времени она поднималась навстречу новым гостям; женские голоса, становясь все громче, напоминали щебет птиц.

Речь шла о тунисских посланниках и их костюмах. Одна из дам присутствовала на последнем заседании в Академии; другая заговорила о «Дон Жуане» Мольера, недавно возобновленном во Французском театре. Но г-жа Дамбрёз, глазами указывая на племянницу, поднесла палец к губам, а произвольная улыбка опровергла эту строгость.

Вдруг в противоположной двери появился Мартинон. Она встала. Он предложил ей руку. Фредерик, желая посмотреть, как он дальше будет любезничать, прошел мимо карточных столов и присоединился к ним в большой гостиной; г-жа Дамбрёз тотчас же оставила своего кавалера и запросто заговорила с Фредериком.

Ей было понятно то, что он не танцует, не играет в карты.

— В молодости мы часто грустим!

И она окинула взглядом танцующих.

— Впрочем, все это невесело! Некоторым по крайней мере!

И, двигаясь вдоль ряда кресел, она останавливалась то тут, то там, говорила любезности, а старики с лорнетами подходили к ней сказать какой-нибудь комплимент. Некоторым из них она представила Фредерика. Г-н Дамбрёз тихонько тронул его за локоть и повел на террасу.

Он разговаривал с министром. Дело оказалось не так просто. До назначения аудитором в Государственный совет надо подвергнуться экзамену. Фредерик с непостижимой уверенностью в себе ответил, что предмет ему знаком.

Банкир не удивился после всех похвал, расточаемых ему г-ном Рокком.

При этом имени Фредерик живо представил себе маленькую Луизу, свой дом, свою комнату, и ему вспомнились такие же ночи, которые он проводил, стоя у окна и прислушиваясь к грохоту фургонов. Воспоминания о былой тоске вызывали мысль о г-же Арну; и он молчал, продолжая ходить по террасе. Окна выделялись в темноте длинными красными пластинками; шум бала уже затихал; экипажи начинали разъезжаться.

— А почему,— спросил г-н Дамбрёз,— вам так хочется в Государственный совет?

И тоном либерала он стал уверять его, что государственная служба ни к чему не ведет, он-то это знает; заниматься делами гораздо лучше. Фредерик возразил, что этому трудно научиться.

— Ах, полноте! Я бы вас быстро со всем ознакомил.

Не хочет ли он привлечь его в свои предприятия?

Молодому человеку, словно при блеске молнии, на миг представилось то огромное богатство, которое к нему придет.

— Вернемтесь в дом,— сказал банкир.— Вы, конечно, останетесь ужинать?

Было три часа, гости разъезжались. Для близких друзей в столовой был накрыт стол.

Г-н Дамбрёз увидел Мартинона и, подойдя к жене, шопотом спросил:

— Это вы пригласили его?

Она сухо ответила:

— Да.

Племянницы не было. Пили очень много, смеялись очень громко, и даже рискованные шутки никого не смущали — ощущалось то облегчение, которое наступает после долгих часов натянутости. Один лишь Мартинон держался серьезно; от шампанского он отказался, считая, что этого требует хороший тон, вообще же был внимателен и крайне вежлив; так как г-н Дамбрёз, у которого была узкая грудь, жаловался на удушье, Мартинон несколько раз справлялся о его самочувствии; потом переводил свои голубоватые глаза на г-жу Дамбрёз.

Она обратилась к Фредерику с вопросом, кто из девиц ему понравился. Он ни одной не заметил и предпочитал вообще женщин лет тридцати.

— Это, пожалуй, неглупо! — ответила она.

Потом, когда гости уже надевали шубы и пальто, г-н Дамбрёз ему сказал:

— Приезжайте ко мне как-нибудь на днях утром, мы поговорим!

Мартинон, спустившись с лестницы, закурил сигару; те-

перь профиль его казался столь грузным, что у его спутника вырвалось:

— Ну и голова же у тебя, честное слово!

— А вскружила она не одну! — ответил молодой судейский тоном убежденным и в то же время с раздражением.

Ложась спать, Фредерик подвел итог вечеру. Прежде всего весь его туалет (он несколько раз смотрелся в зеркало), начиная с покроя фрака и кончая бантами на туфлях, был безукоризнен; он разговаривал с лицами значительными, видел вблизи богатых женщин, г-н Дамбрёз прекрасно отнесся к нему, а г-жа Дамбрёз была почти ласкова. Он взвесил каждое ее слово, все ее взгляды, тысячи мелочей, неопределимых и все же таких красноречивых. Было бы здорово иметь такую любовницу! А почему бы и нет в конце концов? Он ничем не хуже других! Может быть, она не так неприступна? Потом ему вспомнился Мартинон, и, засыпая, он улыбался от жалости к этому честному малому.

Он проснулся с мыслью о Капитанше; ведь слова в ее записке «с завтрашнего вечера» означали свидание на сегодня. Он подождал до девяти часов и поспешил к ней.

Кто-то перед ним поднялся по лестнице, закрыл дверь. Он позвонил. Дельфина открыла и стала уверять, что барыни нет дома.

Фредерик настаивал, просил. Ему надо сообщить ей нечто очень важное, всего несколько слов. Наконец удачным доводом оказалась монета в сто су, и служанка оставила его одного в передней.

Показалась Розанетта. Она была в рубашке, с распущенными волосами и, качая головой, издали разводила руками — выразительный жест, означавший, что она не может его принять.

Фредерик медленно спустился по лестнице. Этот каприз превосходил все остальное. Он ничего не понимал.

Возле швейцарской его остановила м-ль Ватназ:

— Она вас не приняла?

— Нет!

— Вас выставили?

— Как вы узнали?

— Это видно! Идемте! Прочь отсюда! Мне дурно!

Ватназ вышла с ним на улицу. Она задыхалась. Он чувствовал, как дрожит ее тощая рука, которой она опиралась на его руку. И вдруг она разразилась:

— Ах, мерзавец!

— Кто?

— Да это же он! Он! Дельмар!

Это открытие оскорбило Фредерика; он опять спросил:

— Вы в этом уверены?

— Да я вам говорю, что я все время шла за ним! — воскликнула Ватназ.— Я видела, как он вошел! Понимаете вы теперь? Впрочем, я должна была этого ожидать; ведь я сама по глупости ввела его к ней. О, если бы вы только знали, боже мой! Я приютила его, кормила, одевала. А все мои хлопоты в газетах! Я любила его, как мать! — Она злобно усмехнулась.— Ах, но этому господину нужны бархатные костюмы! Это ведь лишь сделка для него, не сомневайтесь! А она! Ведь я знала ее еще белошвейкой! Не будь меня, сколько раз она уже барахталась бы в грязи! Но я еще швырну ее в грязь! Да! Да! Пусть подохнет в больнице! И пусть все узнают!

Словно поток нечистот из помойного ушата, она бурно выплеснула перед Фредериком свой гнев, обнажая весь позор соперницы.

— Она жила с Жюмийяком, с Флакуром, с молодым Алларом, с Бертино, с Сен-Валери — рябым. Нет, с другим! Все равно, они братья! А когда она оказывалась в трудном положении, я все улаживала. А был ли мне от этого какой-нибудь прок? Она такая скупая! И потом, согласитесь, с моей стороны большая любезность водиться с ней; в конце концов мы с ней не одного круга! Я ведь не девка! Разве я продаюсь? Не говоря о том, что она глупа, как пробка! Слово «категория» она пишет через два «т». Впрочем, они друг друга стоят, хоть он и величает себя артистом и воображает, что он гений! Но, боже мой, будь бы у него соображение, он не совершил бы такой гнусности! Покинуть незаурядную женщину ради какой-то шлюхи! В конце концов мне наплевать. Он становится уродом! Он мне гадок! Если я его встречу, право, я плюну ему в лицо.— Она плюнула.— Да, вот во что я его ставлю теперь! Но Арну какво? Не правда ли, ужасно? Он столько раз прощал ей! Нельзя себе представить, какие он приносил жертвы! Она бы должна целовать ему ноги! Он такой щедрый, такой добрый!

Фредерик с удовольствием слушал, как она честит Дельмара. С Арну он мирился. Вероломство Розанетты казалось ему чем-то противоестественным, несправедливым; возбуждение старой девы передалось и ему, и он даже почувствовал к Арну нечто вроде нежности. И вдруг он очутился у его подъезда: он и не заметил, как м-ль Ватназ привела его в предместье Пуассоньер.

— Вот мы и пришли,— сказала она.— Я зайти к нему не могу. Но вам-то ничто не мешает?

— А зачем?

— Чтобы все ему рассказать, чорт возьми!

Фредерик, словно внезапно очнувшись, понял, на какую низость его толкают.

— Ну что же? — спросила она.

Он поднял глаза к третьему этажу. У г-жи Арну горела лампа. Действительно, ничто не мешало ему подняться.

— Я жду вас здесь. Идите же!

Это приказание вконец расколодило его, и он сказал:

— Я долго пробуду там наверху. Вам бы лучше вернуться домой. Завтра я зайду к вам.

— Нет! Нет! — ответила Ватназ, топая ногой. — Захватите его! Возьмите его с собой! Пусть он их накроет!

— Но Дельмара там уже не будет!

Она опустила голову.

— Да, пожалуй, верно.

Она молча стояла на мостовой среди мчавшихся экипажей; потом уставилась на него глазами дикой кошки.

— Я могу на вас рассчитывать, правда? Теперь мы сообщники, это свято! Так действуйте. До завтра!

Фредерик, проходя по коридору, услышал два голоса — они спорили. Голос г-жи Арну говорил:

— Не лги! Да не лги же!

Он вошел. Они замолчали.

Арну расхаживал взад и вперед, а жена его сидела на низеньком стуле у камина, чрезвычайно бледная, с остановившимся взглядом. Фредерик сделал движение в сторону двери. Арну схватил его за руку, довольный, что явилась помощь.

— Я, кажется... — сказал Фредерик.

— Да оставайтесь! — шепнул ему на ухо Арну.

Г-жа Арну сказала:

— Надо быть снисходительным, господин Моро! Такие вещи в семейной жизни иногда случаются.

— То есть их устраивают, — ириво сказал Арну. — И бывают же причуды у женщин! Вот, например, она совсем неплохая женщина. Напротив! И что же, целый час забавляется тем, что докучает мне всякими выдумками.

— Это не выдумки, а правда! — раздраженно ответила г-жа Арну. — Ведь как-никак ты же ее купил.

— Я?

— Да, ты! в персидском магазине!

«Кашемировая шаль!» — подумал Фредерик.

Он чувствовал себя виноватым и был испуган.

Она тут же добавила:

— Это было в прошлом месяце, в субботу, четырнадцатого.

— А! В этот день я как раз был в Крейле! Итак, ты видишь.

— Вовсе нет! Ведь четырнадцатого мы обедали у Бертенов.

— Четырнадцатого?..— И Арну поднял глаза к потолку, как бы вспоминая число.

— И даже приказчик, который продавал ее, был белокурый!

— Могу я разве помнить приказчика?

— Однако ты продиктовал ему адрес: улица Лаваль, восемнадцать.

— Как ты узнала? — спросил изумленный Арну.

Она пожала плечами.

— О! Все очень просто: я зашла починить мою шаль, и старший приказчик сказал мне, что точно такую же сейчас отравили г-же Арну.

— Так моя ли вина, что на той же улице живет какая-то г-жа Арну?

— Да, но не жена Жака Арну, — ответила она.

Тут он стал путаться в объяснениях, уверяя, что не виноват. Это ошибка, случайность, одна из тех необъяснимых странностей, какие иногда встречаются. Не следует осуждать людей по одному только подозрению, на основании неопределенных улик, и в качестве примера он привел несчастного Лезюрка.

— Словом, я утверждаю, что ты ошибаешься! Хочешь, я поклянусь тебе?

— Не стоит труда!

— Почему?

Она взглянула ему прямо в лицо, ничего не сказав, потом протянула руку, взяла с камина серебряный ларец и подала ему развернутый счет.

Арну покраснел до самых ушей, и его растерянное лицо даже раздулось.

— Ну?

— Так что же, — медленно проговорил он в ответ, — что же это доказывает?

— Вот как! — сказала она с особой интонацией, в которой слышалась и боль и ирония. — Вот как!

Арну держал счет в руках и вертел его, не отрывая от него глаз, как будто в нем он должен был найти решение важного вопроса.

— А! Да, да, припоминаю, — сказал он наконец. — Это было поручение. Вам это должно быть известно, Фредерик.

Фредерик молчал.

— Поручение, которое меня просил исполнить... просил... да, старик Удри.

— А для кого?

— Для его любовницы!

— Для вашей! — воскликнула г-жа Арну, выпрямившись во весь рост.

— Клянусь тебе...

— Перестаньте! Я все знаю!

— А-а! Превосходно! Значит, за мной шпионят!

Она холодно ответила:

— Это, может быть, оскорбляет вас при вашей щепетильности?

— Раз человек выходит из себя,— начал Арну, ища шляпу,— а вразумить его нет возможности...

Потом он глубоко вздохнул:

— Не женитесь, любезный друг мой, нет, уж поверьте мне!

И он поспешил прочь, чувствуя потребность подышать свежим воздухом.

Тут наступило глубокое молчание, и в комнате все как будто застыло. Светлый круг над лампой белел на потолке, а по углам, точно полосы черного флера, ложились тени; слышно было тиканье часов, да в камине потрескивал огонь.

Г-жа Арну снова села в кресло, теперь по другую сторону камина; она кусала губы, ее трясло; она подняла руки, всхлипнула, расплакалась.

Фредерик сел на низенький стул и ласковым голосом, как ким разговаривают с больными, сказал:

— Вы не сомневаетесь, что я разделяю...

Она ничего не ответила. Но, продолжая вслух свои размышления, молвила:

— Я же не стесняю его! Ему незачем было лгать.

— Разумеется,— сказал Фредерик.— Наверно, всему виной его привычки, он просто не подумал, и, может быть, в делах более важных...

— Что же, по-вашему, может быть более важного?

— Да ничего!

Фредерик наклонился с покорной улыбкой.

— Арну все же обладает некоторыми достоинствами; он любит своих детей.

— Ах! И делает все, чтобы их разорить!

— Причиной тому его нрав, слишком общительный; ведь в сущности он же добрый малый.

Она воскликнула:

— А что это значит — добрый малый?

Так он защищал его в выражениях самых неопределенных, какие только мог найти, и, хотя и сочувствовал ей, в глубине души радовался, блаженствовал. Из мести или из потребно-

сти в любви она устремится к нему. Надежды, непомерно возрасшая, укрепляли его любовь.

Еще никогда не казалась она ему столь очаровательной, столь беспредельно прекрасной. Временами грудь ее вздымалась; ее неподвижные расширенные глаза словно были прикованы к видению, возникшему перед ее духовным взором, а губы оставались полуоткрыты, как бы для того, чтобы душа могла покинуть тело. Порою она крепко прижимала к ним носовой платок. Фредерик хотел бы быть этим кусочком батиста, насквозь пропитанным слезами. Он невольно смотрел на постель в глубине алькова, рисуя в своем воображении ее голову, лежащую на подушках, и так отчетливо видел ее, что должен был сдержаться, иначе он бы сжал ее в своих объятиях. Г-жа Арну закрыла глаза, успокоенная, обессиленная. Тогда он подошел к ней ближе и, наклонившись, жадно стал вглядываться в ее лицо. В коридоре раздался звук шагов, это вернулся муж. Они услышали, как он затворил дверь в свою спальню. Фредерик знаком спросил, не должен ли он пойти туда.

Она тоже знаком ответила ему: «да», и этот немой обмен мыслями был словно соглашением, началом любовной связи.

Арну, собираясь ложиться спать, снимал сюртук.

— Ну, как она?

— О! Лучше! — сказал Фредерик. — Это пройдет!

Но Арну был огорчен.

— Вы ее не знаете! Теперь у нее разыгрались нервы!.. Дурак приказчик! Вот что значит быть слишком добрым! Если бы я не дарил Розанетте эту проклятую шаль!

— Не жалейте! Она вам как нельзя более благодарна!

— Вы думаете?

Фредерик в этом не сомневался. Доказательство — то, что она дала отставку старику Удри.

— Ах! Милая крошка!

И в порыве умиления Арну уже хотел бежать к ней.

— Да не стоит! Я только что от нее! Она больна!

— Тем более!

Он быстро опять надел сюртук и взял подсвечник. Фредерик проклинал себя за эту глупость и стал втолковывать Арну, что нынешний вечер он из приличия должен остаться дома с женой. Нельзя ее оставить одну, это было бы очень дурно.

— Говорю вам откровенно; это будет лишь во вред! Дело там совсем не к спеху! Пойдете завтра! Ну, сделайте это для меня.

Арну поставил подсвечник и сказал:

— Вы добрый!

С той поры для Фредерика началось жалкое существование. Он сделался приживальщиком в этом доме.

Если кто-нибудь бывал нездоров, он три раза в день заходил справляться, он ездил за настройщиком, измышлял тысячи поводов, чтоб услужить, и с довольным видом терпел капризы м-ль Марты и ласки маленького Эжена, который всякий раз гладил его грязными руками по лицу. Он присутствовал на обедах, во время которых муж и жена, сидя друг против друга, не обменивались ни единым словом или Арну отпускал колкие замечания, раздражавшие ее. После обеда Арну возился с мальчиком в спальне, играл с ним в прятки или носил его на спине, становясь на четвереньки, как бearнец. Наконец он уходил, она же тотчас заводила разговор на тему, служившую вечным источником жалоб: Арну.

Не безнравственность мужа приводила ее в негодование. Но, видимо, страдала ее гордость, и г-жа Арну не скрывала отвращения к этому человеку, лишенному чуткости, достоинства, чести...

— Или он сумасшедший! — говорила она.

Фредерик искусно вызывал ее на признание. Вскоре он узнал всю ее жизнь.

Ее родители, мелкие буржуа, жили в Шартре. Однажды Арну, рисуя на берегу реки (в те времена он мнил себя художником), увидел ее, когда она выходила из церкви, и сделал предложение; ввиду его состояния родители, не колеблясь, дали согласие. К тому же он без памяти любил ее. Она прибавила:

— Боже мой, он и теперь еще любит меня — по-своему!

В течение первых месяцев они путешествовали по Италии.

Арну, несмотря на свое восхищение ландшафтами и памятниками искусства, только и делал, что жаловался на вино да устраивал пикники с англичанами, чтобы развлечься. Удачно перепродав несколько картин, он решил заняться торговлей художественными предметами. Потом увлекся производством фаянса. Теперь его соблазняли другие спекуляции, и, делаясь все пошлее и пошлее, он приобретал грубые и разорительные привычки. Она ставила ему в вину не столько его пороки, сколько все его поведение. Никакой перемены нельзя было ждать, и горе ее непоправимо.

Фредерик утверждал, что и его жизнь не удалась.

Но ведь он так молод. Зачем отчаиваться? И она давала ему добрые советы: «Работайте! Женитесь!» Он отвечал горькой усмешкой, ибо, вместо того, чтобы высказать истинную причину своей печали, он прикидывался, будто у него есть причина

иная, более возвышенная, в известном роде разыгрывая отверженного Антони, что, впрочем, не вполне извращало его мысль.

Действие для некоторых людей тем неосуществимее, чем сильнее желание. Недоверие к самим себе гнетет их, боязнь не понравиться их пугает; к тому же глубокие чувства похожи на порядочных женщин; они страшатся, как бы их не обнаружили, и проходят через жизнь с опущенными глазами.

Хотя он ближе узнал г-жу Арну (или, может быть, именно поэтому), он стал еще более робок. Каждое утро он давал себе клятву действовать смелее. Непобедимая стыдливость удерживала его от этого; и он не мог руководствоваться чьим бы то ни было примером, раз это была женщина совсем особенная. Силою своей мечты он вознес ее выше всяких человеческих отношений. Подле нее он чувствовал себя более ничтожным в этом мире, чем шелковинки, падавшие под ее ножницами.

Потом он думал о вещах чудовищных, нелепых — вроде нападения ночью врасплох, с наркотическими снадобьями и подобранными ключами, ибо все казалось ему легче, чем снести ее презрение.

К тому же дети, две служанки, расположение комнат — все это были непреодолимые препятствия. Он решил, что будет обладать ею один и что они уедут очень далеко, поселятся вдвоем в уединении; он даже раздумывал, на каком озере достаточно синяя вода, на каком пляже достаточно нежный песок, будет ли это в Испании, Швейцарии или на Востоке, и, нарочно выбирая дни, когда она казалась особенно раздраженной, говорил, что надо покончить, найти способ и что выход, как он считает, лишь один — расстаться. Но из любви к детям она никогда не пойдет на подобную крайность. Такая добродетель еще усиливала его уважение к ней.

Время он проводил, вспоминая вчерашнее посещение и мечтая о том, как он будет у нее сегодня вечером. Если он не обедал у них, то часов около девяти приходил на угол их улицы, и едва только Арну захлопывал парадную дверь, Фредерик живо подымался на третий этаж и с невинным видом спрашивал у служанки:

— Господин Арну дома?

Затем притворялся удивленным, что не застал его.

Часто Арну возвращался домой неожиданно. Тогда приходилось сопровождать его в маленькое кафе на улице св. Анны, где бывал теперь Режембар.

Гражданин первым делом высказывал свое недовольство правительством. Потом завязывался разговор, причем они в дружеском тоне говорили друг другу колкости, ибо фабрикант считал Режембара мыслителем высокого полета и, огорченный тем, что такие способности пропадают даром, шутил над его

леностью. Гражданин видел в Арну человека великодушного и одаренного воображением, но, несомненно, слишком уж безнравственного; вот почему он обращался с ним без малейшего снисхождения и даже отказывался обедать у него, потому что его «раздражали эти церемонии».

Иногда, уже в момент прощания, оказывалось, что Арну проголодался. У него являлась «потребность» съесть яичницу или печеных яблок, а так как в заведении всего этого обычно не имелось, то он посылал за снедью. Надо было ждать. Режембар не уходил и в конце концов, ворча, соглашался что-нибудь съесть.

Тем не менее он был мрачен, часами просиживал за стаканом, опорожненным наполовину. Провидение правило миром несогласно с его мыслями, он превращался в ипохондрика, даже бросил чтение газет, и стоило лишь произнести слово «Англия», как он начинал рычать. Однажды, когда официант ему не так подал, он воскликнул:

— Разве еще мало оскорблений наносят нам иностранные державы!

Вообще же он, если не считать подобных вспышек, бывал молчалив и обдумывал «удар без промаха — такой, чтобы с треском взлетела вся лавочка».

Пока он предавался размышлениям, Арну, с глазами, уже немного пьяными, рассказывал монотонным голосом невероятные истории, в которых он всегда блистал благодаря своей самоуверенности, и Фредерик (должно быть, это зависело от какого-то тайного сходства между ними) чувствовал своего рода влечение к нему. Он ставил себе в упрек эту слабость, считая, что, напротив, должен был бы его ненавидеть.

Арну горько жаловался ему на дурное настроение жены, на ее упрямство, несправедливую пристрастность. Прежде она была не такая.

— На вашем месте, — говорил Фредерик, — я бы назначил ей содержание и поселился бы один.

Арну ничего не отвечал, а минуту спустя начинал ее расхваливать. Она добрая, преданная, умная, добродетельная; переходя к ее телесным качествам, он щедро сыпал подробностями, с тем легкомыслием, с каким некоторые люди где-нибудь в гостинице раскладывают свои сокровища на виду у всех.

Из равновесия он был выведен катастрофой.

Он вошел в компанию по добыче фарфоровой глины и стал членом ревизионного совета. Но, веря всему, что ему говорили, он подписывал неправильные отчеты и одобрил, не проверив, годовую ведомость, мошеннически составленную управляющим. Компания прогорела, и Арну, который нес солидарную

ответственность, был вместе с прочими приговорен к возмещению убытков, что означало для него потерю около тридцати тысяч франков, осложнявшуюся вдобавок мотивировкой приговора.

Фредерик узнал об этом из газеты и стремглав бросился на улицу Паради.

Его приняли в комнате г-жи Арну. Было время утреннего завтрака. Большие чашки кофе с молоком загромаждали стол у камина. На ковре валялись ночные туфли, на креслах — всякая одежда. У Арну, сидевшего в кальсонах и в вязаной фуфайке, глаза были красные, волосы всклокоченные; маленький Эжен, болевший свинкой, плакал, жуя хлеб с маслом; сестра его ела спокойно, а г-жа Арну, несколько более бледная, чем обычно, прислуживала всем троиm.

— Ну вот! — с глубоким вздохом сказал Арну. — Вы уже знаете!

Фредерик сделал жест, выражавший сочувствие.

— Так-то! Я стал жертвой своей доверчивости!

Он замолчал; подавлен он был так, что отказался от завтрака. Г-жа Арну подняла глаза, пожалала плечами. Он провел руками по лбу.

— В конце концов я не виноват. Мне себя не в чем упрекнуть. Это несчастье! Как-нибудь выпутаемся! Что поделаешь!

И он отломил кусок сдобной булки, повинувшись, впрочем, уговорам своей жены.

Вечером ему захотелось отобедать с ней вдвоем в «Золотом доме», в отдельном кабинете. Г-же Арну остался непонятен его сердечный порыв, и она даже обиделась, что к ней отнеслись как к лоретке; между тем со стороны Арну это было, напротив, проявлением любви. Потом ему стало скучно, он поехал к Капитанше — развлечься.

До сих пор многое сходило ему с рук благодаря его добродушному нраву. Судебный процесс поставил его в число людей сомнительных. Теперь он оказался один со своей семьей.

Фредерик считал долгом чести бывать у них чаще, чем когда бы то ни было. Он взял абонемент на ложу бенуара в Итальянской опере и каждую неделю приглашал их с собой. Но они переживали тот момент семейного разлада, когда после всех взаимных уступок, на какие пошли супруги, у них возникает друг к другу непреодолимое отвращение, делающее неносимой дальнейшую жизнь. Г-жа Арну сдерживалась, чтобы не выйти из себя, Арну мурился, и вид этих двух несчастных людей печалил Фредерика.

Она поручила ему, — ибо он пользовался ее доверием, — справляться о положении их дел. Но ему было стыдно обедать у Арну, в то время как он добивается его жены, и он мучился

этим. И все же он продолжал, находя оправдание в том, что должен защищать ее и что может представиться случай быть ей полезным.

Через неделю после бала он сделал визит г-ну Дамбрёзу. Финансист предложил ему двадцать акций в своем каменно-угольном предприятии; Фредерик не повторил визита. Делорье посылал ему письма — он на них не отвечал. Пеллерен приглашал его зайти взглянуть на портрет; он всякий раз вежливо отговаривался. Однако он уступил настойчивым просьбам Сизи познакомить его с Розанеттой.

Она очень мило встретила Фредерика, но не бросилась на шею, как бывало прежде. Его приятель был счастлив попасть к развратной женщине, а главное, побеседовать с актером: тут оказался Дельмар.

Драма, в которой Дельмар играл простолюдина, отчитывающего Людовика XIV и предрекающего 1789 год, так привлекла к нему внимание, что для него непрестанно сочиняли все такие же роли, и функция его состояла теперь в осмеянии монархов всех стран. В роли английского пивовара он поносил Карла I, в роли студента Саламанки проклинал Филиппа II или же, играя чувствительного отца, негодовал на Помпадур; это было лучше всего! Мальчишки, чтобы увидеть актера, ждали его у подъезда театра, а в антрактах продавали его биографию, в которой описывалось, как он заботится о своей престарелой матери, читает евангелие, помогает бедным — короче говоря, он превращался в какого-то святого Венсана де Поля с примесью Брута и Мирабо. Говорили: «Наш Дельмар». На него была возложена миссия, из него делали Христа.

Все это обворожило Розанетту, и она беззаботно избавилась от старика Удри, так как не страдала жадностью.

Арну, зная ее, долгое время пользовался этим ее свойством и мало тратил на нее; потом появился старик, и все трое старались избегать откровенных объяснений. Теперь, вообразив, что она только ради него выставила старика, Арну увеличил ей содержание. Но она все чаще просила денег, и это было тем более непонятно, что она вела образ жизни менее расточительный, чем прежде; она продала даже кашемировую шаль, желая, по ее словам, расплатиться со старыми долгами; а он все давал, она околдовала его, злоупотребляя им без всякой жалости. Счета, взыскания так и сыпались в этом доме. Фредерик предчувствовал близкую развязку.

Как-то раз он зашел к г-же Арну. Ее не было дома. Г-н Арну, как ему сказали, был занят внизу в магазине.

И в самом деле, Арну, стоя среди своих расписных ваз, старался втереть очки каким-то молодоженам, буржуазной чете из провинции. Он толковал о токарной работе и гончарном деле,

о наводе взброс и об эмалировке, а посетители, не желая показать, что они ничего не понимают, одобрительно кивали головой и покупали.

Когда они ушли, Арну рассказал, что утром у него с женой произошла ссора. Желая предотвратить ее замечания по поводу расходов, он стал уверять, что Капитанша уже не его любовница.

— Я даже сказал ей, что она — ваша.

Фредерик был возмущен; но упреки могли выдать его; он пробормотал:

— Ах, как вы нехорошо поступили, как нехорошо!

— Что за беда? — сказал Арну. — Разве позор — считаться ее любовником? Ведь я же не стыжусь! А разве вам это не было бы лестно?

Не сказала ли она чего-нибудь? Не был ли это намек? Фредерик поспешил ответить:

— Нет! Ничуть! Напротив!

— Ну так что же?

— Да, правда! Это не беда.

Арну продолжал:

— Почему вы там больше не бываете?

Фредерик обещал возобновить посещения.

— Ах! Я и забыл! Вам бы следовало... в разговоре о Розанетте... сказать моей жене что-нибудь такое... не знаю что, но вы придумаете... такую вещь, чтобы она убедилась, что вы ее любовник. Прошу оказать мне эту услугу. Ну как же?

Молодой человек вместо ответа сделал двусмысленную гримасу. Эта клевета могла погубить его. Он в тот же вечер пошел к г-же Арну и поклялся, что утверждения Арну — ложь.

— В самом деле?

Он, казалось, был искренен, и, глубоко вздохнув, она с чудесной улыбкой сказала ему: «Я вам верю»; потом опустила голову и, не глядя на него, проговорила:

— Впрочем, на вас никто не имеет прав!

Значит, она ни о чем не догадывается и презирает его, если не думает, что он может любить ее настолько, чтобы хранить ей верность! Фредерик, забыв уже о своих попытках у Розанетты, почувствовал себя оскорбленным этой снисходительностью.

Затем она попросила его бывать иногда «у этой женщины», чтобы видеть, что там происходит.

Пришел Арну и пять минут спустя пожелал ехать с ним к Розанетте.

Положение становилось нестерпимым.

Его немного отвлекло письмо нотариуса, который на следующий день должен был прислать Фредерику пятнадцать тысяч франков, и, чтобы загладить свою невнимательность по отно-

шению к Делорье, он тотчас же пошел сообщить ему эту приятную новость.

Адвокат жил на улице Трех Марий на шестом этаже, в квартире с окнами во двор. В его кабинете, небольшой холодной комнате с сероватыми обоями и полом, выложенным плитам, главным украшением была золотая медаль, полученная за диссертацию на степень доктора, и она висела в черной деревянной раме рядом с зеркалом. В книжном шкафу красного дерева было за стеклом около сотни томов. Стол, обитый сафьяном, занимал середину комнаты. По углам стояли четыре старых кресла, крытых зеленым бархатом; в камине горели щепки, но тут же лежала наготове вязанка дров, которые можно было подбросить в огонь, как только позвонят. Это были его приемные часы; адвокат повязал белый галстук.

Известие о пятнадцати тысячах франков (должно быть, он на них уже не рассчитывал) обрадовало его, и он повторял, посмеиваясь:

— Это хорошо, старина, хорошо, весьма хорошо!

Он подбросил дров в огонь, снова сел и тотчас же заговорил о газете. Первым делом следовало бы избавиться от Юссонэ.

— Я устал от этого кретина! Что же касается направления, то, по-моему, всего правильнее и остроумнее не иметь никакого! Фредерика это удивило.

— Ну да, разумеется! Пора относиться к политике с научной точки зрения. Старики восемнадцатого века положили начало, а Руссо и писатели ввели туда филантропию, поэзию и прочие глупости к вящей радости католиков; впрочем, союз этот естественен, так как новейшие реформаторы (я могу доказать) все верят в Откровение. Но если вы служите мессе о спасении Польши, если бога доминиканцев, который был палачом, вы заменяете богом романтиков, который всего-навсего обойщик, если, наконец, об Абсолютном у вас понятие не более широкое, чем у ваших предков, то сквозь ваши республиканские формы пробьется монархия, и ваш красный колпак будет всегда лишь поповской скуфьей! Разница лишь та, что вместо пыток будет одиночное заключение, вместо святотатства — оскорбление религии, вместо Священного союза — европейское согласие, и при этом чудесном строе, вызывающем всеобщее восхищение, созданном из обломков времен Людовика Четырнадцатого, из вольтерьянских развалин со следами императорской краски и обрывками английской конституции, мы увидим, как муниципальные советы будут стараться досадить мэру, генеральные советы — своему префекту, палаты — королю, печать — власти, администрация — всем вместе! Но добрые души в восторге от Гражданского кодекса, состряпанного, что бы там ни говорили, в духе мешанском и тираническом, ибо законодатель, вместо

того чтобы делать свое дело, то есть вносить порядок в обычаи, вознамерился лепить общество, точно какой-нибудь Ликург! Почему закон стесняет главу семьи в вопросах завещания? Почему он препятствует принудительному отчуждению недвижимости? Почему он наказует бродяжничество как преступление, хотя оно в сущности даже не является нарушением закона? А это еще не все! Уж я-то знаю! Я хочу написать романчик под заглавием «История идеи правосудия» — презабавная будет штука! Но мне отчаянно хочется пить! А тебе?

Он высунулся в окно и крикнул привратнику, чтобы тот сходил в кабачок за грогом.

— В общем, по-моему, есть три партии. Нет! Три группы, из которых ни одна меня не интересует: те, которые имеют, те, у которых больше ничего нет, и те, которые стараются иметь. Но все единодушны в дурацком поклонении Власти! Примеры: Мабли советует запрещать философам обнародование их учений; господин Вронский, математик, называет на своем языке цензуру «критическим пресечением умозрительной способности»; отец Анфантен благословляет Габсбургов за то, что они «протянули через Альпы тяжелую длань, дабы подавить Италию»; Пьер Леру желает, чтобы вас силой заставляли слушать оратора, а Луи Блан склоняется к государственной религии — до того все эти вассалы сами одержимы страстью управлять. Меж тем они все далеки от законности, несмотря на их вековые принципы. А поскольку принцип означает происхождение, надо всегда обращаться мыслью к какой-либо революции, акту насилия, к чему-то переходному. Так, наш принцип — это народный суверенитет, выраженный в парламентских формах, хотя парламент этого и не признает. Но почему народный суверенитет должен быть священнее божественного права? И то и другое — фикция! Довольно метафизики, довольно призраков! Чтобы мести улицы, не требуется догм! Мне скажут, что я разрушаю общество! Ну и что же? В чем тут беда? Нечего сказать, хорошо оно, это общество!

Фредерик мог бы многое ему возразить, но, видя, что Делорье теперь далек от теорий Сенекаля, он был полон снисхождения к нему. Он удовольствовался замечанием, что подобная система вызовет к ним всеобщую ненависть.

— Напротив, поскольку мы каждую партию уверим в своей ненависти к ее соседу, все будут рассчитывать на нас. Ты тоже примешь участие и займешься высокой критикой!

Нужно было восстать против общепринятых взглядов, против Академии, Нормальной школы, Консерватории, «Французской комедии», против всего, что напоминает какое-то установление. Таким путем они придадут своему «обозрению» характер целостной системы. Потом, когда оно займет совершенно проч-

ное положение, издание вдруг станет ежедневным; тут они при-
муются за личности.

— И нас будут уважать, можешь не сомневаться!

Исполнялась давняя мечта Делорье — статья во главе редак-
ции, то есть иметь невыразимое счастье руководить другими,
вовсю переделывать статьи, заказывать их, отвергать. Его глаза
сверкали из-под очков, он приходил в возбуждение и машиналь-
но выпивал стаканчик за стаканчиком.

— Тебе надо будет раз в неделю давать обеды. Это необхо-
димо, пусть даже половина твоих доходов уйдет на это! Все
захотят попасть к тебе, для других это станет средоточием, для
тебя — рычагом, и вот — ты увидишь, — направляя обществен-
ное мнение с двух концов, занимаясь и политикой и литерату-
рой, мы через какие-нибудь полгода зайдем в Париже видное
место.

Фредерик, слушая его, чувствовал, как молодеет, подобно
человеку, который после долгого пребывания в комнате выхо-
дит на свежий воздух. Воодушевление товарища переда-
лось и ему.

— Да, я был лентяй, дурак, ты прав!

— В час добрый! — воскликнул Делорье. — Я узнаю моего
Фредерика.

И, подставив ему кулак под подбородок, сказал:

— Ах, и мучил же ты меня! Ну ничего! Я все-таки тебя
люблю.

Они стояли и смотрели друг на друга, растроганные, гото-
вые обняться.

На пороге передней показалась женская шляпка.

— Как это тебя занесло? — сказал Делорье.

То была м-ль Клеманс, его любовница.

Она ответила, что, случайно идя мимо его дома, не могла
устоять против желания увидеться с ним, а чтобы вместе заку-
сить, она принесла ему сладких пирожков; и она положила их
на стол.

— Осторожнее, тут мои бумаги! — раздраженно проговорил
адвокат. — Кроме того я уже в третий раз запрещаю тебе при-
ходить ко мне в приемные часы.

Она хотела его поцеловать.

— Ладно! Убирайся! Скатертью дорога!

Он отталкивал ее; она громко всхлипнула.

— Ах, ты мне, наконец, надоела!

— Да ведь я тебя люблю!

— Я требую не любви, а внимания ко мне!

Эти слова, такие жестокие, остановили слезы Клеманс. Она
стала у окна и, прижавшись лбом к стеклу, застонала.

Ее поза и ее молчание сердили Делорье.

— Когда кончите, прикажите подать себе карету! Слышите?

Она круто повернулась к нему.

— Ты меня гонишь?

— Именно!

Она, должно быть, в знак последней мольбы, устремила на него большие голубые глаза, потом повязала крест-накрест свой шотландский платок, подождала еще минуту и удалилась.

— Ты бы вернул ее,— сказал Фредерик.

— Еще чего!

И Делорье, которому надо было уходить, прошел в кухню, служившую ему и туалетной комнатой. На плите, рядом с парой сапог, сохранялись остатки скудного завтрака, а на полу в углу валялся свернутый вместе с одеялом матрац.

— Это доказывает тебе,— промолвил он,— что я редко принимаю у себя маркиз! Право, без них легко обойтись, да и без всяких других тоже. Те, которые ничего не стоят, отнимают время, а это те же деньги в другой форме; я ведь не богат! И потом они все такие глупые! Такие глупые! Неужели ты можешь разговаривать с женщиной?

Расстались они у Нового моста.

— Итак, решено? Ты принесешь все это завтра, как только получишь?

— Решено! — сказал Фредерик.

На следующее утро, проснувшись, он получил по почте банковый чек на пятнадцать тысяч франков.

Этот клочок бумаги представился ему в виде пятнадцати больших мешков с деньгами, и он подумал, что, располагая такой большой суммой, мог бы, прежде всего, оставить при себе в течение трех лет своей выезд, вместо того чтобы его продавать, как это поневоле предстояло ему сделать в ближайшее время, или же приобрести два прекрасных набора узорчатого оружия, которые он видел на набережной Вольтера, потом еще множество всякой всячины — картины, книги и сколько букетов, сколько подарков для г-жи Арну! Короче говоря, все было бы лучше, чем рисковать, чем терять столько денег на газету! Делорье казался ему самонадеянным; бесчувственность, проявленная им вчера, охладила Фредерика, который уже предавался сожалениям, как вдруг, совсем для него неожиданно, вошел Арну и тяжело, словно чем-то подавленный, опустился на край его постели.

— Что случилось?

— Я погиб!

Он в тот же день должен был внести в контору Бомпне, нотариуса на улице св. Анны, восемнадцать тысяч франков, занятых у некоего Еаннерау.

— Непостижимое несчастье! Я же дал ему обеспечение, которое как-никак должно было его успокоить! Но он угрожает протестом, если не получит деньги нынче днем, сейчас же!

— А что тогда?

— Тогда все очень просто! Он наложит арест на мою недвижимость. Первое же объявление меня разорит, вот и все! Ах, если бы мне найти человека, который одолжил бы мне эту проклятую сумму,— он стал бы на место Ваннеруа, и я был бы спасен! У вас не окажется случайно этой суммы?

Чек лежал на ночном столике, рядом с книгой. Фредерик взял книгу и, положив ее на чек, ответил:

— Ах, боже мой, нет, дорогой друг!

Но ему трудно было отказать Арну.

— Неужели вы никого не можете найти, кто бы согласился?

— Никого! И подумать только, что через неделю я получу деньги! К концу месяца мне должны, пожалуй... пятьдесят тысяч франков!

— Не могли бы вы попросить людей, которые вам должны, заплатить раньше срока?

— Какое там!

— Но у вас же есть ценности, векселя?

— Ничего!

— Что же делать? — сказал Фредерик.

— Вот этот вопрос я и задаю себе,— ответил Арну.

Он замолчал и стал шагать по комнате взад и вперед.

— Ведь это не для меня, боже мой, а для моих детей, для бедной моей жены!

Потом, отчеканивая каждое слово, добавил:

— В конце концов... я буду мужествен... уложусь... и поеду искать счастья... не знаю куда!

— Невозможно! — воскликнул Фредерик.

Арну спокойным тоном отвечал:

— Как же мне теперь оставаться в Париже?

Наступило длительное молчание.

Фредерик заговорил:

— Когда вы могли бы отдать эти деньги?

Это не значит, что они у него есть — напротив! Но ничто не мешает ему повидаться с некоторыми друзьями, предпринять кой-какие шаги. И он позвонил слуге, собираясь одеваться. Арну его благодарил.

— Вам нужно восемнадцать тысяч, не правда ли?

— О! Мне было бы достаточно и шестнадцати! Две тысячи с половиной, три я уж получу за столовое серебро, если только Ваннеруа согласится подождать до завтра, и повторяю вам, вы можете заявить, поклясться кредитору, что через неделю,

даже, может быть, днѣй через пять-шесть деньги будут возвращены. Кроме того, под них дается обеспечение. Итак, никакого риска, понимаете?

Фредерик уверил его, что понимает и сейчас отправится.

Он остался дома, проклиная Делорье, так как ему хотелось сдержать слово и в то же время помочь Арну.

«Что если я обращаюсь к господину Дамбрёзу? Но под каким предлогом просить денег? Ведь это мне, наоборот, следует платить ему за каменноугольные акции! Ах, да ну его с этими акциями! Не обязался же я брать их!»

И Фредерик был в восхищении от своей независимости, словно он отказал г-ну Дамбрёзу в какой-то услуге.

«Ну что же,— подумал он затем,— ведь я на этом теряю, а мог бы на пятнадцать тысяч выиграть сто! На бирже это иногда бывает... Так вот, если я не оказываю внимания одному, то не в моей ли воле... К тому же Делорье может и подождать! Нет, нет, это нехорошо, пойду к нему!»

Он посмотрел на часы.

«Ах! Дело не к спеху! Банк закрывается лишь в пять часов».

А в половине пятого, получив деньги, он решил:

«Теперь уже не стоит! Я не застаю его; пойду вечером!» — и дал себе таким образом возможность отказаться от своего намерения, ибо в сознании всегда сохраняется некоторый след софизмов, проникавших в него, и от них остается привкус, словно от скверного вина.

Он прогулялся по бульварам и пообедал один в ресторане. Потом в театре «Водевиль» прослушал, чтобы рассеяться, акт какой-то пьесы. Но банковые билеты как-то беспокоили его, точно он их украл. Он не был бы огорчен, если бы потерял их.

Вернувшись домой, он нашел письмо, в котором содержалось следующее:

«Что нового?

Моя жена присоединяется к моей просьбе, дорогой друг, в надежде... и т. д.

Ваш...»

И росчерк.

«Его жена! Она меня просит!»

В тот же миг появился Арну, чтобы узнать, не достал ли он требуемую сумму.

— Возьмите, вот она! — сказал Фредерик.

А через сутки сообщил Делорье:

— Я ничего не получил.

Адвокат приходил к нему три дня сряду. Он настаивал,

чтобы Фредерик написал нотариусу. Он даже предложил съездить в Гавр.

— Нет! Это лишнее! Я сам поеду!

Когда прошла неделя, Фредерик робко попросил у Арну свои пятнадцать тысяч.

Арну отложил платеж на завтра, потом на послезавтра. Фредерик решился выходить из дому лишь поздней ночью, боясь, что Делорье застигнет его врасплох.

Однажды вечером кто-то задел его на углу у церкви Магдалины. То был Делорье.

— Я иду за деньгами,— сказал Фредерик.

И Делорье проводил его до подъезда какого-то дома в предместье Пуассоньер.

— Подожди меня!

Он стал ждать. Наконец через сорок три минуты Фредерик вышел вместе с Арну и знаком дал понять Делорье, чтобы он еще немного потерпел. Торговец фаянсом и его спутник прошли под руку по улице Отвиль, затем свернули на улицу Шаболь.

Ночь была темная, порывами налетал теплый ветер. Арну шел медленно, рассказывая о Торговых рядах — крытых галереях, которые поведут от бульвара Сен-Дени к Шатле, замечательном предприятии, в которое ему очень хотелось бы вступить; а время от времени он останавливался у окна какого-нибудь магазина взглянуть на гризеток, потом продолжал свои рассуждения.

Фредерик слышал шаги Делорье — точно упреки, точно удары по его совести. Но потребовать свои деньги ему мешал ложный стыд, смешанный с опасением, что это бесполезно. Делорье подходил ближе. Он решился.

Арну чрезвычайно развязным тоном ответил, что не получил еще долгов и сейчас не может вернуть пятнадцати тысяч франков.

— Они же вам не нужны, я полагаю?

В этот момент Делорье подошел к Фредерику и отвел его в сторону:

— Скажи прямо, есть они у тебя или нет?

— Ну, так нет их! — сказал Фредерик. — Я лишился их!

— А! Каким образом?

— Проиграл!

Делорье ни слова не ответил, поклонился очень низко и отошел. Арну воспользовался случаем, чтобы зайти в табачную лавку и закурить сигару. Воротясь, он спросил, кто этот молодой человек.

— Так, один приятель!

Потом, три минуты спустя, у подъезда Розанетты, Арну сказал:

— Поднимитесь, она будет рада вас видеть. Какой вы стали дикарь!

Фонарь, у которого они стояли, освещал его лицо; в этой довольной физиономии с сигарой в зубах было что-то невыносимое.

— Ах, да, кстати: мой нотариус был у вашего сегодня утром для составления закладной. Это жена мне напомнила.

— Деловая женщина! — машинально заметил Фредерик.

— Еще бы!

И Арну опять принялся ее хвалить. Ей не было равных по уму, сердцу, бережливости; он шопотом прибавил, вращая глазами:

— А какое тело!

— Прощайте! — сказал Фредерик.

Арну вздрогнул:

— Позвольте! В чем дело?

И, нерешительно протянув ему руку, он взглянул на него; его смутило гневное выражение лица Фредерика.

Тот сухо повторил:

— Прощайте!

Точно камень, катящийся с высоты, спустился он по улице Брэдэ, в отчаянии и тоске, негодуя на Арну, давая себе клятву не видеться с ним больше, да и с ней также. Вместо того чтобы с ней расстаться, как он ожидал, муж, напротив, снова стал обожать ее — всю, от корней волос до глубины души. Вульгарность этого человека выводила Фредерика из себя. Так, значит, все принадлежит ему, все! Он снова столкнулся с ним на пороге дома лоретки, и к ярости собственного бесилия у него примешивалось болезненное чувство, которое осталось от мысли о разрыве. К тому же честность Арну, предлагавшего обеспечение, унижала его; Фредерик готов был его задушить; а над горем его, точно туман, реяло сознание своей подлости по отношению к другу. Слезы душили его.

Делорье шел по улице Мучеников, ругаясь вслух, — так он был возмущен, ибо его проект, подобно низверженному обелиску, казался ему теперь чем-то необычайно высоким. Он считал, что его обокрали, что он потерпел огромный убыток. Приязнь его к Фредерику умерла, и он испытывал от этого радость; это вознаграждало его! Им овладела ненависть к богачам. Он склонился к взглядам Сенекаля и дал себе слово следовать им.

Тем временем Арну, удобно расположившись в глубоком кресле у камина, попивал чай, а Капитанша сидела у него на коленях.

Фредерик к ним больше не пошел, а чтобы отвлечься от пагубной своей страсти, он ухватился за первое, что пришло ему в голову, и решил написать «Историю эпохи Возрождения». Он в беспорядке нагромоздил у себя на столе гуманистов, философов, поэтов; он ходил в кабинет эстампов смотреть граюры Марка-Антония; он старался уразуметь Макиавелли. Тишина работы постепенно успокоила его. Погружаясь в изучение других личностей, он забывал о своей — единственное, быть может, средство не страдать от нее.

Однажды, когда он преспокойно делал выписки, дверь отворилась, и слуга объявил о приходе г-жи Арну.

Это была она! Одна ли? Да нет! За руку она держала маленького Эжена, нянька в белом переднике шла следом. Г-жа Арну села и, откашлявшись, сказала:

— Давно вы не были у нас!

Фредерик не знал, что сказать в оправдание, и она прибавила:

— Это ваша деликатность!

Он спросил:

— Какая деликатность?

— А то, что вы сделали для Арну! — сказала она.

Фредерик не удержался от движения, означавшего: «Какое мне дело до него! Это я для вас!»

Она отослала ребенка с няней поиграть в гостиной. Они обменялись двумя-тремя вопросами о здоровье, потом разговор иссяк.

На ней было коричневое шелковое платье, цветом напоминавшее испанское вино, и черное бархатное пальто, отороченное куньим мехом; так и хотелось потрогать этот мех рукой, а длинных, гладко зачесанных волос коснуться губами. Но что-то волновало и беспокоило ее, и, обернувшись в сторону двери, она сказала:

— Здесь немного жарко!

Фредерик по взгляду угадал невысказанную мысль.

— Простите, двери лишь прикрыты!

— Ах, да, правда!

И она улыбнулась, как будто хотела сказать: «Я ничего не боюсь».

Он тотчас спросил, что привело ее сюда.

— Мой муж,— проговорила она с усилием над собой,— просил меня зайти к вам, не решаясь сделать это сам.

— А почему же?

— Вы знакомы с господином Дамбрёзом, не правда ли?

— Да, немного!

— Ах, немного!

Она умолкла.

— Так что же? Продолжайте.

И она рассказала, что третьего дня Арну не мог уплатить банку четырех тысяч франков по вексялям, которые заставила ее в свое время подписать. Она раскаивается, что подвергла риску состояние детей. Но все лучше, чем бесчестье, и если г-н Дамбрёз приостановит взыскание, ему, конечно, скоро все уплатят, так как она собирается продать свой домик в Шартре.

— Бедняжка! — пробормотал Фредерик. — Я к нему съезжу! Можете рассчитывать на меня.

— Благодарю!

И она поднялась, собираясь уже идти.

— О! Вам еще некуда спешить!

Сейчас она стоя рассматривала монгольские стрелы, свешивавшиеся с потолка, книжные шкафы, переплеты, письменные принадлежности; она приподняла бронзовую чашечку, в которой находились перья; ее каблучки с места на место двигались по ковру. Она несколько раз бывала у Фредерика, но всегда вместе с Арну. Теперь они были одни — одни в его собственном доме, — событие необычайное, почти что любовное приключение.

Она захотела посмотреть его садик; он предложил ей руку и стал показывать свои владения — участок в тридцать футов, окруженный со всех сторон домами, украшенный деревьями по углам и клумбою посредине.

Были первые дни апреля. Листья сирени уже зеленели, в воздухе веял чистый ветерок, и щебетали птицы, пенье которых чередовалось с ударами кузнечного молота, доносившимися из каретной мастерской.

Фредерик принес каминную лопатку, и, пока они гуляли по саду, ребенок среди аллеи собирал в кучки песок.

Г-жа Арну думала, что он не будет отличаться пылкостью воображения, но нрава он ласкового. Сестре его, напротив, свойственна какая-то прирожденная сухость, порой обидная для матери.

— Это пройдет, — сказал Фредерик. — Никогда не надо отчаиваться.

Она повторила:

— Никогда не надо отчаиваться!

Эти слова, невольно ею повторенные, показались ему как бы попыткой ободрить его; он сорвал розу, единственную в саду.

— Вы помните... букет роз однажды вечером в экипаже?

Она чуть покраснела и тоном насмешливого сожаления ответила:

— Ах! Я тогда была очень молода!

— А с этой,— тихим голосом продолжал Фредерик,— будет то же самое?

Она ответила, вертя стебелек между пальцами, словно нить веретена:

— Нет! Ее я сохранию!

Она знаком подозвала няню, которая взяла ребенка на руки; выходя на улицу, г-жа Арну на самом пороге дома понюхала цветок, склонила голову на плечо и бросила взгляд нежный, точно поцелуй.

Вернувшись к себе в кабинет, он глядел на кресло, где она сидела, и на вещи, до которых она дотрагивалась. Что-то оставшееся от ее присутствия веяло вокруг него. Ласка, принесенная ею, еще жила.

— Так, значит, она приходила сюда! — говорил он самому себе.

И волна бесконечной нежности нахлынула на него.

На другой день он в одиннадцать часов явился к г-ну Дамбрёзу. Приняли его в столовой. Банкир завтракал, сидя против жены. Рядом с нею была племянница, а с другой стороны — гувернантка-англичанка с изрытым оспой лицом.

Г-н Дамбрёз пригласил своего молодого друга позавтракать вместе с ними и на его отказ спросил:

— Чем могу вам быть полезен? Я вас слушаю.

Фредерик с притворным равнодушием сознался, что он пришел просить за некоего Арну.

— А-а, бывший торговец картинами,— с беззвучным смехом сказал банкир, обнажая десны.— Прежде за него ручался Удри; теперь у них ссора.

И он стал пробегать глазами письма и газеты, лежавшие рядом с его прибором.

Прислуживали два лакея, бесшумно ступая по паркету; а высота этой комнаты с тремя вышитыми портьерами и двумя бассейнами белого мрамора, блеск конфорок, самая расстановка закусок, даже складки накрахмаленных салфеток,— все это великолепное благополучие представляло для Фредерика полный контраст с другим завтраком — у Арну. Он не осмеливался прерывать г-на Дамбрёза.

Хозяйка заметила его смущение.

— Вы встречаетесь с нашим другом Мартиноном?

— Он будет сегодня вечером,— с живостью сказала молодая девица.

— А-а! Тебе уже известно? — спросила тетка, остановив на ней холодный взгляд.

Один из лакеев, наклонившись к ее уху, что-то сказал.

— Дитя мое, твоя портниха!.. Мисс Джон!

И послушная гувернантка скрылась вместе со своей воспитанницей.

Г-н Дамбрёз, потревоженный шумом отодвигаемых стульев, спросил, что такое.

— Пришла г-жа Режембар.

— Как? Режембар! Эта фамилия мне знакома. Я встречал такую подпись.

Фредерик, наконец, приступил к делу: Арну заслуживает участия; он даже, с единственной целью исполнить обязательства, собирается продать дом своей жены.

— Она, говорят, очень хорошенькая,— сказала г-жа Дамбрёз.

Банкир прибавил добродушно:

— Ёы, может быть, их близкий... друг?

Фредерик, не ответив прямо, сказал, что он будет очень обязан, если г-н Дамбрёз примет во внимание...

— Ну что же, если это вам доставит удовольствие! Пусть так! Можно подождать! Время еще терпит. Не спустится ли нам ко мне в контору, хотите?

Завтракать кончили; г-жа Дамбрёз кивнула головой, улыбаясь странной улыбкой, полной вежливости и в то же время иронии. Фредерик не успел и задуматься над этим: г-н Дамбрёз, как только они остались одни, сказал:

— Вы не заезжали за вашими акциями?

И не давая ему извиниться:

— Ничего! Ничего! Вам следует несколько ближе познакомиться с делом.

Он предложил ему папиросу и начал:

— Всеобщая компания по разработке французских каменноугольных копей основана; ждут лишь утверждения устава. Самый факт слияния компаний уже сокращает расходы на контроль и рабочую силу, увеличивает прибыли. Кроме того, компания решила осуществить нововведение — заинтересовать в предприятии рабочих. Она построит им дома, здоровые жилища; наконец она сделается поставщиком своих служащих, будет продавать им все по себестоимости.

И они останутся в выигрыше, сударь; вот где истинный прогресс! Это победоносный ответ на иные республиканские выкрики! У нас в совете состоят,— он извлек проспект,— пэр Франции, один ученый, член института, один инженер-генерал в отставке, всё известные имена! Подобные элементы успокаивают боязливых акционеров и привлекают умных!

Компания будет получать государственные заказы, затем снабжать железные дороги, пароходы, металлургические предприятия, газовые заводы, обывательские кухни.

Итак, мы отапливаем, мы освещаем, мы приближаемся к

самому скромному домашнему очагу. Но как, спросите вы, удастся нам обеспечить сбыт? С помощью покровительственных законов, дорогой мой, а их мы добьемся; это наше дело. Я, впрочем, откровенный приверженец запретительной системы! Страна прежде всего!

Он выбран директором, но у него нехватает времени заниматься разными мелочами, между прочим — составлением докладов.

— Я немного не в ладу с классиками, позабыл греческий! Мне нужен кто-нибудь... кто бы мог излагать мои мысли.

И вдруг:

— Не хотите ли стать таким человеком и получить звание генерального секретаря?

Фредерик не знал, что ответить.

— Ну что же, кто может вам помешать?

Его обязанности ограничатся составлением ежегодного отчета для акционеров. Он будет находиться в каждодневных сношениях с самыми влиятельными людьми Парижа. Как представитель компании он, разумеется, заслужит любовь рабочих, это впоследствии позволит ему попасть в Генеральный совет, в депутаты.

В ушах у Фредерика звенело. Откуда такая благосклонность? Он рассыпался в благодарностях.

Но, как сказал банкир, не следовало ставить себя в зависимость от кого бы то ни было. Лучшее средство — приобрести акции, ибо они «отличное помещение денег, поскольку ваш капитал обеспечивает вам положение, а ваше положение — капитал».

— А какая приблизительно должна быть сумма? — сказал Фредерик.

— Боже мой, да какая хотите, полагаю тысяч сорок — шестьдесят.

Эта сумма была для г-на Дамбрёза так ничтожна, а его авторитет был так велик, что Фредерик немедленно решил продать одну из своих ферм. Он принял предложение. Г-н Дамбрёз должен был на днях назначить свидание, чтобы окончательно договориться.

— Итак, я могу сообщить Жаку Арну?..

— Все, что вам угодно! Ах, бедняга! Все, что вам угодно!

Фредерик написал супругам Арну, что они могут успокоиться; отнести это письмо он послал слугу, которому отвести:

— Очень хорошо!

Между тем своим старанием он заслуживал большего. Он ждал визита или, по меньшей мере, письма. Визита ему не сделали. Письма не написали.

Что же это — забывчивость с их стороны или умысел? Если г-жа Арну приходила к нему раз, то что же мешает ей прийти снова? Значит, тот смутный намек, то признание, которое она как будто сделала ему, была лишь корыстная уловка? «Неужели они посмеялись надо мной? Неужели она сообщница?» Какая-то стыдливость, вопреки его желанию, мешала ему пойти к ним.

Однажды утром (три недели спустя после их свидания) г-н Дамбрёз написал ему, что ждет его к себе через час.

По дороге ему опять не дала покоя мысль о супругах Арну, и, не в силах разгадать, чем вызвано их поведение, он был охвачен тоской, зловещим предчувствием. Чтобы избавиться от него, он кликнул кабриолет и велел ехать на улицу Парад.

Арну был в отъезде.

— А госпожа Арну?

— В деревне, на фабрике.

— Когда возвращается господин Арну?

— Завтра непременно!

Он застанет ее одну; случай ему благоприятствует. Мысленно он слышал какой-то голос, властно кричавший ему: «Поезжай!» Но как же господин Дамбрёз? «Ну, да все равно! Скажу, что был болен!» Он поспешил на вокзал. Потом, уже сидя в вагоне, подумал: «Я, может быть, поступаю неправильно? А! Все равно!»

Справа и слева раскинулись зеленые равнины; поезд мчался; станционные домики скользили мимо, словно декорации, а дым от паровоза вился все в одну и ту же сторону тяжелыми хлопьями, которые сперва кружились на фоне травы, потом рассеивались.

Фредерик, сидя один на диванчике, от скуки смотрел на все это с той ленью, которую вызывает в нас чрезмерное напряжение. Но показались краны, склады. Это был Крейль.

В этом городе, построенном на склоне двух низких холмов (из которых один голый, а другой у вершины покрыт лесом), с его церковной башней, неровными домами и каменным мостом, как казалось Фредерику, было что-то веселое, скромное и доброе. Большая лодка спускалась по течению реки, а вода плескалась, гонимая ветром; у подножия распятия копошились в соломе куры; прошла женщина, неся мокрое белье на голове.

Миновав мост, он очутился на острове, где справа были видны развалины монастыря. Вертелась мельница, во всю ширину загораживая второй рукав Уазы, над которым нависало здание фабрики. Внушительность постройки чрезвычайно удивила Фредерика. Он почувствовал больше уважения к Арну. Пройдя еще три шага, он повернул в переулоч, заканчивавшийся железной решеткой.

Он вошел внутрь. Привратница окликнула его, чтобы вернуться назад.

— Есть у вас пропуск?

— Зачем?

— Чтобы пройти на фабрику.

Фредерик грубо ответил, что он идет к г-ну Арну.

— Это кто ж такой — господин Арну?

— Да начальник, хозяин, владелец, словом!

— Нет, сударь, это фабрика господ Лебёфа и Милье!

Старуха, должно быть, пошутила. Подошли рабочие. Фредерик обратился к двум или трем из них; они ответили то же самое.

Фредерик вышел со двора, шатаясь, точно пьяный, и вид у него был такой растерянный, что на мосту Боен обыватель, куривший трубку, спросил его, не ищет ли он чего-нибудь. Этот человек знал фабрику Арну. Находилась она в Монтатэре.

Фредерик стал искать экипаж; найти его можно было только у вокзала. Он вернулся туда. Перед багажной кассой одиноко стояла разбитая коляска, запряженная клячей в порванной сбруе, повисшей на оглоблях.

Мальчишка вызвался найти «дядюшку Пилона». Спустя десять минут он воротился: дядюшка Пилон, оказывается, завтракает. Фредерик, потеряв терпение, двинулся пешком. Но шлагбаум на переезде был опущен. Пришлось подождать, пока пройдут два поезда. Наконец он устремился в поле.

Своей однообразной зеленью оно напоминало сукно огромного бильярда. Вдоль дороги, по обе ее стороны, лежал железный шлак, точно кучи щебня. В некотором отдалении, одна подле другой, дымили фабричные трубы. Прямо впереди возвышался на круглом холме маленький замок с башенками и четырехугольной колокольней. Ниже, среди деревьев, неправильными линиями тянулись длинные стены, а совсем внизу располагалась деревня.

Дома в ней одноэтажные, каждый с тремя каменными ступеньками, сделанными из одного куска, без цемента. Порой из какой-нибудь лавки доносилось звяканье колокольчика. В черной грязи оставались глубокие следы чьих-то грузных шагов, сеял мелкий дождь, зачерчивая тусклое небо бесконечными штрихами.

Фредерик шел по мостовой; наконец на повороте влево он увидал большую деревянную арку с надписью золотыми буквами: «Фаянс».

Жак Арну не без умысла обосновался по соседству с Крейлем; построив свою фабрику как можно ближе к другой

(давно уже имевшей хорошую репутацию), он рассчитывал, что публика их спутает в его пользу.

Главный корпус здания упирался в берег речки, которая пересекала луг. Хозяинский дом, окруженный садом, выделялся своим крыльцом, украшенным четырьмя вазами, в которых топорщились кактусы. Кучи белой глины сушились под навесами; другие лежали прямо под открытым небом, а по середине двора стоял Сенекаль в неизменном синем пальто на красной подкладке.

Бывший репетитор протянул Фредерику холодную руку.

— Вам хозяина? Его нет.

Фредерик смутился и преглупо ответил:

— Я знаю.

Но тотчас прибавил:

— Я по делу, касающемуся госпожи Арну. Она может меня принять?

— Ах, я не видел ее уже три дня,— ответил Сенекаль.

И он излил целый поток жалоб. Соглашаясь на условия фабриканта, он предполагал жить в Париже, а не торчать в этой глуши, вдали от друзей, без газет. Ну что же! Он и с этим примирился! Но Арну, видимо, не обращает никакого внимания на его достоинства. К тому же он недалеко, ретроград, невежда, каких мало. Вместо того, чтобы стремиться к художественным усовершенствованиям, лучше было бы ввести угольное и газовое отопление. Буржуа зарывается; Сенекаль сделал упор на это слово. Короче, его занятия ему не нравились, и он почти потребовал от Фредерика, чтобы тот замолвил за него словечко и добился увеличения его жалованья.

— Будьте покойны! — сказал Фредерик.

На лестнице он не встретил никого. Поднявшись на второй этаж, Фредерик заглянул в пустую комнату; это была гостиная. Он громко позвал. Ему не ответили; наверное, кухарки не было дома, служанки также; наконец, добравшись до третьего этажа, он толкнул дверь. Г-жа Арну была одна; она стояла перед зеркальным шкафом. Пояс полураспахнутого капота свисал у нее вдоль бедер. Ее волосы черным потоком спускались на правое плечо, а обе руки были подняты: одной она придерживала шиньон, другой втыкала в него шпильку. Она вскрикнула и исчезла.

Вернулась она тщательно одетая. Ее стан, ее глаза, шест ее платья — все восхитило его. Фредерик сдерживался, чтобы не расцеловать ее.

— Извините,— проговорила она,— но я не могла...

У него хватило дерзости ее перебить.

— А между тем... вы были так хороши... вот только что...

Комплимент, должно быть, показался ей несколько грубым: щеки ее покрылись румянцем. Он испугался, что она обиделась. Она же спросила:

— Какой счастливый случай занес вас сюда?

Он не знал, что ответить; усмехнувшись и тем выиграв время, чтобы подумать, он ответил:

— Если я скажу, поверите вы мне?

— Почему же нет?

Фредерик рассказал, что прошлой ночью видел страшный сон.

— Мне снилось, что вы опасно больны, лежите при смерти.

— О! Ни я, ни мой муж никогда не бодем!

— Мне снились только вы, — сказал он.

Она спокойно взглянула на него:

— Сны не всегда сбываются.

Фредерик что-то забормотал, подыскивая слова, и начал, наконец, длинную фразу о сродстве душ. Существует такая сила, которая и на расстоянии может связать двух людей; она позволяет каждому из них узнавать то, что чувствует другой, и помогает им соединиться.

Она слушала, наклонив голову, улыбаясь своей прекрасной улыбкой. Он украдкой смотрел на нее, исполненный радости, и свободнее изливал свое чувство, прикрывая его общими фразами. Она предложила ему осмотреть фабрику; она настаивала, и он согласился.

Сперва, чтобы занять его внимание чем-нибудь более интересным, она показала ему нечто вроде музея, который украшал лестницу. Образцы изделий, развешанные по стенам или расставленные на полочках, свидетельствовали об усилиях Арну и о смене его пристрастий. После попыток найти китайскую красную краску он брался за производство майолики, вещей в этрусском и восточном стиле, за подделку итальянского фаянса, наконец старался произвести некоторые усовершенствования, осуществленные лишь позднее. Вот почему в ряду изделий можно было увидеть и большие вазы с изображением китайских мандаринов, и красновато-коричневые миски с золотистым отливом, и горшки, расцвеченные арабскими надписями, и кувшины во вкусе Возрождения, и широкие тарелки с двумя человеческими фигурами, нарисованными как бы сангиной, нежными и воздушными. Теперь он изготовлял буквы для вывесок, ярлыки для вин, но, обладая умом недостаточно возвышенным, чтобы подняться до подлинного искусства, и недостаточно пошлым, чтобы стремиться только к выгоде, он никого не удовлетворял, а сам разорялся. Пока они рассматривали эти вещи, мимо прошла м-ль Марта.

— Разве ты его не узнаешь? — сказала ей мать.

— Узнаю! — ответила она и поклонилась Фредерику, между тем как взгляд ее, девический взгляд, ясный и подозрительный, словно шептал: «Тебе-то что надо здесь?» И она пошла наверх, слегка наклонив голову набок.

Г-жа Арну повела Фредерика во двор, потом серьезным тоном стала объяснять, как растирают глину, как ее очищают, как просеивают.

— Самое главное — приготовление массы.

И она ввела его в помещение, уставленное чанами, где вращалась вертикальная ось с горизонтальными рукоятками. Фредерик был недоволен собой, что не отказался наотрез от ее приглашения.

— Это мойки, — сказала она.

Название показалось ему смешным и как бы неуместным в ее устах.

Широкие ремни тянулись с одного конца потолка к другому, наматываясь на барабаны, и все двигалось непрерывно, математически строго, раздражающе.

Они вышли оттуда и прошли мимо развалившейся лачуги, служившей прежде хранилищем для садовых инструментов.

— Она уже ни на что не пригодится, — сказала г-жа Арну.

Он дрожащим голосом ответил:

— Счастье может найти в ней приют.

Шум парового насоса покрыл его слова, и они вошли в формовочную.

Люди, сидевшие за узким столом, накладывали глиняные комья на диски, вращавшиеся перед каждым из них; левой рукой они выскабливали внутри, правой разглаживали поверхность, и на глазах, точно распускающиеся цветы, вырастали целые вазы.

Г-жа Арну велела показать формы для изделий более трудных.

В другом помещении изготовлялись ободки, горлышки, выпуклые части. В верхнем этаже выравнивали спайки и гипсом заполняли дырочки, образовавшиеся от предыдущих операций.

На решетках, в углах, посреди коридоров — везде рядами стояла посуда.

Фредерик начинал скучать.

— Вас это, может быть, утомляет? — сказала она.

Опасаясь, как бы не пришлось этим ограничить свое посещение, Фредерик сделал вид, что, напротив, он в большом восторге. Он даже выразил сожаление, что сам не занялся этим производством.

Она как будто удивилась.

— Конечно! Я мог бы тогда жить подле вас!

Он старался уловить ее взгляд, и г-жа Арну, желая этого избежать, взяла со столика шарики массы, оставшиеся после неудачных отделок, сплющила их в лепешку и отпечатала на ней свою руку.

— Можно мне взять это с собою? — спросил Фредерик.

— Боже мой, какой вы ребенок!

Он хотел ответить, но вошел Сенекаль.

Уже с порога господин вице-директор заметил нарушение правил. Мастерские следовало подметать каждую неделю; была суббота, и так как рабочие этого не сделали, Сенекаль объявил, что им придется остаться лишний час. «Сами виноваты!»

Они безмолвно склонились над работой, но о гневе их можно было догадаться по тому, как хрипло они дышали. С ними, впрочем, нелегко было ладить: всех их прогнали с большой фабрики. Республиканец обращался с ними жестоко. Будучи теоретиком, он считался только с массами и проявлял беспощадность к отдельным личностям.

Фредерик, стесненный его присутствием, шопотом спросил у г-жи Арну, нельзя ли посмотреть на печи. Они спустились в нижний этаж, и она принялась объяснять ему назначение ящиков, как вдруг между ними появился Сенекаль, не отставший от них.

Он сам стал пояснять, распространяясь о различных видах горючего, о плавлении, о пироскопах, о печных устоях, соединениях, глазури и металлах, сыпал терминами химии: «хлористое соединение», «сернистое соединение», «бура», «углекислая соль»! Фредерик ничего в этом не понимал и каждый миг оборачивался к г-же Арну.

— Вы не слушаете, — сказала она. — А господин Сенекаль объясняет очень понятно. Он все эти вещи знает гораздо лучше меня.

Математик, польщенный ее похвалою, предложил показать, как накладывают краски. Фредерик бросил на г-жу Арну тревожно-вопросительный взгляд. Она осталась безучастна, должно быть не желая оказаться с ним наедине и все же не думая с ним расстаться. Он предложил ей руку.

— Нет, благодарю вас! Лестница слишком узкая!

А когда они пришли наверх, Сенекаль отворил дверь в помещение, полное женщин.

В руках у них были кисточки, пузырьки, раковинки, стеклянные дощечки. По карнизу вдоль стены тянулись доски с гравированными рисунками; по комнате летали обрывки тонкой бумаги, а из чугунной печки шел невыносимый жар, к которому примешивался запах скипидара.

Работницы почти все были одеты самым жалким образом.

Но среди них выделялась одна — в полупелковом платье и с длинными серьгами. У нее, стройной и в то же время пухленькой, были большие черные глаза и мясистые, словно у негритянки, губы. Пышная грудь выпячивалась под рубашкой, схваченной в талии шнурком юбки; одной рукой облокотясь на станок, а другую свесив, она рассеянно глядела куда-то вдаль. Рядом стояла бутылка вина и валялся кусок колбасы.

Правилами распорядка запрещалось есть в мастерских — мера, предусмотренная для соблюдения чистоты в работе и поддержания гигиены среди самих рабочих.

Сенекаль, то ли из чувства долга, то ли из склонности к деспотизму, еще издали закричал, указывая на объявление в рамке:

— Эй! Вы там! Бордоска! Прочтите-ка мне вслух параграф девятый!

— Ну, а еще что?

— А еще что, сударыня? А то, что вы заплатите три франка штрафа!

Она прямо в упор нагло посмотрела на него.

— Подумаешь! Хозяин вернется и снимет ваш штраф! Плевать мне на вас, дружочек!

Сенекаль, заложив руки за спину и прогуливаясь, точно классный надзиратель во время урока, только улыбнулся.

— Параграф тринадцатый, неповиновение, десять франков!

Бордоска опять принялась за работу. Г-жа Арну из приличия ничего не говорила, но нахмурила брови. Фредерик проворчал:

— О! Для демократа вы слишком уж суровы!

Сенекаль менторским тоном ответил:

— Демократия не есть разнуздание личности. Это — равенство всех перед законом, разделение труда, порядок!

— Вы забываете о гуманности! — сказал Фредерик.

Г-жа Арну взяла его под руку; Сенекаль, оскорбленный, может быть, этим знаком безмолвного согласия, удалился.

Фредерик почувствовал огромное облегчение. С самого утра он искал случая объясниться; случай представился. К тому же внезапное движение г-жи Арну словно таило в себе обещание; и он, будто затем, чтобы погреть ноги, попросил позволения пройти в ее комнату. Но когда он сел рядом с ней, им овладело смущение; неизвестно было, с чего начать. К счастью, ему на ум пришел Сенекаль.

— Нет ничего глупее такого наказания!

Г-жа Арну возразила:

— Строгость бывает необходима.

— Как? И это вы, такая добрая! О! Я обмолвился — ведь иногда вам нравится мучить!

— Я не понимаю загадок, друг мой.

И ее строгий взгляд, более властный, нежели слова, оставил его. Но Фредерик был намерен продолжать. На комодке оказался томик Мюссе. Он перевернул несколько страниц, потом заговорил о любви, о ее отчаянии и ее порывах.

Все это, по мнению г-жи Арну, было или преступно, или надуманно.

Молодой человек был обижен этим отрицанием, и, чтобы опровергнуть ее, он в доказательство привел самоубийства, о которых читаешь в газетах, стал перевозносить знаменитые литературные типы — Федру, Ромео, де Гриё. Он сбился.

Огонь в камине погас, дождь хлестал в окна. Г-жа Арну сидела неподвижно, положив обе руки на ручки кресла; ленты ее чепца висели, точно концы повязки сфинкса. Ее чистый бледный профиль выделялся в темноте.

Ему хотелось броситься к ее ногам. В коридоре раздался скрип, он не посмел.

К тому же его удерживал какой-то благоговейный страх. Это платье, сливавшееся с сумерками, казалось ему непомерным, бесконечным, какой-то непреодолимой преградой, и его желание именно поэтому еще усиливалось. Но боязнь сделать слишком много или хотя бы достаточно отнимала у него способность здраво рассуждать.

«Если я ей не нравлюсь,— думал он,— пусть прогонит меня! Если же я ей по душе, пусть ободрит!»

И со вздохом сказал:

— Значит, вы не допускаете, что можно любить... женщину?

Г-жа Арну ответила:

— Если она свободна — на ней женятся; если она принадлежит другому — уходят.

— Итак, счастье невозможно?

— Отчего же! Но счастье нельзя найти в обмане, в тревогах и в угрызениях совести.

— Не все ли равно, если оно дает божественную радость!

— Опыт обходится слишком дорого.

Он решил прибегнуть к иронии.

— Значит, добродетель не что иное, как трусость?

— Лучше скажите: дальновидность. Даже для тех женщин, которые забыли бы долг и религию, может иногда быть достаточно простого здравого смысла. Эгоизм — прочная основа целомудрия.

— Ах! Какие у вас мещанские взгляды!

— Да я и не думаю быть знатной дамой!

В эту минуту прибежал маленький Эжен.

— Мама, пойдем обедать?

— Да, сейчас!

Фредерик поднялся; появилась Марта.

Он не мог решиться уйти и, обратив к г-же Арну взгляд, полный мольбы, сказал:

— Женщины, о которых вы говорите, верно очень бесчувственны?

— Нет! Но они глухи, когда надо!

Она стояла на пороге спальни, а рядом с ней двое ее детей. Он поклонился, не сказав ни слова. Она безмолвно ответила на его поклон.

Беспредельное изумление — вот что он испытывал в первую минуту. То, как она дала ему понять тщетность его надежд, совершенно убило его. Он чувствовал, что погиб, словно человек, упавший в пропасть и знающий, что его не спасут и что он должен умереть.

Все-таки он шел, хоть и наугад, шел, ничего не видя; он спотыкался о камни, сбился с дороги. Раздался стук деревянных башмаков; это рабочие возвращались с литейного завода. Тогда он пришел в себя.

На горизонте железнодорожные фонари вытянулись в линию огней. Он поспел на станцию как раз к отходу поезда; его втокнули в вагон, и он сразу уснул.

Час спустя на бульварах вечернее веселье Парижа внезапно отодвинуло его поездку куда-то в далекое прошлое. Он решил быть твердым и облегчил душу, осыпая г-жу Арну бранными эпитетами:

— Идиотка, дура, скотина, забуду о ней!

Вернувшись домой, он нашел у себя в кабинете письмо на восьми страницах голубой глянцевиной бумаги с инициалами Р. А.

Оно начиналось дружескими упреками:

«Что с вами, друг мой? Я скучаю».

Но почерк был такой ужасный, что Фредерик уже хотел отшвырнуть письмо, как вдруг в глаза бросилась приписка:

«Я рассчитываю, что вы завтра поедете со мной на скачки».

Что означало это приглашение? Не была ли это еще какая-нибудь новая выходка Капитанши? Но ведь не может быть, чтобы два раза к ряду так, ни с того ни с сего, стали издеваться над одним и тем же человеком; и, охваченный любопытством, он внимательно перечел письмо.

Фредерик разобрал: «Недоразумение... пойти по неверному пути... разочарования... Бедные мы дети!.. Подобно двум потокам, которые сливаются...» и т. д.

Этот стиль не соответствовал языку лоретки. Что за перемена произошла?

Он долго держал в руке эти листочки. Они пахли ирисом, а в очертании букв и в неровных промежутках между строками было что-то напоминавшее беспорядок в туалете и смутившее его.

«Почему бы не поехать? — подумал он наконец. — А если узнает госпожа Арну? Ах, пусть узнает! Тем лучше! И пусть ревнует! Я буду отомщен».

IV

Капитанша была готова и ждала его.

— Вот это мило! — сказала она, взглянув на него своими красивыми глазами, и нежными и веселыми.

Она завязала ленты шляпки, села на диван и замолкла.

— Что же, едем? — сказал Фредерик.

Она посмотрела на часы.

— Ах, нет! Не раньше, чем часа через полтора.

Она как бы сама ставила этим предел своей нерешительности.

Наконец назначенный час пробил.

— Ну вот, andiamo, caro mio! ¹

И она в последний раз пригладила волосы и отдала приказания Дельфине.

— Вернется барыня к обеду?

— Нет, зачем же? Мы вместе пообедаем где-нибудь, в Английском кафе, где захотите!

— Прекрасно!

Собачонки тявкали около нее.

— Их лучше взять с собой, правда?

Фредерик сам отнес их в экипаж. Это была наемная карета, запряженная парой почтовых лошадей, с форейтором; на запятках стоял лакей Фредерика. Капитанша была, видимо, довольна его предупредительностью; не успела она усесться в карету, как спросила, был ли он в последнее время у Арну.

— Целый месяц не был, — сказал Фредерик.

— А я встретила его третьего дня, он даже хотел сегодня приехать. Но у него всякие неприятности, опять какой-то процесс, уж не знаю, что такое. Какой странный!

— Да! Очень странный!

Фредерик прибавил равнодушно:

— А кстати, вы все еще выдаетесь... как его зовут? С этим бывшим певцом... Дельмаром?

¹ Идем, милый! (итал.)

Она сухо ответила:

— Нет, конечно!

Итак, разрыв не подлежал сомнению. У Фредерика возникла надежда.

Они шагом проехали квартал Брэда; на улицах, по случаю воскресенья, было безлюдно, а в окнах показывались лица обывателей. Экипаж покотился быстрее; слышав стук колес, прохожие оборачивались; кожа откинутого верха блестела; слуга выгибал стан, а собачонки похожи были на две горностаевые муфты, положенные на подушки одна подле другой. Фредерик покачивался на сиденьи. Капитанша с улыбкой поворачивала голову то направо, то налево.

Ее шляпка из пестрой соломки была обшита черным кружевом. Капюшон ее бурнуса развевался на ветру, а от солнца она закрывалась лиловым атласным зонтиком, островерхим, точно пагода.

— Что за прелесть эти пальчики! — сказал Фредерик, тихонько взяв другую ее руку, левую, украшенную золотым браслетом в виде цепочки. — Ах, милая вещица! Откуда она у вас?

— О! Она у меня давно, — сказала Капитанша.

Молодой человек ничего не возразил на лицемерный ответ. Он предпочел «воспользоваться случаем». И, все еще держа кисть ее руки, он прильнул к ней губами между перчаткой и рукавом.

— Перестаньте, нас увидят!

— Ну так что же?

Проехав площадь Согласия, они свернули на набережную Конферанс, а потом на набережную Бийи, где в одном из садов заметили кедр. Розанетта думала, что Ливан находится в Китае; она сама засмеялась над своим невежеством и попросила Фредерика давать ей уроки географии. Потом, оставив справа Трокадеро, они переехали Иенский мост и, наконец, остановились среди Марсова поля, рядом с другими экипажами, уже стоявшими перед ипподромом.

Неровную поверхность поля усеял простой народ. Любопытные устроились на балконе Военного училища, а оба павильона за весами, две трибуны в кругу и третью против королевской ложи заполняла нарядная публика, которая, судя по манере себя держать, почтительно относилась к этому, еще новому, роду развлечений. Публика скачек, в ту пору более своеобразная, имела менее вульгарный вид; то были времена штрипок, бархатных воротников и белых перчаток. Дамы в ярких платьях с длинными талиями, расположившиеся на скамейках трибуны, напоминали огромный цветник, на фоне которого темными пятнышками то тут, то там выступали костюмы мужчин. Но все взоры устремлялись на знаменитого

алжирца Бу-Маза, невозмутимо сидевшего между двумя офицерами генерального штаба в одной из отдельных лож. Зрители на трибуне Жокей-клуба были сплошь важные господа.

Самые восторженные любители поместились внизу, у скакового круга, обнесенного двумя рядами кольев с протяннутыми на них веревками; внутри огромного овала, занимаемого этой оградой, орали торговцы напитками, другие продавали программы скачек, третьи — сигары; гул не утихал; взад и вперед сновали полицейские; колокол, висевший на столбе, покрытом цифрами, зазвонил. Появились пять лошадей, и публика заняла места на трибуне.

А меж тем тяжелые тучи своими завитками задевали верхушки вязов, там, напротив. Розанетта боялась дождя.

— У меня с собою зонты,— сказал Фредерик.— Зонты и все, что нужно для развлечения,— добавил он, приподнимая переднее сиденье, под которым была корзина с провизией.

— Bravo! Мы друг друга понимаем!

— И будем еще лучше понимать, не правда ли?

— Возможно! — сказала она, краснея.

Жокеи в шелковых куртках старались выровнять в линию своих лошадей, обеими руками сдерживали их. Кто-то опустил красный флаг. Тогда все пятеро, склонившись над гривами, тронулись. Сперва они шли вровень друг с другом, сплоченным строем; но вскоре цепь удлинилась, перервалась; жокей, на котором был желтый камзол, в середине первого круга чуть было не упал; долгое время Филли и Тиби шли впереди, не отставая друг от друга; потом их опередил Том Пус, но Клебстик, с самого начала шедший сзади, оставил их всех позади и пришел первым, опередив сэра Чарльза на два корпуса; то была неожиданность; в публике кричали; дощатые помосты дрожали от топота ног.

— Нам тут весело! — сказала Капитанша.— Я люблю тебя, милый!

Фредерик больше не сомневался в успехе; слова Розанетты были подтверждением.

Шагах в ста от него в двухместном кабриолете появилась дама. Она высовывалась, потом быстро откидывалась назад; это повторялось несколько раз; Фредерик не мог разглядеть ее лица. Им овладело подозрение: ему показалось, что это г-жа Арну. Но нет, не может быть! К чему бы ей приезжать сюда?

Он вышел из экипажа под предлогом, будто хочет пройтись к весам.

— Вы не слишком любезны! — сказала Розанетта.

Он не слушал ее и шел вперед. Кабриолет повернул, лошадь побежала рысью.

В ту же минуту Фредерика перехватил Сизи:

— Здравствуйте, дорогой! Как поживаете? Юссонэ вон там! Послушайте!

Фредерик старался отделаться от него, чтобы нагнать кабриолет. Капитанша знаками приказывала ему вернуться. Сизи ее заметил и пожелал непременно поздороваться с ней.

С тех пор как кончился траур по его бабушке, он воплощал в жизнь свой идеал, стремясь приобрести *особый отпечаток*. Клетчатый жилет, короткий фрак, широкие кисточки на ботинках и входной билет, засунутый за ленту на шляпе,— действительно все соответствовало тому, что сам он называл «шиком»; то был шик англomана и мушкетера. Первым делом он стал жаловаться на Марсово поле, отвратительное место для скачек, потом поговорил о скачках в Шантийи и о том, какие там случаются проделки, божился, что может выпить двенадцать бокалов шампанского, пока в полночь часы бьют двенадцать, предлагал Капитанше пари, тихонько гладил бонок; опершись локтем о дверцу экипажа, засунув в рот набалдашник стека, расставив ноги, вытянувшись, он продолжал болтать глупости. Фредерик, стоявший рядом с ним, курил, стараясь определить, куда же делся кабриолет.

Прозвонил колокол, Сизи отошел, к великому удовольствию Розанетты, которой, по ее словам, он очень надоел.

Второй заезд ничем особенным не ознаменовался, третий также, если не считать, что одного жокея унесли на носилках. Четвертый, в котором восемь лошадей состязались на приз города, оказался более интересен.

Зрители трибун взобрались на скамейки. Прочие, стоя в экипажах и поднеся к глазам бинокли, следили за движением жокеев; они, точно пятнышки — красные, желтые, белые и синие,— пронеслись вдоль толпы, окружавшей ипподром. Издали их езда не казалась особенно быстрой; на другом конце Марсова поля она как будто даже становилась еще медленнее, лошади словно скользили, касаясь животами земли и не сгибая вытянутых ног. Но быстро возвращаясь назад, они вырастали; они рассекали воздух, земля дрожала, летел гравий; камзолы жокеев надувались, точно паруса от ветра, который врывался под них; жокеи ударами хлыста подстегивали лошадей, лишь бы прийти к финишу — то была цель. Одни цифры снимались, выставлялись другие, и победившая лошадь, вся в мыле, с опущенной шеей, еле передвигаясь, не в силах согнуть колени, шла среди рукоплесканий к весам, а наездник в седле, находившийся, казалось, при последнем издыхании, держался за бока.

Последний заезд задержался из-за какого-то спорного вопроса. Скучающая толпа рассеивалась. Мужчины, стоя кучка-

ми, разговаривали у подножия трибуны. Речи были вольные; дамы из общества уехали, шокированные присутствием лореток.

Были тут и знаменитости публичных балов, актрисы бульварных театров,— и отнюдь не самым красивым расточалось более всего похвал. Старая Жоржина Обер, та самая, которую один водевилист назвал Людовиком XI от проституции, отчаянно размалеванная, раскинулась в своей длинной коляске, закуталась в куний палантин, как будто была зима, и время от времени издавала звуки, более похожие на хрюканье, чем на смех. Г-жа де Ремуссо, ставшая знаменитостью благодаря своему процессу, восседала в бреке в компании американцев, а Тереза Башлю, наружностью напоминавшая средневековую мадонну, заполняла своими двенадцатью оборками маленький фэзтон, где вместо фартука была жардиньерка с розами. Капитанша позавидовала всему этому великолепию; чтобы обратить на себя внимание, она усиленно стала жестикулировать и заговорила чрезвычайно громко.

Какие-то джентльмены узнали ее и раскланивались с нею. Она отвечала на их поклоны, называя Фредерику их имена. Все они были графы, виконты, герцоги и маркизы, и он уже возгордился, ибо во всех взглядах выражалось своего рода почтение, вызванное его любовной удачей.

Сизи, повидимому, чувствовал себя не менее счастливым в кругу мужчин зрелого возраста. Эти люди в длинных галстуках улыбались, словно посмеиваясь над ним; наконец он хлопнул по руке самого старшего и направился к Капитанше.

Она с преувеличенной жадностью ела кусок паштета; Фредерик, из послушания, следовал ее примеру, держа на коленях бутылку вина.

Кабриолет показался опять, в нем была г-жа Арну. Она страшно побледнела.

— Налей мне шампанского! — сказала Розанетта.

И, как можно выше подняв наполненный бокал, она воскликнула:

— Эй вы там, порядочная женщина, супруга моего покровителя, эй!

Вокруг раздался смех, кабриолет скрылся. Фредерик дергал Розанетту за платье, он готов был вспылить. Но тут же был Сизи, в той же позе, как раньше; он еще более самоуверенно пригласил Розанетту пообедать с ним в тот же вечер.

— Не могу! — ответила Розанетта.— Мы вместе едем в Английское кафе.

Фредерик молчал, как будто ничего не слышал, и Сизи с разочарованным видом отошел от Капитанши.

Пока он разговаривал с ней, стоя у правой дверцы, слева появился Юссонэ и, услышав слова «Английское кафе», подхватил:

— Славное заведение! Не перекусить ли там чего-нибудь, а?

— Как вам угодно,— сказал Фредерик. Забившись в угол кареты, он смотрел, как вдали скрывается кабриолет, и чувствовал, что произошло непоправимое и что он утратил великую свою любовь. А другая любовь была тут, возле него, веселая и легкая. Но усталый, полный стремлений, противоречивших одно другому, он уже даже и не знал, чего ему хотелось, и испытывал беспредельную грусть, желание умереть.

Шум шагов и голосов заставил его поднять голову; мальчишки перепрыгивали через барьер скакового круга, чтобы поближе посмотреть на трибуны; все разъезжались. Упало несколько капель дождя. Скопилось множество экипажей. Юссонэ исчез из виду.

— Ну, тем лучше! — сказал Фредерик.

— Предпочитаем быть одни? — спросила Капитанша и положила ладонь на его руку.

В эту минуту мимо них проехало, сверкая медью и сталью, великолепное ландо, запряженное четверкой цугом, с двумя жоксями в бархатных куртках с золотой бахромой. Г-жа Дамбрёз сидела рядом со своим мужем, а на скамеечке против них был Мартинон; лица у всех троих выражали удивление.

«Они меня узнали!» — подумал Фредерик.

Розанетта требовала, чтобы остановились,— ей хотелось лучше видеть разъезд. Но ведь опять могла появиться г-жа Арну. Он крикнул кучеру:

— Поезжай! Поезжай! Живее!

И карета понеслась к Елисейским Полям вместе с другими экипажами, колясками, бричками, английскими линейками, кабриолетами, запряженными цугом, тильбюри, фургонами, в которых за кожаными занавесками распевали мастеровые навеселе, одноконными каретами, которыми осторожно правили отцы семейств. Порой из открытой, битком набитой коляски свешивались ноги какого-нибудь мальчика, сидевшего у других на коленях. В больших каретах с обитыми сукном сиденьями дремали вдовы; или вдруг проносился великолепный рысак, впряженный в пролетку, простую и элегантную, как черный фрак денди. Дождь между тем усиливался. Появлялись зонты, омбrello, макинтоши; едущие перекликались издали: «Здравствуйте!» — «Как здоровье?» — «Да!» — «Нет!» — «До свиданья!» — и лица следовали одно за другим с быстротой китайских теней. Фредерик и Розанетта молчали, ошеломленные этим множеством колес, вертящихся подле них.

Временами вереницы экипажей, прижатых один к другому, останавливались в несколько рядов. Тогда седоки, пользуясь тем, что оказались в соседстве, рассматривали друг друга. Из экипажей, украшенных гербами, на толпу падали равнодушные взгляды; седоки фиакров смотрели глазами, полными зависти; презрительные улыбки служили ответом на горделивые кивки; широко разинутые рты выражали глупое восхищение; то тут, то там какой-нибудь празднующийся, очутившись посреди проезда, одним прыжком отскакивал назад, чтобы спастись от всадника, гарцевавшего среди экипажей и, наконец, выбиравшегося из этой тесноты. Потом все опять приходило в движение; кучера отпускали вожжи, вытягивались их длинные бичи; возбужденные лошади встряхивали уздечками, брызгали пеной вокруг себя, а лучи заходящего солнца пронизывали пар, подымавшийся от влажных крупов и прив. Под Триумфальной аркой лучи эти удлинялись, превращаясь в рыжеватый столб, от которого сыпались искры на спицы колес, на ручки дверей, концы дышел, кольца седелок, а по обе стороны широкого проезда, напоминающего поток, где колышутся гривы, одежды, человеческие головы, точно две зеленые стены, возвышались деревья, блистающие от дождя. Местами опять показывалось голубое небо, нежное, как атлас.

Тут Фредерику вспомнились те давно прошедшие дни, когда он завидовал невыразимому счастью — сидеть в одном из таких экипажей рядом с одной из таких женщин. Теперь он владел этим счастьем, но большой радости оно не доставляло ему.

Дождь перестал. Прохожие, укрывшиеся под колоннадой морского министерства, уходили отсюда. Гуляющие возвращались по Королевской улице в сторону бульвара. На ступеньках перед министерством иностранных дел стояли зеваки.

У Китайских бань, где в мостовой были выбоины, карета замедлила ход. По краю тротуара шел человек в гороховом пальто. Грязь, брызгавшая из-под колес, залила ему спину. Человек в ярости обернулся. Фредерик побледнел: он узнал Делорье.

Сойдя у Английского кафе, он отослал экипаж. Розанетта пошла вперед, пока он расплачивался с кучером.

Он нагнал ее на лестнице, где она разговаривала с каким-то мужчиной. Фредерик взял ее под руку. Но на середине коридора ее остановил другой господин.

— Да ты иди! — сказала она. — Я сейчас приду!

И он один вошел в отдельный кабинет. Оба окна были открыты, а в окнах домов на противоположной стороне улицы

видны были люди. Асфальт, подсыхая, переливал муаром; магнолия, поставленная на краю балкона, наполняла комнату ароматом. Это благоухание и эта свежесть успокоили его нервы; он опустился на красный диван под зеркалом.

Вошла Капитанша и, целуя его в лоб, спросила:

— Бедняжке грустно?

— Может статься! — ответил он.

— Ну, не тебе одному! — Это должно было означать: «Забудем каждый наши печали и насладимся счастьем вдвоем».

Потом она взяла в губы лепесток цветка и протянула ему, чтобы он его пощипал. Этот жест, полный сладострастной прелести и почти нежности, умилил Фредерика.

— Зачем ты меня огорчаешь? — спросил он, думая о г-же Арну.

— Огорчаю? Я?

И, став перед ним, положив ему руки на плечи, она посмотрела на него, прищутив глаза.

Вся его добродетельность, вся его злоба потонули в безграничном малодушии.

Он продолжал:

— Ведь ты не хочешь меня любить! — и притянул ее к себе на колени.

Она не сопротивлялась; он обеими руками обхватил ее стан; слыша, как шелестит шелк ее платья, он все более возбуждался.

— Где они? — произнес в коридоре голос Юссонэ.

Капитанша порывисто встала и, пройдя на другой конец комнаты, спиной повернулась к двери.

Она потребовала устриц; сели за стол.

Юссонэ уже не был забавен. Будучи вынужден каждый день писать на всевозможные темы, читать множество газет, выслушивать множество споров и говорить парадоксами, чтобы пускать пыль в глаза, он в конце концов утратил верное представление о вещах, ослепленный слабым блеском своих остроумий. Заботы жизни, некогда легкой, но теперь трудной, держали его в непрестанном волнении, а его бессилие, в котором он не хотел сознаться, делало его ворчливым, саркастическим. По поводу «Озаи», нового балета, он жестоко ополчился на танцы, а по поводу танцев — на оперу; потом, по поводу оперы, — на итальянцев, которых теперь заменила труппа испанских актеров, «как будто нам еще не надоела Кастилия!» Фредерик был оскорблен в своей романтической любви к Испании и, чтобы прервать этот разговор, спросил о «Коллеж де Франс», откуда только что были исключены Эдгар Кинэ и Мицкевич. Но Юссонэ, поклонник г-на де Местра, объявил себя приверженцем правительства и спиритуализма. Однако он сомневал-

ся в фактах самых достоверных, отрицал историю и оспаривал вещи, менее всего подлежащие сомнению, вплоть до того, что, услышав слово «геометрия», воскликнул: «Что за вздор — эта геометрия!» И тут же все время подражал разным актерам. Главным его образцом был Сенвиль.

Все это паясничанье отчаянно надоело Фредерику. Нетерпеливо двигаясь на стуле, он под столом задел ногой одну из болонок. Те залились несносным лаем.

— Вы бы отослали их домой! — сказал он резко.

Розанетта никому не решилась бы их доверить.

Тогда он обратился к журналисту:

— Ну, Юссонэ, принесите себя в жертву!

— Ах, да, дорогой! Это было бы так мило!

Юссонэ отправился, не заставив себя просить.

Как отблагодарить его за такую любезность? Фредерик об этом и не подумал. Он даже начинал радоваться тому, что они остаются вдвоем, как вдруг вошел лакей.

— Сударыня, вас кто-то спрашивает.

— Как! Опять?

— Надо мне все-таки пойти взглянуть! — сказала Розанетта.

Он жаждал ее, она была нужна ему. Ее исчезновение казалось ему вероломством, почти что подлостью. Чего она хочет? Разве мало того, что она оскорбила г-жу Арну? Впрочем, тем хуже для той. Теперь он ненавидел всех женщин. И слезы душили его, ибо любовь его не нашла ответа, а вожделения были обмануты.

Капитанша вернулась и, представляя ему Сизи, сказала:

— Я его пригласила. Не правда ли, я хорошо сделала?

— Еще бы! Конечно! — И Фредерик с улыбкой мученика попросил аристократа присесть.

Капитанша стала просматривать меню, останавливаясь на причудливых названиях.

— Что если бы нам съесть тюрбо из кролика а ля Ришельё и пудинг по-орлеански?

— О, нет! Только не по-орлеански! — воскликнул Сизи, который принадлежал к легитимистам и думал состричь.

— Вы предпочитаете тюрбо а ля Шамбор?

Такая угодливость возмутила Фредерика.

Капитанша решила взять простое филе, раков, трюфели, салат из ананаса, ванильный шербет.

— После видно будет. Пока ступайте... Ах, совсем забыла! Принесите мне колбасы. Без чесночка.

Она называла лакея «молодым человеком», стучала ножом по стакану, швыряла в потолок хлебные шарики. Она пожелала тотчас же выпить бургонского.

— Пить перед едой не принято,— заметил Фредерик.

По мнению виконта, это иногда делается.

— О нет! Никогда!

— Уверяю вас, что да!

— Ага! Вот видишь!

Она сопровождала свои слова взглядом, означавшим: «Он человек богатый; да, да, слушайся его!»

Между тем дверь ежеминутно открывалась, лакеи бранились, а в соседнем кабинете кто-то барабанил вальс на адском пианино. Разговор со скачек перешел на искусство верховой езды вообще и на две противоположные ее системы. Сизи защищал Боше, Фредерик — графа д'Ор. Розанетта, наконец, пожалала плечами:

— Ах, боже мой! Довольно! Он лучше тебя знает в этом толк, поверь!

Она кусала гранат, облокотясь на стол; пламя свечей в канделябрах дрожало перед нею от ветра; яркий свет пронизывал ее кожу, переливами перламутра, румянил ее веки, зажигал блеск в ее глазах; багрянец плода сливался с пурпуром ее губ, тонкие ноздри вздрагивали; во всем ее облике было что-то дерзкое, пьяное и развратное; это раздражало Фредерика и в то же время наполняло его сердце безумным желанием.

Затем она спокойно спросила, кому принадлежит вон то большое ландо с лакеем в коричневой ливрее.

— Графине Дамбрёз,— ответил Сизи.

— А они очень богаты, да?

— О! Весьма богаты! Хотя у госпожи Дамбрёз, всего-навсего урожденной Бутрон, дочери префекта, состояние небольшое.

Муж ее, напротив, получил, как говорят, несколько наследств. Сизи перечислил, от кого и сколько; бывая у Дамбрёзов, он хорошо знал их историю.

Фредерик, желая сделать неприятность Сизи, упорно ему противоречил. Он утверждал, что г-жа Дамбрёз — урожденная де Бутрон, упирая на ее дворянское происхождение.

— Не все ли равно! Мне бы хотелось иметь ее коляску! — сказала Капитанша, откидываясь в кресле.

Рукав ее платья немного отвернулся, и на левой руке они увидели браслет с тремя опалами.

Фредерик заметил его.

— Постойте! Что это...

Все трое переглянулись и покраснели.

Дверь осторожно приоткрылась, показались сперва поля шляпы, а затем профиль Юссонэ.

— Простите, я помешал вам, влюбленная парочка!

Он остановился, удивясь, что видит Сизи и что Сизи занял его место.

Подали еще один прибор. Юссонэ был очень голоден и потому наудачу хватал остатки обеда, мясо с блюда, фрукты из корзины, держа в одной руке стакан, в другой — вилку и рассказывая в то же время, как он выполнил поручение. Собачки доставлены в целости и сохранности. Дома ничего нового. Кухарку он застал с солдатом, — этот эпизод Юссонэ сочинил единственно с тем, чтобы произвести эффект.

Капитанша сняла с вешалки свою шляпу. Фредерик бросился к звонку и еще издали крикнул слуге:

— Карету!

— У меня есть карета, — сказал виконт.

— Помилуйте, сударь!

— Позвольте, сударь!

И они устали друг на друга; оба были бледны, и руки у них дрожали.

Капитанша, наконец, пошла под руку с Сизи и, указывая на занятого едой Юссонэ, проговорила:

— Уж позаботьтесь о нем — он может подавиться. Мне бы не хотелось, чтобы его преданность к моим моськам погубила его!

Дверь захлопнулась.

— Ну? — сказал Юссонэ.

— Что — ну?

— Я думал...

— Что же вы думали?

— Разве вы не...

Фразу свою он дополнил жестом.

— Да нет! Никогда в жизни!

Юссонэ не настаивал.

Напрашиваясь обедать, он ставил себе особую цель. Так как его газета, называвшаяся теперь не «Искусство», а «Огонек», с эпиграфом: «Канониры, по местам!», отнюдь не процветала, то ему хотелось превратить ее в еженедельное обозрение, которое он издавал бы сам, без помощи Делорье. Он заговорил о своем старом проекте и изложил новый план.

Фредерик, не понимавший, вероятно, в чем дело, отвечал невпопад, Юссонэ схватил со стола несколько сигар, сказал: «Прощай, дружище», и скрылся.

Фредерик потребовал счет. Счет был длинный, а пока гарсон с салфеткой подмышкой ожидал уплаты, подошел второй — бледный субъект, похожий на Мартинона, и сказал:

— Прошу прощения, забыли внести в счет фиакр.

— Какой фиакр?

— Тот, что отвозил барина с собачками.

И лицо гарсона вытянулось, как будто ему жаль было бедного молодого человека. Фредерику захотелось дать ему пощечину. Он подарил ему на водку двадцать пять франков сдачи, которую ему возвращали.

— Благодарю, ваша светлость! — сказал человек с салфеткой, низко кланяясь.

Весь следующий день Фредерик предавался своему гневу и мыслям о своем унижении. Он упрекал себя, что не дал пощечины Сизи. А с Капитаншей он клялся больше не встречаться; в других столь же красивых женщинах не будет недостатка; а так как для того, чтобы обладать ими, нужны деньги, он продаст свою ферму, будет играть на бирже, разбогатеет, своею роскошью сразит Капитаншу, да и весь свет. Когда настал вечер, его удивило, что он не думал о г-же Арну.

«Тем лучше! Что в этом толку?»

На третий день, уже в восемь часов, его посетил Пеллерен. Он начал с похвал обстановке, с любезностей. Потом вдруг спросил:

— Вы были в воскресенье на скачках?

— Увы, да!

Тогда художник начал возмущаться английскими лошадьми, восхвалять лошадей Жерико, коней Парфенона.

— С вами была Розанетта?

И он ловко начал расхваливать ее.

Холодность Фредерика его смутила. Он не знал, как заговорить о портрете.

Его первоначальное намерение было написать портрет в духе Тициана. Но мало-помалу его соблазнил богатый колорит модели, и он стал работать со всею искренностью, накладывая слой за слоем, нагромождая пятна света. Сперва Розанетта была в восторге; ее свидания с Дельмаром прервали эти сеансы и дали Пеллерену полный досуг восхищаться самим собой. Затем, когда восхищение улеглось, он спросил себя, достаточно ли величия в его картине. Он сходил посмотреть на картины Тициана, понял разницу, признал свое заблуждение и стал отделявать контуры; потом он пытался, ослабив их, слить, сблизить тона головы и фон картины, и лицо стало отчетливее, тени внушительнее, во всем появилась большая твердость. Наконец Капитанша снова пришла. Она даже позволила себе делать замечания. Художник, разумеется, стоял на своем. Он приходил в бешенство от ее глупости, но потом сказал себе, что она, быть может, и права. Тогда началась эра сомнений, судорог мысли, которые вызывают спазму в желудке, бессонницу, лихорадку, отвращение к самому себе; у него хватило мужества подправить картину, но делал он это неохотно, чувствуя, что работа его неудачна.

Жаловался он только на то, что картину отказались принять на выставку, затем упрекнул Фредерика в том, что он не зашел взглянуть на портрет Капитанши.

— Какое мне дело до Капитанши?

Эти слова придали смелости Пеллерену.

— Представьте, теперь этой дуре портрет больше не нужен!

Он не сказал, что потребовал с нее тысячу экю. А Капитанша не заботилась о том, кто заплатит, и, предпочитая получить от Арну вещи более необходимые, даже ничего не говорила ему о портрете.

— А что же Арну? — спросил Фредерик.

Она уже направляла к нему Пеллерена. Бывшему торговцу картинами портрет оказался ни к чему.

— Он утверждает, что эта вещь принадлежит Розанетте.

— Действительно, это ее вещь.

— Как! А она прислала меня к вам, — ответил Пеллерен.

Если бы он верил в совершенство своего произведения, то быть может, и не подумал бы о том, чтобы извлечь из него выгоду. Но известная сумма (притом сумма значительная) могла бы явиться опровержением критиков, подспорьем для него. Чтобы отделаться, Фредерик вежливо спросил его о цене.

Чудовищность цифры возмутила его; он ответил:

— О нет, нет!

— Но ведь вы ее любовник, вы заказали мне картину!

— Позвольте, я был посредником!

— Но не может же портрет остаться у меня на руках!

Художник пришел в бешенство.

— О, я не думал, что вы такой жадный!

— А я не думал, что вы такой скупой! Слуга покорный!

Не успел он уйти, как явился Сенекаль.

Фредерик смутился, встревожился.

— Что случилось?

Сенекаль рассказал ему всю историю:

— В субботу, часов в девять, госпожа Арну получила письмо, звавшее ее в Париж. Так как случайно не оказалось никого, кто мог бы отправиться в Крейль за экипажем, она вздумала послать меня. Я отказался, потому что это не входит в мои обязанности. Она уехала и вернулась в воскресенье вечером. Вдруг вчера утром на фабрике появляется Арну. Бордоска ему нажаловалась. Не знаю, что там у них такое, но он при всех сложил с нее штраф. У нас произошел крупный разговор. Словом, он меня рассчитал — вот и все!

Потом он раздельно проговорил:

— Впрочем, я не раскаиваюсь — я исполнил свой долг. Но все равно, это ваша вина.

— Каким образом? — воскликнул Фредерик, опасаясь, как бы Сенекаль не догадался.

Сенекаль, очевидно, ни о чем не догадывался, так как продолжал:

— Да, если бы не вы, я, быть может, нашел бы что-нибудь получше.

Фредерик почувствовал нечто похожее на угрызения совести.

— Чем я теперь могу быть вам полезен?

Сенекаль просил достать ему какое-нибудь занятие, какое-нибудь место.

— Вам это легко. У вас столько знакомых, в их числе и господин Дамбрёз, как мне говорил Делорье.

Другу Делорье было неприятно упоминание о нем. После встречи на Марсовом поле он вовсе не собирался посещать Дамбрёзов.

— Я недостаточно с ними близок, чтобы кого-нибудь рекомендовать им.

Демократ стоически перенес этот отказ и, помолчав минуту, сказал:

— Я уверен, всему причиной — бордоска, да еще ваша госпожа Арну.

Это «ваша г-жа Арну» убило в сердце Фредерика всякое желание ему помочь. Однако, из деликатности, он взял ключ от своего бюро.

Сенекаль предупредил его:

— Благодарю вас!

Затем, забывая о своих невзгодах, он стал говорить о государственных делах, об орденах, которые щедро раздавались в день рождения короля, о смене кабинета, о делах Друайара и Бенье, наделавших в то время много шума, повозмущался буржуазией и предрек революцию.

Его взгляды привлек висевший на стене японский кинжал. Он взял его в руку, потрогал рукоятку, потом брезгливо бросил на диван.

— Ну, прощайте! Мне пора к Лоретской богоматери.

— Вот как! Почему же это?

— Сегодня годовщина смерти Годфруа Кавеньяка. Он-то умер на посту! Но не все еще кончено! Как знать!

И Сенекаль бодро протянул ему руку.

— Мы не увидимся, быть может, никогда. Прощайте!

Это «прощайте», дважды повторенное, взгляд из-под наспуленных бровей, брошенный на кинжал, его покорность судьбе и, главное, его торжественность настроили Фредерика на мечтательный лад. Вскоре он перестал думать о Сенекале.

На той же неделе его гаврский нотариус прислал ему деньги, вырученные от продажи фермы: сто семьдесят четыре тысячи франков. Он разделил сумму на две части; одну положил в банк, а другую отнес биржевому маклеру, чтобы начать игру на бирже.

Он обедал в модных ресторанах, посещал театры и старался развлекаться. Среди этих занятий его застало письмо Юссонэ, весело сообщавшего ему, что Капитанша на другой же день после скачек отставила Сизи. Это обрадовало Фредерика, который не стал задумываться, почему Юссонэ пишет ему об этом обстоятельстве.

Через три дня случай привел его встретиться с Сизи. Молодой дворянин проявил полное самообладание и даже пригласил его обедать в среду на следующей неделе.

Утром того дня Фредерик получил от судебного пристава бумагу, которой г-н Шарль-Жан-Батист Удри извещал его, что, согласно определению суда, он является собственником имения, находящегося в Бельвиле и принадлежавшего г-ну Жаку Арну, и что он готов уплатить двести двадцать три тысячи франков — стоимость имения. Но из того же уведомления явствовало, что, так как сумма, за которую заложено было имение, превышает его стоимость, долговое обязательство, данное Фредерику, утрачивает всякое значение.

Вся беда случилась оттого, что в свое время срок действия векселя не был продлен. Арну взялся сделать это и забыл. Фредерик рассердился на него, а когда гнев прошел, сказал себе:

«Ну, так что же... Ну что? Если это может его спасти, тем лучше! Я от этого не умру! Не стоит и думать об этом!»

Но вот, разбирая бумаги у себя на столе, он опять натолкнулся на письмо Юссонэ и обратил внимание на постскриптум, которого в первый раз не заметил. Журналист просил пять тысяч франков, не больше и не меньше, чтобы наладить дела газеты.

— Ах! И надоел же он!

И он послал Юссонэ лаконическую записку с резким отказом, после чего стал одеваться, собираясь на обед в «Золотой дом».

Сизи представил ему своих гостей, начав с самого почтенного — толстого седовласого господина:

— Маркиз Жильбер дез Онэ, мой крестный отец. Господин Ансельм де Форшамбо,— сказал он о другом госте (это был белокурый и хилый молодой человек, уже лысый), затем он указал на мужчину лет сорока, державшего себя просто: — Жозеф Боффре, мой двоюродный брат, а вот мой старый наставник, господин Везу. — Это был человек, напоминавший не

то ломового извозчика, не то семинариста, с большими бакенбардами и в длинном сюртуке, застегнутом внизу на одну только пуговицу, так что на груди он запахивался шалью.

Сизи ожидал еще одно лицо — барона де Комена, который, «может быть, будет, но не наверно». Он каждую минуту выходил, казался взволнованным. Наконец в восемь часов все перешли в залу, великолепно освещенную и слишком просторную для такого числа гостей. Сизи выбрал ее нарочно для большей торжественности.

База позолоченного серебра, в которой были цветы и фрукты, занимала середину стола, уставленного, по старинному французскому обычаю, серебряными блюдами; их окаймляли небольшие блюда с соленьями и пряностями; кувшины с замороженным розовым вином возвышались на известном расстоянии друг от друга; пять бокалов разной высоты стояли перед каждым прибором, снабженным множеством каких-то замысловатых приспособлений для еды, назначение которых было неизвестно. И уже на первую перемену были поданы: осетровая головизна в шампанском, йоркская ветчина на токайском, дрозды в сухарях, жареные перепелки, волован под бешемелью, соте из красных куропаток и картофельный салат с трюфелями, с двух сторон замыкавший скопление этих яств. Люстра и жирандоли освещали залу, стены которой были обтянуты красным шелком. Четыре лакея во фраках стояли за креслами, обитыми сафьяном. Увидя это зрелище, гости не могли удержаться от восхищения, в особенности наставник.

— Право, наш амфитрион совсем забыл о благоразумии. Это слишком!

— Что вы! — сказал виконт де Сизи. — Полноте!

И, проглотив первую ложку, он начал:

— Ну что же, мой дорогой дез Онэ, смотрели вы в Палей-Рояле «Отца и дворника»?

— Ты ведь знаешь, что у меня нет времени! — ответил маркиз.

По утрам он был занят, так как слушал курс лесоводства, вечером посещал сельскохозяйственный клуб, а днем изучал на заводах производство земледельческих машин. Проводя три четверти года в Сентонже, он пользовался пребыванием в столице для пополнения своих знаний, и его широкополая шляпа, которую он положил на консоль, была полна брошюр.

Сизи заметил, что г-н де Форшамбо отказывается от вина.

— Пейте же, право! Сплоховали вы на вашем последнем холостом обеде!

Услышав это, все раскланялись, стали его поздравлять.

— А юная особа, — сказал наставник, — очаровательна, не правда ли?

— Еще бы! — воскликнул Сизи.— Как бы то ни было, он неправ: жениться — это так глупо!

— Ты судишь легкомысленно, друг мой,— возразил г-н дез Онэ, в глазах которого появились слезы, ибо он вспомнил свою покойницу.

А Форшамбо, посмеиваясь, несколько раз сряду повторил:

— Сами тем же кончите! Вот увидите!

Сизи не соглашался. Он предпочитал развлекаться, вести образ жизни «во вкусе Регентства». Он хотел изучить приемы драки, чтобы посещать кабаки Старого города, как принц Родольф в «Парижских тайнах», извлек из кармана короткую трубку, был груб с прислугой, пил чрезвычайно много и, чтобы внушить высокое мнение о себе, ругал все кушанья; трюфели он даже велел унести, и наставник, наслаждавшийся ими, сказал, стараясь ему угодить:

— Это не то. что яйца в сабайоне, которые готовили у вашей бабушки!

И он возобновил разговор со своим соседом-агрономом, который считал, что жизнь в деревне имеет много преимуществ, позволяя ему, например, воспитывать в дочерях своих любовь к простоте. Наставник приветствовал такие взгляды и грубо льстил ему, думая, что тот имеет влияние на его воспитанника, к которому ему втайне хотелось попасть в управители.

Фредерик, явившись сюда, был зол на Сизи; глупость виконта его обезоружила. А жесты Сизи, его лицо — все в нем напоминало ему обед в Английском кафе, все сильнее раздражало его, и он прислушивался к нелюбезным замечаниям, которые вполголоса делал кузен Жозеф, добрый малый без всякого состояния, страстный охотник и биржевик. Сизи в шутку несколько раз назвал его мошенником; потом вдруг воскликнул:

— А, вот и барон!

Вошел мужчина лет тридцати; в лице его было что-то грубое, в движениях какое-то проворство; шляпу он носил набекрень, а в петлице у него красовался цветок. Это был идеал виконта. В восторге от такого гостя, вдохновленный его присутствием, он решился сказать каламбур по поводу глухаря, которого как раз подавали:

— Вот глухарь — он глух, но не глуп!¹

Сизи задал г-ну де Комену множество вопросов о лицах, не известных остальным гостям; наконец, словно вспомнив что-то, он спросил:

— А скажите, вы подумали обо мне?

Тот пожал плечами:

¹ В подлиннике игра слов: «un coq de bruyère» — глухарь и «des caractères de La Bruyère» — характеры Лабрюйера.

— Рано вам, малыш! Нельзя!

Сизи просил г-на де Комена ввести его в свой клуб. Барон, сжалившись, очевидно, над его самолюбием, сказал:

— Ах, чуть не забыл! Поздравляю, дорогой мой: вы ведь выиграли пари!

— Какое пари?

— А там, на скачках, вы утверждали, что в тот же вечер будете у этой дамы.

У Фредерика было такое чувство, словно его хлестнули бичом. Но он сразу же успокоился, увидев смущенное лицо Сизи.

Действительно, уже на другой день, как только появился Арну, прежний ее любовник, ее Арну,— Капитанша стала раскаиваться. Они с Арну дали понять виконту, что он лишний, и выставили его вон, нимало не церемонясь.

Он сделал вид, что не расслышал. Барон прибавил:

— Что поделявает милейшая Роза? Попрежнему у нее такие красивые ножки? — Этими словами он хотел показать, что он был с нею в близких отношениях.

Фредерика обозлило это открытие.

— Тут нечего краснеть,— продолжал барон.— Дело неплохое!

Сизи щелкнул языком.

— Э, не такое уж хорошее!

— Вот как?

— Ну да, боже мой! Во-первых, я не нахожу в ней ничего особенного, и потом ведь таких, как она, можно получить сколько угодно. Ведь как-никак это... товар!

— Не для всех! — раздраженно возразил Фредерик.

— Ему кажется, что он — не как все! — сказал Сизи.— Вот забавник!

Гости засмеялись.

Сердце так билось у Фредерика, что он задышался. Он выпил залпом два стакана воды.

Но у барона сохранились приятные воспоминания о Розанетте.

— Она попрежнему с неким Арну?

— Ничего не могу сказать,— ответил Сизи.— Я не знаю этого господина!

Тем не менее он стал утверждать, что Арну мошенник.

— Позвольте! — крикнул Фредерик.

— Однако это несомненно! У него даже был процесс!

— Неправда!

Фредерик вступился за Арну. Он ручался за его честность, даже сам поверил в нее, придумывал цифры, доказательства. Виконт, злой и к тому же пьяный, упрямылся, и Фредерик строго спросил его:

— Вы, сударь, хотите меня оскорбить?

И взгляд, брошенный им на виконта, был жгуч, как кончик его сигары.

— О, ничуть! Я даже согласен, что у него есть нечто весьма хорошее: его жена.

— Вы ее знаете?

— Еще бы! Софи Арну — кто ее не знает!

— Как вы сказали?

Сизи поднялся и, запинаясь, повторил:

— Кто ее не знает!

— Замолчите! Она не из тех, у кого вы бываете!

— Надеюсь!

Фредерик швырнул ему в лицо тарелку.

Она молнией пролетела над столом, повалила две бутылки, разбила салатник, раскололась на три куска, ударившись о серебряную вазу, и попала виконту в живот.

Все вскочили, чтобы удержать его. Он выбивался, кричал, был в ярости. Г-н дез-Онэ твердил:

— Успокойтесь! Ну полно, дитя мое!

— Но ведь это ужасно! — вопил наставник.

Форшамбо был бледен как полотно и дрожал; Жозеф громко хохотал; лакеи вытирали вино, подымали с пола осколки, а барон затворил окно, ибо, несмотря на стук экипажей, шум могли услышать и на бульваре.

В ту минуту, когда Фредерик бросил тарелку, все говорили разом; поэтому оказалось невозможным определить, что дало повод к оскорблению, кто был причиной — сам ли Арну или г-жа Арну, Розанетта или еще кто-нибудь другой. Несомненно было одно — ни с чем несравнимая грубость Фредерика: он решительно отказался выразить малейшее раскаяние.

Г-н дез-Онэ попытался смягчить его, кузен Жозеф также; о том же старались наставник и даже Форшамбо. Барон тем временем успокаивал Сизи, который проливал слезы, ослабев от нервного потрясения. Раздражение Фредерика, напротив, все усиливалось, и дело, может быть, осталось бы в том же положении до самого утра, если бы барон не сказал, желая положить этому конец:

— Милостивый государь, виконт пришлет к вам завтра своих секундантов.

— В котором часу?

— В полдень, если разрешите.

— К вашим услугам, милостивый государь.

Очутившись на улице, Фредерик вздохнул полной грудью. Слишком уж долго он сдерживался: наконец-то он дал себе волю! Он чувствовал какую-то мужественную гордость, наплыв внутренней силы, опьянявшей его. Ему нужно было двух секун-

дантов. Первый, о ком он подумал, был Режембар, и он тотчас же направился в известный ему кабачок на улице Сен-Дени. Ставни были закрыты. Но в окошке над дверью блеснул свет. Дверь открылась, и он вошел, низко наклонив голову, чтобы пройти под навесом.

В пустом помещении горела свечка, поставленная на прилавок у самого края. Все табуреты, ножками вверх, стояли на столах. Хозяйка и слуга ужинали в углу, у двери в кухню, и Режембар, сидевший в шляпе, разделял их трапезу и даже слегка стеснял слугу, который при каждом глотке принужден был поворачиваться боком к столу. Фредерик коротко рассказал Режембару, в чем дело, и объяснил свою просьбу. Гражданин сперва ничего не ответил; он вращал глазами, как будто раздумывая, несколько раз обошел комнату и, наконец, сказал:

— Да, с удовольствием!

И кроважидная улыбка блеснула на его лице, сгладив морщины, когда он узнал, что противник — аристократ.

— Уж мы не дадим ему спуску, будьте спокойны! Во-первых, дуэль на шпагах...

— Но, может быть,— заметил Фредерик,— я не имею права...

— Говорю вам — надо драться на шпагах! — резко возразил Гражданин.— Умеете вы фехтовать?

— Немножко.

— А-а, немножко! Все вы таковы! А рвутся в бой! А что значат какие-то уроки фехтования! Слушайте же: держитесь подальше от противника, закрывайте круг и отступайте, отступайте! Это разрешается. Утомляйте его! Потом бросайтесь на него совершенно открыто. А главное — никаких хитростей, никаких ударов во вкусе Ла-Фужера! Нет, просто раз-два, отбой. Вот смотрите! Надо поворачивать кисть, как будто вы отпираете ключом... Дядюшка Вотье, дайте вашу трость! Ага! Вот это мне и нужно.

Он схватил палку, с помощью которой зажигали газ, округлил правую руку, согнул левую в локте и стал наносить удары стене. Он притоптывал ногой, оживился, даже делал вид, как будто встречает препятствия, кричал: «Попался, а? Попался?» — и на стене вырисовывался его огромный силуэт, а шляпа словно касалась потолка. Хозяин время от времени приговаривал: «Браво! Прекрасно!» Супруга его, хотя и была взволнована, тоже восхищалась, а Теодор, бывший солдат, к тому же ярый поклонник г-на Режембара, от изумления присос к полу.

На следующий день рано утром Фредерик поспешил в магазин, где служил Дюссардьё. Миновав ряд помещений, где всюду видны были материи, сложенные на полках или выставленные на прилавках, а на деревянных подставках в виде грибов раз-

вешаны были шали, он обнаружил Дюссардые в какой-то клетке, за решеткой, среди счетных книг: он писал, стоя перед конторкой. Славный малый тотчас же бросил свои дела.

Секунданты прибыли ровно в двенадцать. Фредерик счел более приличным не присутствовать при переговорах.

Барон и г-н Жозеф заявили, что их удовлетворит самое простое извинение. Но Режембар, державшийся правила никогда не уступать и считавший долгом своим защищать честь Арну (Фредерик ни о чем другом ему не говорил), потребовал, чтобы извинения принес виконт. Г-н де Комен был возмущен этой наглостью. Гражданин не желал идти на уступки. Примирение становилось совершенно невозможным, и дуэль была решена.

Возникли новые затруднения, так как по правилам выбор оружия принадлежал оскорбленному Сизи. Но Режембар утверждал, что, посылая вызов, он тем самым выступает как обидчик. Секунданты Сизи возмутились, говоря, что пощечина как-никак жесточайшее оскорбление. Гражданин, придравшись к словам, возразил, что удар не пощечина. Наконец решено было обратиться к военным, и все четыре секунданта ушли, чтобы где-нибудь в казармах посоветоваться с офицерами.

Они остановились у казармы на набережной Орсе. Г-н де Комен обратился к двум капитанам и изложил им предмет спора.

Капитаны ничего не поняли, так как замечания, которые вставлял Гражданин, только запутывали дело. В конце концов они предложили секундантам составить протокол, прочитав который, они смогут вынести решение. Тогда перешли к кафе. Ради большей осторожности Сизи в протоколе обозначили буквою Г., а Фредерика — буквою К.

Потом вернулись в казарму. Офицеров не было. Но они показались вновь и объявили, что выбор оружия, несомненно, принадлежит г-ну Г. Все отправились к Сизи. Режембар и Дюссардые остались на улице.

Виконт, узнав об этом решении, так взволновался, что несколько раз заставил повторить его, а когда г-н де Комен заговорил о требованиях Режембара, он пролепетал: «Однако же!», втайне склоняясь к тому, чтобы согласиться на них. Тут он опустился на кресло и заявил, что не будет драться.

— Как? Что? — спросил барон.

Из уст Сизи полился беспорядочный поток слов. Он хотел стрелять в упор, через платок, и чтобы был один пистолет.

— Или пусть в стакан насыплют мышьяку и бросят жребий. Это иногда делается, я читал!

Барон, человек нрава не особенно терпеливого, принял более резкий тон:

— Господа секунданты ждут вашего ответа. Это неприлично в конце концов! Что вы выбираете? Ну! Шпагу, что ли?

Виконт кивнул головой, что означало «да», и дуэль была назначена на следующее утро, ровно в семь часов у заставы Майо.

Дюссардые был вынужден вернуться к себе в магазин; сообщить об всем Фредерику пошел Режембар.

Фредерик целый день оставался без вестей; его нетерпение перешло всякие пределы.

— Тем лучше! — воскликнул он.

Гражданин был доволен его самообладанием.

— От нас требовали извинений, вообразите! Пустяк, одно какое-нибудь словечко! Но я им показал! Ведь я так и должен был поступить, не правда ли?

— Разумеется, — сказал Фредерик и подумал, что было бы лучше пригласить другого секунданта.

Потом, уже оставшись один, он несколько раз повторил вслух:

— Я буду драться на дуэли. Да, я буду драться! Забавно!

Раскаживая по комнате и очутившись перед зеркалом, он заметил, что лицо его бледно.

— Уж не боюсь ли я?

Страшное беспокойство овладело им при мысли, что на дуэли он оробеет.

— А если убьют, что тогда? Мой отец тоже погиб на дуэли. Да, меня убьют!

И вдруг ему представилась его мать в трауре; бессвязные образы замелькали в его мыслях. Он был в отчаянии от своего малодушия. Его обуял порыв храбрости, охватила жажда истребления. Он не отступил бы перед целым батальоном. Когда его возбуждение улеглось, он с радостью почувствовал, что непоколебим. Чтобы рассеяться, он пошел в театр, где давали балет, послушал музыку, поглядел на танцовщиц, а в антракте выпил стакан пунша. Но, вернувшись домой и увидев свой кабинет, обстановку, среди которой находился, быть может, в последний раз, он ощутил какую-то слабость.

Он спустился в сад. Сверкали звезды; он предался созерцанию их. Мысль, что он будет драться за женщину, возвышала, облагораживала его в собственных глазах. И он спокойно лег спать.

Иначе вел себя Сизи. Когда барон уехал, Жозеф сделал попытку пробудить в нем бодрость, но виконт не поддавался уговорам, и он ему сказал:

— Однако, любезный, если ты предпочитаешь замять дело, я пойду скажу им.

Сизи не решился ответить: «Да, конечно», но затаил гнев против своего кузена, который не оказал ему этой услуги без его ведома.

Он желал, чтобы Фредерик умер этой ночью от апоплексического удара или чтобы произошло восстание и наутро оказалось столько баррикад, что доступ к Булонскому лесу стал бы невозможен; или чтобы какое-нибудь препятствие помешало явиться одному из секундантов, ибо за отсутствием секунданта поединок не состоялся бы. Ему хотелось умчаться на курьерском поезде, все равно куда. Он жалел, что не знает медицины и не может принять такого снадобья, которое, не подвергая жизнь опасности, усыпило бы его и заставило считать его мертвым. Он дошел до того, что ему захотелось тяжело заболеть.

Ища совета и поддержки, он послал за г-ном дез-Онэ. Оказалось, что этот достойный человек уехал к себе в Сентонж, получив депешу о болезни одной из дочерей. Сизи это показалось дурным предзнаменованием. К счастью, зашел его навестить г-н Везу, его наставник. Тут начались излияния.

— Как же поступить? Боже мой, как поступить?

— Я бы на вашем месте, граф, нанял на Крытом рынке какого-нибудь молодца, чтобы он вздул того.

— Все равно, он поймет, кто его подослал! — заметил Сизи. Время от времени он испускал стон.

— А разве закон разрешает драться на дуэли?

— Это пережиток варварства! Что поделаешь!

Педагог из любезности напросился на обед. Воспитанник его ничего не ел, а после обеда почувствовал потребность пройтись.

Когда они проходили мимо церкви, он сказал:

— Не зайти ли... посмотреть?

Г-н Везу охотно согласился и даже сам предложил ему святой воды.

Был май месяц, алтарь украшали цветы, слышалось пение, звучал орган. Но молиться он был не в состоянии; богослужение напоминало ему о похоронах, в ушах у него как будто раздавалось гудение *De Profundis*.¹

— Пойдемте! Мне не по себе!

Всю ночь они играли в карты. Виконт старался проигрывать, чтобы умиловить рок, и г-н Везу этим воспользовался. Наконец на рассвете Сизи, совсем изнемогающий, уронил голову на зеленое сукно и погрузился в дремоту, полную неприятных сновидений.

Однако если храбрость есть желание побороть слабость, то виконт проявил храбрость, ибо, увидев секундантов, которые пришли за ним, он накрепко все силы, — самолюбие говорило ему,

¹ «Из глубины воззвах...» (лат.) — псалом, читаемый во время погребальных богослужений.

что отступление его погубит. Г-н де Комен похвалил его за бодрость.

Но, сидя в фиакре, от тряски и солнечного зноя он ослабел. Энергия его исчезла. Он даже не узнавал улиц, по которым они проезжали.

Барон развлекался тем, что еще усиливал его страх, заговаривая о «труп» и о том, как его тайком провезти в город. Жозеф отвечал в том же тоне. Оба они, считая это дело нелепостью, были убеждены, что оно уладится.

Сизи ехал, понуриив голову; он тихо поднял ее и заметил, что не взяли с собой врача.

— Это ни к чему, — сказал барон.

— Так, значит, опасности нет?

Жозеф ответил торжественно:

— Будем надеяться!

Больше никто не заговаривал в карете.

В десять минут восьмого прибыли к заставе Майо. Фредерик и его секунданты находились уже там, все трое одетые в черное. Режембар вместо обычного галстука надел галстук военный, на конском волосе; в руках у него был длинный ящик вроде футляра для скрипки, всегда фигурирующий в подобных случаях. Дуэлянты холодно обменялись поклонами. Затем все направились в глубь Булонского леса, по Мадридской дороге, чтобы выбрать подходящее место.

Режембар сказал Фредерику, который шел между ним и Дюссардьё:

— Ну, а насчет страха как обстоит дело? Если вам что-нибудь нужно — не стесняйтесь, я ведь понимаю! Боязнь свойственна человеку.

И, понизив голос, добавил:

— Не курите больше, это действует расслабляюще!

Фредерик бросил сигару, которая ему мешала, и твердым шагом продолжал путь. Виконт шел сзади, поддерживаемый своими секундантами.

Навстречу изредка попадались прохожие. Небо было голубое, и порою в траве раздавался шорох — прыгали кролики. На повороте тропинки женщина в клетчатом платке разговаривала с мужчиной в блузе, а вдоль большой аллеи, обсаженной каштанами, конюхи в полотняных куртках прогуливали лошадей. Сизи вспоминались те счастливые дни, когда, верхом на своем буром жеребце, с моноклем в глазу, он гарцевал рядом с какой-нибудь коляской; воспоминания усиливали его тоску; его мучила невыносимая жажда; жужжание мух сливалось для него с пульсацией его собственной крови; ноги его вязли в песке; ему казалось, что путь продолжается целую вечность.

Секунданты, не останавливаясь, пристально смотрели по

сторонам дороги. Начали обсуждать, куда идти — к Кателанскому кресту или к Багательской стене. Наконец свернули направо и, дойдя до какой-то рощицы, остановились под соснами.

Место выбрали так, чтобы обоих противников поставить в одинаковые условия. Отметим, куда им следует стать. Потом Режембар отпер свой ящик. В нем на красной сафьяновой подушке лежали четыре очаровательные шпаги, с выемками посредине, с филигранными украшениями на рукоятках. Яркий луч, прорезав листву, упал на них, и Сизи они показались серебряными змеями, сверкнувшими над лужей крови.

Гражданин показал, что все они равной длины; третью он взял сам, чтобы в случае необходимости разнять противников. У г-на де Комена была трость. Наступило молчание.

У всех на лицах читалась растерянность или жестокость.

Фредерик снял сюртук и жилет. Жозеф помог Сизи сделать то же самое; когда он развязал галстук, все заметили, что у него на шее образок. У Режембара это вызвало улыбку жалости.

Тогда г-н де Комен (чтобы еще дать Фредерику время на размышление) попытался кое к чему придраться. Он оговаривал право надеть перчатку, схватиться за шпагу противника левой рукой. Режембар, которому не терпелось, не возражал. Наконец барон обратился к Фредерику:

— Все зависит от вас, сударь! В признании своих ошибок нет ничего постыдного.

Дюссардь в знак согласия кивнул головой. Гражданин пришел в негодование:

— Что же, по-вашему, мы сюда уток щипать пришли; чорт возьми!.. По местам!

Противники стояли друг против друга, секунданты по сторонам каждого. Режембар крикнул:

— Начинайте!

Сизи ужасно побледнел. Кончик его шпаги дрожал, как хлыст. Он запрокинул голову, раскинул руки и упал на спину, лишившись чувств. Жозеф поднял его и, поднеся к его носу флакон с солью, стал изо всех сил трясти. Виконт открыл глаза и вдруг, как безумный, ринулся к своей шпаге. Фредерик со своей шпагой не расставался и ждал противника, твердо глядя вперед и держа руку наготове.

— Остановитесь! Остановитесь! — донесся с дороги чей-то голос, и раздался топот лошади, пущенной вскачь; сучья ломались о верх кабриолета. Человек, высунувшись из экипажа, махал платком и продолжал кричать: — Остановитесь, остановитесь!

Г-н де Комен, думая, что это вмешалась полиция, поднял трость:

— Довольно! Перестаньте! Виконт ранен!

— Я ранен? — спросил виконт.

В самом деле, он, падая, оцарапал себе большой палец левой руки.

— Да это он когда падал, — пояснил Гражданин.

Барон притворился, что не расслышал.

Арну выскочил из кабриолета.

— Я опоздал? Нет! Слава богу!

Он облапил Фредерика, щупал его, покрывая поцелуями его лицо.

— Я знаю причину; вы заступились за старого друга! Вот это хорошо! Да, хорошо! Никогда этого не забуду! Какой вы добрый! Ах, милое дитя!

Он смотрел на него и, смеясь от радости, в то же время проливал слезы. Барон обернулся к Жозефу:

— Думаю, мы лишние на этом маленьком семейном празднике. Все ведь кончено, господа, не правда ли? Виконт, повяжите руку. Вот, возьмите мой платок.

И с повелительным жестом прибавил:

— Полно же! Миритесь! Таков обычай.

Противники нехотя пожали друг другу руки. Виконт, г-н де Комен и Жозеф удалились в одну сторону, а Фредерик со своими приятелями — в другую.

Так как поблизости находился ресторан «Мадрид», то Арну предложил зайти туда выпить по стакану пива.

— Можно бы и позавтракать, — сказал Режембар.

Но Дюссардье спешил, и пришлось ограничиться легкой закуской в саду. Все испытывали то блаженное состояние, которое наступает вслед за счастливой развязкой. Гражданин все-таки досадовал, что дуэль прервали в самый интересный момент.

Арну узнал о ней от приятеля Режембара, некоего Компена, и в великодушном порыве поспешил к месту дуэли, чтобы помешать ей, думая, впрочем, что он является причиной. Он попросил Фредерика рассказать ему подробности. Фредерику, которого тронула нежность Арну, было совестно поддерживать в нем заблуждение.

— Бога ради, довольно об этом!

В его сдержанности Арну увидел большую деликатность. И тут же, с обычным своим легкомыслием, он перешел на другую тему:

— Что нового, Гражданин?

И они заговорили о вексях, платежных сроках. Чтобы устроиться поудобнее, они даже пересели к другому столу и стали там шептаться.

Фредерик разобрал слова:

— Вы мне подпишете?

— Да. Но вы-то, разумеется...

— Я, наконец, перепродал за триста! Выгодное дело, право! Словом, было ясно, что Арну и Гражданин обдeldывают множество всяких дел.

Фредерик хотел напомнить ему о своих пятнадцати тысячах. Но его давешнее появление исключало возможность упреков, даже самых мягких. К тому же он чувствовал усталость. Место было неподходящее. Он отложил до другого раза.

Арну, сидя в тени жасминного куста, курил и был очень весел. Окинув взглядом двери отдельных кабинетов, которые все выходили в сад, он сказал, что бывал здесь прежде весьма часто.

— И не один, наверно? — спросил Гражданин.

— Еще бы!

— Какой вы шалопай! Ведь женатый человек!

— Ну, а вы-то! — продолжал Арну и, снисходительно улыбувшись, заметил: — Я даже убежден, что у этого бездельника где-нибудь имеется комната и он там принимает девочек.

В знак того, что это правда, Гражданин только повел бровью. Тут оба они начали излагать свои вкусы. Арну теперь больше нравилась молодежь, работницы; Режембар терпеть не мог «жеманниц» и ценил прежде всего положительные свойства. Вывод, к которому приходил торговец фаянсом, был тот, что не следует относиться к женщинам серьезно.

«А свою жену он все-таки любит», — думал Фредерик, возвращаясь домой, и Арну казался ему человеком бесчестным. Он сердился на него за эту дуэль, как будто ради него он только что рисковал жизнью.

Дюссардьe он был благодарен за его преданность; приказчик, которого он настойчиво приглашал к себе, в конце концов стал каждый день посещать его.

Фредерик давал ему книги: Тьера, Дюлора, Баранта, «Жирондистов» Ламартина. Добрый малый внимательно слушал и принимал его мнения как мнения наставника.

Однажды вечером он явился в полном смятении.

Утром того дня на бульваре на него наскочил какой-то человек, несшийся во весь опор, и, узнав в нем одного из друзей Сенекаля, сказал ему:

— Его сейчас схватили, мне пришлось бежать!

Это была совершенная правда. Дюссардьe весь день навoдил справки. Сенекаль, обвиняемый в политическом преступлении, сидел теперь в тюрьме.

Родом из Лиона, сын мастера и ученик одного из адептов Шалье, он, едва только приехал в Париж, сразу же вступил в члены «Общества семейств»; образ жизни его был известен; полиция за ним следила. В мае 1839 года он был в числе сра-

жавшихся и с тех пор держался в тени, но, все более и более возбуждаясь, фанатически поклоняясь Алибо, не видя разницы между недовольством, которое внушало ему общество, и злобой, возбуждаемой в народе монархией, он всякое утро просыпался с надеждой на революцию, которая в две недели или в месяц изменит мир. Выведенный из терпения нерешительностью своих собратьев, взбешенный задержками, которые отдаляли его мечту, отчаявшись в своей родине, он в качестве химика вступил в ряды заговорщиков, изготовлявших зажигательные бомбы, и был застигнут врасплох по пути на Монмартр, где собирался испытать действие пороха, который нес с собой,— последнее средство к установлению республики.

Дюссардьё она была не менее дорога, чем Сенекалью, ибо в его представлении она означала свободу и всеобщее счастье. Однажды,— ему тогда было пятнадцать лет,— он на улице Трансьонен возле бакалейной лавочки увидел солдат со штыками, красными от крови; к прикладам их ружей прилипли волосы. С тех пор правительство возмущало его как воплощение несправедливости. Жандармы и убийцы мало чем отличались друг от друга в его представлении; сыщик был для него то же, что отцеубийца. Все зло, которое разлито на земле, он, в своей простоте, приписывал Власти и ненавидел ее ненавистью органической, непрестанной, всецело владевшей его сердцем и изощрявшей его чувствительность. Тирады Сенекалья ослепили его. Виновен он или невиновен и преступна ли его попытка — не все ли равно? С той минуты, как он стал жертвой Власти, надо было ему помогать.

— Пэры вынесут ему, конечно, обвинительный приговор! А потом его увезут в арестантской карете, как каторжника, и запрут в тюрьме на Мон-Сен-Мишель, где правительство морит их всех! Остен сошел с ума! Штейбен покончил с собой! Когда Барбеса переводили в каземат, его тащили за ноги, за волосы! Его топтали ногами, и голова у него подскакивала на каждой ступеньке. Какой ужас! Подлецы!

Он задыхался, рыдая от гнева, и метался по комнате в страшной тоске.

— Надо все-таки что-нибудь сделать! Послушайте, я-то ведь не знаю что! Если бы мы попробовали освободить его, а? Когда его поведут в Люксембург, можно напасть в коридоре на конвойных! Десяток смельчаков — те всюду пройдут!

Глаза его так горели, что Фредерик вздрогнул.

Сенекаль показался ему теперь значительнее, чем он думал. Он вспомнил, сколько тот перестрадал, как строг был его образ жизни; не разделяя энтузиазма Дюссардьё, он все же почувствовал восхищение, которое возбуждает всякий человек, приносящий себя в жертву идее. Он говорил себе, что если бы он

ему помог, Сенекаль не дошел бы до этого, — и приятели усердно пытались изобрести какой-нибудь способ, чтобы его спасти.

Добраться до него оказалось невозможным.

Фредерик справлялся в газетах о его судьбе и в течение трех недель посещал читальни.

Как-то раз ему под руку попало несколько номеров «Весельчака». Передовая неизменно бывала посвящена уничтожению какой-нибудь известной личности. Затем следовали светская хроника, сплетни. Далее шли насмешки над «Одеоном», над Карпентра, над рыбоводством и над приговоренными к смерти, если таковые были. Исчезновение океанского парохода послужило на целый год темой для шуток. Художественные корреспонденции занимали третий столбец, где в форме анекдотов или советов давались рекламы портных, помещались отчеты о балах, объявления о распродажах, разбор книг и тем же стилем писалось о томике стихов и о какой-нибудь паре сапог. Единственным серьезным отделом был обзор маленьких театров, представлявший ожесточенные нападки на двух-трех директоров; а для рассуждения об интересах искусства критику давали повод какие-нибудь декорации в театре «Канатных плясунов» или актриса на роли любовниц в театре «Отдохновение».

Фредерик уже хотел отложить все это, как вдруг его взгляд упал на статью, озаглавленную: «Курочка и три петуха». Это была история его дуэли, изложенная стилем резвым и развязным. Он без труда узнал самого себя, так как по его адресу много раз повторялась шутка: «Юноша, прошедший в Санском коллеже курс наук, но ничему не научившийся». Он даже был изображен жалким провинциалом, низкородным простаком, старающимся водить знакомство со знатью. Что касается виконта, то роль благородного героя играл он — и во время ужина, куда он явился незванный, и в истории с пари, ибо он увозил с собой даму, и, наконец, на дуэли, во время которой он вел себя как подобает дворянину. Храбрость Фредерика, правда, не отрицалась, но автор статьи давал понять, что посредник, то есть сам «покровитель», явился как раз во-время. Все это заканчивалось фразой, таившей, быть может, коварнейшие намерения:

«Откуда такая нежность? Вот вопрос! И, как говорит дон Базильо, кого, чорт возьми, здесь обманывают?»

Это, без всякого сомнения, была месть Юссонэ Фредерику за отказ в пяти тысячах франков.

Что было делать? Если он потребует объяснений от Юссонэ, тот будет уверять его в своей невинности, и он ничего не добьется. Лучше молча проглотить пилюлю. Никто в конце концов не читает этого «Весельчака».

Выйдя из читальни, он увидел, что перед лавкой торговца картинами толпится народ. Взоры привлекал женский портрет, под которым была подпись, сделанная черными буквами: «Мадмуазель Роз-Аннет Брон. Собственность г-на Фредерика Моро из Ножана».

Да, это была она, или почти она, изображенная en face, с открытой грудью, распущенными волосами и с красным бархатным кошельком в руке; а из-за ее плеча просовывал клюв павлин, огромный хвост которого, точно веер, выделялся на фоне стены.

Пеллерен выставил картину, чтобы заставить Фредерика заплатить, в полной уверенности, что знаменит и что Париж примкнет к нему и воодушевится этими дрызгами.

Уж не заговор ли это? Не сообща ли художник и журналист подготовили нападение?

Его дуэль ничего не изменила. Он становится смешон, все издеваются над ним.

Дня через три, в последних числах июня, акции Северной компании поднялись на пятнадцать франков, благодаря чему Фредерик, купивший их в прошлом месяце на две тысячи, получил целых тридцать тысяч франков. Эта ласка судьбы вернула ему уверенность. Он решил, что ни в ком не нуждается, что все его неудачи происходят от его робости, его неуверенности. С Капитаншей надо было сразу же поступить гораздо решительнее, с самого начала прогнать Юссонэ, не вступать в отношения с Пеллереном и показать, что он не чувствует никакой неловкости. Он отправился к г-же Дамбрёз на один из ее обычных вечеров.

В передней Мартинон, приехавший одновременно с ним, обернулся.

— Как, ты здесь? — спросил он, удивленный и даже довольный тем, что видит его.

— А почему бы и нет?

И, стараясь угадать причину, почему он встречается такой прием, Фредерик прошел в гостиную.

Несмотря на лампы, зажженные по углам комнаты, освещение казалось тусклым: все три окна, широко распахнутые, слишком уж резко выделялись большими черными четырехугольниками, бросая тень. Под картинами возвышались жардиньерки в человеческий рост, а в глубине комнаты отражались в зеркале серебряный чайник и самовар. Слышались негромкие голоса, скрип башмаков на ковре.

Он увидел черные фраки, потом его глазам представился круглый стол, освещенный лампой с большим абажуром; вокруг него сидело семь или восемь дам, одетых по-летнему, а немного дальше, в качалке, г-жа Дамбрёз. Она была в платье

из сиреневой тафты, с прорезами на рукавах, из-под которых вырывались кисейные сборки, и нежный тон материи гармонировал с цветом ее волос; она откинулась назад и ногу положила на подушку,— спокойная, как произведение искусства, полная изящества, как драгоценный цветок.

Г-н Дамбрёз с каким-то седовласым старцем прохаживались по гостиной взад и вперед. Некоторые из гостей, присев на козетки, беседовали небольшими группами; другие же, собравшись в кружок, стояли посредине.

Разговор шел о выборах, об изменениях, вносимых в законы, о дополнениях к этим изменениям, о речи г-на Грандена, об ответе на нее г-на Бенуа. Третья партия действительно зашла слишком далеко! Левому центру не следовало бы забывать историю своего возникновения! Министерство понесло большой ущерб! Утешительно, однако, что у него не нашлось бы преемников,— словом, положение было совершенно такое же, как в 1834 году.

Фредерик, которому все это было скучно, пошел к дамам. Мартинон находился подле них; он стоял, держа шляпу подмышкой, вполоборота, и вид имел столь благопристойный, что напоминал вещь из севрского фарфора. Он взял номер «Ревю де Дё Монд», валявшийся на столе между «Подражанием Христу» и «Готским альманахом», и свысока произнес свое суждение об одном знаменитом поэте; сказал, что посещает чтения, посвященные св. Франциску; пожаловался на свое горло, глотал конфетки от кашля; говорил о музыке, рисовался своей ветреностью. М-ль Сесиль, племянница г-на Дамбрёза, вышивавшая себе манжеты, искоса поглядывала на него своими бледноглубыми глазами, а мисс Джон, курносая гувернантка, даже бросила вышивание; обе как будто восклицали про себя: «Какой красавец!»

Г-жа Дамбрёз обернулась к нему:

— Дайте мне мой веер,— он там, на столике... Нет, нет, вы не там ищете! На другом!

Она встала, а так как тот уже возвращался с веером, то они встретились посреди гостиной лицом к лицу; она что-то резко сказала ему,— видимо, это был упрек, судя по надменному выражению ее лица. Мартинон попытался улыбнуться, потом присоединился к кружку солидных мужчин. Г-жа Дамбрёз снова села и, перегнувшись через ручку кресла, сказала Фредерику:

— Я третьего дня видела одного человека, который говорил со мной о вас,— господина де Сизи. Вы ведь с ним знакомы?

— Да... немножко...

Вдруг г-жа Дамбрёз воскликнула:

— Герцогиня! Ах, какое счастье!

И она направилась к самой двери, навстречу маленькой старушке в платье из серой тафты и кружевном чепце с длинными концами. Эта дама, дочь одного из товарищей по изгнанию графа д'Артуа и вдова наполеоновского маршала, ставшего пэром Франции в 1830 году, имела связи как при старом, так и при новом дворе и могла добиться очень многого. Гости, стоявшие посреди комнаты, расступились, и разговор продолжался.

Теперь тема беседы перешла на пауперизм, все описания которого, по мнению разговаривающих, были весьма преувеличены.

— Однако,— заметил Мартинон,— нищета существует, надо сознаться в этом! Но исцелить от нее не может ни наука, ни власть. Это чисто индивидуальный вопрос. Когда низшие классы захотят отделаться от своих пороков, нужда их кончится. Пусть народ станет более нравственным, и тогда не будет такой бедности!

Г-н Дамбрёз считал, что ничего нельзя ожидать хорошего, пока не будет избытка капиталов. «Итак, единственное средство — это вверить, как, впрочем, того хотели и сенсимонисты (ведь и у них, бог мой, кое-что было неплохо, будем ко всем справедливы), вверить, говорю я, дело прогресса людям, которые могут увеличить народное богатство».

Разговор незаметно коснулся крупных промышленных предприятий, железных дорог, угольных копей. И г-н Дамбрёз, обращаясь к Фредерику, тихо сказал ему:

— Вы так и не заехали поговорить о нашем деле.

Фредерик сослался на нездоровье, но чувствуя, что это слишком глупое оправдание, прибавил:

— К тому же мне тогда нужны были деньги.

— Чтобы купить коляску? — подхватила г-жа Дамбрёз, проходившая мимо с чашкой чая, и поглядела на него через плечо.

Она думала, что он любовник Розанетты; намек был ясен. Фредерику даже показалось, что все дамы, перешептываясь, издали смотрят на него. Чтобы лучше разобраться в том, что они думают, он опять направился к ним.

Мартинон, сидевший по другую сторону стола, подле м-ль Сесиль, перелистывал альбом. Это были литографии, изображавшие испанские костюмы. Мартинон читал вслух надписи: «Женщина из Севильи», «Садовник из Валенсии», «Андалузский пикадор» и вдруг, заметив написанное внизу страницы, залпом прочел:

— «Жак Арну, издатель». Кажется, один из твоих друзей?

— Да,— сказал Фредерик, оскорбленный его обращением.

— В самом деле,— подхватила г-жа Дамбрёз,— вы ведь однажды, как-то утром, приезжали... по поводу дома... так, кажется?.. да, да, дома, принадлежащего его жене.

Это означало: «Она — ваша любовница».

Он покраснел до ушей, а г-н Дамбрёз, подошедший в эту минуту, прибавил:

— Вы как будто даже принимали в них большое участие.

Слова эти окончательно смугили Фредерика. Его замешательство, которое, как он думал, заметили, должно было подтвердить подозрения, как вдруг г-н Дамбрёз, подойдя к нему еще ближе, серьезным тоном сказал:

— Надеюсь, у вас с ним нет общих дел?

Фредерик в знак отрицания стал трясти головой, не понимая, с какой целью спрашивает его об этом капиталист, на самом деле желавший дать ему совет.

Ему хотелось уехать. Боязнь показать свое малодушие удержала его. Лакей убирал чайные чашки; г-жа Дамбрёз разговаривала с дипломатом в синем фраке; две девушки, касаясь друг друга лбами, рассматривали кольцо; остальные, разместившись полукругом в креслах, тихонько поворачивали друг к другу свои белые лица, окаймленные черными или светлыми волосами; словом, никому до него не было дела. Фредерик пошел к двери и, проделав ряд зигзагов, уже почти достиг выхода, как вдруг, проходя мимо консоли, заметил засунутую между китайской вазой и стеной сложенную пополам газету. Он потянул ее и прочитал название: «Весельчак».

Кто принес ее сюда? Сизи! Никто иной, разумеется. Впрочем, не все ли равно! Они поверят; они все, быть может, уже поверили статье. Почему такое ожесточение? Молчаливая насмешка окружала его. Он чувствовал себя словно потерянным в пустыне. Но вдруг раздался голос Мартинона:

— Кстати, по поводу Арну. В списке обвиняемых по делу о зажигательных бомбах я увидел имя одного из его служащих — Сенекалья. Это не наш ли?

— Он самый,— ответил Фредерик.

Мартинон повторил, громко вскрикнув:

— Как! Наш Сенекаль?! Наш Сенекаль?!

Тут его начали расспрашивать о заговоре; благодаря своей службе в суде он должен быть осведомлен.

Он уверял, что сведений у него нет. Вообще же это лицо было ему мало знакомо, так как он видел его всего лишь два-три раза; в конечном счете он находил, что это изрядный негодяй. Фредерик, возмущенный, воскликнул:

— Ничуть! Он честнейший малый!

— Однако, сударь,— заметил один из богачей,— честные люди не участвуют в заговорах!

Большинство мужчин, находившихся здесь, служило по крайней мере четырем правительствам, и они готовы были продать Францию или род человеческий, чтобы спасти свое богатство, избежать неудобства или даже просто из врожденной подлости, заставлявшей их поклоняться силе. Все объявили, что политическим преступлениям нет оправдания. Скорее уж можно простить те, которые вызваны нуждой! И не преминули привести в пример пресловутого отца семейства, который у неизменного булочника крадет неизменный кусок хлеба.

Какой-то крупный чиновник даже воскликнул:

— Сударь, если бы я узнал, что мой брат участвует в заговоре, то донес бы на него!

Фредерик сослался на право сопротивления и, вспомнив кое-какие фразы, слышанные им от Делорье, указал на Дезольма, Блекстона, на английский билль о правах и статью вторую конституции 91-го года. Именно в силу этого права и был низвергнут Наполеон; оно было признано в 1830 году, легло в основу хартии.

— Вообще, когда монарх нарушает свои обязательства, правосудие требует его низвержения.

— Но ведь это ужасно! — возгласила жена одного префекта.

Остальные хранили молчание, смутно напуганные, как будто услышали свист пуль. Г-жа Дамбрёз качалась в своем кресле и с улыбкой слушала Фредерика.

Какой-то промышленник, сам бывший карбонарий, попытался доказать ему, что Орлеанский дом — прекрасная семья; правда, есть и злоупотребления...

— Ну так что же?

— Так не надо говорить о них, дражайший! Если бы вы знали, как вредно отражаются на делах все эти крики оппозиционеров!

— Дела — я и знать их не хочу! — отрезал Фредерик.

Эти прогневшие старики возмущали его, и, поддавшись порыву храбрости, который охватывает порою и самых робких, он напал на финансистов, на депутатов, на правительство, на короля, стал защищать арабов, наговорил много глупостей. Кое-кто иронически его подбадривал: «Ну, ну, продолжайте!», а другие бормотали: «Чорт возьми, какой пыл!» Наконец он счел приличным удалиться, и когда он уже уходил, г-н Дамбрёз, намекая на место секретаря, сказал ему:

— Ничто не решено еще окончательно! Но вам надо потопиться!

А г-жа Дамбрёз проговорила:

— До скорого свидания, не правда ли?

Эти слова, сказанные на прощанье, Фредерик счел последней насмешкой. Он принял решение никогда не возвращаться в этот дом, не посещать больше этих людей. Он думал, что оскорбил их, ибо не знал, каким широким запасом равнодушия обладает свет. В особенности возмущали его женщины. Ни одна из них не поддержала его хотя бы сочувственным взглядом. Он сердился на них за то, что они не были взволнованы его речами. А в г-же Дамбрёз он находил какую-то томность и в то же время сухость, мешавшую ему охарактеризовать ее формулой. Есть ли у нее любовник? Что это за любовник? Дипломат или кто-нибудь другой? Пожалуй, Мартинон? Не может быть! Однако Мартинон вызывал в нем нечто вроде ревности, а она — необъяснимую злобу.

Его ждал Дюссардьё, каждый вечер навещавший его. Сердце у Фредерика было переполнено, он отвел душу, и жалобы его, хотя они были смутны и непонятны, опечалили приказчика. Фредерик жаловался даже на свое одиночество. Дюссардьё, хотя и колебался немного, предложил зайти к Делорье.

Когда было произнесено имя адвоката, Фредерик почувствовал страстное желание увидеться с ним. Он глубоко ощущал свое умственное одиночество, а общество Дюссардьё его не удовлетворяло. Пускай Дюссардьё устраивает все по своему усмотрению, — таков был его ответ.

Делорье со времени их ссоры тоже чувствовал, что в жизни чего-то не хватает. Он без труда пошел навстречу дружескому примирению.

Друзья обнялись и завели разговор на безразличные темы.

Сдержанность Делорье тронула Фредерика, и, чтобы как-нибудь оправдаться перед ним, он рассказал ему о том, как лишился пятнадцати тысяч франков, умолчав, что первоначально они предназначались ему. Однако адвокат не сомневался в этом. Неприятность, случившаяся с Фредериком и подкреплявшая его предубеждения против Арну, совершенно обезоружила его досаду, и он уже больше не напоминал о прежнем обещании.

Фредерик, введенный в заблуждение его молчанием, подумал, что Делорье о нем забыл. Через несколько дней он спросил друга, нет ли возможности получить обратно эти деньги.

Можно было бы оспаривать действительность предыдущих закладных, обвинить Арну в незаконной продаже, предъявить иск к его жене.

— Нет, нет! Только не к ней! — воскликнул Фредерик и в ответ на настойчивые вопросы бывшего клерка сказал ему правду.

Делорье остался уверен в том, что Фредерик, вероятно из деликатности, признался не во всем. Такое недоверие его обидело.

Однако они попрежнему были дружны, и быть вместе доставляло им такое удовольствие, что присутствие Дюссардьё стало их даже тяготить. Под предлогом, что у них деловые свидания, они мало-помалу от него избавились. Есть люди, назначение которых в том, чтобы служить посредником для других; через них переходят, как через мост, и направляются дальше.

Фредерик ничего не скрывал от своего старого друга. Он рассказал ему о каменноугольной компании и о предложении г-на Дамбрёза. Адвокат погрузился в задумчивость.

— Странно! На это место надо было бы человека, сведущего в вопросах права!

— Но ты мог бы помочь мне,— ответил Фредерик.

— Да, верно... чорт возьми! Разумеется.

На этой же неделе Фредерик показал ему письмо матери.

Г-жа Моро каялась в том, что неправильно судила о г-не Рокке, который дал ей теперь удовлетворительные объяснения своих поступков. Затем она писала о его богатстве и о возможности для Фредерика жениться в будущем на Луизе.

— Это, пожалуй, было бы неглупо! — сказал Делорье.

Фредерик с жаром отвергал эту возможность; дядюшка Рокк к тому же старый мошенник. По мнению адвоката, это ничего не значило.

В конце июля северные акции по непонятной причине упали в цене; Фредерик не успел продать своих, он сразу потерял шестьдесят тысяч франков. Доходы его значительно уменьшились. Надо было или сократить расходы, или найти себе занятие, или поправить дело выгодным браком.

Тут Делорье стал говорить ему о м-ль Рокк. Ничто не мешает ему съездить туда и собственными глазами взглянуть, что там делается. Фредерик несколько утомлен, а провинция и материнский дом будут для него отдыхом. И Фредерик собрался в путь.

Проезжая по улицам Ножана, освещенным луною, он перенесся в мир далеких воспоминаний и почувствовал тоску, как те, кто возвращается из долгих странствований.

У матери сидели все ее обычные гости: г-да Гамблен, Эдра и Шамбрион, семейство Лебрэн, барышни Ожэ и, кроме того, дядюшка Рокк, а за карточным столом, против г-жи Моро — Луиза. Теперь она была взрослой женщиной. Она встала, вскрикнула. Все зашевелились. Она застыла на месте, а свет, который бросали четыре свечи, стоявшие на столе

в серебряных подсвечниках, еще усиливал ее бледность. Когда она снова взялась за карты, рука ее дрожала. Ее волнение безмерно польстило Фредерику, гордость которого была уязвлена; он решил: «Ты-то уж меня полюбишь!» — и, вознаграждая себя за все огорчения, перенесенные там, он принялся разыгрывать роль парижанина, светского льва, сообщал театральные новости, рассказывал великосветские анекдоты, почерпнутые из плохоньких газет, — словом, поразил своих земляков.

На другой день г-жа Моро стала расписывать сыну качества Луизы, затем перечислила леса и фермы, которые должны были достаться ей. Состояние г-на Рокка было значительно.

Он составил себе капитал, ссужая под проценты деньги г-на Дамбрёза; займы он давал только лицам, которые могли представить солидные гарантии, что позволяло ему выпрашивать комиссионные или отчисления в свою пользу. Ссуды, благодаря бдительному надзору, не подвергались никакому риску. Впрочем, дядюшка Рокк никогда не останавливался и перед наложением ареста; затем он по низкой цене скупал заложенные имения, а г-н Дамбрёз, видя, как растет капитал, находил, что дела его ведутся отлично.

Но эти незаконные проделки компрометировали его в глазах управляющего. Дамбрёз ни в чем не мог ему отказать. Именно по настояниям Рокка он так хорошо принимал Фредерика.

На самом деле дядюшка Рокк лелеял в душе честолюбивый замысел. Ему хотелось, чтобы дочь его стала графиней, и он не знал другого молодого человека, благодаря которому удалось бы, не ставя на карту счастье дочери, достигнуть этой цели.

Покровительство г-на Дамбрёза могло бы доставить Фредерику титул его деда, ибо г-жа Моро была дочь графа де Фуван и к тому же находилась в родстве с самыми старинными фамилиями Шампани — Лавернадами и д'Этриньи. Что касается самих Моро, то готическая надпись, которую можно было видеть вблизи мельниц города Вильнев-Ларшевек, гласила о некоем Жакобе Моро, отстроившем их вновь в 1596 году, а могила его сына, Пьера Моро, главного шталмейстера при Людовике XIV, находилась в часовне св. Николая.

Г-н Рокк, сын лакея, был заворожен всем этим величием. Если бы не удалось добиться графской короны, то утешение он отыскал бы в другом; когда г-н Дамбрёз будет возведен в пэры, Фредерик может стать депутатом и тогда будет содействовать Рокку в его делах, добывать ему поставки, концессии. Сам по себе молодой человек ему нравился. И, наконец, он хотел выдать за него дочь потому, что уже давно вбил себе в голову эту мысль, все глубже укоренявшуюся.

Теперь он стал посещать церковь, а г-жу Моро ему удалось соблазнить главным образом надеждой на титул. Все же она остерегалась дать окончательный ответ.

Через неделю, хотя никакого предложения еще не делалось, Фредерик уже считался «женихом» м-ль Луизы, и дядюшка Рокк, человек мало щепетильный, иногда оставлял их вдвоем.

V

Делорье получил от Фредерика копию закладной и доверенность, составленную по форме и дававшую ему все полномочия; но когда, поднявшись к себе на пятый этаж, он очутился один в своем унылом кабинете и уселся в своем кожаном кресле, вид гербовой бумаги вызвал в нем омерзение.

Он устал от всего — и от обедов по тридцать два су, и от поездок в омнибусе, и от своей бедности, и от своих усилий. Он взялся за бумаги; тут же были и другие: проспект каменноугольной компании и список рудников с указанием их размеров, — Фредерик передал ему все это, чтобы узнать его мнение.

У него явилась мысль отправиться к г-ну Дамбрёзу и попросить у него место секретаря. Конечно, этого места не получить, если не приобрести известного количества акций. Он понял нелепость своего плана и решил:

«Ах, нет! Это было бы гадко».

Тогда он стал придумывать, каким бы способом получить обратно пятнадцать тысяч франков. Для Фредерика такая сумма ничего не значила. Но, владей этой суммой он, какой бы то был могучий рычаг! И бывший клерк возмущался, за чем у его друга большое состояние.

«Он так глупо пользуется им. Он эгоист. Ах, очень мне нужны его пятнадцать тысяч!»

Ради чего дал он их в долг? Ради прекрасных глаз г-жи Арну? Она его любовница! Делорье в этом не сомневался. «Вот на что еще идут деньги!» Им овладели злые мысли.

Потом он задумался о самой личности Фредерика. Он всегда поддавался ее обаянию, почти женственному, и вот он уже опять восхищался его успехом, на который себя самого считал неспособным.

Однако же разве воля не есть главный элемент во всяком начинании? А если с помощью воли все можно преодолеть... «Вот было бы забавно!»

Но он устыдился своего вероломства, а минуту спустя подумал:

«Что это? Неужели я испугался?»

Г-жа Арну (оттого, что он так много о ней слышал) необычайными красками рисовалась в его представлении. Это постоянно в любви раздражало его, как неразрешимая загадка. Несколько неестественная строгость ее нрава наскучила ему теперь. Вообще же светская женщина (или то, что он под этим подразумевал) ослепляла фантазию адвоката как символ и как выражение тысячи неизведанных наслаждений. Живя в бедности, он стремился к роскоши в самой ее яркой форме.

«В конце концов если он и рассердится — пускай! Он слишком нехорошо поступил со мной, чтобы я стал церемониться! У меня нет доказательств, что она его любовница! Он сам это отрицает. Значит, я ничем не связан!»

Желание сделать этот шаг уже не покидало его. Ему хотелось испытать свои силы, и вот однажды он сам вычистил себе сапоги, купил белые перчатки и пустился в путь, воображая себя на месте Фредерика и почти отождествляя себя с ним и переживая своеобразный психологический процесс, в котором сочетались жажда мести и симпатия, подражание и дерзость.

Он велел доложить о себе: «Доктор Делорье».

Г-жа Арну удивилась, так как не посылала за врачом.

— Ах, виноват! Я ведь доктор права. Я пришел к вам по делу господина Моро.

Это имя как будто смутило ее.

«Тем лучше! — подумал бывший клерк. — Не отвергла его, не отвергнет и меня», — успокаивал он себя прописной истиной, будто любовника легче вытеснить, чем мужа.

Он имел удовольствие встретиться с нею однажды в суде; он даже назвал день и число. Такая памятьливость удивила г-жу Арну. Он вкрадчивым голосом продолжал:

— Вы и тогда уже... находились... в затруднительных обстоятельствах!

Она ничего не ответила; значит, это была правда.

Он заговорил о том, о сем, о ее квартире, о фабрике; потом, заметив возле зеркала несколько медальонов, сказал:

— Ах, наверно, семейные портреты!

Он обратил внимание на портрет пожилой женщины, матери г-жи Арну.

— Судя по лицу, чудесная женщина, типичная южанка.

Оказалось, что она родом из Шартра.

— Шартр? Красивый город.

Он похвалил Шартрский собор и пироги, затем, вернувшись к портрету, обнаружил в нем сходство с г-жой Арну и сказал ей кстати несколько косвенных комплиментов. Это ее не оскорбило. Он стал увереннее и сообщил, что давно знаком с Арну.

— Славный малый, но компрометирует себя! Например, вот эта закладная... Нельзя себе представить, до какого легкомыслия...

— Да, я знаю, — ответила она, пожав плечами.

Презрение, невольное высказанное ею, ободрило Делорье, и он продолжал:

— История с фарфоровой глиной, — вам это, может быть, неизвестно, — чуть было не кончилась очень скверно, и даже его доброе имя...

Увидев нахмуренные брови, он осекся.

Тогда, перейдя к темам более общим, он стал жалеть бедных женщин, мужа которых проматывают состояние.

— Но это же его состояние, у меня ничего нет!

Все равно! Ведь трудно сказать... Опытный в делах человек мог бы быть полезен. Он просил верить в его преданность, располагать им, стал превозносить свои собственные достоинства, а сам через поблескивавшие очки смотрел ей прямо в лицо.

Она поддавалась какому-то смутному оцепенению, но вдруг пересилила себя:

— Прошу вас, перейдемте к делу!

Он открыл папку.

— Вот доверенность Фредерика. Если такой документ окажется в руках судебного пристава, а тот распорядится как надо, — дело просто: тут в двадцать четыре часа... (Она оставалась невозмутимой; он изменил тактику.) Мне, впрочем, непонятно, что его заставило требовать эту сумму, — ведь он совершенно не нуждается в ней!

— Позвольте! Господин Моро был так добр...

— О, не спорю!

И Делорье принялся расхваливать Фредерика, а потом постепенно стал его чернить, изобразив человеком, не помнящим добра, себялюбивым, скупым.

— Я думала, сударь, что он вам друг.

— Это не мешает мне видеть его недостатки. Так, например, он плохо умеет ценить... как бы это сказать?.. ту симпатию...

Г-жа Арну перелистывала толстую тетрадь. Она прервала его, попросив объяснить ей какое-то слово.

Он склонился к ее плечу, и так близко, что коснулся ее щеки. Она покраснела; этот румянец воспламенил Делорье; он поцеловал ее руку, впился в нее губами.

— Что вы делаете, сударь?

И вот, стоя у стены, она уже глядела на него большими негодующими глазами, и от этого взгляда он застыл на месте.

— Выслушайте меня! Я люблю вас!

Она рассмеялась, рассмеялась резким, неумолимым, убийственным смехом. Делорье почувствовал такую ярость, что готов был задушить ее. Он сдержался и с видом побежденного, который молит о пощаде, сказал:

— Ах, как вы неправы! Я бы не стал, как он...

— О ком это вы?

— О Фредерике!

— Ну, господин Моро меня мало интересуется, я ведь сказала вам!

— О, простите, простите!

Он язвительно прибавил, растягивая слова:

— А я думал, вы настолько не безучастны к нему, что вам доставит удовольствие узнать...

Она побледнела. Бывший клерк прибавил:

— Он женится!

— Женится?

— Через месяц — самое позднее, на мадмуазель Рокк, дочери управляющего господина Дамбрёза. Поэтому-то он и уехал в Ножан, только поэтому.

Она поднесла руку к сердцу, как будто ей нанесли сильный удар, но тотчас же схватилась за звонок. Делорье не стал ждать, чтобы его выгнали. Когда она обернулась, его уже не было.

Г-жа Арну почти задыхалась. Она подошла к окну подышать свежим воздухом.

По ту сторону улицы, на тротуаре, упаковщик, сняв сюртук, заколачивал ящик. Проезжали экипажи. Она затворила окно и опять села. Высокие соседние дома напротив скрывали солнце, и в комнату падал холодный свет. Детей не было дома; во круг было тихо. Все как будто отступились от нее.

«Он женится! Может ли это быть?»

Ее охватила нервная дрожь.

«Что это? Разве я люблю его?»

И вдруг она ответила себе:

«Да, да, люблю!.. Люблю его!..»

Ей казалось, что она падает куда-то глубоко, что ее падению нет конца. Часы пробили три. Она слушала, как замирает звон. И продолжала сидеть на краю кресла, улыбаясь все той же улыбкой, неподвижно глядя вперед.

В тот же день, в тот же самый час Фредерик и м-ль Луиза гуляли по саду, которым г-н Рокк владел в конце острова. Старая Катерина издали следила за ними. Они шли рядом, и Фредерик говорил:

— Помните, как я вас брал с собой за город?

— Как вы были добры ко мне! — ответила она. — Вы мне помогали делать пирожки из песка, наливали мне лейку, качали меня на качелях...

— А что случилось с вашими куклами, которых вы называли маркизами и королевами?

— Право, не знаю!

— А ваш песик Черныш?

— Утонул, бедняжка!

— А «Дон-Кихот», в котором мы вместе раскрашивали картинки?

— Он до сих пор у меня!

Фредерик напомнил ей о ее первом причастии и как она была мила во время вечерни в белой вуали и с большой свечой в руке, когда вместе с другими девочками обходила алтарь под звон колокольчика.

Вероятно, для м-ль Рокк в этих воспоминаниях было мало привлекательного; она ничего не ответила, а минуту спустя сказала:

— Противный! Ни разу не написал мне!

Фредерик сослался на свои многочисленные занятия.

— Что же такое вы делаете?

Вопрос несколько затруднил его; он ответил, что занимался изучением политики.

— Ах, вот как!

И не спрашивая его больше, она прибавила:

— Вам, конечно, интересно, а мне...

И она рассказала ему, как ей скучно живется, как она одинока, никого не видит, не знает никаких удовольствий, развлечений. Теперь ей хочется ездить верхом.

— Викарий находит, что для девушки это неприлично. Что за глупая вещь — приличия! Раньше мне позволяли делать все, что я хочу, а теперь ничего нельзя!

— Но ведь ваш отец любит вас!

— Да, но все-таки...

Она вздохнула, и вздох ее значил: «Для моего счастья этого мало».

Наступило молчание. И только скрипел песок под их ногами, а вдали шумела вода. Сена выше Ножана делится на два рукава. Рукав, который приводит в движение мельницы, в этом месте рвется из берегов — так силен здесь напор воды, — а ниже сливается с естественным руслом; и если миновать мосты, то направо, на противоположном берегу, над откосом, где зеленеет дерн, будет виден белый дом; налево, на лугах, — ряды тополей, а прямо — горизонт, ограниченный изгибом реки. В ту минуту она была гладкая, как зеркало; большие насекомые скользили по недвижной воде; заросли камыша и тростника

неровной каймой тянулись вдоль берегов; к воде подступали, распускаясь, лютики, свешивались гроздья каких-то желтых цветов, перемежаясь высокими кустиками с лиловыми цветами, кое-где выступали пряди зелени. Заводь была усеяна белыми кувшинками, и ряд старых ив, под которыми ставились капканы, с этой стороны острова заменял всякую изгородь.

В самом саду, окруженный каменной оградой с черепичным коньком, находился огород, где бурыми квадратами выделялись участки недавно взрыхленной земли. Над узкой грядкой с дынями блестели, вытянувшись в ряд, стеклянные колпаки; гряды с артишоками, фасолью, шпинатом, морковью и помидорами чередовались вплоть до участка, отведенного под спаржу, которая казалась рощицей из перьев.

Во время Директории все это место представляло собою то, что тогда называлось «капризом». Деревья с тех пор непомерно разрослись. В крытых аллеях они заплетались ломоносом, дорожки затянулись мхом, всюду в изобилии виднелась сорная трава. В траве крошились обломки гипсовых статуй. Ноги цеплялись за обрывки проволоки. От павильона остались только две нижние комнаты с ободранными синими обоями. Вдоль фасада тянулась крытая дорожка на итальянский лад, где на столбиках из кирпича держалась деревянная решетка, обитая виноградом.

Они пошли по дорожке; лучи проникали сквозь неровные просветы в зелени, и Фредерик, идя рядом с Луизой и разговаривая с ней, наблюдал на ее лице игру тени от листьев.

Волосы у нее были рыжие, а в шиньон была воткнута булавка со стеклянной шишечкой изумрудного цвета, и, хотя Луиза все еще носила траур, на ногах у нее были (до такой наивности доходила она в своем безвкусии) соломенные туфли, отделанные розовым атласом, — пошлая диковинка, купленная, очевидно, где-нибудь на ярмарке.

Он это заметил и обратился к ней с ироническим комментарием.

— Не смейтесь надо мной! — ответила она.

И, окинув его взглядом с головы до ног, от серой фетровой шляпы до шелковых носков, сказала:

— Какой вы франт!

Потом она попросила указать ей книги для чтения. Он назвал целый ряд, и она промолвила:

— Ах, вы очень ученый!

Еще совсем ребенком она полюбила его той детской любовью, которая дышит религиозной чистотой и вместе с тем исполнена непреодолимой страсти. Он был для нее товарищем, братом, учителем, развлекал ее мысли, заставлял биться сердце и невольно погружал ее в тайное и непрестанное опьянение.

Потом он уехал, бросив ее как раз в трагическую минуту перелома, в день смерти ее матери, и оба горя слились. За годы разлуки он еще вырос в ее воспоминании; вернулся он, окруженный каким-то ореолом, и она простодушно отдавалась счастью видеть его снова.

Фредерик первый раз в жизни чувствовал себя любимым, и от этого сладостного ощущения, которое казалось не больше, чем обычное ощущение удовольствия, в нем как будто что-то росло, и он протянул руки и откинул голову.

По небу в это время двигалась большая туча.

— Она ползет к Парижу,— сказала Луиза.— Вам бы хотелось последовать за ней, правда?

— Мне? Почему?

— Как знать!

И, уколот его острым, подозрительным взглядом, сказала:

— Может быть, у вас там есть (она искала слова)... привязанность.

— Ах, нет у меня привязанностей!

— Наверно?

— Ну да, разумеется, мадмуазель Луиза!

Не прошло и года, а в девушке совершилась необычайная перемена, удивившая Фредерика. Минуту помолчав, он прибавил:

— Нам надо было бы говорить друг другу «ты», как прежде. Хотите?

— Нет.

— Почему же?

— Так!

Он настаивал. Она ответила, опустив голову:

— Я не смею.

Они были теперь в самом конце сада, около запруды. Фредерик, шалости ради, стал бросать камешки в воду. Она приказала ему сесть. Он повиновался: спустя немного он промолвил, глядя на реку, образовавшую здесь водопад:

— Прямо Ниагара!

Он заговорил о дальних странах, длинных путешествиях. Мысль о путешествиях пленяла ее. Ничто не испугало бы ее — ни бури, ни львы.

Сидя рядом, они набирали пригоршни песку и, пропуская его сквозь пальцы, продолжали беседовать; а теплый ветер дул с полей и порывами приносил им благоухание лаванды, смешанное с запахом дегтя, который шел от баржи, стоявшей по ту сторону плотины. Солнце озаряло водопад; на зеленоватые камни, по которым, как по стенке, струилась вода, была словно накинута прозрачная серебряная ткань, развертывавшаяся без конца. Внизу мерными брызгами рассыпалась длинная полоса

пены. А там возникали водовороты, вода бурлила, струи сталкивались и, наконец, сливались в один прозрачный и гладкий, как пелена, поток.

Луиза прошептала, что завидует рыбам.

— Нырять, спускаться в самую глубину — это, должно быть, так приятно, такое приволье! И чувствовать, как тебя со всех сторон что-то ласкает.

Она вздрагивала, и в этой дрожи была сладострастная вкрадчивость.

Но раздался голос:

— Где ты?

— Вас няня зовет,— сказал Фредерик.

— Пускай.

Луиза не двигалась с места.

— Она рассердится,— продолжал он.

— Мне все равно! И вообще...

М-ль Рокк давала понять, что няня у нее в подчинении.

Все же она поднялась, потом начала жаловаться на головную боль. А когда они подошли к большому сараю, где сложены были вязанки прутьев, она сказала:

— Не запрятаться ли нам туда да пошалить?

Он притворился, будто не понимает ее, и, придравшись к местному говору, скрывавшемуся в ее произношении, даже принялся дразнить ее. Уголки ее рта понемногу начали вздрагивать, она уже кусала себе губы и, закапризничав, отстала от него.

Фредерик вернулся к ней, поклялся, что не хотел ее обидеть и что он очень любит ее.

— Правда? — вскрикнула она, глядя на него с улыбкой, от которой засветилось все ее лицо, слегка усеянное веснушками.

Он покорился этой смелости чувства, этой юной свежести и продолжал:

— Зачем бы мне лгать тебе?.. Ты сомневаешься, а? — и обнял ее за талию левой рукой.

Крик, нежный, как воркованье, вырвался из ее груди; голова откинулась назад, она теряла сознание; он ее поддержал. И внушения совести тут были бы даже излишни; перед этой девушкой им овладел страх. Он помог ей пройти несколько шагов, совсем медленно. Нежные слова кончились, и, стараясь беседовать с ней только о вещах безразличных, он коснулся ножанского общества.

Вдруг она оттолкнула его и с горечью в голосе воскликнула:

— У тебя нехватит смелости увезти меня!

Он застыл на месте, страшно изумленный. Она зарыдала, спрятав голову у него на груди.

— Разве я могу жить без тебя?

Он старался ее успокоить. Она положила ему руки на плечи; чтобы лучше видеть его, вперила в него свои зеленые глаза, влажные и почти хищные.

— Хочешь быть моим мужем?

— Но...— сказал Фредерик, пытаясь придумать ответ.— Конечно... я только этого и желаю.

В этот миг из-за куста сирени появилась фуражка г-на Рокка.

Он пригласил своего «молодого друга» совершить с ним поездку по его имениям и два дня возил его по окрестностям. Фредерик, когда вернулся, застал дома три письма.

Первое было от г-на Дамбрёза, который звал его на обед в прошлый вторник. Откуда такая любезность? Ему, значит, простили его выходку?

Второе было от Розанетты. Она благодарила его за то, что он ради нее рисковал жизнью. Фредерик сначала не понял, что она имеет в виду; далее, после всяких обиняков, она умоляла его, взывая к его дружеским чувствам, умоляла «на коленях», вынужденная крайней необходимостью, как просят о куске хлеба, чтобы он выручил ее, выдав небольшое пособие — пятьсот франков. Он тотчас же решил послать ей эти деньги.

Третье письмо, от Делорье, касалось закладной и было длинно и несвязно. Адвокат еще ни на чем не остановился. Он уговаривал его не утруждать себя: «Возвращаться тебе не к чему» — и даже настаивал на этом с каким-то странным упорством.

Фредерик терялся в предположениях всякого рода, и ему захотелось вернуться в Париж; эти притязания на руководство его поступками возмущали его.

К тому же им снова овладевала тоска по бульварам, а мать так торопила его, г-н Рокк так обхаживал его и любовь м-ль Луизы была так сильна, что, не сделав предложения, он не мог здесь больше оставаться. Надо все это обдумать — издали будет виднее.

Чтобы объяснить свой отъезд, Фредерик выдумал какую-то историю и уехал, говоря всем, да и сам веря, что скоро вернется.

VI

Возвращение в Париж не порадовало его; был конец августа, вечер; бульвары, казалось, опустели, прохожие с хмурыми лицами следовали друг за другом, кое-где дымилась чаны с асфальтом, во многих домах ставни были наглухо закрыты. Он приехал к себе. Обоим покрылись слоями пыли, и Фредерик, обеда в полном одиночестве, поддался странному чувству, как будто он всеми покинут; тут он подумал о м-ль Рокк.

Мысль о женитьбе уже не казалась ему чем-то чудовищным. Они будут путешествовать, поедут в Италию, на Восток! И ему представлялась Луиза: она стоит на вершине холма, любитесь видом или, опираясь на его руку, осматривает флорентийскую галерею, останавливается перед картинами. Радостно будет видеть, как это милое существо расцветает под лучами Искусства и Природы! Оторвавшись от своей среды, она очень скоро станет прелестной подругой. К тому же его соблазняло и состояние г-на Рокка. Все же это решение было ему противно, как некая слабость, унижало его.

Но он был твердо намерен (чего бы это ни стоило) изменить свою жизнь, то есть не растрчивать сердце на бесплодные страсти, и даже колебался, исполнить ли поручение, данное ему Луизой. Надо было купить для нее у Жака Арну две большие раскрашенные статуэтки, изображавшие негров, совершенно такие, как в префектуре Труа. Она запомнила вензель фабриканта и хотела иметь точно такие же статуэтки. Фредерик боялся, что если он снова увидит Арну, в нем оживет былая любовь.

Весь вечер его занимали эти мысли; он собирался уже ложиться спать, как вдруг в комнату вошла женщина.

— Это я,— со смехом сказала м-ль Ватназ.— Я по поручению Розанетты.

Так, значит, они помирились?

— Боже мой, ну да! Я не злопамятна, вы же знаете. Вдобавок бедняжка Розанетта... Слишком долго рассказывать.

Короче говоря, Капитанша хотела ее видеть; она ждала ответа на свое письмо, пересланное из Парижа в Ножан. М-ль Ватназ не было известно его содержание. Тут Фредерик осведомился о Капитанше.

Теперь она жила с человеком очень богатым, русским князем Чернуковым, который видел ее прошлым летом во время скачек на Марсовом поле.

— Целых три экипажа, верховая лошадь, слуги в ливреях, грум по английской моде, загородный дом, ложа в Итальянской опере, еще много чего другого. Вот какие дела, дорогой мой.

И Ватназ, как будто и ей пошла на пользу перемена в судьбе Розанетты, казалось, повеселела, была вполне счастлива. Она сняла перчатки и стала рассматривать мебель и безделушки. Словно антиквар, она определяла их настоящую цену. Ему следовало бы спросить ее совета, тогда они достались бы ему гораздо дешевле. Она хвалила его вкус.

— Ах, премило, прекрасно! Никто лучше вас не сумеет!

Потом, заметив в алькове, позади изголовья постели, дверь, она спросила:

— Вы отсюда выпускаете дамочек, а?

И она дружески взяла его за подбородок. Он вздрогнул от прикосновения ее длинных рук, и худощавых и нежных. Рукава у ней были обшиты кружевами, а лиф зеленого платья был отделан шнурами, как у гусара. Черная тюлевая шляпа с опущенными полями слегка закрывала лоб; из-под шляпы блестели глаза; волосы пахли пачулями. Кинкет, стоявший на круглом столике, освещал ее снизу, словно театральная рампа, и от этого еще резче выделялся подбородок; и вдруг, глядя на эту некрасивую женщину, гибкую как пантера, Фредерик почувствовал непреодолимое вожделение, прилив животного сладострастия.

Вынув из кошелька три квадратных бумажки, она елейным тоном спросила:

— Ведь вы возьмете?

Это были три билета на бенефис Дельмара.

— Как! На его бенефис?

— Ну да!

М-ль Ватназ, не пускаясь в объяснения, прибавила, что обожает его больше, чем когда-либо. По ее словам, актер был окончательно признан современной «знаменитостью» и воплощал в себе не то или иное лицо, а самый гений Франции, народ! У него «гуманная душа, ему понятно таинство искусства». Чтобы положить конец этим восхвалениям, Фредерик поспешил заплатить ей за все три места.

— Там вы можете не говорить об этом... Боже мой, как поздно! Мне надо уходить... Ах, я чуть не забыла сказать адрес: улица Гранд-Вательер, четырнадцать.

Она уже стояла в дверях.

— Прощайте, человек, которого любят!

«Кто любит? — спрашивал себя Фредерик. — Что за странная особа!»

И ему пришло на память, что однажды Дюссардь сказал о ней: «О, многого она не стоит!», точно намекая на какие-то темные истории.

На другой день он отправился к Капитанше. Жила она в недавно выстроенном доме. Маркизы, затенявшие окна, выступали на улицу; на каждой площадке лестницы были зеркала в стене, перед окнами — карнизы с цветами, по ступеням спускалась полотняная дорожка. И того, кто входил с улицы, здесь обдавало приятной свежестью.

У Розанетты была и мужская прислуга — ему отворил лакей в красном жилете. В передней, словно в приемной у министра, сидели на скамейке женщина и двое мужчин — очевидно, поставщики — и ждали. Налево, через приоткрытую дверь столовой, видны были пустые бутылки на буфетах, салфетки на спинках стульев, а параллельно столовой тянулась галерея, где золоченые палки подпирали шпалеры роз. Внизу, во дворе, двое

слуг, засучив рукава, чистили коляску. Их голоса доносились наверх, смешиваясь с прерывистым стуком скребницы о камень.

Лакей вернулся, сказал: «Барыня просят» — и провел Фредерика через вторую переднюю и большую гостиную, обтянутую желтой парчой, со шнурами по углам, соединявшимися на потолке и как будто переходившими в крученые ветви люстры. Прошлою ночью здесь, очевидно, пировали: на консолях еще оставался пепел сигар.

Наконец он очутился в своего рода будуаре, который тускло освещался окнами с цветным стеклом. Над дверью красовались вырезанные из дерева трилистники; за балюстрадой три пурпурных матраца служили диваном, а на них валялась трубка платинового кальяна. Над камином вместо зеркала висела этажерка в виде пирамиды, и на полочках ее размещалась целая коллекция диковинок: старинные серебряные часы, богемские рожки, пряжки с драгоценными камнями, пуговицы из нефрита, эмали, китайские идолы, византийский образок богоматери в ризе из позолоченного серебра, — и все это в золотистом сумраке сливалось с голубоватым ковром, с перламутровым отблеском от табуретов, с коричневой рыжеватой кожаной обивкой стен. По углам на тумбочках стояли бронзовые вазы с букетами цветов, распространившими тяжелое благоухание.

Розанетта появилась в розовой атласной курточке, в белых кашемировых шароварах, с ожерельем из пиастров и в красной шапочке, вокруг которой вилась ветка жасмина.

Фредерик не мог скрыть своего изумления; овладев собой, он сказал, что принес «требуемое», и подал ей банковый билет.

Она посмотрела на него весьма удивленно, он же, не зная, куда положить ассигнацию, продолжал держать ее в руке.

— Берите же!

Она схватила ее и бросила на диван.

— Вы очень любезны!

Нужно это было для уплаты ежегодного взноса за участок земли в Бельвю. Фредерик был обижен такой бесцеремонностью. Впрочем, тем лучше! Это отместка за прошлое.

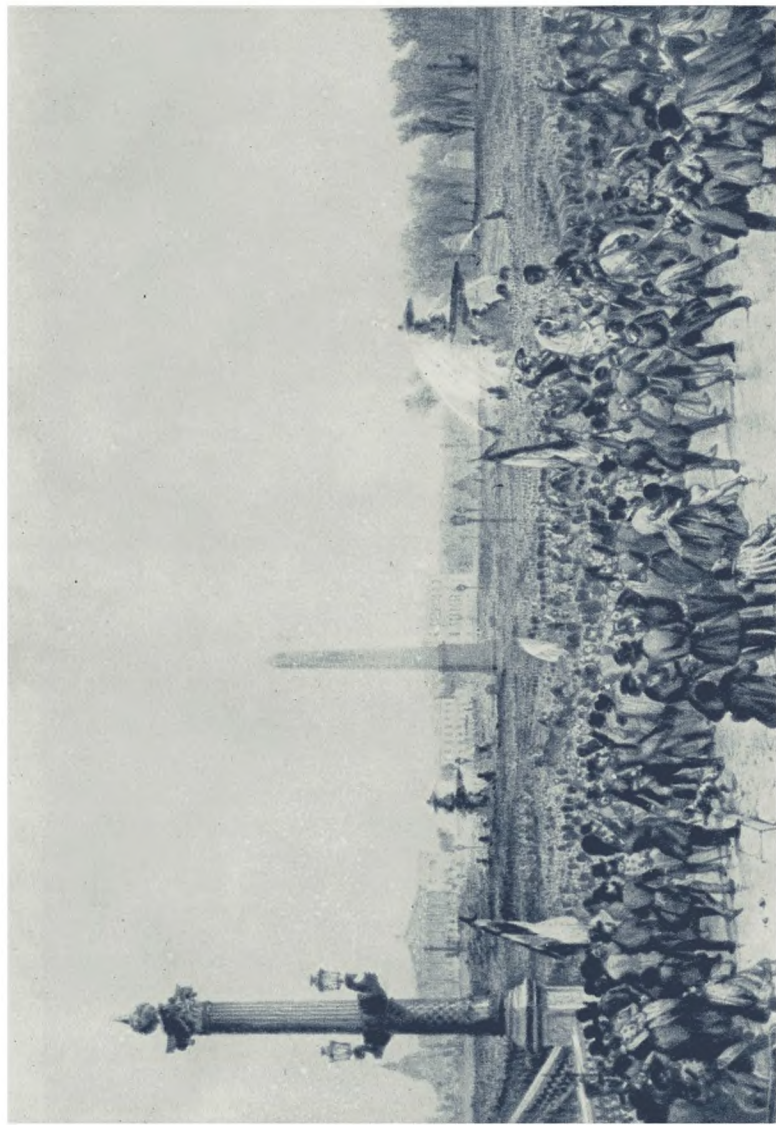
— Садитесь! — сказала она. — Вот сюда, поближе, — и перешла на серьезный тон: — Прежде всего я должна поблагодарить вас, дорогой мой: вы для меня рисковали жизнью.

— О, какие пустяки!

— Что вы! Это так прекрасно!

Благодарность Капитанши смущала его, ибо, должно быть, она думала, что дрался он исключительно из-за Арну, который, сам воображая это, очевидно, не выдержал и рассказал ей.

«Она, пожалуй, смеется надо мной», — размышлял Фредерик.



«Да здравствует реформа! Долой Гизо!»

Худ. Ж. Б. Арну и В. Адам. 1848.



«И оружие! Нас предали!»

Худ. Ж. Б. Арну и В. Адам. 1848.

Делать здесь ему было нечего, и, сославшись на деловое свидание, он поднялся.

— Нет, нет! Оставайтесь!

Он снова сел и похвалил ее костюм.

Она удрученно ответила:

— Князь любит, чтобы я так одевалась! И еще надо курить из этих штук,— прибавила Розанетта, показывая кальян.— А что, не отведаешь ли? Хотите?

Принесли огня; металлический сплав накалялся медленно, и Розанетта от нетерпения затопала ногами. Потом ее охватила какая-то вялость, и она неподвижно лежала на тахте, подложив подушку под руку, слегка изогнувшись, поджав одну ногу, а другую вытянув совершенно прямо. Длинная змея из красного сафьяна, лежавшая кольцами на полу, обвилась вокруг руки. Янтарный мундштук она поднесла к губам и, щури глаза, глядела на Фредерика сквозь дым, окутавший ее своими клубами. От дыхания Розанетты клокотала вода, и время от времени слышался ее шопот:

— Милый мальчик! Бедняжка!

Он старался найти приятную тему для разговора; ему вспомнилась Ватназ.

Он сказал, что она, по его мнению, была очень нарядна.

— Еще бы! — ответила Капитанша.— Счастье ее, что я существую! — и ни слова не прибавила: столько умолчаний было в их разговоре.

Оба чувствовали какую-то принужденность, что-то мешало им. Розанетта действительно считала себя причиной дуэли, которая льстила ее самолюбию. Ее очень удивило, что он не поспешил явиться к ней — похвастать своим подвигом, и, чтобы заставить его прийти, она и придумала, что ей нужны пятьсот франков. Почему же в награду он не просит ласки? То была утонченность, приводившая ее в изумление, и в сердечном порыве Розанетта предложила ему:

— Хотите, поедете с нами на морские купанья?

— С кем это — с нами?

— Со мной и моим гусем. Я, как в старинных комедиях, буду говорить, что вы мой двоюродный брат.

— Слуга покорный!

— Ну, так вы наймите себе квартиру поблизости от нас.

Прятаться от богатого человека ему казалось унижительным.

— Нет, это невозможно!

— Как угодно!

Розанетта отвернулась, на глазах у ней были слезы. Фредерик это заметил и, желая выразить ей участие, сказал, что его радует благополучие, которого она достигла.

Она пожала плечами. Кто же виновник ее огорчений? Или, быть может, ее не любят?

— О нет! Меня всегда любят!

И прибавила:

— Смотря какой любовью.

Жалуясь на жару, от которой она «задыхается», Капитанша сняла курточку, осталась в одной шелковой рубашке и, склонив голову на плечо, приняла позу рабыни, таящую соблазн.

Эгоист менее расчетливый не подумал бы о том, что может появиться и виконт, и г-н де Комен или еще кто-нибудь. Но Фредерика слишком часто обманывали эти взгляды, и он вовсе не хотел подвергаться новым унижениям.

Она интересовалась, с кем он водит знакомство, как развлекается; она осведомилась даже о его делах и предложила дать ему займы, если он нуждается в деньгах. Фредерик не выдержал и взялся за шляпу.

— Ну, дорогая, желаю вам веселиться! До свиданья.

Она вытаращила глаза, потом сухо сказала:

— До свиданья!

Он опять прошел через желтую гостиную и вторую переднюю. Там на столе, между вазой с визитными карточками и чернильницей, стоял серебряный чеканный ящичек. Это был ящичек г-жи Арну. Фредерик почувствовал умиление и вместе с тем стыд, словно был свидетелем святотатства. Ему хотелось дотронуться до него, открыть его. Он побоялся, что его заметят, и прошел мимо.

Фредерик остался добродетельным до конца. Он не заходил к Арну.

Он послал лакея купить статуэтки негров, снабдив его всеми необходимыми указаниями, и ящик в тот же вечер отправлен был в Ножан. На другой день, идя к Делорье, он на углу улицы Вивьен и бульвара столкнулся лицом к лицу с г-жой Арну.

Первым их движением было отступить назад, потом одна и та же улыбка появилась на их губах, и они подошли друг к другу. С минуту длилось молчание.

Солнце светило на нее, и ее овальное лицо, длинные брови, черная кружевная шаль, облегавшая ее плечи, ее шелковое платье сизого цвета, букет фиалок на шляпке — все показалось ему блистательным, несравненным. Бесконечную нежность лили ее глаза, и Фредерик наудачу пробормотал первые пришедшие ему в голову слова:

— Как поживает Арну?

— Благодарю вас!

— А ваши дети?

— Очень хорошо!

— Ах!.. Какая чудная погода, не правда ли?

- Да, прекрасная!
- Вы за покупками?
- Да.

И, наклонив голову, она сказала:

- Прощайте!

Она не протянула ему руки, не сказала ни одного ласкового слова, не пригласила его даже к себе — не все ли равно! Эту встречу он не отдал бы и за самое блестящее приключение и, продолжая путь, вспоминал ее сладость.

Делорье, которого удивило его появление, скрыл свою досаду, так как он, из упрямства, питал еще кой-какие надежды относительно г-жи Арну и написал ему в Ножан, советуя оставаться там именно для того, чтобы иметь свободу действий.

Однако он рассказал, что был у нее с целью узнать, обусловлена ли ее брачным контрактом общность имущества; в этом случае можно было бы предъявить иск и жене. И «какое у нее было выражение лица, когда я ей сказал о твоей женьтибе!»

- Ну! Это что за выдумка!

— Это было нужно, чтобы показать ей, зачем тебе понадобились деньги! Человек, равнодушный к тебе, не упал бы от этого в обморок, как она.

- Это правда? — воскликнул Фредерик.

— Ах, приятель, ты выдаешь себя! Ну, полно, будь откровенен!

Страшное малодушие овладело поклонником г-жи Арну.

- Да нет же... уверяю тебя... честное слово!

Эти вялые возражения окончательно убедили Делорье. Он поздравил его с успехом. Стал расспрашивать о «подробностях». Фредерик ничего не рассказал и даже преодолел желание выдумать эти подробности.

Что до закладной, то он попросил ничего не делать, подождать. Делорье нашел, что Фредерик неправ, и даже резко отчитал его.

Делорье был теперь, впрочем, еще мрачнее, озлобленнее и раздражительнее, чем раньше. Через год, если в судьбе его не наступит перемены, он отправится в Америку или пустит себе пулю в лоб. Словом, все приводило его в такую ярость, и радикализм его был столь безграничен, что Фредерик не удержался и сказал:

- Ты стал совсем как Сенекаль.

Тут Делорье сообщил ему, что Сенекаля выпустили из тюрьмы Сент-Пелажи, так как следствие, очевидно, не дало достаточных улик для судебного процесса.

По случаю его освобождения Дюссардьё на радостях захотел «позвать гостей на пунш» и пригласил Фредерика, все же

предупредив его, что он встретится с Юссонэ, который по отношению к Сенекалю проявил себя с лучшей стороны.

Дело в том, что «Весельчак» учредил теперь деловую контору, которая, судя по ее проспектам, состояла из «Канторы виноторговли — Отдела объявлений — Отдела взысканий — Справочной канторы» и т. д. Но Юссонэ опасался, как бы это предприятие не нанесло ущерба его литературной репутации, и пригласил математика вести книги. Хотя место было и неважное, все же, не будь его, Сенекаль умер бы с голоду. Фредерик, не желая огорчить честного малого, принял приглашение.

Дюссардье заранее, еще за три дня, сам натер красный каменный пол своей мансарды, выколотил кресло и вытер пыль с камина, где между сталактитом и кокосовым орехом стояли под стеклянным колпаком алебастровые часы. Трех его подсвечников — двух больших и одного маленького — было недостаточно, поэтому он занял у привратника еще два, и эти пять светильников сияли на комодке, покрытом для большей благопристойности салфетками, на которых разместились тарелки с миндальными пирожными, бисквитами, слобным хлебом и дюжина бутылок пива. Против комода, у стены, оклеенной желтыми обоями, в книжном шкафике красного дерева стояли «Басни» Лашамбоди, «Парижские тайны», «Наполеон» Норвена, а в алькове, выглядывая из палисандровой рамки, улыбалось лицо Беранже.

Приглашены были (кроме Делорье и Сенекалья) фармацевт, только что окончивший курс, но не имевший средств, чтобы завести свое дело; молодой человек, служивший в *его*, Дюссардье, магазине; комиссионер по винной торговле; архитектор и какой-то господин, служивший в страховом обществе. Режембар не мог прийти. Об его отсутствии жалели.

Фредерик был встречен очень радушно, так как благодаря Дюссардье все знали, что он говорил у Дамбрёза. Сенекаль ограничился тем, что с достоинством протянул ему руку.

Он стоял, прислонившись к камину. Остальные сидели с трубками в зубах и слушали его рассуждения о всеобщем избирательном праве, которое должно было вызвать победу демократии, осуществление евангельских принципов. Впрочем, время приближалось; в провинции то и дело устраиваются реформистские банкеты; Пьемонт, Неаполь, Тоскана...

— Это правда, — на полуслове перебил его Делорье, — так не может продолжаться.

И он стал обрисовывать положение дел:

— Голландию мы принесли в жертву, чтобы Англия признала Луи-Филиппа, а пресловутый союз с Англией пропал даром из-за испанских браков! В Швейцарии господин Гизо, по внушению Австрии, поддерживает трактаты тысяча восемьсот

пятнадцатого года. Пруссия и ее таможенный союз готовят нам хлопоты. Восточный вопрос остается открытым. Если великий князь Константин шлет подарки герцогу Омальскому, это еще не основание, чтобы полагаться на Россию. Что до внутренних дел, то никогда еще не видали такого ослепления, такой глупости. Большинство голосов — и то сомнительно. Словом, всюду, следуя известной поговорке, ничего, ничего! И, несмотря на такой позор, они, — продолжал адвокат подбоченясь, — заявляют, что удовлетворены!

Этот намек на знаменитый случай с голосованием вызвал аплодисменты. Дюссардые откупорил бутылку пива; пена забрызгала занавески, он не обратил на это внимания; он набивал трубку, резал сдобный хлеб, потчевал им, несколько раз спускался вниз справиться, не готов ли пунш; а гости не замедлили прийти в возбуждение, так как все одинаково негодовали на Власть. Негодование их было сильно и питалось одной только ненавистью к несправедливости; но наряду с правильными обвинениями слышались и самые нелепые упреки.

Фармацевт сокрушался о жалком состоянии нашего флота. Страховой агент не мог простить маршалу Сульту, что у его подъезда стоят два часовых. Делорье обличал иезуитов, которые открыто обосновались в Лилле. Сенекаль гораздо сильнее ненавидел г-на Кузена, ибо эклектизм, научая нас черпать свои убеждения в разуме, развивает эгоизм, разрушает солидарность. Комиссионер по винной торговле, мало понимая в этих вещах, во всеуслышание заметил, что о многих подлостях забыли.

— Королевский вагон на Северной железной дороге должен обойтись в восемьдесят тысяч франков! Кто за него заплатит?

— Да, кто за него заплатит? — подхватил приказчик с такой яростью, как будто эти деньги взяты из его кармана.

Посыпались жалобы на биржевиков-эксплуататоров и на взяточничество среди чиновников. По мнению Сенекаля, причину зла надо было искать выше и обвинять прежде всего принцев, воскрешавших нравы Регентства.

— Знаете ли вы, что на днях друзья герцога Монпансье, возвращаясь из Венсена, должно быть пьяные, потревожили своими песнями рабочих предместья Сент-Антуан?

— И им даже кричали: «Долой воров!» — сказал фармацевт. — Я тоже был там, тоже кричал!

— Тем лучше! После процесса Тест — Кюбьера народ, наконец, просыпается.

— А меня этот процесс огорчил, — сказал Дюссардые. — Опозорили старого солдата!

— А известно ли вам, — продолжал Сенекаль, — что у герцогини де Прален нашли...

Но тут кто-то ударил ногой в дверь, и она распахнулась. Вошел Юссонэ.

— Приветствую вас, синьоры! — сказал он, усаживаясь на кровать.

Ни одного намека не было сделано на его статью; впрочем, он в ней теперь раскаивался, ибо ему основательно попало за нее от Капитанши.

Он прибыл из театра Дюма, где смотрел «Кавалера де Мезон-Руж» — пьесу, которую он нашел «невыносимой».

Подобное суждение удивило демократов, ибо благодаря своим тенденциям, вернее — своим декорациям, драма эта приходилась им по вкусу. Сенекаль, чтобы покончить спор, спросил, служит ли пьеса на пользу демократии.

— Да, пожалуй... но что за стиль!

— Так, значит, пьеса хороша. Что такое стиль? Важна идея!

И, не дав Фредерику возразить, продолжал:

— Итак, я утверждал, что в деле Прален...

Юссонэ прервал его:

— Ах, старая песня! Надоела она мне!

— И не только вам, — заметил Делорье. — Из-за нее закрыли уже пять газет! Послушайте-ка эти цифры.

И, вынув записную книжку, он прочитал:

— «С тех пор как утвердилась «лучшая из республик», состоялось тысяча двести двадцать девять процессов по делам печати, плодами которых для авторов явились: три тысячи сто сорок один год тюремного заключения и небольшой штраф на сумму семь миллионов сто десять тысяч пятьсот франков». Не правда ли, мило?

Все с горечью усмехнулись. Фредерик, возбужденный, как и все остальные, подхватил:

— У «Мирной демократии» сейчас процесс из-за романа, который она напечатала, — «Женская доля».

— Вот так так! — сказал Юссонэ. — А если нам запретят нашу «Женскую долю»?

— Да чего только не запрещают! — воскликнул Делорье. — Запрещают курить в Люксембургском саду, запрещают петь гимн Пию Девятому!

— Запрещают и банкет типографщиков! — глухо произнес чей-то голос.

Это был голос архитектора, сидевшего в алькове, в тени, и до сих пор молчавшего. Он добавил, что на прошлой неделе за оскорбление короля вынесли обвинительный приговор некоему Руже.

— Да, у Руже отняли ружье, — сказал Юссонэ.

Сенекаль нашел эту шутку столь неподходящей, что упрек-

нул Юссонэ в том, будто он защищает «фигляра из ратуши, друга предателя Дюмурье».

— Я защищаю? Напротив!

Луи-Филиппа он считал личностью пошлой, унылой, национальным гвардейцем, лавочником, каких мало. И, приложив руку к сердцу, журналист произнес сакраментальные фразы:

— Каждый раз с новым удовлетворением... Польский народ не погибнет... Наши великие начинания будут завершены... Не откажите мне в деньгах для моей дорогой семьи...

Все много смеялись и находили, что он чудесный, остроумный парень; веселье удвоилось, когда внесли чашу с пуншем, заказанным внизу, в ресторане.

Пламя спирта и пламя свечей быстро нагрело комнату; свет, падавший из окна мансарды во двор, достигал края противоположной крыши, где на фоне ночного неба черным столбом возвышалась труба. Говорили очень громко, все разом; скюртки сняли; кое-кто натыкался на мебель, звенели стаканы.

Юссонэ воскликнул:

— Пригласить сюда знатных дам, чтобы все это больше напоминало «Нельскую башню», чтобы ярче был местный колорит, чтобы получилось нечто во вкусе Рембрандта, чорт возьми!

А фармацевт, без конца размешивавший пунш, запел во все горло:

Два белых быка в моем стойле,
Два белых огромных быка...

Сенекаль зажал ему рот рукой, он не любил беспорядка. Жильцы выглядывали из окон, удивленные необычным шумом, который доносился из мансарды Дюссардые.

Добрый малый был счастлив и сказал, что ему вспоминаются их прежние сборища на набережной Наполеона; кое-кого, однако, нехватает, «так, например, Пеллерена»...

— Без него можно обойтись, — заметил Фредерик.

Делорье осведомился о Мартиноне:

— Что-то подельвает этот интересный господин?

Тут Фредерик, дав волю недружелюбным чувствам, которые он питал к Мартинону, стал критиковать ум, характер, его поддельный лоск, все в нем. Типичный выскочка из крестьянской среды! Новая аристократия — буржуазия — не может равняться с прежней знатью, с дворянством. Он настаивал на этом, а демократы соглашались, как будто Фредерик принадлежал к старой аристократии и как будто сами они бывали в домах новой знати. Фредериком были очарованы. Фармацевт сравнил его даже с г-ном д'Альтоя-Шэ, который, хоть и был пером Франции, стоял за народ.

Пора было расходиться. На прощанье пожимали друг другу руки; умиленный Дюссардые пошел провожать Фредерика и

Делорье. Едва они оказались на улице, адвокат словно задумался о чем-то и, с минуту помолчав, спросил:

— Так ты очень сердит на Пеллерена?

Фредерик не стал скрывать своей досады.

Но ведь художник снял же с выставки свою пресловутую картину. Не стоит ссориться из-за пустяков! Зачем наживать себе врага?

— Он поддался вспышке гнева, извинительной, когда у человека пусто в кармане. Тебе-то ведь это непонятно!

Когда Делорье дошел до своего подъезда, приказчик не отстал от Фредерика; он даже старался уговорить его купить портрет. Дело в том, что Пеллерен, утратив надежду запугать Фредерика, прибегнул к помощи его друзей, которые должны были убедить его взять картину.

Делорье при следующей встрече снова вернулся к этому и даже проявил настойчивость. Требования художника он считал основательными.

— Я уверен, что за какие-нибудь пятьсот франков...

— Ах, отдай их ему, вот тебе деньги! — сказал Фредерик.

В тот же вечер картину принесли. Она ему показалась еще более ужасной, чем в первый раз. Тени и полутени столько раз были закрашены, что сделались свинцовыми и как будто потемнели, выделяясь на фоне кричаще ярких пятен света.

Фредерик, вознаграждая себя за то, что приобрел картину, жестоко ее разругал. Делорье поверил ему на слово и одобрил его поведение, ибо, как и прежде, он стремился образовать фалангу и стать во главе ее; есть люди, которые наслаждаются тем, что принуждают своих друзей делать вещи, неприятные для них.

Фредерик больше не посещал Дамбрёзов. У него не было денег. Потребовались бы бесконечные объяснения; он не знал, на что решиться. Пожалуй, он был и прав. Теперь ни в чем нельзя быть уверенным; в каменноугольной компании — не более, чем в чем-либо другом; надо порвать с этим кругом; Делорье окончательно уговорил его не пускаться в это предприятие. Ненависть делала его добродетельным; к тому же Фредерика он предпочитал видеть небогатым. Так они оставались на равной ноге и в более тесном общении друг с другом.

Поручение м-ль Рокк было исполнено очень неудачно. Ее отец написал об этом Фредерику, давая новые, самые подробные указания и заканчивая письмо следующей шуткой: «Боюсь, что вам придется потрудиться, как негру».

Фредерику оставалось самому идти к Арну. Он вошел в магазин, где никого не оказалось. Торговый дом готов был рухнуть, приказчики в своей нерадивости не уступали патрону.

Он прошел вдоль длинных полок, уставленных фаянсовой

посудой и занимавших всю середину помещения, а подходя к прилавку, который находился в самой глубине, стал ступать как можно тяжелее, чтобы кто-нибудь услышал его шаги.

Приподнялась портьера, и явилась г-жа Арну.

— Как! Вы! Вы здесь!

— Да,— пробормотала она, несколько смущенная.— Я искала...

На конторке он заметил ее носовой платок и догадался, что к мужу она зашла, наверно, чем-нибудь обеспокоенная, в надежде выяснить недоразумение.

— Но... вам, может быть, нужно что-нибудь? — спросила она.

— Так, безделицу, сударыня.

— Эти приказчики невыносимы! Вечно они уходят.

— Зачем порицать их? Он, напротив, рад этому стечению обстоятельств.

Она с насмешкой посмотрела на него.

— Ну, а как же свадьба?

— Какая свадьба?

— Ваша!

— Моя? Да никогда в жизни!

Она жестом выразила свое недоверие.

— А даже если бы и так? Мы ищем прибежища в посредственности, отчаявшись в той красоте, о которой мечтали!

— Однако не все ваши мечты были так... невинны!

— Что вы хотите этим сказать?

— Но если вы ездите на скачки с такими... особами!

Он проклял Капитаншу. На помощь ему пришла память.

— Но ведь когда-то вы сами просили меня встретиться с ней ради Арну!

Она ответила, покачав головой:

— И вы воспользовались случаем, чтобы поразвлечься.

— Боже мой! Не стоит думать об этих глупостях!

— Вы правы, раз вы собираетесь жениться!

И, кусая губы, она подавила вздох.

Тогда он воскликнул:

— Но я же повторяю вам, что это не так! Неужели вы можете поверить, что я, с моими духовными запросами, моими привычками, заруюсь в провинции, чтобы играть в карты, присматривать за рабочими на стройке и разгуливать в деревенных башмаках? И чего ради? Вам сказали, что она богата, не так ли? Ах, деньги для меня ничто! Если я стремился к самому прекрасному, самому пленительному, к раю, принявшему человеческий облик, и если я, наконец, нашел его, нашел этот идеал, если видение его скрывает от меня все остальное...

И, обеими руками охватив ее голову, он стал целовать ее в глаза и повторял:

— Нет, нет, нет! Я никогда не женюсь! Никогда! Никогда!

Она принимала эти ласки, замирая от изумления и восторга.

Хлопнула наружная дверь магазина. Г-жа Арну отскочила и вытянула руку, словно приказывая ему молчать. Шаги приближались. Потом кто-то спросил из-за двери:

— Сударыня, вы здесь?

— Войдите!

Г-жа Арну стояла, облокотясь на прилавок, и спокойно вертела перо между пальцами, когда счетовод отворил дверь.

Фредерик встал.

— Честь имею кланяться, сударыня! Сервиз будет готов, не правда ли? Я могу рассчитывать?

Она ничего не ответила. Но молчаливое сознание общничества зажгло ее лицо всеми оттенками румянца, какие только знает прелюбодеяние.

На следующий день Фредерик снова пошел к ней; его приняли, и, желая воспользоваться достигнутым, он сразу же, без всяких отступлений, начал оправдываться в том, что было на Марсовом поле. Он совершенно случайно оказался с этой женщиной. Допустим, что она красива (на самом деле это не так), — как может она хоть на минуту завладеть его мыслями, если он любит другую?

— Вы же это знаете, я вам говорил.

Г-жа Арну опустила голову.

— Очень жаль, что говорили.

— Почему?

— Простое чувство приличия требует теперь, чтобы я больше с вами не встречалась!

Он стал уверять ее, что любовь его невинна. Прошное служит порукой за будущее; он дал себе слово не тревожить ее жизнь, не волновать своими жалобами.

— Но вчера мое сердце не выдержало.

— Мы больше не должны вспоминать об этой минуте, друг мой!

Однако что же тут дурного, если общая печаль сольет воедино два бедных существа?

— Ведь вы тоже несчастливы! О! Я знаю. У вас нет никого, кто утолял бы вашу потребность в любви, в преданности. Я буду делать все, что вы хотите! Я вас не оскорблю... клянусь вам!

И он упал на колени, невольно склоняясь под бременем чувства, слишком тяжелым.

— Встаньте! — сказала она. — Я приказываю!

И она властно объявила ему, что он никогда больше не увидит ее, если не повинуется сейчас.

— Ах, мне не страшны ваши угрозы! — ответил Фредерик. — Что мне делать в этом мире? Другие направляют все помыслы на добывание денег, славы, власти! У меня нет положения в свете, вы — мое единственное занятие, все мое богатство, цель, средоточие моей жизни, моих мыслей. Без вас я не могу жить, как без воздуха! Разве вы не чувствуете, как моя душа стремится к вашей душе, не чувствуете, что они должны слиться и что я умираю?

Г-жа Арну задрожала всем телом.

— О, уйдите! Прошу вас!

Взволнованное выражение ее лица остановило его. Он сделал шаг к ней. Но она отступила, сложив руки.

— Оставьте меня! Ради бога! Сжальтесь!

И так сильна была любовь Фредерика, что он ушел.

Вскоре он рассердился на себя, назвал себя дураком, через сутки снова пошел к ней.

Г-жи Арну не было дома. Он стоял на площадке лестницы, ошеломленный бешенством, возмущением. Показался Арну и сообщил, что жена утром отправилась в Отейль — пожить в загородном домике, который они там снимали после того, как был продан их дом в Сен-Клу.

— Обычные ее причуды! Что же, ей это удобно... да и мне в сущности тоже. Пускай! Пообедаем сегодня вместе?

Фредерик, сославшись на неотложное дело, поспешил в Отейль.

Г-жа Арну от радости вскрикнула. Все его негодование исчезло.

Он не заговорил о своей любви. Чтобы внушить ей больше доверия, он даже преувеличивал свою сдержанность, и когда он спросил, можно ли ему снова приехать, она ответила: «Ну, конечно», и протянула ему руку, но тотчас же отдернула ее.

С этого дня наезды Фредерика участились. Кучеру он обещал побольше на водку. Но часто, когда медленная езда выводила его из терпения, он выскакивал из экипажа, потом, запыхавшись, влезал в омнибус; и с каким презрением оглядывал он лица пассажиров, которые сидели против него и которые ехали не к ней!

Дом ее он узнавал издали по огромной жимолости, взбиравшейся на один из скатов крыши. Это было нечто вроде швейцарского шале, выкрашенного в красный цвет, с балкончиком. В саду росли три старых каштана, а посередине на холмике подымался, поддерживаемый обрубок дерева, соломенный зонт; местами, цепляясь за черепицы стен, ползла густая виноградная лоза, плохо прикрепленная, свисавшая точно

сгнивший канат. Туго натянутый звонок у калитки дребезжал; долго не открывали. Фредерик каждый раз чувствовал тревогу, безотчетный страх.

Наконец, шлепая туфлями по песку, выходила служанка или появлялась сама г-жа Арну. Как-то раз, когда он пришел, она спиной к нему стояла на коленях в траве и искала фиалки.

Дочь, из-за ее дурного характера, пришлось отдать в монастырский пансион; мальчуган днем бывал в школе; у Арну много времени отнимали завтраки в Пале-Рояле в обществе Режембара и дружищи Компена. Теперь не грозило появление незваного гостя.

Было твердо решено, что они не должны принадлежать друг другу. Это решение, предохранявшее их от опасности, облегчало сердечные излияния.

Она рассказала ему о своей прежней жизни в Шартре, у матери, о том, какая набожная она была в двенадцать лет, как потом увлеклась музыкой и до поздней ночи пела у себя в комнате, из окна которой виден был крепостной вал. Он рассказал ей о своей меланхолии в годы коллежа и о том, как в его поэтических мечтах сиял образ женщины; вот почему, увидев ее впервые, он ее сразу узнал.

Обыкновенно они в своих беседах касались только тех лет, когда уже были знакомы. Он вспоминал о разных мелочах, о том, какого цвета было ее платье тогда-то, кто приходил к ней в такой-то день, что она говорила, и она, в полном восхищении, отвечала ему:

— Да, помню!

У них были одинаковые вкусы, суждения. Нередко тот из них, кто слушал, восклицал:

— Я тоже!

А другой в свою очередь повторял:

— И я тоже!

Потом раздавались бесконечные сетования на провидение:

— Зачем не угодно было небу?.. Если бы мы встретились раньше!

— Ах, если бы я была моложе! — вздыхала она.

— Нет, мне бы надо было быть постарше!

И их воображению рисовалась жизнь, занятая только любовью, столь содержательная, что ею наполнилось бы самое глубокое одиночество, не сравнимая ни с какой радостью, побеждающая всякое горе, — жизнь, где время исчезало бы в непрестанном излиянии чувств, нечто ослепительное и возвышенное, как мерцание звезд.

Они почти всегда сидели на открытом воздухе, на крыльце дома; верхушки деревьев, тронутых осенней желтизной, неровными рядами тянулись вдаль, вплоть до бледной полосы

горизонта. Иногда же они доходили до конца аллеи и садились в беседке, где не было другой мебели, кроме серого, обитого холстом дивана; зеркало было усеяно черными точками; от стен пахло плесенью; и они засиживались здесь, беседуя о себе, о других, обо всем на свете. Иногда лучи солнца, прорываясь сквозь ставни, протягивались от пола до потолка словно струны лиры, пылинки кружились вихрем в этих сверкающих полосах. Г-жа Арну забавлялась тем, что рассекала их движением руки; Фредерик осторожно брал ее за руку и любовался сплетением вен, оттенком кожи, формой пальцев. Каждый из них был для него почти живым существом.

Она подарила ему свои перчатки, а неделю спустя носовой платок. Она звала его «Фредерик», он ее звал «Мария», поклоняясь этому имени, созданному, как он говорил, для того, чтобы его, вздыхая, шептали в минуты экстаза,— имени, которое словно заключало в себе облака фимиама, лепестки роз.

Они, наконец, стали заранее назначать дни свиданий; буд-то невзначай выходя из дому, она шла по дороге на встречу ему.

Она не старалась распалить его любовь, погруженная в ту беззаботность, которая отличает истинное счастье. Она в то время носила коричневый шелковый капот, обшитый по краям бархатом такого же цвета, — удобную, просторную одежду, которая шла к мягкости ее движений и серьезному выражению лица. К тому же для нее начиналась осенняя пора женской жизни, пора нежности и размышлений, когда зрелость зажигает взгляд пламенем более глубоким, когда сила чувства сочетается с опытом жизни и человеческое существо, достигнув своего последнего расцвета, расточает сокровища гармонии и красоты. Никогда в ней не было такой мягкости, такой снисходительности. Уверенная в том, что падение не совершится, она отдавалась чувству, право на которое, как ей казалось, было завоевано ее огорчениями. Притом оно было так чудесно, так ново! Какая пропасть между грубостью Арну и поклонением Фредерика!

Он боялся сказать лишнее слово, которое могло отнять у него все, чего, как ему казалось, он достиг, и говорил себе, что счастливый случай может представиться снова, но что сказанную глупость поправить нельзя. Он хотел, чтобы она сама отдалась ему, а не думал принуждать ее. Он наслаждался уверенностью в ее любви, словно предвкушая миг обладания, и прелесть ее больше волновала его душу, чем чувство. То было неизъяснимое блаженство, упоение; оно заставляло его забыть о самой возможности полного счастья. В разлуке с ней его терзали страстные вожделения.

Вскоре их беседы стали прерываться долгими минутами молчания. Иногда, как бы стыдясь своего пола, они краснели. Все предосторожности, которыми они пытались скрыть свою любовь, говорили о ней; чем сильнее она становилась, тем они были сдержаннее. Это упражнение во лжи обострило их чуткость. Они бесконечно наслаждались запахом влажной листвы, страдали, если дул восточный ветер, переживали беспричинные волнения, поддавались зловещим предчувствиям; звук шагов, треск половицы пугали их, как будто они были виновны; они чувствовали, что их влечет к пропасти; грозовая атмосфера окутывала их, а если Фредерик сокрушался, она обвиняла себя.

— Да, я поступаю нехорошо! Можно подумать, что я кокетка! Не приезжайте больше!

Тогда он повторял прежние клятвы, которые она каждый раз слушала с радостью.

Ее возвращение в Париж и новогодние хлопоты прервали на время их встречи. Когда он снова посетил ее, в его манерах появилось что-то более решительное. Она каждую минуту выходила, распоряжаясь по хозяйству, и, несмотря на его просьбы, принимала всех этих буржуа, навещавших ее. Разговоры шли о Лестаде, г-не Гизо, папе, восстании в Палермо и банкете 12-го округа, который внушал беспокойство. Фредерик отводил душу, ополчаясь на правительство, ибо ему, так же как и Делорье, хотелось всеобщего переворота,— до того он был озлоблен теперь. Хмурилась и г-жа Арну.

Ее муж не знал удержу в сумасбродствах, содержал одну из работниц своей фабрики, ту самую, которую называли бордоской. Г-жа Арну сама сообщила об этом Фредерику. Отсюда ему хотелось сделать вывод: «ведь ей же изменяют».

— О, меня это нисколько не волнует,— сказала она.

Эти слова, как ему казалось, окончательно упрочивали их близость. Нет ли подозрений у Арну?

— Нет! Теперь нет!

И она рассказала ему, что однажды вечером, оставив их наедине, он потом вернулся, подслушивал у двери, а так как они разговаривали о вещах безразличных, то с тех пор полное спокойствие не покидало его.

— И он прав, не так ли? — с горечью сказал Фредерик.

— Да, конечно!

Ей лучше было бы удержаться от этих слов.

Однажды ее не оказалось дома в такое время, когда он обычно приходил к ней. Для него это было словно измена.

Другой раз его раздосадовало то, что цветы, которые он приносил ей, всегда оставались в стакане с водой.

— Где же им быть, по-вашему?

— О, только не здесь! Впрочем, тут им, пожалуй, не так холодно, как у вашего сердца.

Несколько дней спустя он упрекнул ее в том, что накануне она ездила в Итальянскую оперу, не предупредив его. Другие видели ее, любовались ею, быть может влюблялись в нее. Фредерик не отказывался от своих подозрений только потому, что хотел ее упрекнуть, помучить,— он начинал ненавидеть ее и считал вполне естественным, чтоб и ей досталась доля его страданий!

Однажды днем (это было в середине февраля) он застал ее в большом волнении. Эжен жаловался на боль в горле. Однако доктор сказал, что это пустяки, сильная простуда, грипп. Фредерик был удивлен, что ребенок какой-то сонный. Все же он постарался успокоить мать, привел в пример нескольких малышей, которые перенесли такую же болезнь и скоро выздоровели.

— Правда?

— Ну да, разумеется!

— Какой вы добрый!

И она взяла его за руку. Он сжал ее руку в своей.

— Ах, оставьте!

— Что же в этом дурного, ведь вы протянули ее утешителю! Вы мне верите, когда я говорю такие вещи, и сомневаетесь во мне... когда я говорю о моей любви!

— Я не сомневаюсь, мой бедный друг.

— Почему же такая недоверчивость? Как будто я негодяй, способный злоупотребить...

— О нет!

— Если бы только у меня было доказательство...

— Какое доказательство?

— То, которое дают первому встречному, которое когда-то вы давали и мне.

И он ей напомнил, что как-то раз они вместе шли по улице в зимних сумерках, в тумане. Давно все это было! Кто же мешает ей появиться под руку с ним совершенно открыто, так, чтоб у нее не было опасений, а у него — никакой задней мысли, чтобы никто не мешал им?

— Хорошо! — сказала она с такой отвагой, так решительно, что Фредерик в первое мгновение изумился.

Но он тотчас же подхватил:

— Хотите, я буду ждать вас на углу улицы Тронше и улицы Фермы?

— Боже мой! Друг мой...— бормотала г-жа Арну.

Не давая ей времени подумать, он прибавил:

— Значит, во вторник?

— Во вторник?

— Да, между двумя и тремя!

— Приду!

И она, покраснев, отвернулась. Фредерик коснулся губами ее затылка.

— О! Это нехорошо,— сказала она.— Вы заставите меня раскаться.

Он решил уйти, боясь обычной женской изменчивости. Уже в дверях он ласково прошептал, как будто все было решено:

— До вторника!

Она скромно и покорно опустила свои прекрасные глаза.

У Фредерика был особый план.

Он надеялся, что дождь или палящее солнце дадут ему случай укрыться с ней в какие-нибудь ворота и что, зайдя в ворота, она согласится войти и в дом. Трудность заключалась в том, чтобы найти что-нибудь подходящее.

Он пустился на поиски и в середине улицы Тронше уже издали увидел вывеску: «Меблированные комнаты».

Лакей, отгадав его намерение, сразу же показал ему на антресолях две комнаты, спальню и кабинетик, с двумя выходами. Фредерик снял их на месяц и заплатил вперед.

Потом он побывал в магазинах и купил самых редких духов, достал кусок поддельного гипюра, чтобы заменить им отвратительное красное стеганое одеяло, выбрал пару голубых атласных туфель. Лишь опасение показаться грубым удержало его от дальнейших покупок. Он принес все купленное и набожнее; чем если бы ему приходилось украшать алтарь, переставил мебель, сам повесил занавески, на камин поставил вереск, а на комод фиалки. Ему хотелось бы золотом выложить весь пол. «Это будет завтра, — твердил он себе, — да, завтра! Это не сон». И он чувствовал, как сильно бьется его сердце в бреду надежды. А когда все было сделано, он ушел, спрятав ключ в карман, точно счастье, дремавшее там, могло улететь.

Дома его ждало письмо от матери.

«Почему тебя так долго нет? Твое поведение начинает вызывать насмешки. Я понимаю, что, готовясь вступить в этот брак, ты до известной степени мог поддаться нерешительности. Но все-таки обдумай!»

И она сообщала точные сведения: сорок пять тысяч ливров дохода. Впрочем, уже «шли разговоры», и г-н Рокк ждал окончательного ответа. Что касается девушки, то положение ее в самом деле было неудобное. «Она тебя очень любит».

Фредерик бросил письмо, не дочитав, и распечатал другое — записку от Делорье.

«Дружище,

Груша созрела. Согласно твоему обещанию, мы рассчитываем на тебя. Собираемся завтра ранним утром на площади Пантеона. Зайди в кафе Суфло. Мне надо поговорить с тобой до манифестации».

«О, знаю я их манифестации! Слуга покорный! Мне предстоит встреча более приятная».

На другой день Фредерик в одиннадцать часов утра вышел из дому. Ему хотелось окончательно удостовериться, все ли приготовлено; к тому же — как знать! — она могла случайно выйти раньше него? Дойдя до улицы Тронше, он услышал крики, доносившиеся из-за собора Магдалины; он прошел дальше и в самом конце площади, с левой стороны, увидел людей в блузах и несколько обывателей.

Действительно, объявление, напечатанное в газетах, приглашало собраться на этом месте всех желавших участвовать в банкете реформистов. Правительство почти сразу выпустило воззвание, которым запрещало его. Накануне вечером парламентская оппозиция от него отказалась; но патриоты, не зная об этом решении своих вождей, явились на место сбора, сопровождаемые множеством зевак. Депутация от студентов только что отправилась к Одилону Барро. Она сейчас находилась в министерстве иностранных дел, и не было известно, состоится ли банкет, осуществит ли правительство свою угрозу, появится ли национальная гвардия. Депутаты возбуждали такое же недовольство, как и правительство. Толпа все возрастала, воздух огласился вдруг звуками «Марсельезы».

Это приближалась колонна студентов. Они шагали в ногу, шли в два ряда, в полном порядке, с возбужденными лицами, с засученными рукавами, и время от времени все разом кричали:

— Да здравствует реформа! Долой Гизо!

Конечно, приятели Фредерика должны были быть здесь. Они могли заметить его и увлечь с собою. Он поспешил скрыться за угол улицы Аркад.

Студенты, два раза обойдя собор Магдалины, направились к площади Согласия. Она была полна народа, и густая толпа издали казалась волнующейся черной нивой.

В ту же минуту слева от церкви выстроились в боевом порядке войска.

Между тем толпа не двигалась. Чтобы положить этому конец, полицейские, одетые в штатское, хватали, не стесняясь, самых непокорных и уводили их в участок. Фредерик, несмотря на свое возмущение, оставался безучастным; его могли бы забрать вместе с прочими, и он не встретился бы с г-жой Арну.

Немного спустя показались каски муниципальной гвардии. Размахивая саблями, солдаты наносили удары плашмя. Одна из лошадей упала; ее бросились поднимать, а как только всадник снова оказался в седле, все пустились прочь.

Но вот наступила полная тишина. Мелкий дождь, смочивший асфальт, перестал. Тучи рассеялись, гонимые слабым западным ветром.

Фредерик стал расхаживать по улице Тронше, все время оглядываясь.

Прошло, наконец, два часа.

«Ах, теперь ей пора! — подумал он. — Она выходит из дому, она идет сюда». Прошла минута. «Она могла бы уже быть здесь». До трех часов он пытался успокоить себя: «Нет, она не опоздает. Немного терпения!»

От нечего делать он рассматривал магазины, которых здесь было немного: лавку книготорговца, седельщика, магазин траурного платья. Вскоре он уже изучил заглавия всех книг, все виды упряжи, все материи. Торговцы, заметив, что он все ходит взад и вперед, сперва удивились, потом испугались и закрыли свои лавки.

Наверно, ей что-нибудь помешало, и ее это мучает тоже. Но какая радость ждет их сейчас! Она придет, в этом не может быть сомнений! «Ведь она обещала!»

Однако невыносимая тоска овладела им.

Он вернулся в меблированные комнаты, как будто она могла быть там, — нелепая мысль! Но, быть может, в эту минуту она уже идет по улице. Он бросился обратно. Никого! И он снова зашагал по тротуару.

Он рассматривал щели в мостовой, отверстия водосточных труб, фонари, номера на воротах. Незначительнейшие предметы превращались для него в товарищей или, вернее, в насмешливых зрителей, и ровные фасады домов казались ему беспощадными. Ноги озябли. Он чувствовал себя разбитым, изнемогающим. Звук собственных шагов отдавался в его мозгу.

Когда он увидел, что на часах четыре, то почувствовал, что у него кружится голова, на него нашел страх. Он пытался повторять стихи, делал вычисления, придумывал какую-нибудь историю. Ничего не выходило: образ г-жи Арну преследовал его. Ему хотелось бежать ей навстречу. Но какой путь избрать, чтобы не разойтись?

Он подошел к посыльному, сунул ему в руку пять франков и поручил сбежать на улицу Паради к Жаку Арну, узнать у привратника, дома ли барыня. А сам стал на перекрестке улицы Фермы и улицы Тронше, чтобы видеть одновременно и ту и другую. Вдали, на бульваре, двигались какие-то темные

толпы. Порою он различал драгунский султан или женскую шляпку и, чтобы разглядеть ее, напрягал зрение. Мальчик-оборванец, показывавший сурка в ящике, улыбаясь, попросил у него милостыни.

Посыльный в плисовой куртке вернулся.

— Привратник сказал, что она не выходила.

Кто задержал ее? Если бы она была больна, привратник сказал бы. Может быть, гость? Можно не принимать, чего проще! Он ударил себя по лбу. «Ах, какой я дурак! Все дело в беспорядках!» Это простое объяснение его успокоило. Потом он внезапно сказал себе: «Но ведь в ее квартале спокойно». И страшное сомнение овладело им. «Что если она не придет? Если, давая это обещание, она хотела только избавиться от меня?.. Нет, нет! Помешал ей, наверно, какой-нибудь необыкновенный случай, одно из тех событий, которые никак нельзя предусмотреть. Но тогда она бы написала». И он послал слугу из меблированных комнат к себе на дом, на улицу Ремфорда, узнать, нет ли письма.

Писем не приносили. Это отсутствие новостей его успокоило.

Он начал гадать, беря за примету лицо прохожего, масть лошади, количество монет, наудачу выхваченных из кармана, а если предсказание было неблагоприятно, старался не верить ему. В припадках злобы он вполголоса бранил г-жу Арну. Потом наступила такая слабость, что он почти терял сознание. И вдруг снова приливалась надежда. Она сейчас появится. Она здесь, за его спиной. Он оборачивался — никого! Один раз он шагах в тридцати заметил женщину такого же роста, одетую так же, как она. Он догнал ее — это была не она! Пробыло пять часов! Половина шестого, шесть! Зажигали газ. Г-жа Арну не пришла.

Минувшей ночью ей приснилось, что она давно уже стоит на тротуаре улицы Тронше. То, чего она ждала здесь, было нечто неопределенное, однако значительное, и, сама не зная почему, она боялась быть замеченной. Но проклятая собачонка, озлясь на нее, хватала ее зубами за подол. Собачонка все кидалась и лаяла все громче. Г-жа Арну проснулась. Лай продолжался. Она прислушалась. Звук доносился из детской. Она бросилась туда босиком. Это кашлял ребенок. Руки у него были в огне, лицо красное, а голос до странности хриплый. Дыхание ребенка с каждой минутой становилось труднее. Склонившись над ним, она до самого утра не спускала с него глаз.

В восемь часов барабан национальной гвардии возвестил г-ну Арну, что товарищи его ждут. Он живо оделся и ушел, обещав сразу же зайти к их врачу, г-ну Коло. В десять часов г-на Коло все еще не было, и г-жа Арну послала за ним гор-

ничную. Доктор оказался в отъезде, в деревне, а молодой человек, заменявший его, уже ушел навещать больных.

Голова Эжена, лежавшая на подушке, свесилась на сторону, брови были нахмурены, ноздри раздувались; его жалкое личико было бледнее простыни, а из горла с каждым вздохом вырывался свист, все более короткий, сухой, словно металлический. Его кашель напоминал лай, который издают игрушечные картонные собаки с помощью грубой машинки, вставленной внутрь.

Г-жой Арну овладел ужас. Она бросилась к звонкам, звала на помощь, кричала:

— Доктора! Доктора!

Через десять минут явился пожилой господин в белом галстуке, с седыми, хорошо подстриженными бакенбардами. Он задал множество вопросов о привычках, возрасте и характере юного пациента, осмотрел ему горло, приложил ухо к спине и прописал рецепт. Спокойствие этого человека вызывало отвращение. Он напоминал бальзамировщика. Ей хотелось избить его. Он сказал, что зайдет вечером.

Страшные приступы кашля вскоре возобновились. По временам ребенок вдруг подымался. От судороги грудные мышцы напрягались, и когда он вдыхал воздух, живот втягивался, как при быстром беге. Потом он снова падал назад, запрокинув голову и широко раскрыв рот. Г-жа Арну с бесконечными предосторожностями пыталась заставить его проглотить содержимое склянок — сироп ипекакуаны, керметизованную микстуру. Но он отталкивал ложку и слабым голосом стонал. Слова его можно было бы назвать вздохом.

Временами она перечитывала рецепт. Примечания к нему пугали ее; в аптеке, может быть, ошиблись. Собственное бессилие приводило ее в отчаяние. Явился помощник г-на Коло.

Это был молодой человек, новичок, скромно державшийся и не утаивший своего впечатления. Боясь скомпрометировать себя, он сначала не знал, на что решиться, и, наконец, прописал лед. Его долго не могли достать. Пузырь с кусочками льда лопнул. Пришлось переменить рубашку. Вся эта передряга вызвала новый приступ кашля, еще более ужасный.

Ребенок старался разорвать воротник рубашки, как будто хотел убрать то, что его душило; он царапал стену, хватался за полог кровати, ища точки опоры, чтобы вздохнуть. Лицо его посинело, и все тельце, мокрое от холодного пота, словно похудело. Его растерянные, полные ужаса глаза уставились на мать. Он обхватил руками ее шею, судорожно повис на ней, а она, подавляя рыдания, шептала ему нежные слова:

— Да, любовь моя, ангел мой, сокровище мое!..

Потом наступили минуты затишья.

Она принесла игрушки, полишинеля, картинки, разложила их на одеяле, чтобы развлечь его. Она пробовала даже петь.

Она запела песню, которой когда-то убаюкивала его, запеленав на этом самом креслице, покрытом ковром. Но вдруг по всему его телу пробежала дрожь, точно волна, которую гонит ветер; глаза выступили из орбит; она решила, что он умирает, и отвернулась, чтобы не видеть.

Через минуту она пересилила себя и взглянула. Он был еще жив. Часы шли за часами, тяжелые, угрюмые, бесконечные, и каждая минута была для нее минутой агонии. Кашель, от которого сотрясалась грудь ребенка, подбрасывал его, словно затем, чтобы разбить; наконец его вырвало чем-то странным, похожим на пергаментный сверток. Что бы это было? Она вообразила, что это кусок кишки. Но он дышал теперь свободно и ровно. Это кажущееся улучшение испугало ее больше, чем все остальное; она стояла, словно окаменев, свесив руки, с остановившимися глазами, когда появился г-н Коло. Ребенок, по его словам, был спасен.

Она сперва не поняла и заставила повторить себе эту фразу. Не были ли это просто слова утешения, принятые у врачей? Доктор ушел вполне успокоенный. Тогда ею овладело такое чувство, как будто веревки, стягивавшие ей сердце, развязались.

«Спасен?! Неужели?!»

Внезапно мелькнула мысль о Фредерике, отчетливая и безжалостная. То было предостережение свыше. Но господь в своем милосердии не захотел покарать ее навеки. Если бы она не отказалась от этой любви, какое наказание ждало ее в будущем! Наверное, ее сына оскорбляли бы из-за нее, и г-жа Арну представила его себе юншей, раненным на поединке, лежащим на носилках, при смерти. Она бросилась к низенькому креслу и, вложив в молитву всю силу, устремясь душой к небесам, принесла в жертву богу свою страсть, свою единственную слабость.

Фредерик вернулся домой. Он сидел в кресле, даже не имея сил проклинать ее. Нечто вроде дремоты овладело им; сквозь кошмар он слышал шум дождя, и ему казалось, что он все еще стоит там, на тротуаре.

На следующее утро, в последний раз поддавшись малодушию, он снова отправил к г-же Арну посыльного.

То ли он не исполнил как следует поручения Фредерика, то ли ей надо было сказать ему так много, что нехватало бы слов,— но Фредерик получил тот же ответ. Вызов был слишком дерзкий. Гневная гордость обуяла его. Он поклялся, что будет подавлять в себе всякое вожделение, и, точно листок, подхваченный бурей, исчезла его любовь. Он ощутил облег-

чение, стоическую радость, потом — жажду деятельности, бурной, кипучей, и пошел без цели бродить по улицам.

Жители предместий проходили с ружьями, старыми саблями, некоторые были в красных колпаках, и все распевали «Марсельезу» или «Жирондистов». На каждом шагу встречался национальный гвардеец, спешивший в свою мэрию. Вдали звучал барабан. Сражались у ворот Сен-Мартен. В воздухе была какая-то бодрость и воинственность. Фредерик шел дальше. Волнение великого города веселило его.

Проходя мимо Фраскати, он увидел окна Капитанши; дикая мысль пришла ему в голову, проснулась молодость. Он перешел бульвар.

Запирали ворота, а Дельфина, горничная, углем писала на них: «Оружие сдано».

— Ах, с барыней что творится! Нынче утром она прогнала своего грума, он ей надерзил. Ей кажется, что всех будут грабить! Она умирает со страха! И ведь барин уехал!

— Какой барин?

— Князь!

Фредерик вошел в будуар. Капитанша появилась в нижней юбке, с распущенными волосами, вне себя.

— О, благодарю! Ты спасаешь меня! Это уже второй раз! И никогда не требуешь награды!

— Прошу извинить! — сказал Фредерик, обвив ее стан обеими руками.

— Что такое? Что ты делаешь?.. — пробормотала Капитанша, удивленная и вместе обрадованная таким обращением. Он ответил:

— Я следую моде, ввожу реформу.¹

Не противясь ему, она упала на диван; он осыпал ее поцелуями, она продолжала смеяться.

Остаток дня они провели у окна, глядя на улицу, полную народа. Потом он повез ее обедать к «Трем провансальским братьям». Обед был длинный, изысканный. Домой пошли пешком, за отсутствием экипажей.

Весть о смене министерства изменила облик Парижа. Все радовались; появились гуляющие; а от фонариков, которые зажглись в каждом этаже, было светло, как днем. Солдаты возвращались в казармы, измученные, унылые. Их приветствовали криками: «Да здравствует армия!» Они, не отвечая, продолжали путь. Напротив, офицеры национальной гвардии, красные от восторга, размахивали саблями и орали: «Да здравствует реформа!» — и слова эти каждый раз вызывали смех у влюбленных. Фредерик шутил, был очень весел.

¹ Игра слов: *se réformer* означает также «исправляться, изменяться к лучшему».

На бульвары они вышли по улице Дюфо. Венецианские фонарики на фасадах тянулись огненными гирляндами. Внизу толпа смутно копошилась; местами из сумрака выступал белый блеск штыков. Стоял гул. Толпа была слишком густая, вернуться прямым путем было невозможно; и они уже сворачивали на улицу Комартена, как вдруг за их спиной раздался треск, точно разрывали огромный кусок шелковой материи. То была пальба на бульваре Капуцинов.

— Ах, подстрелили каких-нибудь буржуа,— сказал Фредерик вполне спокойно, ибо в жизни бывают положения, когда существо наименее жестокое настолько оторвано от других людей, что даже гибель всего человеческого рода не взволновала бы его.

У Капитанши, цепко ухватившейся за его руку, стучали зубы. Она объявила, что не в состоянии пройти и двадцати шагов. Тогда, в порыве утонченной ненависти, чтобы как можно сильнее оскорбить в душе г-жу Арну, он привел ее в меблированные комнаты на улице Тронше, в спальню, приготовленную для другой.

Цветы еще не завяли. Гипюровая накидка лежала на постели. Он вынул из шкафа туфельки. Розанетта осталась довольна такой нежной заботливостью.

Около часа ночи ее разбудил отдаленный барабанный бой, и она увидела, что он рыдает, спрятав лицо в подушку.

— Что с тобой, любимый?

— Это от избытка счастья,— сказал Фредерик. — Я слишком долго тебя желал!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



I

Он внезапно проснулся от ружейных выстрелов и, не смотря на настояния Розанетты, непременно захотел посмотреть, что там происходит. Он шел по Елисейским Полям, в том направлении, откуда раздались выстрелы. На углу улицы Сент-Онорэ ему встретились люди в блузах, кричавшие:

— Нет, не сюда! В Пале-Рояль!

Фредерик пошел за ними. Ограда у церкви Вознесения была сломана. Далее он заметил посреди улицы три булыжника, — должно быть, начало баррикады, — затем осколки бутылок и пучки проволоки, которые должны были помешать движению кавалерии. Вдруг из переулка выскочил бледный высокий юноша с черными волосами, развевающимися по плечам, в фуфайке с цветными горошинами. Он держал длинное солдатское ружье и бежал на цыпочках, в туфлях, похожий на лунатика, ловкий, как тигр. Время от времени слышны были выстрелы.

Накануне вечером, когда показалась фура с пятью трупами, подобранными на бульваре Капуцинов, настроение народа изменилось, и пока в Тюильри сменялись адъютанты, г-н Моле, собираясь составить новый кабинет, все не возвращался, г-н Тьер пытался составить другой, а король строил козни, ко-

лебался и назначил Бюжо главнокомандующим, чтобы тотчас же помешать ему взяться за дело, — восстание, словно направляемое одной рукой, грозно надвигалось. На перекрестках какие-то люди с неистовым красноречием взывали к толпе, другие изо всей мочи били в набат, отливали пули, сворачивали патроны; деревья на бульварах, общественные уборные, скамейки, решетки, фонари — все было разрушено, опрокинуто. К утру Париж покрылся баррикадами. Спротивление вскоре было сломлено; всюду вмешивалась национальная гвардия; к восьми часам народ, местами даже без боя, завладел уже пятью казармами, почти всеми мэриями, самыми надежными стратегическими пунктами. Монархия сама собой, без всяких потрясений, быстро распадалась, и толпа вела теперь осаду участка у фонтана Шато д'О, стремясь освободить пятьдесят узников, которых там не было.

Подойдя к площади, Фредерик поневоле должен был остановиться. Она была полна вооруженных людей. Отряды пехоты занимали улицы св. Фомы и Фроманто. Огромная баррикада заграждала вход на улицу Валуа. Дым, раскачивавшийся над ее гребнем, рассеялся; стало видно, как по ней бегут люди, широко размахивая руками; они скрылись; потом пальба возобновилась. Из полицейского участка отвечали, но внутри никого не было видно; в дубовых ставнях, защищавших окна, были сделаны бойницы, и все двухэтажное здание, с двумя флигелями, бассейном на первом этаже и дверцей посредине, уже начинало усеиваться белыми пятнышками, которые оставляли пули. На трех ступеньках крыльца никого не было.

Рядом с Фредериком какой-то человек в фригийском колпаке и фуфайке, поверх которой надет был патронташ, ссорился с женщиной, повязанной полужелтковым платком:

— Да вернись же! Вернись!

— Не приставай! — отвечал муж. — Можешь и одна посидеть в привратничьей. Гражданин, я вас спрашиваю: правильно я поступаю? И все разы свой долг выполнял — и в тысяча восемьсот тридцатом, и в тридцать втором, и в тридцать четвертом, и в тридцать девятом! Сегодня дерутся! И я должен драться! Проваливай!

И жена привратника в конце концов уступила увещаниям мужа, которого поддержал национальный гвардеец, стоявший рядом с ними, мужчина лет сорока с добродушным лицом, окаймленным русой бородой. Он заряжал ружье и стрелял, продолжая разговаривать с Фредериком, невозмутимый среди мятежа, как садовник среди насаждений. Около него увивался юноша в холщовом переднике, чтобы получить от него

патронов и пустить в ход свое ружье, превосходный охотничий карабин, подаренный ему «одним господином».

— Бери вот там, у меня за спиной, — сказал ему бородач, — и прячься, а то убьют!

Барабаны били атаку. Раздавались пронзительные возгласы, победные «ура». Толпа колыхалась, увлекаемая водоворотом. Фредерик, попавший в самую гущу, не мог двинуться, захваченный зрелищем и чрезвычайно довольный. Раненые, которые падали, мертвецы, лежавшие на земле, не были похожи на настоящих раненых, на настоящих мертвецов. Ему казалось, что он смотрит спектакль.

Над волнами толпы показался верхом на белой лошади с бархатным седлом старик в черном фраке. В одной руке он держал зеленую ветвь, в другой — какую-то бумагу и упорно махал тем и другим. Наконец, потеряв надежду быть услышанным, он удалился.

Отряд пехоты скрылся, и муниципальная гвардия одна защищала теперь участок. Смельчаки целым потоком ринулись на крыльцо; их перестреляли, подоспели другие, дверь, в которую ударяли железными болтами, гудела; муниципальная гвардия не сдавалась. Тогда к стене подкатили коляску, набитую сеном; она запылала, точно гигантский факел. Приволокли хворосту, соломы, бочонок со спиртом. Огонь пополз вверх по камням стены, все здание начало дымиться, и широкие языки пламени с пронзительным шумом взвились над крышей, над перилами террасы. Первый этаж Пале-Рояля был битком набит национальными гвардейцами. Из всех окон, выходящих на площадь, раздавались выстрелы; пули свистели; вода, вырвавшаяся из пробитого бассейна, смешалась с кровью и образовала лужи; ноги, скользя в грязи, цеплялись за одежду, кивера, оружие; Фредерик ступил на что-то мягкое; то была рука сержанта в серой шинели, ничком лежавшего в канаве. Прибывали все новые толпы народа, подталкивая сражающихся вперед. Выстрелы участились. Винные лавки были открыты; время от времени туда заходили выкурить трубку, выпить кружку пива, потом снова шли драться. Завыла собака, оставшая от хозяев. Все захохотали.

Фредерик пошатнулся — человек, раненный пулей в бок, хрипя, упал к нему на плечо. Выстрел, направленный, может быть, в него, разъярил Фредерика, и он уже бросился вперед, но его остановил национальный гвардеец:

— Ни к чему! Король бежал. О, если не верите, сами сходите посмотреть!

Это утверждение утихомирило Фредерика. На площади Карусели с виду было спокойно. «Отель де Нант» попрежнему стоял особняком, а дома, сзади него, купол Лувра, видневший-

ся напротив, длинная деревянная галерея, которая тянулась справа, и пустырь, простиравшийся вплоть до ларьков уличных торговцев,— все это словно тонуло в серой дымке; а на другом конце площади, освещенный резким лучом солнца, прорезавшим облака, виден был фасад Тюильри, окна которого выступали белыми пятнами. У Триумфальных ворот лежал труп лошади. По ту сторону решетки стояли люди кучками по пять-шесть человек и разговаривали. Двери дворца были открыты; слуги, стоявшие на пороге, пропускали всех.

В нижнем этаже, в маленьком зале, были приготовлены чашки кофе с молоком. Некоторые из числа зевак уселись за стол, шутили, другие продолжали стоять, в том числе какой-то извозчик. Он обеими руками схватил вазочку с сахарным песком, тревожно осмотрелся по сторонам и с жадностью стал есть сахар, все глубже засовывая в него нос. Внизу, у главной лестницы, какой-то человек расписывался в книге. Фредерик узнал его по спине.

— А! Юссонэ!

— Ну да,— отвечал тот. — Я представляюсь ко двору. Какова шутка! А?

— Не подняться ли наверх?

Они вошли в зал маршалов. Портреты славных мужей были в полной сохранности, за исключением портрета Бюжо, которому прокололи живот. Все они стояли, опершись на сабли на фоне пушек, в угрожающих позах, не соответствовавших моменту. На больших стенных часах пробило двадцать минут второго.

Вдруг раздалась «Марсельеза». Юссонэ и Фредерик свесились через перила. То пел народ. Толпа неслась вверх по лестнице, сливая в головокружительном потоке обнаженные головы, каски, красные колпаки, штыки и плечи,— неслась так безудержно, что люди исчезали в этих бурлящих волнах, которые поднимались с протяжным воем, точно воды реки, гонимые могучим приливом в пору равноденствия. Наверху толпа рассеялась, и пение смолкло.

Теперь слышалось только топание башмаков, смешанное с всплесками человеческого говора. Толпа, совершенно безобидная, довольствовалась тем, что глазела. Но время от времени какой-нибудь локоть, которому было тесно, вышибал стекло, или валилась на пол стоявшая на столике ваза или статуэтка. Деревянные панели трещали. У всех были красные лица, пот струился по ним крупными каплями. Юссонэ заметил:

— А герои не очень-то благоухают!

— Ах, вы несносны! — ответил Фредерик.

Толпа напирала на них, и они очутились в комнате, где под потолком был раскинут балдахин из красного бархата. Вни-

зу, на троне, сидел чернобородый пролетарий в расстегнутой рубашке, с лицом веселым и глупым, как у китайского болванчика. На возвышение поднимались и другие, чтобы посидеть на его месте.

— Что за мифология! — сказал Юссонэ. — Вот он — народ-властитель.

Кресло подняли, взяв за ручки, и понесли, раскачивая, через залу.

— Чорт возьми, как его качает! Корабль государства носится по бурным волнам! Ну и канкан! Настоящий канкан!

Трон поднесли к окну и под свистки кинули вниз.

— Бедный старик! — сказал Юссонэ, глядя, как он упал в сад, где его быстро схватили, чтобы нести к Бастилии и там сесть.

Всеми овладела неистовая радость, как будто исчезнувший трон уступил уже место безграничному будущему счастью, и народ стал рвать занавески, бить, ломать зеркала, люстры, подсвечники, столы, стулья, табуреты, всякую мебель, уничтожая даже альбомы с рисунками и рабочие корзинки. Раз уж победили, как не позабавиться? Чернь, в знак насмешки, закутывалась в кружева и шали. Золотая бахрома обвивала рукава блуз, шляпы со страусовыми перьями украшали головы кузнецов, ленты Почетного легиона опоясывали проституток. Всякий удовлетворял свою прихоть; одни танцевали, другие пели. В комнате королевы какая-то женщина мазала себе волосы помадой. За ширмой два игрока занялись картами. Юссонэ указал Фредерику на какого-то субъекта, который курил трубочку, облокотясь на перила балкона. А безумие возрастало, все время звеня осколками фарфора и хрустала, которые падали, издавая такой же звук, как клавиши гармоники.

Потом неистовство приняло более мрачную форму. Непристойное любопытство заставляло заглядывать во все уголки, открывать все ящики. Катержники запускали руки в постели принцесс и валялись на них, вознаграждая себя за невозможность изнасиловать королевских дочерей. Другие, более жуткие на вид, безмолвно бродили по дворцу, стараясь что-нибудь украсть; но народу было слишком много. В пролеты дверей видна была, среди блеска позолоты и облаков пыли, темная людская масса, заполнившая анфиладу зал. Груды тяжело дышали; жара становилась все более удушливой; боясь задохнуться, приятели вышли.

В передней на куче одежды стояла публичная девка, избражая статую Свободы, неподвижная, страшная, с широко раскрытыми глазами.

Едва они вышли на улицу, как навстречу им показался взвод одетых в шинели муниципальных гвардейцев, которые,

сняв свои форменные шапки и обнажив несколько облысевшие черепа, низко-низко поклонились народу. Видя такое почтение к себе, оборванцы-победители возгордились. Юссонэ и Фредерику это доставило некоторое удовольствие.

Их охватило воодушевление. Они пошли назад к Пале-Роялю. Против улицы Фроманто лежали сваленные на соломе трупы солдат. Они хладнокровно прошли мимо, даже гордясь таким самообладанием.

Дворец был полон народа. На внутреннем дворе пылало семь костров. Из окон выбрасывали рояли, комоды и стенные часы. Пожарные трубы пускали струи воды, долетавшие до крыши. Озорники пытались перерезать рукава саблями. Фредерик стал уговаривать какого-то студента Политехнической школы воспрепятствовать этому. Студент не понял, он казался совершенным дураком. Кругом, в обеих галереях, чернь, завладев винными погребами, предавалась дикому пьянству. Вино лилось ручьями, текло под ноги; уличные мальчишки пили из черепков от бутылок и, шатаясь, орали.

— Пойдем отсюда,— сказал Юссонэ,— этот народ вызывает во мне омерзение.

Вдоль всей Орлеанской галереи на тюфяках, положенных прямо на пол, лежали раненые; пурпурные занавески заменяли одеяла, а скромные мешаночки из соседнего квартала приносили раненым суп и белье.

— Что бы там ни было,— сказал Фредерик,— по-моему, народ прекрасен!

В большом вестибюле бурлила рассвирепевшая толпа, желавшая подняться в верхние этажи, чтобы закончить разрушение; национальные гвардейцы, стоявшие на ступенях, пытались удержать ее. Самым отважным казался стрелок без шапки, с всклокоченными волосами, в изодранной кожаной амуниции; его рубашка, выбившаяся из-под пояса, смялась и жгутом торчала между штанами и курткой; он вместе с другими ожесточенно отбивался. Юссонэ, у которого были зоркие глаза, еще издали узнал Арну.

Наконец они добрались до сада Тюильри, чтобы отдышаться на свободе. Они сели на скамейку и несколько минут просидели с закрытыми глазами, ошеломленные до такой степени, что не было сил сказать хоть одно слово. Прохожие заговаривали друг с другом. Герцогиня Орлеанская назначена регентшей; все было кончено, и чувствовалось то особое успокоение, которое следует за быстрыми развязками, как вдруг в мансардах дворца во всех окнах показались слуги, рвавшие на себе ливреи. Они бросали их в сад в знак отречения. Народ освистал их. Они исчезли.

Внимание Юссонэ и Фредерика привлек к себе высокий детина, который быстро шел по аллее с ружьем на плече. Его красную блузу стягивал в поясе патронташ. Лоб под фуражкой был повязан платком. Он обернулся. Это был Дюссардьё; он бросился к ним в объятия.

— О, какое счастье, дорогие мои! — воскликнул он, не в силах сказать ничего больше — так он задыхался от радости и утомления.

Он двое суток был на ногах. Он строил баррикады в Латинском квартале, дрался на улице Рамбюто, спас трех драгун, вступил в Тюильри с отрядом Дюнуайе, потом отправился в палату, а оттуда в ратушу.

— Я прямо оттуда. Все очень хорошо! Народ торжествует! Рабочие обнимаются с буржуа! Ах, если б вы знали, что я видел! Какие чудные люди! Как это прекрасно!

И, не замечая, что у них нет оружия, он прибавил:

— Я ведь был уверен, что встречу вас здесь! Трудные были минуты, да это что!

На щеке у него появилась капля крови, но на вопросы друзей он ответил:

— О, пустяки, штыком оцарапало!

— Однако нельзя так оставлять.

— Ну, я здоровый! Какая от этого беда! Республику провозгласили! Теперь уж мы будем счастливы! Журналисты сейчас говорили при мне, что теперь освободят Италию и Польшу. Королей больше не будет! Понимаете? Свобода всей земле! Свобода всей земле!

И, окинув взглядом горизонт, он с победоносным видом воздел руки. Но по террасе вдоль воды длинной вереницей бежали люди.

— Ах, дьявол!.. Я и забыл! Форты ведь не взяты. Мне туда надо. Прощайте!

Он обернулся, чтобы крикнуть им, потрясая ружьем:

— Да здравствует республика!

Из труб дворца вырывались огромные клубы черного дыма и неслись искры. Звон колоколов вдали напоминал блеяние испуганных овец.

Направо и налево — везде победители разряжали свои ружья. Фредерик, хоть и не отличался воинственным пылом, почувствовал, как в нем закипела галльская кровь. Ему сообщился магнетизм восторженной толпы. Он с наслаждением вдыхал грозный воздух, пахнущий порохом, а сам трепетал от наплыва бесконечной любви, высокой и всеобъемлющей нежности, как будто сердце всего человечества забилося в его груди.

Юссонэ, зевая, сказал:

— Пожалуй, пора идти оповещать население!

Фредерик пошел с ним в контору его газеты, помещавшуюся на Биржевой площади, и сам принял сочинять для газеты в Труа отчет о событиях — настоящее литературное произведение в лирическом стиле, под которым поставил свою подпись. Затем они пообедали вдвоем в ресторане. Юссонэ был задумчив; эксцентричность революции превосходила его собственные сумасбродства.

Когда после кофе они отправились в ратушу, чтобы узнать новости, его врожденное озорство взяло верх. Он, как серна, перескакивал через баррикады и отвечал часовым патристическими шутками.

Им при свете факелов удалось услышать, как провозглашают временное правительство. Наконец в полночь Фредерик, изнемогая от усталости, вернулся домой.

— Ну что же, — спросил он своего лакея, помогавшего ему раздеваться, — ты доволен?

— Да, сударь, разумеется! Только вот не люблю я, когда народ так распоясывается!

Проснувшись на другое утро, Фредерик вспомнил о Делорье. Он поспешил к нему. Адвокат только что уехал: он был назначен комиссаром в провинцию. Накануне вечером он добрался до Ледрю-Роллена и до тех пор приставал к нему с просьбами от имени высших школ, пока не урвал себе место, получив назначение. Впрочем, по словам привратника, он на следующей неделе должен был написать, сообщить свой адрес.

Тогда Фредерик пошел к Капитанше. Она встретила его с обидой, досадуя на него за то, что он бросил ее одну. Гнев ее угас, когда он уверил ее, что мир будет восстановлен. Все успокоилось теперь, бояться нечего; он обнимал ее, и она объявила себя сторонницей республики, подобно тому как это уже сделал архиепископ парижский и как вскоре должны были сделать с изумительным рвением и поспешностью все судейское сословие, Государственный совет, Академия, маршалы Франции, Шангарнье, г-н де Фаллу, все бонапартисты, все легитимисты и немалое число орлеанистов.

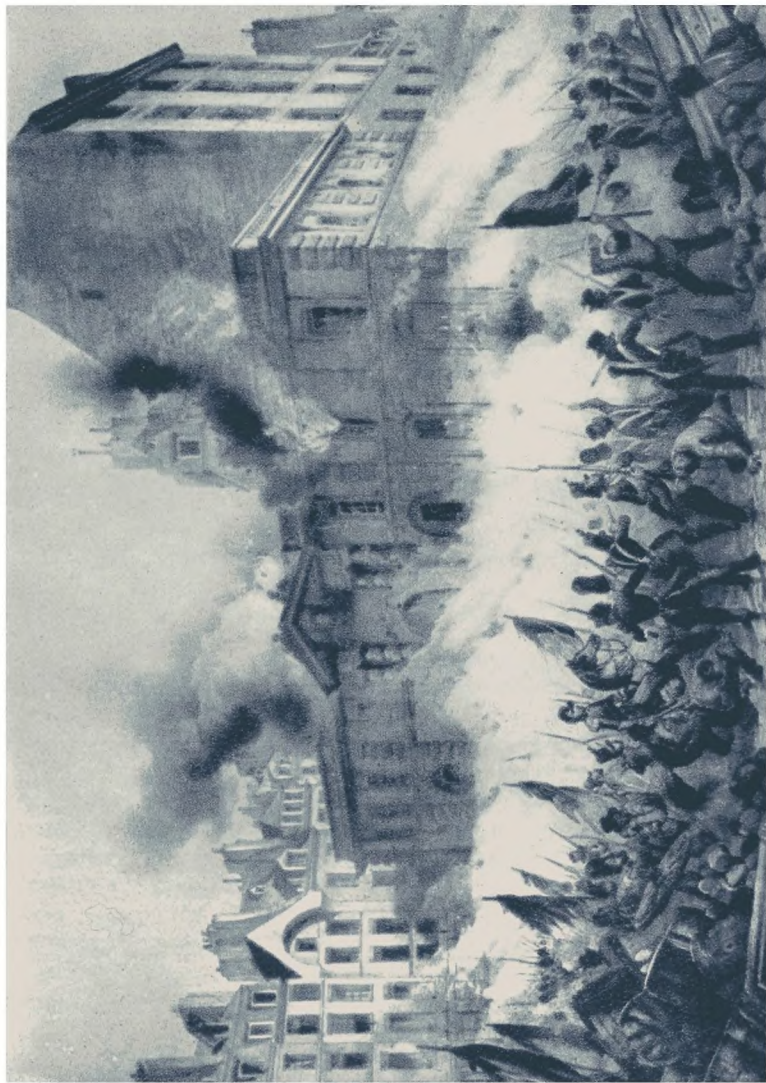
Падение монархии совершилось с такой быстротой, что, когда миновал первый миг оцепенения, буржуа словно удивились: как это они остались в живых? Расстрел, к которому без суда приговорили нескольких воров, показался вполне справедливым. Целый месяц повторяли фразу Ламартина о красном знамени, «которое только раз было обнесено вокруг Марсова поля, меж тем как трехцветное знамя...» и т. д., и все укрылись под его сень, ибо из трех его цветов каждой партии был виден только ее цвет и она рассчитывала истребить два другие, как только возьмет верх.

Так как дела приостановились, то беспокойство и любопытство гнали людей на улицу. Небрежность одежды сглаживала разницу общественного положения, ненависть пряталась, надежды выставлялись напоказ, толпа была приветлива. На всех лицах сияло гордое сознание завоеванного права. Царило веселье карнавала, люди жили как на бивуаке. Нельзя было представить себе ничего более занимательного, чем Париж, каким он был в эти первые дни.

Фредерик под руку с Капитаншей отправлялся на прогулку, и они вдвоем бродили по улицам. Ее забавляли банты, красовавшиеся в петлицах у прохожих, флаги, висевшие у каждого окна, разноцветные афиши, расклеенные по стенам, и она бросала монету в кружку для пожертвований в пользу раненых, стоявшую на стуле где-нибудь посреди улицы. Она останавливалась перед карикатурами, изображавшими Луи-Филиппа в виде кондитера, фокусника, собаки или пиявки. Но люди Коссидьера с их саблями и шарфами пугали ее. Иногда приходилось видеть, как сажают «дерево Свободы». Господа священники принимали участие в этом обряде, благословляли республику, являясь в сопровождении прислужников с золотыми галунами; и толпа находила, что это прекрасно. Наиболее привычным зрелищем были всевозможные депутации, направлявшиеся в ратушу с какой-либо просьбой, ибо все ремесла, все промыслы ждали, что правительство раз навсегда положит конец их бедам. Правда, кое-кто шел лишь затем, чтобы дать правителям совет, или поздравить их, или просто-напросто навестить и посмотреть, как «работает машина».

Однажды в середине марта, когда Фредерик отправился по поручению Розанетты в Латинский квартал, он увидел, проходя по Аркольскому мосту, каких-то длиннородых, повременному марширующих людей в затейливых шляпах. Во главе отряда шел и бил в барабан негр, бывший натурщик, а развевающееся знамя, на котором была подпись: «Живописцы», нес не кто иной, как Пеллерен.

Он знаком предложил Фредерику подождать его и через пять минут снова появился,— время у него еще было, так как в этот момент правительство принимало каменотесов. Пеллерен шел со своими коллегами требовать создания форума Искусств, своего рода биржи, где обсуждались бы вопросы искусства; как только все труженики сольют воедино свои таланты, возникнут великие произведения. Вскоре Париж украсится исполинскими сооружениями, украшать их живописью будет он; он уже начал картину «Республика». За ним явился один из его товарищей и увел его, так как следом шла депутация торговцев живностью.



Бой на площади Пале-Рояль 24 февраля 1848 года.

Худ. Ж. Б. Арну и В. Адам. 1848.



Последний совет бывших министров.

Худ. О. Домье. 1848.

— Что за глупость! — проворчал из толпы чей-то голос. — Вечно ерунда! Ничего толкового!

Это был Режембар. Он не поклонился Фредерику, но воспользовался случаем, чтобы излить накопившуюся горечь.

Гражданин целые дни скитался по улицам, крутя усы, вращая глазами, выслушивая и распространяя зловещие новости, и на все у него были две фразы: «Берегитесь, нас хотят смести!» и «Чорт возьми, да ведь у нас украдут республику!» Он всем был недоволен, а в частности тем, что мы не восстановили наших естественных границ. Слыша имя Ламартина, он уже пожимал плечами, Ледрю-Роллена считал не на высоте задачи, Дюпон де л'Эра называл «старой тряпкой», Альбера — идиотом, Луи Блана — утопистом, Бланки — человеком крайне опасным; а когда Фредерик спросил его, как надо было бы поступить, он ответил, схватив его за руку и сжав ее до боли:

— Взять Рейн, говорю вам, взять Рейн, чорт побери!

Затем он стал обвинять реакцию.

Она сбросила с себя маску. Разгром замков Нейи и Сюрен, пожар в Батиньоле, волнения в Лионе, всякое неистовство, всякая обида давали теперь повод к преувеличениям, так же как и циркуляр Ледрю-Роллена, принудительный курс кредитных билетов, рента, упавшая до шестидесяти франков, и, наконец, высшее беззаконие, последний удар, ужаснейшая из гнусностей — налог в сорок пять сантимов. А в довершение всего — социализм! Хотя эти теории, столь же новые, как игра в «гусек», подвергались в течение сорока лет достаточному обсуждению, чтобы заполнить целые библиотеки, они напугали обывателей, словно град аэролитов; и люди негодовали, преисполненные той ненависти, какую порождает всякая новая идея именно потому, что это — идея, ненависти, которая потом создает ей славу и в силу которой ее враги всегда стоят ниже ее, как бы ничтожна она ни была.

И вот собственность сделалась предметом почитания, почти близкого к культу, и слилась с понятием бога. Нападки на нее стали казаться святотатством, чуть ли не людоедством. Несмотря на самое гуманное законодательство, какое было когда-либо, снова возник призрак 93-го года, и в каждом слого слова «республика» слышался лязг ножа гильотины, что, впрочем, не мешало презирать эту республику за ее слабость. Франция, лишившись господина, стала кричать от страха, как слепец, потерявший палку, как малыш, отбившийся от няньки.

Но ни один француз так не струсил, как г-н Дамбрёз. Новый порядок вещей угрожал его благосостоянию, но, главное, он обманул и его опытность. Такая прекрасная система, такой мудрый король! Возможно ли? Миру пришел конец!

На следующий же день он уволил трех слуг, продал лошадей, купил себе мягкую шляпу для выходов на улицу, даже соби-рался отпустить бороду и засел дома, упав духом, с горечью перечитывая газеты, наиболее враждебные его взглядам, погрузившись в состояние столь мрачное, что даже шутки над трубкою Флокона были не в силах вызвать у него улыбку.

Являясь опорой низвергнутой монархии, он боялся, что мщение народа обрушится на его поместья в Шампани, как вдруг он случайно прочел разглагольствования Фредерика. Тут он вообразил, что его молодой друг — лицо очень влия-тельное и что если он не в силах быть ему полезен, то по край-ней мере может защитить его, — и вот однажды утром г-н Дамбрёз явился к нему в сопровождении Мартинона.

Единственной целью этого посещения, по словам г-на Дам-брёза, было повидаться и побеседовать с ним. В конечном итоге события радуют его, и он от всего сердца принимает «наш возвышенный девиз: «Свобода, Равенство, Братство», так как в сущности всегда был республиканцем». Если при прежнем строе он и подавал голос за правительство, то про-сто-напросто для того, чтобы ускорить неминуемое крушение. Он даже рассердился, говоря о Гизо, «из-за которого мы здо-рово поплатились, — этого ведь нельзя отрицать!» Зато он очень восхищался Ламартином, который, «честное слово, был прямо великолепен, когда по поводу красного знамени...»

— Да, знаю, — сказал Фредерик.

После этого г-н Дамбрёз заявил о своей симпатии к рабо-чим.

— Ведь в конце концов мы все более или менее рабочие! — И беспристрастие его доходило до того, что Прудон, по его мнению, был логичен. «О, весьма логичен, чорт возьми!» И с тем же равнодушием, которое свойственно возвышенному уму, он заговорил о выставке, где видел картину Пеллерена. Он находил ее оригинальной, удачной.

Мартинос все время вставлял одобрителыные замечания; он тоже считал, что надо «честно примкнуть к республике», и заговорил о своем отце-земледельце, притворяясь крестьяни-ном, простолюдином. Речь вскоре зашла и о выборах в На-циональное собрание и о кандидатах от Фортельского округа. Кандидат оппозиции не мог рассчитывать на успех.

— Вы должны были бы занять его место! — сказал г-н Дамбрёз.

Фредерик стал отговариваться.

А почему бы и нет? Голоса крайних левых обеспечены ему благодаря его личным взглядам, голоса консерваторов — бла-годаря его происхождению.

— А также отчасти, может быть,— с улыбкой прибавил банкир,— отчасти и благодаря моему влиянию.

Фредерик признался, что не знает, как взяться за это дело. Ничего нет проще! Надо только получить от одного из столичных клубов рекомендацию к патриотам департамента Обы. Надо не просто заявить о своих убеждениях, как это ежедневно делается в газетах, а серьезно изложить определенные принципы.

— Принесите мне, когда напишете. Я знаю, что требуется в тех местах. И, повторяю, вы могли бы оказать большие услуги стране, всем нам, даже мне. В такие времена следует помогать друг другу, и если Фредерику или его друзьям что-нибудь нужно...

— Ах, сударь! Я так вам признателен.

— Услуга за услугу, что и говорить.

Решительно, банкир — славный человек.

Фредерик не мог не задуматься, у него кружилась голова, он был ошеломлен.

Великие образы Конвента встали перед ним. Ему показалось, что занимается блистательная заря. Рим, Вена, Берлин охвачены восстанием, австрийцев прогнали из Венеции, вся Европа пришла в волнение. Час настал принять участие в движении, быть может ускорить его, и к тому же его прельщало одеяние, в котором, как уверяли, будут ходить депутаты. Он уже видел себя в жилете с отворотами, в трехцветном шарфе, и этот зуд, эти галлюцинации были так сильны, что он открылся Дюссардье.

Честный малый был все в таком же восторге.

— Разумеется! Конечно! Выставляйте свою кандидатуру!

Фредерик все же посоветовался с Делорье. Идиотская оппозиция, с которой комиссар сталкивался в провинции, усилила его либерализм. Он тотчас же ответил ему письмом, полным энергичных увещаний.

Однако Фредерику хотелось получить поддержку со стороны большего числа лиц, и он поделился своим планом с Розанеттой в присутствии м-ль Ватназ.

Она принадлежала к числу тех незамужних парижанок, которые каждый вечер после уроков и попыток продать какие-нибудь рисуночки или пристроить плохие рукописи возвращаются домой с грязным подолом, сами стряпают себе обед, съедают его в полном одиночестве, а потом, поставив ноги на грелку, при свете лампы с тусклым стеклом мечтают о любви, о семье, об очаге, о богатстве — обо всем, чего у них нет. Поэтому и она, подобно многим другим, приветствовала революцию, как путь к возмездию, и стала яркой поборницей социализма.

Освободить пролетариат, по мнению Ватназ, было возможно лишь при условии раскрепощения женщины. Она требовала для женщины доступа ко всем должностям, права объявлять отца незаконнорожденного ребенка, требовала изменить законодательство, уничтожить или, по крайней мере, «упорядочить брак на более разумных основаниях». Тогда всякая француженка будет обязана выйти замуж за француза или приютить старика. Кормилицы и повивальные бабки должны стать государственными служащими и получать жалованье от казны; необходимо особое жюри, которое оценивало бы произведения женщин, особые издатели для женщин, политехническая школа для женщин, национальная гвардия, состоящая из женщин,— все для женщин. А раз государство не признает их прав, силу они должны преодолеть силой. Десять тысяч гражданок, как следует вооруженных ружьями, могут задать такой страх ратуше!

Кандидатура Фредерика показалась ей благоприятной с этой точки зрения. Она ободряла его, указывая путь к славе. Розанетта радовалась, что в палате у нее будет свой человек.

— А вдобавок тебе, пожалуй, дадут и хорошее местечко.

Фредерик, подверженный всяческим слабостям, поддался всеобщему безумию. Он сочинил речь и отправился показать ее г-ну Дамбрёзу.

Когда ворота захлопнулись за ним, в одном из окон отдернули занавеску; показалась женщина; он не успел разглядеть, кто она. В передней же его внимание остановила картина, поставленная на стул, вероятно, временно,— картина Пеллерена.

Она изображала Республику, или Прогресс, или Цивилизацию под видом Иисуса Христа, управляющего паровозом, который мчится по девственному лесу. С минуту поглядев, Фредерик воскликнул:

— Что за гадость!

— Не правда ли? А? — сказал г-н Дамбрёз, появившийся как раз в этот миг и вообразивший, что слова Фредерика относятся не к живописи, а к доктрине, возвеличенной художником.

Тотчас же появился и Мартинон. Пошли в кабинет, и Фредерик уже извлек из кармана бумаги, как вдруг вошла м-ль Сесиль и с невинным видом промолвила:

— Тетя здесь?

— Ты же знаешь, что нет,— ответил банкир. — Впрочем, не беда! Будьте как дома, сударыня!

— Ах, нет, благодарю вас! Я ухожу.

Едва она вышла, Мартинон сделал вид, что ищет свой носовой платок.

— Я оставил его в пальто. Извините, я схожу за ним!

— Пожалуйста! — сказал г-н Дамбрёз.

Очевидно, он прекрасно замечал эти хитрости и как будто даже покровительствовал им. Почему? Но вскоре Мартинон снова появился, и Фредерик приступил к своей речи. Уже со второй страницы, где на господство денежных интересов указывалось как на позор, банкир стал морщиться. Далее, переходя к реформам, Фредерик требовал свободы торговли.

— Как?.. Но помилуйте!

Фредерик не слышал и продолжал чтение. Он требовал налога на ренту, налога прогрессивного, общеевропейской федерации и просвещения для народа, самого широкого поощрения изящных искусств.

— Если бы таким людям, как Делакруа или Гюго, страна предоставила сто тысяч франков содержания, что плохого было бы в этом?

Речь кончалась советами, обращенными к высшим классам:

«Ничего не жалейте, о богачи! Будьте щедры! Будьте щедры!»

Кончив, он продолжал стоять. Оба слушателя сидели молча; Мартинон тарашил глаза, г-н Дамбрёз побледнел. Наконец, скрыв свое волнение под кислой улыбкой, он сказал:

— Ваша речь превосходна! — и стал усиленно хвалить ее форму, избегая высказываться по существу.

Столько яда со стороны безобидного молодого человека пугало его главным образом как симптом. Мартинон пытался его успокоить. Разумеется, партия консерваторов в скором времени возьмет свое; из многих городов уже прогнали комиссаров временного правительства; выборы назначены только на 23 апреля, время есть; словом, г-н Дамбрёз сам должен выставить свою кандидатуру как представитель департамента Обы; и с этих пор Мартинон уже не покидал его, стал его секретарем и окружил его сыновними заботами.

Фредерик пришел к Розанетте чрезвычайно довольный собой. У нее он застал Дельмара, который ему сообщил, что, как «решено», он выступает кандидатом от департамента Сены. В особом воззвании, обращенном к «Народу», — причем актер говорил ему «ты», — Дельмар хвалился, что «он-то понимает его» и что ради его спасения он «отдал себя искусству на распятие» и, таким образом, является теперь его олицетворением, его идеалом. Он и в самом деле думал, что пользуется огромным влиянием на массы, и даже впоследствии предложил канцелярии какого-то министерства единолично подавить целое восстание, а на вопрос о том, к каким же средствам он прибегнет, дал такой ответ:

— Не бойтесь! Я просто покажусь им!

Фредерик, чтобы досадить ему, сказал о своей собственной кандидатуре. Актер, узнав, что его будущий коллега остановился на провинции, предложил свои услуги и взялся ввести его в клубы.

Они посетили все клубы, или почти все, красные и синие, яростные и миролюбивые, пуритански чинные и развязные, мистические и разгульные, те, где королям выносились смертные приговоры, те, где изобличались козни торгашества; и повсюду жильцы проклинали хозяев, блуза нападала на фрак, а богачи вступали в заговор против бедняков. Одни требовали вознаграждения за то, что были мучениками полиции, другие просили денег, чтобы пустить в ход какое-нибудь изобретение, а то еще возникали планы фаланстеров, проекты окружных базаров, системы общественного благополучия. То тут, то там — проблеск ума, мелькавший среди этих туч глупости, возгласы, внезапные, точно брызги, право, выраженное в форме ругательства, и цветы красноречия, срывавшиеся с уст оборванца, у которого перевязь сабли была надета прямо на голое плечо. Порою показывался какой-нибудь господин, аристократ, державшийся скромно, говоривший в плебейском тоне и не вымывший рук, чтобы они казались мозолистыми. Какой-нибудь патриот узнавал его, наиболее добродетельные на него набрасывались, и он уходил взбешенный. Чтобы казаться человеком здравомыслящим, надо было все время ругать адвокатов и как можно чаще пользоваться такими изречениями: «принести свой камень для постройки здания», «социальный вопрос», «рабочая мастерская».

Дельмар не пропускал случая взять слово, а когда ему больше нечего было сказать, он одной рукой упирался в бок, а другую закладывал за жилет, оборачиваясь в профиль, чтобы резче выделялась его голова. Тогда раздавались рукоплескания — м-ль Ватназ аплодировала из глубины зала.

Несмотря на то, что ораторы были слабые, Фредерик не решался выступить. Вся эта толпа казалась ему слишком невежественной или слишком враждебной.

Но за дело взялся Дюссардьё и однажды сообщил ему, что на улице Сен-Жак есть клуб, именуемый «Клубом Разума». Подобное название обнадеживало. К тому же он обещал привести друзей.

Привел он тех, кто был у него на пунше: счетовода, агента по делам виноторговли, архитектора; явился даже Пеллерен, можно было ждать и Юссонэ, а на улице у входа стоял Режембар с двумя субъектами — один из них был его верный Компен, человек низенького роста, с рябым лицом и красными глазами, а другой — нечто вроде негра или обезьяны, мужчи-

на чрезвычайно волосатый, о котором ему было известно только то, что он — «патриот из Барселоны».

Миновав коридор, они вошли в большую комнату, служившую, повидимому, столоярной мастерской; от стен, лишь недавно оштукатуренных, пахло известкой. Четыре стенные кинжета, прибитые друг против друга, лили неприятный свет. В глубине, на возвышении, стояла конторка, на ней был колокольчик, внизу стол, заменявший трибуну, а по обе его стороны — два других стола пониже, для секретарей. Публика, занимавшая скамейки, состояла из неудавшихся художников, классных наставников, неизданных сочинителей. Среди целого ряда пальто с засаленными воротниками виднелись женский чепец или рабочая блуза. В конце зала было даже очень много рабочих, пришедших сюда, вероятно, от нечего делать или приведенных ораторами, которым надлежало аплодировать.

Фредерик выбрал себе место между Дюссардье и Режембаром, который, усевшись, положил обе руки на свою трость, оперся на них подбородком и закрыл глаза; а на другом конце зала Дельмар, стоя, возвышался над всеми.

У конторки на председательском месте появился Сенекаль.

Эта неожиданность — так думал простачок приказчик — будет приятна Фредерику. Она же рассердила его.

Толпа проявляла большое уважение к своему председателю. Он был из числа тех, которые 25 февраля требовали немедленной организации труда; на следующий день он в Прадо призывал к нападению на ратушу; а так как здесь каждое лицо следовало определенному образцу, причем один брал пример с Сен-Жюста, другой — с Дантона, третий — с Марата, то он старался подделаться под Бланки, который подражал Робеспьеру. Черные перчатки и волосы щеткой придавали ему строгий вид, исключительно подходящий к случаю.

Заседание он открыл чтением «Декларации прав человека и гражданина», превратившимся в привычный обряд. Потом чей-то здоровенный голос затянул «Народную память» Бранже.

Послышались другие голоса:

— Нет! Нет! Не это!

— «Фуражку»! — заорали из глубины зала патриоты.

И они хором запели злободневные стихи:

На колени — перед рабочим,
Перед фуражкой — шляпы долой.

Повинуясь слову председателя, аудитория смолкла. Один из секретарей начал перебирать письма:

— Группа молодых людей сообщает, что каждый вечер они сжигают перед Пантеоном номер «Национального собрания» и приглашают всех патриотов следовать их примеру.

— Bravo! Принято! — ответила толпа.

— Гражданин Жан-Жак Лангрене, типограф с улицы Дофина, желал бы, чтобы мученикам Термидора был воздвигнут памятник.

— Мишель-Эварист-Непомюсен Венсан, бывший учитель, выражает желание, чтобы европейская демократия установила единый язык. Можно было бы воспользоваться одним из мертвых языков, например, латынью, усовершенствовав ее.

— Нет! Долой латынь! — закричал архитектор.

— Почему? — спросил какой-то классный наставник.

Они затеяли спор, в который вступили и другие, причем каждый старался блеснуть, и стало так скучно, что многие ушли.

Но вот низенький старичок в зеленых очках, над которыми подымался удивительно высокий лоб, потребовал слова, чтобы сделать неотложное сообщение.

Он прочел докладную записку о распределении налогов. Цифры лились, и конца не предвиделось. Нетерпение выразилось сперва ворчанием, разговорами; ничто не смущало его. Потом начали свистеть, стали звать «Азора». Сенекаль пожурил публику. Старичок продолжал говорить, точно заведенная машина. Чтобы остановить оратора, пришлось схватить его за локоть. Тогда он словно очнулся от сна и, спокойно подняв очки, сказал:

— Виноват, граждане! Виноват! Удаляюсь! Прощу извинения!

Неудача, постигшая это выступление, смутила Фредерика. Написанная речь лежала у него в кармане, но импровизация могла бы иметь больше успеха.

Наконец председатель объявил, что пора перейти к главному вопросу — к выборам. Длинные республиканские списки не стоило обсуждать. Однако ведь «Клуб Разума», как и всякий иной, имел право составить свой список, — «да не прогневаются господа падишахи из ратуши», — и гражданам, желавшим удостоиться доверия народа, предоставлялось объявить свое имя и звание.

— Ну, начинайте! — сказал Дюссардье.

Человек в сутане, с курчавыми волосами и с бойким выражением лица, уже поднял руку. Он пробормотал, что его зовут Дюкрето, сообщил, что он священник и агроном, автор ученого труда «Об удобрениях». Ему посоветовали обратиться в клуб садоводов.

Затем на трибуну поднялся патриот в блузе. Это был широкоплечий плебей с длинными черными волосами и полным, очень добродушным лицом. Собрание он обвел взглядом почти сладострастным, откинул голову и, наконец, разведя руками, начал:

— Вы отвергли Дюкрето, братья мои! И хорошо поступили. Но поступили вы так не от безверия, ибо все мы верующие.

Некоторые слушали его, разинув рот, приняв восторженные позы, точно прозелиты, которых наставляют в вере.

— И поступили вы так не потому, что он священнослужитель, ибо мы тоже священнослужители. Рабочий — священнослужитель, так же как и основоположник социализма, наш общий учитель Иисус Христос!

Настало время утвердить царство божие. Евангелие — прямой путь к восемьдесят девятому году! После уничтожения рабства — освобождение пролетариата. Миновал век ненависти, настанет век любви.

Христианство — основа, краеугольный камень нового здания...

— Смеетесь вы над нами, что ли? — крикнул агент по винной торговле. — Откуда этот поп?

Выпад его вызвал большую суматоху. Почти все повскакали на скамейки и, сжав кулаки, завопили: «Безбожник! Аристократ! Сволочь!» — меж тем как председатель не переставая звонил и с удвоенной силой раздавался крики: «К порядку! К порядку!» Но патриот, исполненный отваги и к тому же подкрепившийся до собрания «тремя чашками кофе», отбивался.

— Как! Я аристократ? Это еще что?!

Получив, наконец, позволение объясниться, он заявил, что спокойствия не будет, пока существуют священники, и раз речь идет об экономии, то всего экономнее упразднить церкви, дароносицы и вообще всякие обряды.

Кто-то заметил, что он заходит слишком далеко.

— Да, я далеко захожу! Но когда корабль застигнут бурей...

Не дожидаясь, чем кончится это сравнение, другой возразил:

— Не спорю! Но это то же самое, что разрушить одним ударом, как поступает безрассудный каменщик...

— Вы оскорбляете каменщиков! — завопил какой-то гражданин, весь в известке; и, вообразив, что ему брошен вызов, он стал ругаться, хотел затеять драку, схватился за скамейку. Понадобилось три человека, чтобы выставить его из зала.

А между тем рабочий все еще стоял на трибуне. Оба секретаря предупреждали его, что пора сойти. Он запротестовал против такого нарушения его законных прав:

— Вы не можете заткнуть мне рот, я буду кричать: нашей дорогой Франции — вечная любовь! Республике — тоже вечная любовь!

— Граждане! — сказал Компен. — Граждане!

И, добившись некоторого затишья благодаря неустанному повторению слова «граждане», он положил на кафедру свои красные, похожие на обрубки руки, наклонился вперед и, замигав, сказал:

— Полагаю, что следовало бы найти более широкое применение телячьей голове.

Все безмолвствовали, думая, что ослышались.

— Да, телячьей голове!

Триста человек, как один, ответили взрывом смеха. Задрожал потолок. Увидев все эти лица, скорчившиеся от хохота, Компен подался вперед. Он продолжал, рассвирепев:

— Как! Вы не знаете, что такое телячья голова?

Тут началось безумие. Люди хватались за бока. Некоторые даже падали на пол, валились под скамейки. Компен, не выдержав, вернулся к Режембару и хотел увести его.

— Нет, я останусь до конца! — сказал Гражданин.

Услышав этот ответ, Фредерик решил и, оглядываясь по сторонам, стал искать поддержки у своих друзей, как вдруг заметил Пеллерена, стоявшего перед ним на трибуне. Художник свысока обратился к толпе:

— Мне все же хотелось бы знать, где же здесь представитель искусства? Я написал картину...

— Картины нам ни к чему! — резко сказал тощий человек с красными пятнами на скулах.

Пеллерен возмутился, что его перебивают.

Но тот продолжал трагическим тоном:

— Разве правительству не следовало бы уже уничтожить декретом проституцию и нищету?

И, сразу же обеспечив себе этими словами благосклонность народа, он стал громить испорченность, царящую в больших городах.

— Стыд и позор! Всех этих буржуа нужно было бы хватать, когда они выходят из «Золотого дома», и плевать им в лицо! Если бы еще власть не покровительствовала распутству! Но таможенные чиновники так непристойно держат себя с нашими сестрами и дочерьми...

Кто-то, сидевший поодаль, изрек:

— Вот потеха!

— Прочь отсюда!

— С нас тянут налоги, чтобы оплачивать разврат! Вот, например, актеры, получающие большое жалованье...

— Прощу слова! — закричал Дельмар.

Он вскочил на трибуну, всех растолкал, стал в позу и, залив, что презирает столь пошлые обвинения, пустился рассуждать о просветительной миссии актера. Поскольку же театр есть очаг народного просвещения, он подает голос за реформу театра: прежде всего — долой директоров, долой привилегии!

— Да, никаких привилегий!

Игра актера разжигала толпу, и отовсюду неслись разрушительные предложения:

— Долой академии! Долой Институт!

— Долой миссии!

— Долой аттестаты зрелости!

— Долой ученые степени!

— Сохраним их, — сказал Сенекаль, — но пусть они будут присуждаться всеобщим голосованием, волей народа, единственного настоящего судьи!

Впрочем, самое существенное не в этом. Сперва надо сравнивать богачей со всеми прочими! И он описал, как они, в своих домах с золочеными потолками, предаются преступлениям, а между тем бедняки, корчась от голода где-то на чердаках, преисполнены всевозможных добродетелей. Рукоплескания стали так оглушительны, что он замолчал. Несколько минут он простоял с закрытыми глазами, откинув голову, словно убаюкиваемый всей той яростью, которую он разбудил.

Потом он снова заговорил — фразами догматическими и повелительными, как законы. Государство должно завладеть банками и страховыми обществами. Право наследования отменяется. Учреждается общественный фонд для труженников. В будущем следует осуществить и другие полезные меры. Пока достаточно и этих. Он вернулся к вопросу о выборах:

— Нам нужны граждане чистые, люди совершенно новые! Кто желает выступить?

Фредерик встал. Поднялся одобрителный гул — старались его друзья. Но Сенекаль, приняв вид Фукке-Тенвиля, стал его спрашивать, как его имя и фамилия, каково его прошлое, какую жизнь он ведет.

Фредерик отвечал ему в общих чертах, кусая губы. Сенекаль спросил, нет ли у кого-нибудь возражений против этой кандидатуры.

— Нет! Нет!

А у него было возражение. Все вытянули головы, насторожили слух. Гражданин кандидат не предоставил некоей суммы, обещанной им для демократического дела — основания

газеты. Далее, 22 февраля, хотя его успели предупредить, он не явился на место сбора — на площадь Пантеона.

— Клянусь, что он был в Тюильри! — крикнул Дюссардье.

— Можете ли вы поклясться, что видели его у Пантеона?

Дюссардье опустил голову. Фредерик молчал. Друзья его были сконфужены и глядели на него с беспокойством.

— Можете ли вы по крайней мере, — сказал Сенекаль, — указать патриота, который поручился бы за ваши убеждения?

— Я поручусь! — сказал Дюссардье.

— О, этого недостаточно. Надо другого!

Фредерик обернулся к Пеллерену. Ответом художника были разнообразнейшие жесты, означавшие:

«Ах, дорогой мой, они меня отвергли! Чорт возьми, что поделаешь!»

Тогда Фредерик локтем толкнул Режембара.

— Да, правда, теперь пора! Иду!

И Режембар шагнул на эстраду, потом, указывая на испанца, последовавшего за ним, сказал:

— Разрешите мне, граждане, представить вам патриота из Барселоны!

Патриот низко поклонился и, вращая, точно автомат, глазами с серебряным отливом, приложив руку к сердцу, начал:

— Ciudadanos! mucho aprecio el honor que me dispensais, y si grande es vuestra bondad mayor es vuestro atencion.¹

— Прошу слова! — закричал Фредерик.

— Desde que se proclamo la constitucion de Cadiz, ese pacto fundamental de las libertades españolas, hasta la ultima revolucion, nuestra patria cuenta numerosos y heroicos martires.²

Фредерик еще раз сделал попытку заставить выслушать себя.

— Но, граждане!..

Испанец продолжал:

— El martes proximo tendra lugar en la iglesia de la Magdalena un servicio funebre.³

— Это же в конце концов бессмыслица. Никому не понятно!

Это замечание разъярило толпу:

— Вон отсюда! Вон!

— Кого? Меня? — спросил Фредерик.

¹ Граждане, я очень ценю честь, которую вы мне оказываете, велика ваша доброта и еще больше — внимание (*исп.*).

² С той поры, как была объявлена конституция в Кадисе — этот основной договор об испанских свободах, — вплоть до последней революции наша родина насчитывает многочисленных и героических мучеников (*исп.*).

³ В ближайший вторник в церкви Магдалины будет совершена заупокойная служба (*исп.*).

— Именно вас! — величественно изрек Сенекаль. — Уходите!

Фредерик встал и пошел, а голос иберийца его преследовал:

— I todos los Españoles desearian ver alli reunidas las diputaciones de los clubs y de la milicia nacional. Une oracion funebre, en honor de la libertad española y del mundo entero, sera pronunciado por un miembro del clero de Paris en la sala Bonne-Nouvelle. Honor al pueblo frances, que llamaria yo el primero pueblo del mundo, sino fuese ciudadano de otra nacion! ¹

— Аристократишка! — взвизгнул какой-то оборванец, показывая кулак возмущенному Фредерику, который спешил выбраться во двор.

Он стал раскаиваться в своем рвении, не думая о том, что возведенные на него обвинения были в конце концов справедливы. Какая злополучная идея — выставить свою кандидатуру! Но что за ослы, что за кретины! Он сравнивал себя с этими людьми и мыслью о их глупости врачевал рану, нанесенную его самолюбью.

Потом он ощутил потребность повидать Розанетту. После всех этих безобразий, всей этой напыщенности общество такой милой женщины будет отдыхом. Ей было известно, что в этот вечер он должен выступать в клубе. Но когда он вошел, она даже ни о чем не спросила. Она сидела у камина, отпарывая подкладку от платья. Подобное занятие удивило его.

— Что ты делаешь?

— Ты же видишь, — сухо ответила она, — чиню свои тряпки! Вот она, твоя республика!

— Почему твоя?

— А что же, может быть — моя?

И она принялась попрекать его всеми событиями, происшедшими во Франции за эти два месяца, обвиняя его в том, что революцию сделал он, что из-за него люди разорены, что богатые покидают Париж и что со временем ей придется умереть на больничной койке.

— Хорошо тебе рассуждать при твоих доходах! Впрочем, если дальше так пойдет, твои доходы скоро кончатся.

— Вполне возможно, — сказал Фредерик. — Те, кто всех самоотверженнее, всегда бывают непоняты, и если бы не чистая совесть, то скоты, с которыми приходится путаться, отбили бы охоту к самоотречению!

Розанетта поглядела на него, нахмурила брови.

¹ Все испанцы отправятся туда, присоединившись к депутациям от клубов и национальной гвардии. Поминальная речь в честь испанской свободы и всего мира будет произнесена членом парижского клира в зале Бон-Нуviel. Слава французскому народу, который я назову первым народом в мире, хоть я и гражданин другой нации! (исп.)

— Что такое? А? Самоотречение? Нас, очевидно, постигла неудача? Тем лучше! Это тебя научит давать деньги на нужды родины. О, не лги! Я знаю, что ты дал им триста франков,—ведь она же содержанка, твоя республика! Ну, так и веселись с ней, дружок!

Фредерику, застигнутому этой лавиной глупости, от одного разочарования пришлось перейти к другому, еще более тяжкому.

Он удалился в глубину комнаты. Она подошла к нему.

— Ты только рассуди! В стране, так же как и в доме, должен быть хозяин, а то всякий норовит сплутовать. Во-первых, всем известно, что Ледрю-Роллен весь в долгах! Что касается Ламартина, то как же поэту понимать толк в политике? Ах, ты можешь пожимать плечами, ты можешь считать себя умнее других, а все же это так! Но ты вечно рассуждаешь, с тобой слова нельзя сказать! Вот, например, Фурнье-Фонтен, у которого магазины в Сен-Роке,— знаешь, какие у него убытки? Восемьсот тысяч франков! А Гомэр, упаковщик, что живет напротив, тоже республиканец,— он об голову жены изломал каминные щипцы и выпил столько абсента, что его собираются отвезти в больницу. Вот какие они все, республиканцы! Республика — и двадцать пять процентов! Да, уж есть чем хвастаться!

Фредерик ушел. Глупость этой женщины, вдруг прорвавшаяся наружу и сказавшаяся в такой грубой форме, внушала ему омерзение. Он почувствовал, что снова стал немного патриотом.

Досада Розанетты все возрастала. М-ль Ватназ раздражала ее своей восторженностью. Веря в свое особое призвание, она со страстью разглагольствовала, поучала, а так как в подобных вещах она была сильнее своей подруги, то донимала ее доказательствами.

Однажды она явилась в полном негодовании, оттого что Юссонэ позволил себе напалить в женском клубе. Розанетта одобрила такое поведение, объявила даже, что сама оденется мужчиной, «пойдет, скажет им всю правду и отхлещет их». Как раз в эту минуту вошел Фредерик.

— Ведь ты пойдешь со мной?

И, несмотря на его присутствие, они поругались — буржуазная дама и женщина-философ.

Женщины, по мнению Розанетты, созданы для любви и для того, чтобы воспитывать детей, хозяйничать.

М-ль Ватназ считала, что женщина должна играть роль в государстве. В былые времена и галльские женщины занимались законодательством и англо-саксонские; у гуронов они — участницы совета. Просвещение — дело общее. Все женщины

должны содействовать ему; эгоизм, наконец, должен смениться братством, а индивидуализм — ассоциацией, раздробленность земель — общественной их обработкой.

— Ну вот! Ты теперь и в обработке полей знаешь толк!

— Отчего бы и нет? К тому же дело идет обо всем человечестве, о его будущности.

— Заботилась бы лучше о своей!

— Это уж мое дело!

Ссора разгоралась. Фредерик вмешался. Ватназ горячилась и даже стала защищать коммунизм.

— Что за вздор! — сказала Розанетта. — Разве это может когда-нибудь сбыться?

Ватназ привела в доказательство ессеев, моравских братьев, парагвайских иезуитов, семейство Пенгонов в Оверни, близ Тьера; а так как она сильно жестикулировала, то цепочка от ее часов запуталась в связке брелоков и зацепилась за маленького золотого барашка.

Вдруг Розанетта страшно побледнела.

М-ль Ватназ продолжала отцеплять брелок.

— Можешь не трудиться, — сказала Розанетта, — теперь я знаю твои политические убеждения.

— Что? — спросила Ватназ, зардевшись, точно невинная девушка.

— О, ты меня понимаешь!

Фредерик не понимал. Очевидно, между ними встало нечто более серьезное и более интимное, чем социализм.

— А если бы и так! — возразила Ватназ, бесстрашно выпрямившись. — Это я заняла, моя милая. Долг платежом красен!

— Еще бы, я от своих долгов не отказываюсь! Из-за какой-то тысячи франков — стоит того! Я по крайней мере только занимаю, я никого не обкрадываю!

М-ль Ватназ пыталась засмеяться.

— О, я готова руку положить в огонь!

— Берегись! Рука у тебя сухая, может и загореться.

Старая дева подняла правую руку и поднесла к самому ее лицу:

— Но кое-кому из твоих друзей она приходится по вкусу!

— Верно, андалузцам. Вместо кастаньет!

— Мерзавка!

Капитанша ответила глубоким поклоном:

— Вы совершенно очаровательны!

М-ль Ватназ ничего не сказала. На висках у нее выступили капли пота. Глаза уставились на ковер. Она задышалась. Наконец она подошла к двери и с шумом распахнула ее.

— Прощайте! Я еще вам покажу!

— Посмотрим! — сказала Розанетта.

Усилия, которые она делала, чтобы сдержаться, надломили ее. Она упала на диван, дрожа, бормоча ругательства, проливая слезы. Неужели угроза Ватназ так взволновала ее?

Да нет же! Наплевать ей! В конце концов та, пожалуй, даже еще должна ей что-то. Все дело в золотом барашке, в подарке, и сквозь слезы у ней вырвалось имя Дельмара. Значит, она влюблена в актера!

«Так зачем же я понадобился ей? — спрашивал себя Фредерик. — С чего это он к ней вернулся? Кто велит ей поддерживать со мною отношения? Какой во всем этом смысл?»

Розанетта продолжала тихонько всхлипывать. Она все еще лежала на боку, вытянувшись на диване, подложив под правую щеку обе руки, и казалась существом столь хрупким, измученным и беспомощным, что Фредерик подошел и нежно поцеловал ее в лоб.

Тогда начались уверения в любви: князь теперь уехал, они будут свободны. Но в настоящую минуту она... в затруднительном положении. «Ты сам видел на днях, как я пустила в ход старую подкладку». Экипажей больше нет! И это еще не все: обойщик грозит увезти мебель из спальни и большой гостиной. Она не знает, как быть.

Фредерику хотелось ответить ей: «Не беспокойся, я заплачу!» Но ведь эта особа могла и солгать. Он был научен опытом. Он ограничился обычными утешениями.

Опасения Розанетты были не напрасны: пришлось отдать мебель и выехать из прекрасной квартиры на улице Друо. Розанетта сняла другую на бульваре Пуассоньер, в пятом этаже. Всяких редкостей из ее прежнего будуара оказалось достаточно, чтобы придать трем комнатам кокетливый вид. Повесили китайские шторы, над балконом устроили тент, для гостиной купили по случаю ковер, совсем новый, и пуфы, обитые розовым шелком. Фредерик принимал щедрое участие в этих приобретениях; он радовался как новобрачный, у которого, наконец, есть собственный дом, собственная жена; ему здесь нравилось, и он чуть ли не каждую ночь проводил у Розанетты.

Однажды утром, выйдя из квартиры, он заметил внизу, в четвертом этаже, кивер национального гвардейца, направлявшегося наверх. Куда это он идет? Фредерик решил выждать. Человек все подымался, слегка опустив голову; он вдруг взглянул наверх. Оказалось, что это г-н Арну. Положение было ясно. Оба разом покраснели, испытывая одинаковую неловкость.

Арну первый нашел выход из затруднения.

— Ей ведь лучше, не правда ли? — спросил он, как будто Розанетта была больна, а он пришел узнать о ее здоровье.

Фредерик воспользовался этим.

— Да, несомненно! Так по крайней мере мне сказала ее служанка,— он хотел намекнуть, что его не приняли.

Теперь они стояли друг против друга, оба в нерешительности, и друг друга рассматривали. Вопрос был в том, кто из них не уйдет. Арну и на этот раз нашел решение.

— А! Ну, ничего. Зайду потом... Куда вы собираетесь идти? Я провожу вас!

Они вышли на улицу, и Арну заговорил, как ни в чем не бывало. Очевидно, характер у него был не ревнивый или он был слишком добродушен, чтобы сердиться.

К тому же его занимали дела отечества. Теперь он уже не расставался с военной формой. 29 марта он защищал контору «Прессы». Когда народ ворвался в палату, он отличился своей храбростью и приглашен был на банкет в честь амьенской национальной гвардии.

Юссонэ, дежуривший всегда вместе с ним, более чем кто бы то ни было пользовался его фляжкой и сигарами, но, непочтительный от природы, любил противоречить ему, браня не слишком правильный язык декретов, совещания в Люксембургском дворце, везувианок, тирольцев — решительно все, вплоть до колесницы Агрикультуры, которую вместо волов тащили лошади и сопровождали уродливые девушки. Наоборот, Арну защищал правительство и мечтал о слиянии партий. Между тем дела его принимали скверный оборот. Это его мало беспокоило.

Отношения Фредерика с Капитаншей не огорчили его, ибо это открытие, как он думал, давало ему право лишить ее содержания, которое он снова назначил ей после отъезда князя. Он сослался на свое стесненное положение, долго сокрушался, и Розанетта проявила великодушие. Тогда Арну стал считать себя настоящим любовником, а это возвышало его в собственных глазах, молодило его. Не сомневаясь, что Капитанша на содержании у Фредерика, он вообразил, что «затянул забавную штуку», даже стал скрывать свою связь с ней и, встречаясь с ним, уступал место.

Необходимость делиться с Арну оскорбляла Фредерика, и любезности соперника казались ему слишком уже затянувшимся издевательством. Но, поссорившись с ним, он лишил бы себя всякой возможности вернуться к той, прежней, и, помимо всего, он только от Арну мог что-нибудь услышать о ней. Торговец фаянсом, следуя своему обыкновению, а может быть, и из лукавства, часто упоминал о ней в разговоре и даже спрашивал, почему он больше ее не навещает.

Фредерик, исчерпав все отговорки, стал уверять его, что несколько раз заходил к г-же Арну, но не заставал ее дома. Арну не усомнился в этом; он часто высказывал ей недоумение, почему не заходит их приятель, а она всякий раз отвечала, что

он заходил, когда ее не было; таким образом, одна ложь не противоречила другой, а подкрепляла ее.

Кротость молодого человека и отрадная мысль, что он его обманывает, заставляли Арну еще больше любить его. Свою фамильярность он доводил до крайних пределов, не из презрения, а потому, что доверял ему. Однажды он написал ему, что по неотложному делу должен на сутки уехать в провинцию; он просил Фредерика заменить его на дежурстве. Фредерик не решился отказать и отправился на площадь Карусели.

Ему пришлось переносить общество национальных гвардейцев, и все они, за исключением одного рафинировщика, весельчака, выпивавшего поразительно много, показались ему глупыми, как пробка. Главной темой разговора была замена кожаной амуниции одной португеей. Некоторые горячились из-за национальных мастерских. «Куда мы идем?» — говорил кто-нибудь. Тот, к кому был обращен этот возглас, отвечал, широко открыв глаза, словно он оказался на краю пропасти: «Куда мы идем?» А кто-нибудь посмелее восклицал: «Так не может продолжаться! Пора покончить с этим!» Одни и те же разговоры повторялись до самого вечера. Фредерик смертельно скучал.

Каково же было его удивление, когда в одиннадцать часов появился Арну, сразу сообщивший, что он спешит отпустить его, так как дела его кончены.

Дел у него не было. Он все выдумал, чтобы провести сутки наедине с Розанеттой. Но славный Арну не рассчитал своих сил, а когда утомился, почувствовал угрызения совести. Он пришел поблагодарить Фредерика и предложить ему поужинать.

— Покорно благодарю! Я совсем не голоден! Мне бы только добраться до постели!

— Так тем более надо будет позавтракать вместе! Какой вы неженка! Сейчас нельзя идти домой! Уже поздно! Это опасно!

Фредерик еще раз уступил. Товарищи, не ждавшие Арну, стали ухаживать за ним, особенно рафинировщик. Все его любили, и был он так добродушен, что даже пожалел об отсутствии Юссонэ. Но ему хотелось вздремнуть — на какую-нибудь минутку, не дольше.

— Ложитесь рядом со мной, — сказал он Фредерику, растянувшись на походной кровати и не сняв кожаной амуниции. На случай тревоги он, вопреки правилам, не расстался даже с ружьем; потом он пробормотал: «Милочка! Ангел мой!» — и не замедлил уснуть.

Разговаривающие замолчали, и мало-помалу водворилась глубокая тишина. Фредерик, которого мучили блохи, смотрел по сторонам. Вдоль стены, выкрашенной желтой краской, тя-

нулась длинная полка, на которой лежали ранцы, образуя ряд горбиков, а внизу были составлены ружья, все свинцового цвета; слышался храп национальных гвардейцев, а их животы смутно вырисовывались в сумраке. На печке стояли тарелки и пустая бутылка. Вокруг стола, на котором разбросаны были игральные карты, стояли три соломенных стула. На скамейке лежал барабан, ремни его свисали. В дверь дул теплый ветер, и лампа коптила. Арну спал, раскинув руки, а так как ружье его лежало наискось, прикладом вниз, то дуло приходилось ему подмышку. Фредерик заметил это и испугался.

«Да нет же! Пустое! Нечего опасаться! А все-таки, если бы он умер...»

И вот сразу же нескончаемой вереницей замелькали картины. Он увидел себя рядом с ней, ночью, в почтовой карете; потом на берегу реки летним вечером; наконец при свете лампы, в их доме. Он даже занялся хозяйственными выкладками и планами, созерцая, осязая уже свое счастье, а для достижения его надо было только, чтоб поднялся курок. Можно было толкнуть его носком; раздался бы выстрел,— случайность, только и всего!

Фредерик развивал свою мысль, точно драматург, занятый сюжетом. Вдруг ему показалось, что она близится к осуществлению и что дело не обойдется без его участия, что ему хочется этого; и в то же время его охватил великий ужас. Он мучился, но ощущал удовольствие и все глубже в него погружался, чувствуя со страхом, как исчезают его сомнения. В этих неистовых мечтах растворился весь остальной мир, и только невыносимое стеснение в груди поддерживало в нем сознание своего «я».

— Не выпить ли нам белого вина? — сказал, проснувшись, рафинировщик.

Арну соскочил с постели, а когда вино было выпито, захотел стать на часы вместо Фредерика.

Затем он повел его завтракать на Шартрскую улицу, к Парли, и так как ему надо было подкрепиться, то заказал два мясных блюда, омара, яичницу с ромом, салат и т. д.; запивалось все это сотерном 1819 года и романеей 42-го, не считая шампанского, поданного к десерту, и ликеров.

Фредерик ни в чем не противоречил ему. Он чувствовал себя неловко, как будто Арну мог заметить на его лице следы недавних мыслей.

Облокотившись на стол и очень низко наклонившись, Арну, смущая Фредерика упорным взглядом, делился с ним своими фантазиями.

Ему хотелось арендовать все насыпи Северной железной дороги, чтобы засадить их картофелем, или же устроить по буль-

варам грандиозную кавалькаду, в которой участвовали бы «современные знаменитости». Он снял бы по пути ее следования все окна и, сдав каждое из них по три франка, в среднем получил бы недурной барыш. Вообще он мечтал об удаче, которую ему принесет какая-нибудь спекуляция. Рассуждал он, однако, как человек нравственный, порицал излишества, бесчинства, вспоминал о своем «бедном отце» и рассказывал, что каждый вечер, прежде чем помолиться богу, отдает себя на суд своей совести.

— Еще капельку кюрасо, а?

— Как вам угодно.

Что до республики, то все уладится; словом, он считал себя счастливейшим в мире человеком и, забывшись, стал превозносить достоинства Розанетты, сравнивая ее даже со своей женой. Это уж совсем другое! Какие бедра!

— За ваше здоровье!

Фредерик чокнулся с ним. В угоду Арну он выпил лишнее, к тому же яркое солнце опьянило его, и когда они вместе пошли по улице Вивьен, их эполеты братски касались друг друга.

Вернувшись домой, Фредерик проспал до семи часов. Потом он отправился к Капитанше. Она с кем-то ушла. Может быть, с Арну? Не зная, что ему делать, он продолжал свою прогулку по бульвару, но не мог пройти дальше ворот Сен-Мартен, — так много здесь было народу.

Нужда бросила на произвол судьбы значительное число рабочих, и каждый вечер они приходили сюда, очевидно, делать смотр своим силам, ожидая, что будет подан сигнал. Несмотря на закон, запрещающий сборища, эти *клубы отчаяния* становились угрожающе многолюдными, и многие буржуа, щеголяя храбростью, каждый день, следуя моде, ходили смотреть на них.

Вдруг в трех шагах от себя Фредерик увидел г-на Дамбрёза с Мартиноном. Фредерик отвернулся, ибо г-н Дамбрёз достиг избрания в депутаты, и он был на него сердит. Но капиталист остановил его:

— Одну минутку, дорогой мой! Я вам должен дать объяснения...

— Я их не требую...

— Сделайте милость, выслушайте меня!

Тут вовсе не было его вины. Его упросили, в известном смысле даже принудили. Мартинон тотчас же подтвердил его слова: жители Ножана прислали к нему депутацию.

— К тому же я не считал себя связанным с тех пор, как...

Толпа, хлынувшая на тротуар, оттеснила г-на Дамбрёза. Через минуту он снова появился и сказал Мартинону:

— Вот уж это настоящая услуга! Вы не будете раскаиваться...

Все трое остановились около магазина и прислонились к стене, чтобы свободнее было разговаривать.

Время от времени раздавались крики: «Да здравствует Наполеон! Да здравствует Барбес! Долой Мари!» Слышался громкий говор бесчисленной толпы, и все эти голоса, отраженные стенами домов, сливались в непрерывный гул, подобный шуму волн в гавани. Порой они смолкали: тогда раздавалась «Марсельеза». В подворотнях таинственные личности предлагали трости с кинжалами. Иногда какие-нибудь два субъекта мимоходом перемигивались и быстро расходились. На тротуаре кучками стояли зеваки; на мостовой колыхалась густая толпа; целые отряды полицейских, выходявших из переулков, сразу же исчезали в ней. Красные флажки, мелькавшие то здесь, то там, напоминали огни; кучера, восседая на козлах, размахивали руками, а потом поворачивали назад. Все двигалось, зрелище было самое странное.

— Как бы все это развлекло мадмуазель Сесиль! — сказал Мартинон.

— Вы ведь знаете, жена моя не любит отпускать племянницу с нами, — ответил с улыбкой г-н Дамбрёз.

Он стал неузнаваем. Целых три месяца он кричал: «Да здравствует республика!» и даже голосовал за изгнание Орлеанских. Но пора было прекратить уступки. Он так рассвирепел, что носил в кармане кастет.

Кастет был и у Мартинона. Судебные должности перестали быть несменяемыми, поэтому он бросил службу и резкостью суждений превосходил теперь г-на Дамбрёза.

Банкир особенно ненавидел Ламартина (за то, что он подерживал Ледрю-Роллена), а с ним заодно и Пьера Леру, Прудона, Консидерана, Ламеннэ, — всех сумасбродов, всех социалистов.

— Ведь чего они хотят в конце концов? Отменили пошлину на мясо и аресты за долги. Сейчас разрабатывается проект земельного банка, а на днях учредили государственный банк! И вот вам в бюджете — пять миллионов для рабочих! Но, к счастью, с этим покончено благодаря господину де Фаллу! Пусть проваливают. Скатертью дорога!

В самом деле, не зная, как прокормить сто тридцать тысяч рабочих, занятых в Национальных мастерских, министр общественных работ подписал в тот же день постановление, приглашавшее всех граждан в возрасте от восемнадцати до двадцати лет поступать в солдаты или отправиться в провинцию — обрабатывать землю.

Это предложение возмутило их; они решили, что теперь хотят уничтожить республику. Жизнь вдали от столицы казалась им грустной, как изгнание; им уже рисовались те дикие

местности, где они будут умирать от лихорадки. К тому же многие, привыкшие к тонким ремеслам, считали земледелье унизительным занятием; наконец ведь это был обман, насмешка, полный отказ от всех обещаний! Если они станут сопротивляться, им ответят насилеи; они не сомневались в этом и собирались предупредить нападение.

К девяти часам толпа, скопившаяся у Бастилии и у Шатле, хлынула на бульвар. От ворот Сен-Дени до ворот Сен-Мартен кишела сплошная огромная темносиняя, почти черная масса. У всех, кого можно было разглядеть в толпе, глаза горели, лица были бледные, исхудавшие от голода, возбужденные несправедливостью. Между тем собирались тучи; грозовое небо наэлектризовывало толпу, кружившуюся на одном месте, нерешительную, охваченную широким волнообразным движением, которое напоминало зыбь; и в глубинах ее чувствовалась сила, как бы стихийная мощь. Потом все запели: «Фонарики! Фонарики!» Несколько окон остались неосвещенными; в них бросили камнями. Г-н Дамбрёз счел более осторожным удалиться. Молодые люди пошли провожать его.

Он предвидел великие бедствия. Народ опять мог ворваться в палату. И по этому поводу он рассказал, что 15 мая был бы убит, если бы не самоотверженность одного национального гвардейца.

— Да это же ваш приятель, я и забыл! Ваш приятель, торговец фаянсом, Жак Арну!

Мятежники наседали на него, а этот храбрый гражданин взял его на руки и отнес в сторону. Тут и завязалось нечто вроде знакомства.

— Как-нибудь на днях надо будет пообедать вместе, а вы передайте ему, раз вы так часто с ним встречаетесь, что он мне очень нравится. Прекрасный человек. По-моему, на него клеветают. И он не глуп, этот плут! Прощайте еще раз! Всего лучшего!

Расставшись с г-ном Дамбрёзом, Фредерик отправился к Капитанше и очень мрачно сказал, что она должна выбирать: либо он, либо Арну. Она кротко ответила, что совершенно не понимает «таких глупостей», что не любит Арну, нисколько не дорожит им. Фредерик жаждал уехать из Парижа. Она не воспротивилась этой прихоти, и они на следующий же день собрались в Фонтенебло.

Гостиница, где они остановились, отличалась тем, что посреди двора журчал фонтан. Двери комнат выходили в коридор, точно в монастыре. Им отвели большую комнату, хорошо обставленную, обтянутую кретоном и очень спокойную,— путешественников было мало. Вдоль домов расхаживали праздные обыватели; попозже, когда настали сумерки, на улице под их

окнами дети затеяли игру в городки, и эта тишина, которой сменился для них шум Парижа, удивляла, умиротворяла их.

Ранним утром они пошли осматривать дворец. Они миновали железные ворота, и им открылся весь фасад, все пять павильонов с остроконечными крышами и лестница в форме подковы в глубине двора, по обе стороны которого тянутся два флигеля, более низких. Лишайники на мощеном дворе сливались издали с бурными тонами кирпичей, и дворец, напоминая окраской старые ржавые латы, был царственно невозмутим, исполнен воинственного и скорбного величия.

Наконец появился сторож со связкой ключей. Сперва он показал им покои королев, папскую молельню, галерею Франциска I, столик красного дерева, на котором император подписал отречение от престола, а в одной из комнат, на которые разделена была прежняя Галерея оленей,— то место, где по приказанию Христины убили Мональдески. Розанетта внимательно выслушала эту историю, потом, обернувшись к Фредерику, сказала:

— Наверно, из ревности? Смотри, берегись!

Затем они прошли через зал Совета, через караульный зал, через тронный зал, через гостиную Людовика XIII. В высокие незанавешенные окна проникал белый свет; ручки дверей и окон, медные ножки консолей подернулись тусклым слоем пыли; чехлы из грубого холста закрывали мебель; над дверьми видны были охотничьи сцены времен Людовика XV, а кое-где — гобелены, изображавшие богов Олимпа, Психею, сражения Александра.

Проходя мимо зеркала, Розанетта всякий раз останавливалась на минуту, приглаживая волосы.

Миновав башенный двор и осмотрев капеллу св. Сатурнина, они вошли в парадный зал.

Их ослепило великолепие плафона, разделенного на восьмиугольники, украшенного золотой и серебряной отделкой, превосходящей тонкостью любую драгоценную безделушку, и поразила живопись, которою в таком обилии были покрыты стены, начиная с гигантского камина, где полумесяцы окружают герб Франции, и кончая эстрадой для музыкантов на другом конце зала. Десять сводчатых окон были широко распахнуты; живопись блистала в лучах солнца, голубое небо, уходя в беспредельность, вторило ультрамариновым тонам сводов, а из глубины лесов, туманные верхушки которых подымались на горизонте, казалось, доносились эхо охотничьих рогов из слоновьей кости и отголоски мифологических балетов, в которых под сенью листвы танцевали принцессы и вельможи, переодетые нимфами и сельванами,— отголоски времен наивных знаний, сильных страстей и пышного искусства, когда мир стремились

превратить в грезу о Гесперидах, а любовниц королей уподобляли небесным светилам. Прекраснейшая из этих знаменитых женщин велела изобразить себя на правой стене в виде Дианы-охотницы или даже Адской Дианы, в знак того, очевидно, что власть ее не кончится и за гробом. Все эти символы вешали о ее славе, и что-то еще оставалось от нее — не то смутный отзвук ее голоса, не то отблеск ее сияния.

Фредерик почувствовал невыразимое вожеление, рожденное этим прошлым. Чтобы отвлечься, он нежно взглянул на Розанетту и спросил ее, не хочется ли ей быть на месте этой женщины.

— Какой женщины?

— Дианы де Пуатье!

Он повторил:

— Дианы де Пуатье, любовницы Генриха Второго.

Она промолвила: «А-а!» И все.

Ее молчание ясно доказывало, что она ничего не знает, ничего не понимает. Снисходя к ней, он спросил:

— Тебе, может быть, скучно?

— Нет, нет, наоборот!

И, подняв подбородок и обводя стены ничего не выражающим взглядом, Розанетта изрекла:

— Это вызывает воспоминания!

Однако по лицу ее было заметно, что она делает усилие, чтобы настроиться на благоговейный лад, а так как эта серьезность очень шла к ней, он решил ее извинить.

Пруд с карпами занял ее гораздо больше. Она добрых четверть часа кидала в воду кусочки хлеба, чтобы посмотреть, как набрасываются на них рыбы.

Фредерик сел рядом с ней под липами. Он думал о всех тех людях, которых видели эти стены, о Карле V, о королях из дома Валуа, о Генрихе IV, о Петре Великом, о Жан-Жаке Руссо и «прекрасных плакальщицах нижних лож», о Вольтере, Наполеоне, Пие VII, Луи-Филиппе; он чувствовал, как обступают, теснят его шумливые покойники; нестройная толпа этих образов ошеломила его, хоть он и находил в них прелесть.

Наконец они спустились к цветнику.

Он занимает большой прямоугольный участок, и можно одним взглядом окинуть широкие желтые дорожки, квадратики газона, завитки буксов, пирамидальные тисы, низкие кустики и узкие клумбы, где редкие цветы выделяются пятнами на серой земле. За цветником начинается парк, через который из конца в конец тянется длинный канал.

Королевские жилища полны какой-то своеобразной меланхолии, вызываемой, должно быть, несоответствием между огромными размерами и немногочисленностью обитателей, той

тишиной, которую мы с удивлением находим здесь после стольких грубых звуков, той незабываемой роскошью, которая древною тщетою своей изобличает быстротечность династий, неизбывную тщетою всего сущего, и это дыхание веков, дурманящее и скорбное, точно аромат мумии, чувствуют даже бесхитростные умы. Розанетта отчаянно зевала. Они вернулись в гостиницу.

После завтрака им подали открытый экипаж. Они выехали из Фонтенебло через широкую круглую площадку, потом стали шагом подыматься по песчаной дороге в низкорослом сосновом лесу. Деревья стали выше, и кучер время от времени говорил: «Вот Сиамские близнецы, Фарамунд, Королевский букет...», не пропуская ни одного из знаменитых пейзажей, порою даже останавливая лошадей, чтобы можно было полюбоваться.

Они въехали в Франшарскую рощу. Экипаж скользил по траве, точно сани; ворковали голуби, которых не было видно; вдруг появился слуга из кафе, и коляска остановилась у садовой ограды, за которой стояли круглые столики. Оставив влево стены разрушенного аббатства, Фредерик и Розанетта направились по тропинке, усеянной крупными камнями, и вскоре очутились в глубине ущелья.

Один из его склонов покрыт песчаником и кустами можжевельника, а другой, почти голый, спускается в овраг, где среди ярких красок вереска бледной линией тянется тропинка; совсем вдали подымается вершина, в форме усеченного конуса, а за ней телеграфная вышка.

Полчаса спустя они еще раз вышли из коляски и стали взбираться на высоты Апремона.

Дорога вьется среди приземистых сосен и скал с угловатыми очертаниями; в этой части леса все как-то глухо, царит суровая сосредоточенность. На память приходят те отшельники, которые жили в обществе огромных оленей с огненными крестами между рогов и, отечески улыбаясь, встречали добрых французских королей, склонявших колени у входа в их пещеры. Жаркий воздух насыщен был запахом смолы, корни деревьев сплетались на земле, точно жилы. Розанетта, спотыкаясь о них, приходила в отчаяние, ей хотелось плакать.

Но, взобравшись на вершину, она снова повеселела: под навесом из ветвей оказалось нечто вроде ресторанчика, и тут же продавались вещицы, вырезанные из дерева. Она выпила бутылку лимонада, купила палку из остролиста и, даже не взглянув на ландшафт, открывавшийся с плоскогорья, вошла в Разбойничью пещеру вслед за мальчиком, который нес факел.

Коляска ожидала их в Ба-Брео.

Художник в синей блузе работал, сидя под дубом и держа

на коленях ящик с красками. Он поднял голову, поглядел им вслед.

На косогоре Шайи они попали под внезапно хлынувший ливень, так что пришлось поднять верх. Дождь быстро прекратился, и когда они въезжали в город, мостовая блестела на солнце.

От путешественников, только что прибывших, они узнали, что в Париже идут жестокие, кровавые бои. Розанетту и ее любовника это не удивило. Вскоре путешественники отправились в дорогу; в гостинице все снова стихло, газ погасили, и они загнули под плеск фонтана, бившего во дворе.

На другой день они поехали осматривать Волчье ущелье, озеро Фей, Долгий утес, Марлотту, а на третий — предоставили кучеру везти их куда ему вздумается, спрашивая, где они, и даже зачастую не обращая внимания на знаменитые пейзажи.

Им так хорошо было в старом ландо, обтянутом внутри плотняной материей с выцветшими полосками, с низким, точно диван, сиденьем! Канавы, заросшие кустарником, скользили мимо мерно и непрерывно. Белые лучи, точно стрелы, пронизывали высокий папоротник; иногда, уходя прямой линией вдаль, в стороне открывалась дорога, по которой теперь никто не ездил, так что местами на ней уже мягко зыбилась трава. На перепутьях простирали свои руки кресты рогаток, а кое-где столб кривился подобно засохшему дереву, и узкая извилистая тропинка, теряясь под деревьями, манила в лес; лошадь тут же сворачивала на тропинку, колеса вязли в грязи; и дальше виднелись глубокие колеи, обросшие мхом.

Им казалось, что они здесь совсем одни, далеко от людей. Но вдруг навстречу попадался лесничий с ружьем или проходила толпа женщин в лохмотьях, с длинными вязанками хвоста на спине.

Когда коляска останавливалась, воцарялась полная тишина; только слышно было, как дышит лошадь, да раздавался слабый птичий писк.

Кое-где опушка леса была ярко освещена, а чаща погружена в тень; местами же свет, смягченный на первом плане каким-то мгlistым сумраком, расстилался вдали лиловой дымкой, белыми пятнами. Солнце, стоявшее в зените, бросало отвесные лучи на широкую зелень деревьев, обрызгивало их, усеивало кончики ветвей серебряными каплями, расстилалось по траве изумрудными полосами, бросало золотые блики на груди опавших листьев; закинув голову, можно было между верхушками деревьев увидеть небо. Некоторые деревья, непомерно высокие, походили на императоров и патриархов, иные вершинами касались друг друга и своими длинными стволами образовали подобие триумфальных арок; те же, что росли кри-

во от самых корней, казались колоннами, которые вот-вот рухнут.

Порой в этой массе густых отвесных линий возникал про-свет. Тогда огромными зелеными волнами вздымались неров-ные цепи холмов, сливавшихся с долинами, а за ними высились гребни других холмов, спускавшихся к золотистым нивам, ко-торые исчезали в бледной, смутной дали.

Иногда, стоя друг подле друга на какой-нибудь возвышен-ности, они вдыхали ветер и чувствовали, что в душу их как бы внедряется гордое сознание жизни, более свободной, избыток сил, беспричинная радость.

Благодаря разнообразию деревьев пейзаж менялся все вре-мя. Буки с белыми и гладкими стволами сплетали свои корни; ясени томно опускали свои ветви и сине-зеленую листву; среди молодых грабов, точно вылитые из бронзы, щетинились остро-листники; потом шел ряд тонких берез, склонившихся в элеги-ческой позе, а сосны, симметричные, словно трубы органа, ка-зались, пели, непрерывно покачиваясь из стороны в сторону. Были здесь и огромные узловатые дубы; устремляясь ввысь, они судорожно изгибались, сжимали друг друга в объятиях и, крепко держась на корнях, простирали друг к другу обнажен-ные ветви, бросали отчаянные призывы, яростные угрозы, по-добно титанам, оцепеневшим в гневе. Что-то еще более гнету-щее, какое-то лихорадочное томление тяготело над гладью бо-лотистых вод, окруженной колючим кустарником; лишайники, растущие по берегам, куда волки приходят на водопой, цветом своим похожие на серу, были сожжены, как будто по ним ступа-ли ведьмы, и непрерывное кваканье лягушек отвечало кар-канью кружащихся ворон. Далее тянулись однообразные про-секи, кое-где усаженные молодыми деревцами. Раздавался гро-хот железа, тяжелые и частые удары: на склоне холма артель рабочих дробила камень. Скалы попадались все чаще и, нако-нец, заполнили весь пейзаж; кубические, как дома, или плоские, как плиты, они сталкивались, опираясь и громоздясь друг на друга, сливаясь, словно неведомые чудовищные развалины ис-чезнувшего города. Но самое неистовство их хаоса скорее наводит на мысль о вулканах, потопах, великих неведомых нам ка-таклизмах. Фредерик говорил, что скалы эти стоят здесь от на-чала мира и останутся до конца его; Розанетта отворачивалась, заявляя, что она «от таких вещей с ума сойдет», и отправля-лась рвать вереск. Его мелкие лиловатые цветочки, теснясь друг к другу, сливались в неровные пятна, а земля, осыпавша-яся из-под его корней, черной бахромой выделялась на песке, усеянном блестками слюды.

Однажды они стали взбираться на песчаный холм и под-нялись до половины его. По склону холма, не знавшему сле-

дов человеческой ноги, тянулись симметричные волнообразные полосы; то тут, то там, точно мысы на высохшем ложе океана, выступали скалы, своими формами смутно напоминавшие разных зверей — черепах с вытянутыми головами, ползающих тюленей, гиппопотамов, медведей. Кругом никого. Ни единого звука. Песок, освещенный солнцем, слепил глаза; и вдруг, среди этой зыби лучей, звери как будто зашевелились, Фредерик и Розанетта почти в испуге бросились назад, — у них закружилась голова.

Строгое спокойствие леса заражало их, и бывали часы, когда они хранили молчание, покачиваясь на рессорах, точно убаюканные безмятежной негой. Обняв Розанетту за талию, он слушал и голос ее и щебетанье птиц, рассматривал и черные виноградины на ее шляпке, и ягоды на кустах можжевельника, и складки ее вуаля, и завитушки облаков, а наклоняясь к ней, он чувствовал свежесть ее кожи и вдыхал ее вместе с запахами леса. Все забавляло их; они, как на диковинку, указывали друг другу на тонкие нити паутины, свесившиеся с куста, на углубления в камнях, полные воды, на белку в ветвях, на двух бабочек, летевших им вслед; иногда шагах в двадцати от них спокойно проходила под деревьями кроткая благородная лань, а рядом с нею молодой олень. Розанетте хотелось бежать за ним, расцеловать его.

Как-то раз она очень испугалась: совсем неожиданно к ним подошел человек и показал ей в ящике трех гадюк. Она крепко прижалась к Фредерику; и он был счастлив, чувствуя ее слабость и свою силу, сознавая, что может защитить ее.

В тот же вечер они обедали в ресторане на берегу Сены. Стол их стоял у окна. Розанетта сидела против Фредерика, и он любовался ее тонким белым носиком, оттопыренными губками, ее ясными глазами, пышными каштановыми волосами, красивым овалом лица. Платье из небеленого фуляра плотно облегалo ее плечи, немного покатые, а руки ее, в гладких манжетах, резали, наливали, двигались над скатертью. Им подали совершенно распластанного цыпленка, матлот из угрей в глиняной миске, терпкое вино, черствый хлеб, зазубренные ножи. Все это усиливало их радость, поддерживало иллюзию. Им чуть ли не казалось, что они путешествуют по Италии, справляя свой медовый месяц.

Перед тем как сесть в экипаж, они пошли прогуляться по берегу реки.

Небо, нежноголубое, точно купол округляясь над землей, касалось на горизонте зубчатых вершин леса. На противоположном конце поляны высилась колокольня сельской церкви, а дальше, налево, крыша дома красным пятном отражалась в реке, образовавшей здесь излучину и казавшейся неподвижной.

Однако камыши наклонялись, и вода тихо покачивала воткнутые на берегу жерди, на которых развешаны были сети; тут же стояли ивовая верша и две-три старые лодки. У постоянного двора служанка в соломенной шляпе тянула ведра из колодца; каждый раз, когда ведро поднималось, Фредерик с невыразимым наслаждением прислушивался к скрипу цепи.

Он не сомневался, что будет счастлив до конца своих дней: таким естественным казалось ему его счастье, так неразрывно связывалось оно с его жизнью и с личностью этой женщины. Ему хотелось говорить ей что-нибудь нежное. Она мило отвечала ему, хлопала по плечу, и его очаровывала неожиданность ее ласк. Он открывал в ней совершенно новую красоту, которая, быть может, являлась лишь отблеском окружающего мира или была вызвана к жизни его сокровенной сущностью.

Когда они отдыхали среди поля, он клал голову ей на колени, под тень ее зонтика; или оба они ложились на траву, друг против друга, погружались взглядом в самую глубину зрачков, возбуждая друг в друге желание, а когда оно было утолено, они, полузакрыв глаза, молчали.

Иногда слышались где-то вдали раскаты барабана. Это в деревнях били тревогу, созывая народ на защиту Парижа.

— Ах, да! Это восстание,— говорил Фредерик с презрительной жалостью, ибо все эти волнения казались ему ничтожными по сравнению с их любовью и вечной природой.

И они болтали бог весть о чем, о вещах, которые и так были им известны, о людях, которые их не занимали, обо всяких пустяках. Она рассказывала ему о своей горничной и о своем парикмахере. Однажды она проговорила, сказала, сколько ей лет: двадцать девять; она стареет.

Несколько раз, сама не замечая, сообщала ему подробности о своей жизни: она была продавщицей в магазине, ездила в Англию, начинала готовиться в актрисы; все это было бесвязно, и Фредерик не мог восстановить цельной картины. Рассказала она и больше — как-то раз, когда они сидели на луговом откосе под платаном. Внизу, у дороги, босая девочка пасла корову. Заметив их, она сразу же подошла попросить милостыню; одной рукой она придерживала лохмотья своей юбки, а другой почесывала черные волосы, напоминавшие парик времен Людовика XIV и окаймлявшие ее смуглое личико, которое озарялось блеском ослепительных глаз.

— Со временем она будет хорошенькая,— сказал Фредерик.

— Ей повезло, если у ней нет матери! — заметила Розанетта.

— Как? Почему?

— Ну да. Вот если бы и у меня...

Она вздохнула и стала рассказывать про свое детство. Ее родители были прядильщики в Круа-Русс. У своего отца она была подмастерьем. Бедняга работал, старался изо всех сил, но жена бранила его и все распродала, лишь бы пойти напиться. Розанетта как сейчас помнила их комнату, станки, расставленные вдоль окон, котел с супом на печке, кровать, выкрашенную под красное дерево, против нее шкаф и темный чулан, где она спала до пятнадцати лет. Явился, наконец, какой-то господин, жирный, с бурым цветом лица, с повадками святоши, весь в черном. Он переговорил с ее матерью, и вот через три дня... Розанетта остановилась и бросила взгляд, полный бесстыдства и горечи:

— Дело было сделано!

Потом, как бы отвечая Фредерику:

— Он был женатый (дома он боялся скомпрометировать себя), поэтому меня отвели в ресторан, в отдельный кабинет, и сказали, что я буду счастлива, что он сделает мне хороший подарок.

Первое, что меня поразило, едва только я вошла, был вызолоченный канделябр на столе, где стояло два прибора. Они отражались в зеркале на потолке, а стены были обтянуты голубым шелком, и комната была похожа на альков. Все это меня изумило. Ты понимаешь: бедная девочка никогда ничего не видела! Хоть этот блеск и ослепил меня, мне стало страшно. Мне хотелось уйти. Но я осталась.

Перед столом стоял только диван. Я села на него — он был такой мягкий! Из отдушины калорифера, прикрытой ковром, шел горячий воздух, а я сидела, ни к чему не притрагиваясь. Лакей, стоявший передо мной, уговаривал меня поесть. Он тут же налил мне полный стакан вина. У меня закружилась голова, я хотела открыть окошко, он мне сказал: «Нет, барышня, нельзя». И ушел. На столе была всякая всячина, о которой я и представления не имела. Ни одно из кушаний мне не понравилось. Тогда я набросилась на вазочку с вареньем и все ждала. Не знаю, что его задержало. Было уже очень поздно, около полуночи, я изнемогала от усталости. Я стала перекладывать подушки, чтобы поудобнее улечься, и вдруг мне под руку попало нечто вроде альбома, какая-то тетрадь, неприличные картинки... Я заснула над ними, когда он вошел.

Она опустила голову и задумалась.

Листья сверху шелестели, над густой травой покачивалась большая наперстянка, волны света лились на поляну, и только изредка слышно было, как корова, которую они уже потеряли из виду, пощипывает траву.

Розанетта пристально и сосредоточенно смотрела в одну

точку, прямо перед собой; ноздри ее трепетали. Фредерик взял ее за руку.

— Сколько ты выстрадала, милая, бедняжка!

— Да,— промолвила Розанетта,— больше, чем ты думаешь! Даже хотела покончить с собой. Меня вытащили из воды.

— Как так?

— Ах, не стоит вспоминать!.. Я тебя люблю, я счастлива! Поцелуй меня.

И она стала выщипывать репей, зацепившийся за подол ее платья.

Фредерик больше всего думал о том, чего она не сказала. Какими путями могла она выбраться из нищеты? Какому любовнику она обязана своим воспитанием? Что произошло в ее жизни до того дня, когда он в первый раз появился в ее доме? Ее последнее признание делало невозможным всякие расспросы. Он только спросил ее, как она познакомилась с Арну.

— Через Ватназ.

— Не тебя ли я как-то раз видел вместе с ними в Палероале?

Он назвал дату. Розанетта сделала усилие, припоминая.

— Да, верно... Невесело мне было в те времена!

Но Арну показал себя с наилучшей стороны. Фредерик не сомневался в этом, но все же друг их — большой чудак, у него много недостатков; и он не преминул перечислить их. Она соглашалась.

— Что из того?.. Как-никак любишь этого негодяя!

— Даже теперь? — спросил Фредерик.

Она покраснела и полусмеясь, полусердито возразила:

— Да нет же! Это давнишняя история. Я от тебя ничего не скрываю. А даже если бы и так, ведь он — совсем другое! Впрочем, ты не особенно мило ведешь себя со своей жертвой.

— Жертвой?

Розанетта взяла его за подбородок.

— Ну разумеется!

И, сюсюкая, как делают кормилицы:

— Ты не всегда был паинька! С его женой в одной постельке — бай-бай!

— Я? Никогда в жизни!

Розанетта улыбнулась. Ее улыбка оскорбила его, как доказательство равнодушия (так он подумал). Но она стала кротко расспрашивать его, взглядом умоляя ответить ложью:

— Наверное?

— Ну, конечно!

Фредерик поклялся ей, что никогда не помышлял о г-же Арну; ведь он страстно влюблен в другую.

— В кого же это?

— Да в вас, моя красавица!

— Ах, не издевайся надо мной! Это меня раздражает!

Он счел более осторожным рассказать ей о вымышленном увлечении, придумал целую историю. Он сочинял подробности самые обстоятельные. Впрочем, особа эта очень огорчала его.

— Тебе решительно не везет! — сказала Розанетта.

— Ну, ну! Как когда, — ответил Фредерик, желая намекнуть на некоторые удачи в любовных делах и тем самым внушить более высокое мнение о себе, подобно тому как Розанетта не называла всех своих любовников, ибо даже в минуты самых искренних излияний всегда остаются недомолвки, и причина их — ложный стыд, совесть или жалость. В своем ближнем, а затем и в самом себе открываешь бездны или клоаки, которые не позволяют идти дальше; к тому же чувствуешь, что тебя не поймут; трудно найти точное выражение чему бы то ни было; недаром в любви полное единение редко.

Бедной Капитанше ничего лучшего не пришлось испытать. Часто, когда она глядела на Фредерика, слезы блестели у нее на ресницах, она поднимала глаза к небу и вперяла их в горизонт, как будто там вставала яркая заря, открывалась будущность, полная беспредельного блаженства. Наконец она как-то призналась, что ей хотелось бы отслужить молебен: «Это принесет счастье нашей любви».

Отчего же она так долго противилась ему? Она сама не знала. Он несколько раз задавал ей этот вопрос, и она отвечала, сжимая его в объятиях:

— Я боялась слишком полюбить тебя, милый!

В воскресенье утром Фредерик, читая газету, встретил в списке раненых имя Дюссардьё. Он вскрикнул и, показывая Розанетте газету, заявил, что немедленно уезжает:

— Зачем это?

— Чтоб увидеть его, чтоб ухаживать за ним!

— Надеюсь, ты не оставишь меня одну?

— Поедем вместе.

— Ах, вот как! Чтоб попасть в эту кутерьму! Благодарю покорно!

— Но я ведь не могу...

— Та-та-та! Как будто в больницах мало фельдшеров! А он-то чего совался, какое ему было дело? Каждый должен думать о себе!

Он был возмущен ее эгоизмом и стал упрекать себя, зачем не остался там, вместе с другими. В этом равнодушии к бедствиям родины было нечто пошлое, мещанское. Любовь к Розанетте вдруг стала тяготить его, точно преступление. Они целый час дулись друг на друга.

Потом она стала умолять его выждать, не подвергать себя опасности.

— А вдруг тебя убьют?

— Ну что же! Я только исполню свой долг!

Розанетта так и подскочила. Его долг — прежде всего любить ее. Так, значит, она ему не нужна? Где во всем этом здравый смысл? Что за фантазия, боже мой!

Фредерик позвонил и велел принести счет. Но вернуться в Париж было нелегко. Дилижанс конторы Лелуар только что ушел, кареты Леконта не брали пассажиров, дилижанс из Бурбонэ мог прибыть лишь поздно ночью, и то, пожалуй, совершенно переполненный; ничего нельзя было сказать. Потеряв много времени на справки, Фредерик решил взять почтовых лошадей. Почтмейстер отказал ему, так как у Фредерика не было с собой паспорта. В конце концов он нанял коляску (ту самую, в которой они ездили кататься), и к пяти часам они добрались до «Торговой гостиницы» в Мелене.

На рыночной площади стояли в козлах ружья. Префект запретил национальной гвардии идти в Париж. Гвардейцы, не принадлежавшие к его департаменту, хотели продолжать путь. Раздавались крики. В гостинице стоял шум.

Испуганная Розанетта объявила, что дальше не поедет, и снова стала умолять его остаться. Хозяин гостиницы и его жена поддержали ее. В спор вмешался один из обедающих, добрый малый; он утверждал, что сражение скоро кончится, но все-таки надо исполнять свой долг. Капитанша еще промче зарыдала. Фредерик был вне себя. Он отдал ей свой кошелек, наскоро поцеловал ее и скрылся.

На вокзале в Корбейле он узнал, что мятежники в некоторых местах разобрали рельсы, а кучер отказался везти его дальше; он говорил, что лошади «замучались».

Все же, через его посредство, Фредерик достал скверный кабриолет, в котором за шестьдесят франков, не считая того, что он дал на водку, его согласились довести до Итальянской заставы. Но уже за сто шагов до заставы кучер попросил его сойти и повернул назад. Фредерик пошел по дороге, как вдруг часовой штыком преградил ему путь. Четверо набросились на него; они орали:

— Это один из них! Не упустите его! Обыскать! Разбойник! Сволочь!

И его изумление было так велико, что он дал увести себя в караульную у заставы, на площади, где сходятся бульвары Гобеленов и Госпитальный и улицы Годфруа и Муфтар.

Четыре баррикады, четыре громадные груды булыжника, загораживали подступы к площади; местами трещали факелы; несмотря на клубившуюся пыль, он различал пехотинцев и

национальных гвардейцев с черными, свирепыми лицами, в изодранных одеждах. Они только что заняли эту площадь и расстреляли несколько человек; ярость их еще не улеглась. Фредерик сказал, что он приехал из Фонтенебло, желая помочь раненому товарищу, живущему на улице Бельфон; сначала ему не поверили; осмотрели его руки, даже обнюхали уши, чтобы удостовериться, не пахнет ли от него порохом.

Однако, все время твердя одно и то же, он, наконец, убедил в своей правоте капитана, который приказал двум стрелкам препроводить его к посту у Ботанического сада.

Пошли по Госпитальному бульвару. Дул сильный ветер. Он оживил Фредерика.

Потом они повернули на Конный рынок. Ботанический сад подымался направо огромной черной массой, налево же, словно охваченный пожаром, сверкал огнями фасад больницы Ми-лосердия; все окна были освещены, и в них быстро двигались тени.

Провожатые Фредерика пошли назад. До Политехнической школы его сопровождал уже другой человек.

На улице Сен-Виктор царил полный мрак: ни одного газового рожка, ни одного освещенного окна. Каждые десять минут раздавалось:

— Часовой! Слушай!

И этот крик, прорезывавший тишину, рождал отклики, точно камень, падающий в пропасть и пробуждающий эхо.

Порою приближались чьи-то тяжелые шаги. Это проходил патруль — неясное скопище, по меньшей мере сотня людей; доносился шопот, тихо бряцало железо; и, мерно колыхаясь, люди уходили, растворялись в темноте.

На каждом перекрестке, среди улицы, неподвижно возвышался конный драгун. Время от времени галопом проносился курьер, затем снова наступала тишина. Где-то везли пушки, и над мостовой несли глухой и грозный прохот. Сердце сжималось от этих звуков, не похожих на все привычные звуки. Казалось даже, что все шире разливается эта тишина, — глубокая, полная, черная тишина. Люди в белых блузах подходили к солдатам, что-то говорили им и скрывались, как привидения.

Караульня Политехнической школы была набита битком. На пороге толпились женщины, просившие свидания с сыном или мужем. Их отсылали в Пантеон, превращенный в морг, и никто не хотел слушать Фредерика. Он настаивал, клялся, что его друг Дюссардье ждет его, что он может умереть. В конце концов отрядили капрала проводить его в конец улицы Сен-Жак, в мэрию 12-го округа.

Площадь Пантеона была полна солдат, спавших на соломе. Наступало утро. Гасли бивуачные огни.

Мятеж оставил страшные следы в этом квартале. Улицы были разрыты из конца в конец, вставали горбом. На баррикадах, теперь разрушенных, громоздились omnibusы, лежали газовые трубы, тележные колеса; кое-где маленькие черные лужи, должно быть кровь. Стены домов были пробиты снарядами, из-под отвалившейся штукатурки выступала дранка. Жалюзи, державшиеся на одном гвозде, висели, точно рваные тряпки. Лестницы провалились, и двери открывались в пустоту. Можно было заглянуть внутрь комнат, где обои превратились в лохмотья; иногда же оказывалась в целости какая-нибудь хрупкая вещь. Фредерик заметил стенные часы, жердочку для попугая, гравюры.

Когда он вошел в здание мэрии, национальные гвардейцы продолжали бесконечно обсуждать смерть Бреа и Негрие, депутата Шарбонеля и архиепископа Парижского. Говорили, что в Булони высадился герцог Омальский, Барбес бежал из Венсена, из Буржа везут артиллерию, а из провинции стекаются подкрепления. К трем часам кто-то принес хорошие вести: мятежники послали к председателю Национального собрания своих парламентаров.

Все обрадовались, а Фредерик, у которого еще оставалось двенадцать франков, послал за дюжиной вина, надеясь таким путем ускорить свое освобождение. Вдруг кой-кому почудились выстрелы. Возлиания прекратились; на незнакомца устремились подозрительные взгляды; это мог быть Генрих V.

Чтобы снять с себя всякую ответственность, они привели Фредерика в мэрию 11-го округа, где его продержали до девяти часов утра.

До набережной Вольтера неслись бегом. У открытого окна стоял старик в одном жилете: он плакал, подняв глаза. Мирно текла Сена; небо было совершенно синее; на деревьях в Тюильри пели птицы.

Когда Фредерик переходил через площадь Карусели, ему встретились носилки. Часовые тотчас же взяли на караул, а офицер, приложив руку к киверу, сказал: «Честь и слава храброму в несчастье!» Слова эти стали почти обязательными; тот, кто произносил их, принимал всегда вид торжественно-взволнованный. Носилки сопровождало несколько человек, кричавших в ярости:

— Мы за вас отомстим! Мы за вас отомстим!

По бульварам двигались экипажи; женщины, сидя у дверей, щипали корпию. Между тем мятеж был подавлен или почти подавлен: так гласило воззвание Кавеньяка, только что расклеенное на стенах. В конце улицы Вивьен показался взвод подвижной гвардии. Обыватели в восторге завопили; они махали шляпами, рукоплескали, плясали, стремились обнять сол-

дат, предлагали им вина, с балконов падали на них цветы, которые бросали дамы.

Наконец в десять часов, в ту минуту, когда под грохот пушек брали предместье Сент-Антуан, Фредерик попал в мансарду Дюссардьё. Тот лежал на спине и спал. Из соседней комнаты неслышными шагами вышла женщина — м-ль Ватназ.

Она отвела Фредерика в сторону и сообщила ему, каким образом Дюссардьё был ранен.

В субботу с баррикады на улице Лафайета какой-то мальчишка, завернувшись в трехцветное знамя, кричал национальным гвардейцам: «Так вы будете стрелять в ваших братьев!» Продолжали наступать, а Дюссардьё, бросив ружье, растолкав всех, прыгнул на баррикаду и ударом ноги повалил мятежника, вырвал у него знамя. Дюссардьё нашли под развалинами баррикады с пробитым бедром. Пришлось сделать разрез, чтобы вынуть медные осколки. М-ль Ватназ пришла к нему в тот же вечер и с тех пор не отходила от него.

Она с полным знанием дела приготавливала все необходимое для перевязок, давала ему пить, ловила его малейшие желания, двигалась совершенно неслышно и смотрела на него нежными глазами.

Фредерик навещал его каждое утро в течение целых двух недель; однажды, когда он заговорил о самоотверженности Ватназ, Дюссардьё пожал плечами:

— Ну, нет! Это небескорыстно!

— Ты думаешь?

— Я в этом уверен! — ответил Дюссардьё, не желая распространяться.

Она была так предупредительна, что приносила ему газеты, в которых прославлялся его подвиг. Эти похвалы как будто досаждали ему. Он даже признался Фредерику, что его беспокоит совесть.

Может быть, ему следовало стать на сторону блюзников; ведь, в сущности, им наобещали множество вещей, которых не исполнили. Их победители ненавидят республику, и к тому же с ними обошлись очень жестоко. Конечно, они были неправы, однако не совсем, и честного малого терзала мысль, что, может быть, он боролся против справедливости.

Сенекаль, заключенный в Тюильри, в подвале под террасой со стороны набережной, не знал этих сомнений.

Их было там девятьсот человек, брошенных в грязь, сбитых в кучу, черных от пороха и запекшейся крови, трясущихся в лихорадке, кричащих от ярости; а когда кто-нибудь из них умирал, труп не убирали. Иногда, вдруг услышав выстрел, они решали, что их сейчас всех расстреляют, и бросались к стене, потом снова падали на прежнее место, и одуревшим от страда-

ния людям чудилось, будто они живут среди какого-то кошмара, зловещих галлюцинаций. Лампа, висевшая под сводчатым потолком, казалась кровавым пятном, а в воздухе кружились зеленые и желтые огоньки, загоравшиеся от испарений этого склепа. Опасаясь эпидемии, назначили особую комиссию. Председатель только начал спускаться, как уже бросился назад, в ужасе от трупного запаха и зловония нечистот. Когда заключенные подходили к отдушинам, солдаты национальной гвардии, стоявшие на часах, пускали в ход штыки, кололи их наудачу, чтобы не дать им расшатать решетку.

Эти солдаты были безжалостны. Те, кому не пришлось участвовать в сражениях, хотели отличиться. Это был разгул трусости. Мстили сразу и за газеты, и за клубы, и за сборища, и за доктрины — за все, что уже целых три месяца приводило в отчаяние, и, несмотря на свое поражение, равенство (как будто карая своих защитников и насмехаясь над своими врагами) с торжеством заявило о себе, тупое, звериное равенство; установился одинаковый уровень кровавой подлости, ибо фанатизм наживы не уступал безумствам нищеты, аристократия неистовствовала точно так же, как и чернь, ночной колпак оказался не менее мерзок, чем красный колпак. Общественный разум помутился, как это бывает после великих бедствий. Иные умные люди после этого на всю жизнь остались идиотами.

Дядюшка Рокк стал очень храбр, чуть ли не безрассуден. Вступив в Париж 26-го с отрядом из Ножана, он не пожелал идти с ним назад и присоединился к национальной гвардии, расположившейся лагерем в Тюильри, а теперь был очень доволен, что его поставили часовым со стороны набережной, у террасы. Тут по крайней мере эти разбойники были в его власти! Он наслаждался, думая об их неудаче, об их унижении, и не мог удержаться от брани.

Один из них, белокурый длинноволосый подросток, приник лицом к решетке и просил хлеба. Г-н Рокк приказал ему замолчать. Но юноша жалобно повторял:

— Хлеба!

— Откуда я тебе возьму?

К решетке приблизились другие заключенные, с всклокоченными бородами, с горящими глазами; они толкали друг друга и выли:

— Хлеба!

Дядюшка Рокк возмущился, что не признают его авторитета. Чтобы испугать их, он стал целиться, а тем временем юноша, которого толпа, напирая, подняла до самого свода, крикнул еще раз:

— Хлеба!

— Вот тебе! На! — сказал дядюшка Рокк и выстрелил.

Раздался страшный рев, потом все затихло. На краю кадки осталось что-то белое.

После этого г-н Рокк отправился домой; на улице Сен-Мартен у него был дом, где он держал квартирку на случай приезда, и то обстоятельство, что во время мятежа был испорчен фасад этого строения, немало способствовало его свирепости. Теперь, когда он снова взглянул на фасад, ему показалось, что он преувеличил ущерб. Поступок, только что им совершенный, умиротворил его, словно ему возместили убытки.

Дверь ему отворила дочь. Она первым делом сообщила, что ее беспокоило слишком долгое его отсутствие; она боялась, что с ним случилось несчастье, что он ранен.

Такое доказательство дочерней любви умилило старика Рокка. Он удивился, как это она отправилась в путешествие без Катерины.

— Я послала ее за покупками,— ответила Луиза.

И она осведомилась о его здоровье, о том, о сем; потом равнодушно спросила, не случилось ли ему встретить Фредерика.

— Нет! Нигде, ни разу!

Путешествие она совершила только ради него.

В коридоре слышались шаги.

— Ах, извини!..

И она скрылась.

Катерина не застала Фредерика. Его уже несколько дней не было дома, а близкий друг его, г-н Делорье, находился в провинции.

Луиза вернулась, вся дрожа, не в силах сказать ни слова. Она хваталась за мебель, боясь упасть.

— Что с тобой? Да что с тобой? — вскрикнул отец.

Она жестом объяснила, что это пустяки, и сделала большое усилие, чтобы прийти в себя.

Из ресторана, помещавшегося напротив, принесли обед. Но дядюшка Рокк пережил слишком сильное волнение. «Это не может так быстро пройти» — и за десертом с ним сделалось нечто вроде обморока. Скорее послали за врачом, который прописал микстуру. Потом, уже лежа в постели, г-н Рокк попросил укрыть его как можно теплее, чтобы пропотеть. Он вздыхал, охал.

— Спасибо тебе, моя добрая Катерина! А ты поцелуй твоего бедного папу, моя цыпочка! Ах, уж эти революции!

Дочь журила его за то, что он так волнуется, даже заболел, а он ответил:

— Да, ты права! Но уж я не могу! У меня слишком чувствительное сердце.

Г-жа Дамбрёз сидела у себя в будуаре между племянницей и мисс Джон и слушала старика Рокка, повествовавшего о тягостях военной жизни.

Она кусала губы, ей словно было не по себе.

— Ах, не беда! Пройдет!

И любезным тоном сообщила:

— У нас обедает сегодня ваш знакомый, г-н Моро.

Луиза встрепенулась.

— Еще кое-кто из наших близких друзей, между прочим Альфред де Сизи.

И она стала расхваливать его манеры, его внешность и, главное, его нравственность.

В речах г-жи Дамбрёз было меньше лжи, чем она думала: виконт мечтал жениться. Он говорил это Мартинону, присовокупив, что он нравится м-ль Сесиль, что он в этом уверен и что родные согласятся.

Отваживаясь на такое признание, он, очевидно, располагал благоприятными сведениями о ее приданом. А Мартинон подозревал, что Сесиль — незаконная дочь г-на Дамбрёза, и, вероятно, было бы весьма неплохо на всякий случай просить ее руки. Этот смелый шаг представлял и опасность; поэтому Мартинон до сих пор держал себя так, чтобы не оказаться связанным; кроме того, он не знал, как избавиться от тетки. Услышав признание Сизи, он решился и переговорил с банкиром, который, не видя никаких препятствий, только что сообщил об этом г-же Дамбрёз.

Появился Сизи. Она встала ему навстречу.

— Вы нас совсем забыли... Сесиль, shake hands! ¹

В ту же минуту вошел Фредерик.

— Ах, наконец-то отыскались! — воскликнул дядюшка Рокк. — Я на этой неделе три раза был у вас вместе с Луизой.

Фредерик тщательно избегал их. Он сослался на то, что все дни проводит у постели раненого товарища. К тому же он был занят множеством дел; ему пришлось выдумывать разные истории. К счастью, стали съезжаться гости: г-н Поль де Гремонвил, дипломат, встреченный на балу, затем Фюмишон — промышленник, консервативное рвение которого в свое время возмутило Фредерика; за ними появилась герцогиня де Монтрей-Нантуа.

Но вот из передней послышались два голоса. Один из них говорил:

— Я в этом уверена!

¹ Поздоровайся! (англ.)

— Дражайшая, дражайшая! — отвечал другой. — Бога ради, успокойтесь!

То были г-н де Нонанкур, старый франт, мумия, намазанная кольдкремом, и г-жа де Ларсийуа, супруга префекта, служившего при Луи-Филиппе. Она вся дрожала, ибо сейчас слышала, как на шарманке играют польку, являющуюся условным знаком для мятежников. Многих тревожили такие же фантазии: эти буржуа верили, что люди, скрывающиеся в катакомбах, намерены взорвать Сен-Жерменское предместье; какие-то шумы неслись из подвалов; за окнами происходили подозрительные вещи.

Однако все постарались успокоить г-жу де Ларсийуа. Порядок восстановлен. Бояться больше нечего: «Кавеньяк спас всех нас!» И как будто ужасов восстания было недостаточно, их еще преувеличивали.

На стороне социалистов было двадцать три тысячи каторжников, никак не меньше! Не подлежало никаким сомнениям, что съестные припасы отравляли, что солдат подвижной гвардии распиливали пополам между двумя досками и что надписи на знаменах призывали к грабежу и поджогам.

— И еще кой к чему! — добавила жена экс-префекта.

— Ах, дорогая! — молвила, оберегая стыдливость, г-жа Дамбрёз и взглядом указала на трех юных девушек.

Г-н Дамбрёз вышел из своего кабинета вместе с Мартиноном. Г-жа Дамбрёз отвернулась и ответила на поклон Пеллерена, входившего в комнату. Художник с тревогой оглядывал стены. Банкир отвел его в сторону и объяснил, что на время пришлось удалить его революционную картину.

— Разумеется! — сказала Пеллерен, воззрения которого изменились после его провала в «Клубе Разума».

Г-н Дамбрёз весьма учтиво намекнул, что закажет ему другие картины.

— Виноват... Ах, дорогой мой, какое счастье!

Перед Фредериком стояли Арну и его жена.

Он почувствовал чуть ли не головокружение. Розанетта, восхищавшаяся солдатами, весь этот день раздражала его; проснулась старая любовь.

Дворецкий доложил хозяйке, что кушать подано. Г-жа Дамбрёз взглядом велела виконту вести к столу Сесиль, шепнула Мартинону: «Негодяй!» — и все прошли в столовую.

Среди стола, под зелеными листьями ананаса, лежал большой золотистый карп, обращенный головою к жаркому из оленя; хвостом он касался блюда раков. Винные ягоды, огромные вишни, груши и виноград (новинки парижских теплиц) возвышались пирамидами в старинных вазах саксонского фарфора; местами с ярким блеском серебра сочетались букеты

цветов. Белые шелковые шторы были спущены, смягчая освещение; два бассейна, в которых плавали куски льда, освежали воздух; а прислуживали высокие лакеи в коротких штанах. После пережитых волнений все казалось еще лучше. Снова начинали наслаждаться тем, чего чуть было не лишились, и Нонанкур выразил чувство, разделяемое всеми, сказав:

— Ах, будем надеяться, что господа республиканцы позволят нам пообедать!

— Несмотря на все их братство! — желая сострить, прибавил г-н Рокк.

Этих почтенных мужей усадили по правую и по левую руку г-жи Дамбрёз, занявшей место против мужа, а его соседками были: с одной стороны г-жа Ларсийуа, восседавшая рядом с дипломатом, а с другой — старая герцогиня, оказавшаяся возле Фюмишона. Далее разместились художник, торговец фаянсом, м-ль Луиза, а так как Мартинон занял место Фредерика, чтобы сесть с Сесиль, то Фредерик очутился рядом с г-жой Арну.

Она была в черном барежевом платье, на руке был золотой браслет, и, так же как и в первый раз, когда он обедал у нее, что-то алело в ее волосах — ветка фуксии, обвивавшая шиньон. Он не мог удержаться, чтобы не сказать ей:

— Давно мы не виделись!

— Ах, да, — ответила она холодно.

Он продолжал, мягкостью тона сглаживая дерзость вопроса:

— Случалось ли вам иногда думать обо мне?

— Почему бы мне думать о вас?

Фредерика обидел этот ответ.

— В конце концов вы, может быть, правы.

Но, тотчас раскаявшись в своих словах, он поклялся ей, что не было дня, когда он не терзался бы воспоминанием о ней.

— Сударь, я этому совершенно не верю.

— Но ведь вы же знаете, что я люблю вас!

Г-жа Арну не ответила.

— Вы знаете, что я люблю вас!

Она опять промолчала.

«Ну, так и без тебя обойдемся!» — сказал себе Фредерик.

И, подняв глаза, он на противоположном конце стола увидел м-ль Рокк.

Она решила, что ей к лицу будет одеться во все зеленое, — цвет, представлявший грубый контраст с ее рыжими волосами. Пряжка ее пояса приходилась слишком высоко, воротничок стягивал шею; это отсутствие вкуса, наверно, и вызвало ту холодность, с которой встретил ее Фредерик. Она издали с любопытством наблюдала за ним, и, как ни рассыпался в любезностях Арну, сидевший с ней рядом, ему и двух слов не

удалось вытянуть из нее, так что, отказавшись от надежды угодить ей, он стал прислушиваться к общему разговору. Темой его было теперь ананасное пюре, приготовляемое в Люксембурге.

Луи Блан, по словам Фюмишона,— владелец особняка на улице Сен-Доминик, но не отдает его внаймы рабочим.

— А по-моему, забавно то,— сказал Нонанкур,— что Ледрю-Роллен охотится в королевских угодьях!

— Он задолжал двадцать тысяч франков одному ювелиру,— вставил Сизи,— и даже, говорят...

Г-жа Дамбрёз перебила его:

— Ах, как гадко горячиться из-за политики! Молодой человек, стыдно! Займитесь-ка лучше своей соседкой!

Затем люди солидные напали на газеты.

Арну стал заступаться за них. Фредерик вмешался в разговор и сказал, что это обыкновенные коммерческие предприятия; вообще же их сотрудники — либо дураки, либо лгуны,— он делал вид, что знает их, и великодушным чувствам своего друга противопоставлял сарказмы. Г-жа Арну не замечала, что этими речами он мстит ей.

Между тем виконт мучительно изошрялся, чтобы пленить м-ль Сесиль. Сперва он выказал артистический вкус, порицая форму графинчиков и рисунок вензелей на ножах. Потом заговорил о своей конюшне, о своем портном, о поставщике белья; наконец коснулся вопросов религии и нашел возможность дать ей понять, что исполняет все обязанности верующего.

Мартинон проявил большее уменье. Однообразным тоном, не сводя глаз с Сесиль, он восхвалял ее птичий профиль, ее тусклые белокурые волосы, ее руки, слишком короткие. Дурнушка таяла, очарованная этим потоком любезностей.

Их никто не мог слышать, так как все говорили очень громко. Г-н Рокк требовал, чтобы Францией правила «железная рука». Нонанкур даже выразил сожаление, что казнь за политические преступления отменена. Этим подлецов следовало бы перебить всех до единого!

— Они к тому же и трусы,— сказал Фюмишон.— Не вижу храбрости в том, чтобы прятаться за баррикадами!

— Кстати, расскажите нам о Дюссардье! — сказал г-н Дамбрёз, обернувшись к Фредерику.

Честный приказчик стал теперь героем вроде Саллеса, братьев Жансон, супруги Пекийе и т. д.

Фредерик, не заставив себя просить, рассказал о своем друге; отблеск ореола упал и на него. Разговор, вполне естественно, зашел о разных проявлениях храбрости. По мнению дипломата, побороть страх смерти нетрудно; это могут подтвердить люди, дерущиеся на дуэли.

— Об этом можно спросить виконта,— сказал Мартинон. Виконт густо покраснел.

Гости смотрели на него, а Луиза, более всех удивленная, прошептала:

— А что такое?

— Он *спасовал* перед Фредериком,— тихо ответил ей Арну.

— Вам что-то известно, сударыня?— тотчас же спросил Нонанкур и сообщил ее ответ г-же Дамбрёз, которая, немного наклонившись, принялась разглядывать Фредерика.

Мартинон предупредил вопросы Сесиль. Он сообщил ей, что эта история связана с одной особой предосудительного поведения. Девушка тихонько отодвинулась, как будто стараясь избежать прикосновения этого развратника.

Разговор возобновился. Обносили тонкими бордоскими винами, гости оживились. Пеллерен был в претензии на ревлюцию: из-за нее безвозвратно погиб музей испанской живописи. Его как художника это огорчило больше всех. Тут к нему обратился г-н Рокк:

— Не вашей ли кисти принадлежит одна весьма замечательная картина?

— Возможно! А что за картина?

— На ней изображена дама в платье... право же, несколько... легком, с кошельком в руке, а сзади павлин.

Теперь Фредерик залился румянцем. Пеллерен притворился, что не слышит.

— Это ведь все-таки вашей работы! Внизу стоит ваше имя, и на раме надпись, что картина принадлежит г-ну Моро.

Однажды, когда дядюшка Рокк и его дочь дожидались Фредерика у него на квартире, они увидели портрет Капитанши. Рокк в простоте своей принял его за «картину в готическом вкусе».

— Нет! — отрезал Пеллерен.— Это просто портрет одной женщины.

Мартинон прибавил:

— И женщины весьма живой! Не правда ли, Сизи?

— Ну! Я ничего не знаю на этот счет.

— Я думал, что вы с ней знакомы. Но раз это вам неприятно, умоляю извинить!

Сизи опустил глаза, подтверждая своим смущением, что в истории с этим портретом ему пришлось играть плачевную роль. Что до Фредерика, то оригиналом портрета могла явчться только его любовница. Это было одно из тех предположений, которые возникают мгновенно, и лица присутствующих ясно говорили об этом.

«Как он мне лгал!» — сказала себе г-жа Арну.

«Так вот ради кого он бросил меня!» — подумала Луиза. Фредерик вообразил, что эти две истории компрометируют его, и когда общество перешло в сад, он обратился к Мартинону с упреками.

Жених м-ль Сесиль расхохотался ему в лицо:

— Да нет же! Ничуть! Это послужит тебе на пользу! Смелей!

Что он хотел этим сказать? Да и откуда эта благожелательность, столь не свойственная ему? Ничего не объяснив, он направился в сад, где сидели дамы. Мужчины стояли около них, а Пеллерен излагал им свои мысли. Разумеется, искусствам всего более благоприятствует монархия. Современность вызывает в нем отвращение — «взять хотя бы национальную гвардию»; он жалеет о средних веках, временах Людовика XIV. Г-н Рокк приветствовал такие взгляды и даже признался, что они разрушают его предубеждение насчет художников; но он почти тотчас же отошел — его привлек голос Фюмишона. Арну пытался установить, что есть два социализма: один хороший, а другой дурной. Промышленник разницы не видел; слыша слово «собственность», он от гнева терял голову.

— Это право начертано самой природой! Дети держатся за свои игрушки; все народы разделяют мое мнение, все животные — тоже; даже лев, если бы он мог говорить, заявил бы, что он собственник! Я, например, господа, я начал с капиталом в пятнадцать тысяч франков. Знаете ли, я целых тридцать лет всегда вставал в четыре часа утра! Я чертовски трудился, чтобы сколотить состояние! И вдруг мне станут доказывать, что не я его хозяин, что мои деньги — не мои деньги, словом, что собственность — это кража!

— Однако Прудон...

— Оставьте меня в покое с вашим Прудоном! Если бы он оказался тут, я бы, кажется, его задушил!

Он и задушил бы его. После ликеров Фюмишон уже совсем не помнил себя, и его апоплексическое лицо, казалось, вот-вот лопнет, точно бомба.

— Здравствуйте, Арну! — сказал Юссонэ, быстро проходя по газону.

Журналист принес г-ну Дамбрёзу первый лист брошюры под заглавием «Гидра», в которой он отстаивал интересы реакционного круга, и банкир упомянул об этом, представляя его гостям.

Юссонэ развлекал их; сперва он уверял, что торговцы салом платят жалованье тремстам восьмидесяти двум мальчишкам, чтобы те каждый вечер кричали: «Фонарики!», потом он издевался над принципами 89-го года, освобождением негров, ле-

выми ораторами; он даже решил изобразить «г-на Прюдома на баррикаде», быть может от самой обыкновенной зависти к этому сытно пообедавшему буржуа. Шарж имел успех посредственный. Лица вытянулись.

Вообще же не время было шутить; это сказал Нонанкур, напомнивший о смерти архиепископа Афра и генерала де Бреа. О них постоянно вспоминали, ссылались на них в спорах. Г-н Рокк объявил, что кончина архиепископа — «верх мыслимого величия», Фюмишон пальму первенства отдавал генералу, и, вместо того чтобы просто-напросто скорбеть по поводу этих двух убийств, гости затеяли спор о том, которое из них должно возбудить больше негодования. Потом стали проводить другую параллель — между Ламорисьером и Кавеньяком, причем г-н Дамбрёз превозносил Кавеньяка, а Нонанкур — Ламорисьера. Никто из присутствующих, кроме Арну, не мог видеть их в деле. Тем не менее каждый высказывал об их действиях безапелляционное суждение. Лишь Фредерик отказался судить, сознавшись в том, что не брался за оружие. Дипломат и г-н Дамбрёз в знак одобрения кивнули ему головой. Ведь, в самом деле, сражаться с восставшими значило защищать республику. Исход борьбы, хоть и благоприятный, укреплял ее, и вот теперь, когда удалось разделаться с побежденными, хотелось избавиться и от победителей.

Едва выйдя в сад, г-жа Дамбрёз отвела Сизи в сторону и пожурила за неловкость; завидя Мартинона, она отпустила Сизи и пожелала узнать у своего будущего племянника причину, почему он издевался над виконтом.

— Да без всякой причины.

— Так все это — чтобы возвеличить г-на Моро! Какая же цель?

— Никакой. Фредерик — славный малый. Он мне очень нравится.

— И мне тоже! Пусть подойдет! Позовите его!

После двух-трех банальных фраз она начала слегка высмеивать своих гостей, тем самым ставя его выше остальных. Он не преминул покритиковать прочих дам — удачный способ говорить комплименты. Она же время от времени оставляла его — день был приемный, приезжали гости; потом она возвращалась на свое место, кресла их случайно были так расположены, что никто не услышал бы их беседы.

Она казалась то игривой, то серьезной, то меланхоличной, то рассудительной. Злободневные интересы мало значат для нее; есть целый мир чувств, менее быстротечных. Она жаловалась на поэтов, которые искажают действительность, потом подняла глаза к небу и спросила у Фредерика название одной из звезд.

На деревья повесили несколько китайских фонариков; ветер раскачивал их, цветные лучи дрожали на ее белом платье. Она по обыкновению немного откинулась в кресле, положив ноги на скамеечку; был виден носок ее черного атласного башмачка; порой г-же Дамбрёз случалось громче сказать какое-нибудь слово, даже рассмеяться.

Это кокетство не задевало Мартинона, занятого Сесиль, но оно терзало маленькую Рокк, которая беседовала с г-жой Арну. Луизе показалось, что только в обхождении г-жи Арну нет ничего пренебрежительного, в отличие от прочих дам. Она подошла и села рядом с ней; потом, уступая потребности поделиться своими чувствами, сказала:

— Правда, Фредерик Моро хорошо говорит?

— Вы с ним знакомы?

— О, давно! Мы с ним соседи. Он играл со мной, когда я была совсем маленькая.

Г-жа Арну пристально посмотрела на нее, и взгляд ее означал: «Надеюсь, вы не влюблены в него?»

Взгляд девушки без всякого смущения отвечал: «Влюблена!»

— Значит, вы часто с ним видитесь?

— О, нет! Только когда он приезжает к своей матери. Вот уже десять месяцев, как его нет! А ведь он обещал, что вернется скорее.

— Не надо слишком верить обещаниям мужчин, дитя мое.

— Но меня-то он не обманывал!

— Так же, как и других!

Луиза вздрогнула: «Неужели же он, чего доброго, и этой что-нибудь обещал?» И лицо ее исказили подозрение и злорадие.

Г-жа Арну почти испугалась; она хотела бы вернуть свои слова. Обе замолчали.

Фредерик сидел напротив, на складном стуле, и они глядели на него, одна — соблюдая приличия, только глазами, другая же — совершенно не стесняясь, разинув рот, так что г-жа Дамбрёз сказала ему:

— Да повернитесь же, дайте ей посмотреть на вас!

— О ком это вы?

— О дочери господина Рокка!

И она стала вышучивать его, дразнила любовью юной провинциалки. Он защищался, стараясь смеяться:

— Мыслимо ли это? Помилуйте! Такой урод!

Однако все это бесконечно тешило его тщеславие. Ему вспомнился другой вечер в этом доме, унижение, которое он переживал, уходя отсюда,— и он дышал полной грудью; он чувствовал себя в своей настоящей сфере, почти как дома, буд-

то все это, в том числе и особняк г-на Дамбрёза, принадлежало ему. Дамы, сидя полукругом, слушали его, а он, желая блеснуть, высказался за восстановление развода, который следовало бы облегчить настолько, чтобы можно было сходитьсь и расходиться до бесконечности, сколько душе угодно. Одни возражали, другие перешептывались; в полумраке, у стены, обвитой кирказоном, слышались отрывистые возгласы; это было какое-то веселое кудахтанье; а он развивал свою теорию с той уверенностью, какую придает сознание успеха. Лакей принес в крытую аллею поднос с мороженым. Подошли мужчины. Говорили они об арестах.

Тут Фредерик, в отместку виконту, стал уверять его, что, пожалуй, его станут преследовать как легитимиста. Виконт возражал, что не выходил из своей комнаты; противник его не скупился на зловещие предостережения; это сместило даже г-на Дамбрёза и г-на Гремонвиля. Затем они наговорили комплиментов Фредерику, хотя и пожалели, что он не применяет своих способностей в защиту порядка; и они дружески жали ему руку,— отныне он может рассчитывать на них. Наконец, когда все уже расходились, виконт очень низко поклонился Сесиль:

— Сударыня, честь имею пожелать вам спокойной ночи!

Она сухо ответила ему:

— Спокойной ночи!

А Мартинону улыбнулась.

Дядюшка Рокк, желая продолжить беседу с Арну, предложил проводить его «вместе с супругою»,— ведь им было по дороге. Луиза и Фредерик шли впереди. Она схватила его под руку, а когда они оказались на некотором расстоянии от прочих, промолвила:

— Ах, наконец-то, наконец-то! И страдала же я весь вечер! Какие эти женщины злые! Какие надменные!

Он взял их под свою защиту.

— Во-первых, ты мог бы подойти ко мне с самого начала, ведь мы целый год не видались!

— Не целый год,— сказал Фредерик, довольный тем, что поймал ее на этой подробности, и надеясь обойти все остальное.

— Хотя бы и так! Время тянулось так медленно! Но тут, на этом ужасном обеде, можно было подумать, что ты меня стыдишься! Ах, понимаю, я не могу нравиться так, как они.

— Ты ошибаешься,— сказал Фредерик.

— Правда?! Клянись мне, что ни в кого из них не влюблен!

Он поклялся.

— И любишь меня одну?

— Ну, еще бы!

Это уверение возвратило ей веселость. Ей теперь хотелось заблудиться на этих улицах, чтобы всю ночь гулять с ним.

— Я там так мучилась! Только и речи было, что о баррикадах! Мне все мерещилось, что ты падаешь навзничь, весь в крови! Твоя мать лежала в постели, у ней ревматизм. Она ничего не знала. Мне приходилось молчать! Я не выдержала! Взяла с собой Катерину...

И она рассказала ему о своем отъезде, о путешествии и о том, как нагала отцу.

— Через два дня он повезет меня домой. Приходи завтра вечером, как бы невзначай, и воспользуйся случаем, поговори с отцом, посватайся.

Фредерик никогда еще не был так далек от мысли о браке. К тому же м-ль Рокк казалась ему создательницей довольно смешным. Какая разница между нею и женщиной вроде г-жи Дамбрёз! Совсем иная будущность суждена ему. Сегодня он в этом уверился, так что не время было связывать себя, решаться на столь важный шаг под влиянием сердечного порыва. Теперь надо быть рассудительным, — и ведь он снова увидел г-жу Арну. Между тем откровенность Луизы смущала его. Он спросил:

— Обдумала ли ты как следует этот шаг?

— Да что ты! — вскрикнула она, похолодев от изумления и негодования.

Он сказал, что жениться в настоящее время было бы безумием.

— Так я тебе не нужна?

— Да ты меня не понимаешь!

И он пустился в очень запутанные рассуждения, пытаясь втолковать ей, что его удерживают высшие соображения, что дел у него без конца, что даже состояние его расстроено (Луиза коротко и ясно разбивала все доводы), что, наконец, и политические события препятствуют. Итак, самое благоразумное — выждать еще некоторое время. Все, наверно, устроится, — он, по крайней мере, надеется на это; а когда все доводы были исчерпаны, он притворился, будто сейчас только вспомнил, что ему уже два часа тому назад надо было зайти к Дюсардьё.

Раскланявшись с остальными, он повернул на улицу Отвиль, обошел здание театра «Жимназ», вернулся на бульвар и бегом поднялся на пятый этаж к Розанетте.

Супруги Арну простились с дядюшкой Рокком и его дочерью на углу улицы Сен Дени. Они молча продолжали путь, — Арну устал от собственной болтовни, она же чувствовала себя разбитой; она даже опиралась на его плечо. Это был единственный человек, высказывавший в течение этого ве-

чера честные взгляды. Она прониклась снисхождением к нему. Он же слегка сердился на Фредерика:

— Ты видела, какую он соорил мину, когда заговорили о портрете? Я же тебе говорил, что он ее любовник! Ты еще не хотела мне верить.

— Да, да, я ошибалась.

Арну, торжествуя, настаивал:

— Я даже готов биться об заклад, что он бросил нас и сразу побежал к ней! Теперь он у нее, будь уверена! Почует у нее.

Г-жа Арну оправляла капор, кутала голову.

— Но ты дрожишь!

— Мне холодно,— ответила она.

Луиза, как только отец ее заснул, вошла в комнату Катерины и стала трясти ее за плечи.

— Вставай!.. Скорее, скорее! И раздобудь мне фиакр.

Катерина ответила, что в такое время фиакров уже не бывает.

— Ну, так ты сама меня проводишь?

— Куда еще?

— К Фредерику!

— Нельзя! Зачем это?

Ей надо с ним поговорить. Она не может ждать. Она хочет сейчас же повидать его.

— Да что вы! Как можно среди ночи прийти в чужой дом! Да ведь теперь он спит!

— Я его разбужу!

— Да это неприлично для барышни!

— Я не барышня! Я его жена! Я его люблю!.. Ну, идем! Надевай платок!

Катерина раздумывала, стоя около своей кровати. Она сказала наконец:

— Нет, не пойду!

— Ну и оставайся! А я иду!

Луиза, как змейка, скользнула на лестницу. Катерина бросилась за ней, нагнала ее уже на тротуаре. Увещания оказались тщетны, и она бежала за ней, на ходу застегивая кофту. Дорога показалась ей страшно длинной. Она жаловалась на свои старые ноги:

— Да где мне! Нет во мне того, что вас подгоняет. Эх, уж!..

Потом пошли нежности:

— Бедняжка! Ведь вот никого у тебя нет, только твоя Катю...

Временами ею снова овладевали сомнения:

— Ну, и хорошее же будет дело! Вдруг отец проснется... Господи боже! Только бы несчастья не случилось!

У театра «Варьете» их остановил патруль национальной гвардии. Луиза сразу же сказала, что она со служанкой идет на улицу Ремфорда за врачом. Их пропустили.

У площади Мадлены им встретился еще патруль, а когда Луиза дала то же самое объяснение, какой-то гражданин подхватил:

— Не из-за той ли болезни, что длится девять месяцев, кошечка?

— Гужибо! — крикнул капитан.— В строю без шалостей! Сударыня, проходите!

Несмотря на окрик, острословие продолжалось:

— Желаем веселиться!

— Поклонитесь доктору!

— Не напасть бы на волка!

— Любят позубоскалить,— вслух заметила Катерина.—

Молодежь!

Наконец они пришли к дому Фредерика. Луиза несколько раз с силой дернула звонок. Дверь приотворилась, и привратник на ее вопрос ответил:

— Нет его!

— Он спит, наверное?

— Говорю вам, нет его! Вот уже три месяца, как он не ночует дома!

И окошечко привратника щелкнуло, как гильотина. Они стояли в подъезде, в темноте. Яростный голос крикнул им:

— Да уходите же!

Дверь снова растворилась; они вышли, Луизе пришлось опуститься на тумбу, и она заплакала, закрыв лицо руками, заплакала безудержно, от всего сердца.

Светало, проезжали повозки.

Катерина повела ее домой, поддерживая, целуя ее, наговорила ей в утешение всякой всячины, почерпнутой из собственного опыта. Не стоит так сокрушаться из-за любимого. Если с этим не вышло, найдется другой!

III

Когда Розанетта охладела к солдатам подвижной гвардии, она стала еще очаровательнее, чем прежде, и у Фредерика незаметно вошло в привычку все время проводить у нее.

Лучшие часы — это было утро на балконе. Она, в батистовой кофточке и в туфлях на босу ногу, суетилась вокруг него, чистила клетку канареек, меняла воду золотым рыбкам и разрыхляла каминной лопаткой землю в ящике, откуда поднимались настурции, обвивая решетку, укрепленную на стене.

Потом, облокотясь на перила балкона, они смотрели на экипажи, на прохожих, грелись на солнце, строили планы, как провести вечер. Отлучался он самое большее часа на два; потом они отправлялись куда-нибудь в театр, брали литературную ложу, и Розанетта, с большим букетом в руках, слушала музыку, а Фредерик, наклонившись к ее уху, нашептывал ей смешные анекдоты или любезности. Иногда они брали коляску, ехали в Булонский лес и катались долго, до поздней ночи. Возвращались через Триумфальные ворота и по большой аллее, вдыхая свежий воздух; над головами их светились звезды, а впереди, уходя в самую глубь перспективы, вытягивались двумя нитями лучистых жемчужин газовые рожки.

Фредерику всегда приходилось ждать ее перед выездом, она долго возилась, завязывая ленты от шляпы; стоя перед зеркальным шкафом, она сама себе улыбалась. Потом, взяв его под руку, она и его заставляла поглядеть в зеркало.

— До чего же мило получается, когда мы стоим так рядом! Ах, душа моя! Я бы тебя так и съела!

Теперь он был ее вещь, ее собственность. И от этого лицо ее все время сияло, а в манерах появилась большая томность; она пополнела, и Фредерик находил в ней какую-то перемену, хотя и не мог бы сказать, в чем она состоит.

Однажды она сообщила ему, как очень важную новость, что почтенный Арну открыл бельевой магазин для бывшей работницы со своей фабрики, что он каждый вечер бывает у нее, «очень много тратит; не далее как на прошлой неделе он даже подарил ей палисандровую мебель».

— Откуда это тебе известно? — спросил Фредерик.

— О, я знаю наверное!

Дельфина по ее приказанию навела справки.

Итак, она любит Арну, если это ее так сильно занимает. Он удовольствовался тем, что ответил ей:

— Тебе-то что?

Розанетта как будто удивилась такому вопросу.

— Но этот мерзавец должен мне! Разве не безобразие, что он содержит какую-то дрянь?

И прибавила с торжествующей ненавистью:

— Впрочем, она здорово надувает его! У нее еще три таких. Тем лучше! И пусть она оберет его до последнего су, я буду очень рада!

Действительно, Арну, с той снисходительностью, которая свойственна старческой любви, позволял бордоске эксплуатировать его.

Фабрика приходила в упадок; дела были в плачевном положении, так что, стараясь выпутаться из него, он сперва намеревался открыть кафешантан, где исполнялись бы только

патриотические песни; благодаря субсидии, на которую министр дал бы согласие, это заведение стало бы и очагом пропаганды и источником его благосостояния. После изменения правительственного курса это стало уже невозможно. Теперь он мечтал о большом магазине военных головных уборов. Не было денег, чтобы начать.

Не более счастлив был он и в домашней жизни. Г-жа Арну проявляла к нему меньше снисходительности, порою бывала и несколько сурова. Марта всегда становилась на сторону отца. Это усиливало рознь, и домашняя жизнь стала невыносима. Он часто с самого утра уходил из дому, делал большие прогулки, чтобы рассеяться, потом обедал в кабачке где-нибудь за городом, предаваясь размышлениям.

Долгое отсутствие Фредерика нарушало его привычки. И вот как-то днем он появился, умоляя Фредерика навещать его, как прежде; и тот обещал.

Фредерик не решался вернуться к г-же Арну. Ему казалось, что он изменил ей. Но ведь его поведение было трусостью. Оправдаться было нечем. Нужно было положить конец! И вот однажды вечером он двинулся в путь.

Укрываясь от дождя, он едва только успел свернуть в пассаж Жуффруа, как вдруг к нему подошел толстый человек в фуражке. При свете, падавшем из витрин, Фредерик без труда узнал Компена, оратора, чье предложение вызвало в клубе такой смех. Он опирался на руку некоего субъекта с выпяченной верхней губой, лицом желтым, как апельсин, и бородкой, щеголявшего в красной шапке зуава и глядевшего на своего спутника большими восхищенными глазами.

Повидимому, Компен гордился им, так как сказал:

— Познакомьтесь с этим молодцом! Это мой приятель, сапожник и патриот! Выпьем чего-нибудь?

Фредерик поблагодарил и отказался, а тот немедленно стал метать громы против предложения Рато — подвоха, придуманного аристократами. Чтобы покончить с этим, следовало вернуться к 93-му году. Затем он осведомился о Режембаре и еще кой о ком, столь же знаменитом, как то: о Маслене, Сансоне, Лекарню, Марешале и некоем Делорье, замешанном в деле о карабинах, которые были перехвачены в Труа.

Для Фредерика все это было ново. Компен больше ничего не знал. Он простился с Фредериком, сказав:

— До скорого свидания, не правда ли? Ведь вы тоже принимаете участие?

— В чем это?

— В телячьей голове!

— Какой телячьей голове?

— Ах, проказник! — ответил Компен, хлопнув его по животу.

И оба террориста удалились в кафе.

Десять минут спустя Фредерик уже не думал о Делорье. Он стоял на тротуаре улицы Паради и смотрел на окна третьего этажа, где за занавесками был виден свет.

Наконец он поднялся по лестнице.

— Дома Арну?

Горничная ответила:

— Нет. Но вы все-таки пожалуйте.

И быстро распахнула одну из дверей:

— Сударыня, это г-н Моро!

Она поднялась, бледнее своего воротничка. Она дрожала.

— Чему я обязана чести... столь неожиданного посещения?

— Ничему! Просто желанию повидать старых друзей!

И, садясь, он спросил:

— Как поживает милейший Арну?

— Прекрасно! Его нет дома.

— А, понимаю! Все те же привычки — вечером надо развлекаться!

— Почему бы и нет? После целого дня вычислений надо же дать голове отдых?

Она даже стала хвалить своего мужа как труженика. Эти похвалы раздражали Фредерика. Увидев у нее на коленях кусок черного сукна с синими галунами, он спросил:

— Что это у вас?

— Переделываю кофточку для дочери.

— А кстати, я что-то не замечаю ее, где же она?

— В пансионе, — ответила г-жа Арну.

Слезы появились у нее на глазах; она делала усилия, чтобы не расплакаться, и быстро работала иглой. Он для вида взял номер «Иллюстрации», лежавший на столе около нее.

— Карикатуры Хама очень забавны, правда?

— Да.

И они снова погрузились в молчание.

Вдруг она вздрогнула от порыва ветра.

— Что за погода! — сказал Фредерик.

— Право же, очень любезно с вашей стороны, что вы пришли в такой ужасный дождь!

— О, я на это не смотрю! Я не из тех, кому дождь мешает прийти на свидание!

— На какое свидание? — наивно спросила она.

— Вы не помните?

Она вздрогнула и опустила голову.

Он тихо положил руку на ее плечо.

— Уверяю вас, что вы меня немало заставили страдать!

Она ответила как-то жалобно:

— Но мне было так страшно за ребенка!

Она рассказала ему о болезни маленького Эжена и всех тревогах того дня.

— Благодарю, благодарю вас! Я больше не сомневаюсь! Я люблю вас, как всегда любил!

— Да нет! Это же неправда!

— Почему?

Она холодно посмотрела на него.

— Вы забыли про другую. Про ту, которую вы возите на скачки. Про женщину, чей портрет хранится у вас. Про вашу любовницу!

— Ну что же, это так! — воскликнул Фредерик. — Я ничего не буду отрицать! Я подлец! Выслушайте меня!

Если он жил с Розанеттой, то виной тому отчаяние; это то же, что самоубийство. Впрочем, он причинил ей много огорчения, мстя за свой собственный позор.

— Какая пытка! Поймете ли вы это?

Г-жа Арну обратила к нему свое прекрасное лицо, протянула ему руку, и они закрыли глаза, охваченные опьянением, которое словно убаюкивало их, полное бесконечной нежности. Потом они, сидя лицом к лицу, совсем близко, долго смотрели друг на друга.

— Неужели вы могли поверить, что я вас разлюбил?

Она ответила тихим, ласкающим голосом:

— Нет! Несмотря ни на что, я в глубине души чувствовала, что это невозможно и что когда-нибудь преграда, разделяющая нас, падет!

— И я тоже! И мне так хотелось увидеть вас, что я готов был умереть!

— А ведь однажды, — продолжала она, — я прошла мимо вас в Пале-Рояле.

— Правда?

И он рассказал ей, как был счастлив, встретившись с нею у Дамбрёзов.

— Но как я ненавидел вас в тот вечер, когда мы уходили от них!

— Бедный!

— Мне так грустно живется!

— А мне!.. Если бы одни только печали, тревоги, унижения — все то, что я должна терпеть как мать и как жена, — я бы не жаловалась; ведь мы все умрем. Ужаснее — мое одиночество. Я совсем одна...

— Но ведь я здесь! Здесь!

— Да, да!

Не в силах сдержать нежных рыданий, она встала. Она раскрыла ему объятия, и стоя они прильнули друг к другу, слившись в долгом поцелуе.

Скрипнул паркет. Рядом с ними стояла женщина — Розанетта. Г-жа Арну ее узнала; широко раскрыв глаза, полные изумления и негодования, она разглядывала ее. Наконец Розанетта сказала:

— Я пришла к г-ну Арну по делу.

— Его здесь нет, вы же видите.

— Ах, верно! — ответила Капитанша. — Ваша служанка была права! Прошу прощения!

Она обратилась к Фредерику:

— И ты тут?

Это «ты», сказанное в ее присутствии, заставило г-жу Арну покраснеть, словно пощечина со всего размаха.

— Его здесь нет, повторяю вам!

Капитанша, оглядываясь по сторонам, спокойно спросила:

— Что ж, едем домой? У меня фиакр.

Он притворился, что не слышит.

— Ну идем!

— Ах, да! Удобный случай! Ступайте, ступайте! — сказала г-жа Арну.

Они вышли. Она перегнулась через перила, чтобы посмотреть им вслед, и на них обрушился пронзительный, раздражающий смех. Фредерик втокнул Розанетту в экипаж, уселся против нее и за всю дорогу не произнес ни слова.

Оскорбление, обесчестившее его, постигло его по собственной вине. Он чувствовал и гнетущий позор унижения и тоску об утраченном блаженстве; когда он уже мог, наконец, овладеть им, оно безвозвратно исчезло, — и причиной была она, эта девка, эта шлюха! Ему хотелось задушить ее, он задыхался. Войдя в квартиру, он швырнул шляпу на стул, сорвал с себя галстук.

— Ну и устроила же ты скандал! Нечего сказать!

Она вызывающе встала перед ним.

— Так что же? Что тут плохого?

— Как! Ты шпионишь за мной?

— Моя ли вина? Чего ты ходишь развлекаться к порядочным женщинам?

— Не твое дело! Я не хочу, чтобы ты их оскорбляла.

— Чем же я ее оскорбила?

Он ничего не мог ответить и с еще большей злобой продолжал:

— Но тогда еще, на Марсовом поле...

— Ах, и надоел же ты со своими прежними!

— Мерзавка!

Он занес кулак.

— Не убивай меня! Я беременна!

Фредерик отступил назад.

— Лжешь!

— Да посмотри на меня!

Она взяла подсвечник и поднесла к своему лицу.

— Знаешь, что это такое?

Кожа, как-то странно припухшая, была усеяна желтыми пятнышками. Фредерик не стал отрицать того, что было очевидно. Он растворил окно, прошелся несколько раз, опустился в кресло.

Это событие было бедствием; во-первых, оно отдаляло их разрыв, и затем оно нарушало все его планы. Да и мысль стать отцом представлялась ему нелепой, он не допускал ее. Но почему же? Если бы вместо Капитанши... И он погрузился в такую глубокую задумчивость, что мечты его стали подобны галлюцинациям. Вот здесь, на ковре перед камином, он видел девочку. Она была похожа на г-жу Арну и немного на него самого, брюнетка, но беленькая, черноглазая, с очень длинными бровями, с розовым бантом в кудрявых волосах. О, как бы он ее любил! И ему казалось, что он слышит ее голос: «Папа! Папа!»

Розанетта, уже раздевшаяся, подошла к нему, заметила слезу на его реснице и торжественно поцеловала в лоб. Он встал.

— Ну что же! Пусть малыш живет!

Тут она стала болтать. Разумеется, родится мальчик! Назовут его Фредериком. Пора готовить для него приданое. И, видя, как она счастлива, он почувствовал жалость. Теперь, когда гнев его совершенно улегся, ему захотелось узнать, чем объяснить ее недавнее появление.

Дело в том, что как раз в этот день м-ль Ватназ предъявила давно просроченный вексель, и она поспешила к Арну, чтобы достать денег.

— Я бы дал тебе! — сказал Фредерик.

— Проще было получить от него, что мне принадлежит, и вернуть ей тысячу франков.

— Это хоть все, что ты ей должна?

Она ответила:

— Конечно!

На другой день в десять часов вечера (время, указанное привратником) Фредерик явился к Ватназ.

В передней он натолкнулся на груды мебели. Но слышались музыка и звуки голосов, и он нашел дорогу. Он отворил дверь и очутился на рауте. У рояля, за которым сидела девица в очках, стоял Дельмар, важный, точно жрец, и декламировал гу-

манное стихотворение о проституции; его замогильный голос переливался под аккомпанемент тяжелых аккордов. Вдоль стены сидели женщины, большей частью в темных платьях, без воротничков и без манжет. Пять-шесть мужчин, всё мыслящие люди, расположились там и сям на стульях. В кресле восседал старик-баснописец — совершенная развалина; и едкий запах двух ламп смешивался с запахом шоколада, которым наполнены были чашки, расставленные на ломберном столе.

М-ль Ватназ, опоясанная восточным шарфом, сидела у камина. По другую сторону сидел, лицом к ней, Дюссардьё; он, повидимому, был несколько смущен своим положением. Вообще в этой артистической среде он чувствовал себя неловко.

Покончила ли Ватназ с Дельмаром? Может быть, и нет. Как бы то ни было, она, очевидно, ревновала честного приказчика, и когда Фредерик попросил ее уделить ему несколько минут внимания, она знаком велела Дюссардьё пройти вместе с ними в ее комнату. Получив тысячу франков, она еще потребовала и проценты.

— Не стоит! — сказал Дюссардьё.

— Да помолчи ты!

Это малодушие со стороны человека столь мужественного было приятно Фредерику как оправдание его собственной слабости. Он вернулся с оплаченным векселем и никогда уже не заговаривал о выходке Розанетты у г-жи Арну. Но с этих пор он стал замечать все недостатки Капитанши.

У нее был неисправимо дурной вкус, непостижимая лень, невежество дикарки, доходившее до того, что доктора Дэрожи она считала большой знаменитостью и с гордостью принимала у себя вместе с его супругой, ибо это были «женатые люди». Она педантическим тоном учила жизненной мудрости м-ль Ирму, бедное созданище, обладавшее маленьким голоском и нашедшее себе покровителя в лице «очень прилично-го» господина, бывшего таможенного чиновника, мастера на фокусы с картами; Розанетта звала его «мой милый пузанчик». Столь же невыносимо было Фредерику слушать, как она повторяет разные нелепые речения вроде: «Держи карман шире!», «С ума сойти!», «Что за штука?» и т. д. А по утрам она упорно сама обметала пыль со своих безделушек, надевая старые белые перчатки. Всего больше возмущало его, как она обращалась со служанкой, жалованье которой выплачивалось с вечными опозданиями и у которой она даже занимала. В дни, когда сводились счета, они ругались, как уличные торговки, а потом мирились, обнимались. Невесело было оставаться с Розанеттой вдвоем. Он почувствовал облегчение, когда возобновились вечера у г-жи Дамбрёз.

Вот с ней по крайней мере нельзя было соскучиться. Она знала о светских интригах, назначении посланников, о количестве мастериц у портних, а если и попадались в ее речи общие места, то принимали они всегда форму столь условную, что фраза могла показаться или нарочито почитительной, или иронической. Надо было видеть ее в обществе двадцати гостей, в беседе которых она участвовала, никого не оставляя без внимания, вызывая реплики, которых ей хотелось, избегая реплик щекотливых. Вещи самые простые казались в ее устах чем-то вроде признания; малейшая ее улыбка навевала мечты; словом, ее очарование, так же как духи, чудесный аромат которых обычно сопутствовал ей, казалось чем-то сложным и неопределимым. Фредерик в ее присутствии испытывал каждый раз новое удовольствие, как будто делал открытие; а между тем она встречала его всегда с одинаковым спокойствием, подобным зеркальной глади прозрачных вод. Но почему в ее общении с племянницей была такая холодность? Порою она даже как-то странно поглядывала на нее.

Как только зашла речь о браке, она указала г-ну Дамбрёзу на слабое здоровье «милого ребенка» и сразу же увезла ее на воды в Баларюк. Когда они вернулись, возникли новые препятствия: у молодого человека нет положения в свете; к этой страстной любви нельзя относиться серьезно; и подождать не беда. Мартинон ответил, что подождет. Его поведение было верхом благородства. Он превозносил Фредерика. Мало того: он научил его, как понравиться г-же Дамбрёз, даже намекнул, что знает от племянницы, какие чувства питает к нему тетка.

Что до г-на Дамбрёза, то он был далек от ревности, окружил своего молодого друга вниманием, советовался с ним о разных вещах, заботился о его будущности и даже как-то раз, когда заговорили о дядюшке Рокке, лукаво шепнул ему на ухо:

— Вы поступили правильно.

И Сесиль, мисс Джон, слуги, привратник — все до единого в этом доме относились к Фредерику как нельзя лучше. Он бывал здесь каждый вечер, оставляя Розанетту в одиночестве. Предстоящее материнство настраивало ее на более серьезный, несколько даже грустный лад, как будто ее тревожили какие-то опасения. На все вопросы она отвечала:

— Ты ошибаешься! Я здорова!

Дело в том, что она в свое время подписала еще пять векселей и, не решаясь сказать об этом Фредерику, после того как он уплатил по первому векселю, снова посетила Арну, который в письменной форме обещал ей третью часть своей прибыли от эксплуатации газового освещения в городах Лангедока (чудесное предприятие!), посоветовав ей не пускать в ход этого пись-

ма до собрания акционеров; собрание откладывалось с недели на неделю.

Капитанша, однако, нуждалась в деньгах. Она предпочитала умереть, чем попросить у Фредерика. У него она не хотела брать. Это осквернило бы их любовь. Правда, он давал деньги на хозяйство, но карета, которую он нанимал помесечно, и другие траты, неизбежные с тех пор, как он посещал Дамбрёзов, не позволяли ему уделять своей любовнице больше денег. Два-три раза, возвращаясь в необычное время, он как будто видел мужские спины, исчезающие за дверью; она же часто уходила из дому и не говорила куда. Фредерик не желал углубляться во все это. На днях он должен был принять решение. Он мечтал о другой жизни, более занимательной и более благородной. Этот идеал заставлял его быть снисходительным к дому Дамбрёзов.

Их дом представлял собою интимное отделение улицы Путье. Здесь он встречал великого г-на А., прославленного Б., глубокомысленного В., красноречивого Г., колосса Д., старых теноров левого центра, паладинов правого, бургграфов *juste milieu*,¹ вечных простаков комедий. Его изумила гнусность их речей, их мелочность, злопамятность, бессовестность; все эти люди, подававшие голос за конституцию, изощрались, чтобы уничтожить ее, и страшно суетились, выпускали манифесты, памфлеты, биографии. Юссонэ написал биографию Фюмишона — настоящий шедевр, Нонанкур занимался пропагандой по деревням, г-н де Гремонвиль обрабатывал духовенство, Мартинон объединял молодых буржуа. Каждый старался по мере сил, даже Сизи. Думая теперь о вещах серьезных, он целыми днями разъезжал в кабриолете по делам их партии.

Г-н Дамбрёз, уподобляясь барометру, неизменно выражал все последние колебания. Нельзя было заговорить о Ламартине, чтобы он не процитировал слова какого-то простолюдина: «Хватит с нас лиры!» Кавеньяк в его глазах был теперь всего лишь предатель. Президент, которым он восхищался три месяца, начинал падать в его мнении (ибо он не обладал «необходимой энергией»); а так как ему всегда нужно было кого-нибудь считать спасителем, то после событий у Консерватории благодарность его направилась на Шангарнье. «Слава богу, Шангарнье... Будем надеяться, что Шангарнье... О! Нечего опаса́ться, пока Шангарнье...»

Выше всех превозносили г-на Тьера — за его книжку против социализма, в которой он проявил себя не только как писатель, но и как мыслитель. Страшно смеялись над Пьером Леру, который цитировал в палате выдержки из философов.

¹ Золотой середины (франц.).

В театре рукоплескали «Ярмарке идей» и сравнивали авторов с Аристофаном. Фредерик посмотрел пьесу, как и все.

Политическая болтовня и вкусный стол притупляли его нравственное чувство. Какими бы ничтожными ни казались ему эти личности, он гордился знакомством с ними, и в душе ему хотелось добиться почета у буржуа. Любовница вроде г-жи Дамбрёз помогла бы ему выдвинуться.

Он стал делать все, что для этого нужно.

Он попадался ей навстречу, когда она гуляла, в театре не пропускал случая зайти к ней в ложу поздороваться и, зная, в какое время она посещает церковь, становился в меланхолической позе за колонной. По поводу новинок, концертов, книг и журналов, которые они брали друг у друга, они то и дело обменивались записочками. Посещал он ее не только по вечерам; иногда он приезжал к ней и днем и, по мере того как входил в ворота, проходил через двор, через переднюю, через обе гостиной, испытывал нарастание радости; наконец он вступал в ее безмолвный, как гробница, теплый, как альков, будуар, где гость наткался на мягкую мебель и великое множество всевозможных предметов: шифоньерок, экранов, чаш и подносов — лаковых, черепаховых, малахитовых, из слоновой кости, дорогих, часто сменявшихся безделушек. Были вещицы и попроще: три валуна, привезенных из Этретá и служивших вместо пресспапье; фламандский чепчик, висевший на китайской ширме; эти вещи до некоторой степени гармонировали друг с другом; вместе взятое, все это даже поражало своим благородством, что, пожалуй, зависело от высоты потолка, от пышности портьер и от длинной шелковой бахромы, спускавшейся с золоченых перекладин табуретов.

Она почти всегда сидела на диванчике около жардиньерки, стоявшей у окна. Он же, присев на большой пуф с ножками на колесиках, говорил ей комплименты, как можно более похожие на истину; а она глядела на него, склонив голову немного набок и улыбаясь.

Он читал ей стихи, вкладывая в них всю душу, ибо старался растрогать ее и вместе с тем блеснуть. Она прерывала его каким-нибудь насмешливым замечанием или практическим соображением, и их беседа непрестанно возвращалась к вечному вопросу о любви. Они спрашивали друг друга, что возбуждает ее, кто лучше чувствует ее — женщина или мужчина, и в чем тут различие. Фредерик пытался высказать свое мнение так, чтобы в нем не было ни грубости, ни приторности. Это превращалось в своего рода поединок, подчас приятный, а порою и скучный.

Вблизи этой женщины он не испытывал ни того очарования, которое, владея всем его существом, влекло его к г-же

Арну, ни той сумбурной веселости, которую вначале вызывала в нем Розанетта. Но он стремился к ней как к чему-то необыкновенному, недоступному, потому что она была знатна, потому что она была богата, потому что она была набожна, и воображал, что ее отличает изысканность чувств, столь же редкая, как ее кружева, что она носит ладанки на теле и стыдлива в самой развращенности.

Старая любовь шла ему на пользу. Все то, что он некогда пережил благодаря г-же Арну, свои томления, свои тревоги, свои мечты, он высказал ей так, как будто внушала их она сама. Г-жа Дамбрёз принимала все это как человек, привыкший к подобным вещам, и, не отталкивая его по-настоящему, не отступала ни на шаг; и ему так же не удавалось соблазнить ее, как Мартинону не удавалось жениться. Желая покончить с поклонником племянницы, она обвинила его в том, что целью его являются деньги, и даже попросила мужа подвергнуть его испытанию. И вот г-н Дамбрёз объявил молодому человеку, что у сироты Сесиль, дочери бедных родителей, нет приданого и «надеяться» ей не на что.

Мартинон, потому ли, что не поверил, потому ли, что зашел слишком далеко и не мог отказаться от своих слов, потому ли, что был одарен глупым упрямством, переходящим в гениальность, ответил, что отцовского состояния, пятнадцати тысяч ливров в год, для них достаточно. Это непредвиденное бескорыстие тронуло банкира. Он обещал доставить ему место сборщика податей и внести нужный залог, и в мае месяце 1850 года Мартинон женился на м-ль Сесиль. Бала не давали. Молодые в тот же вечер уехали в Италию. Фредерик на другой день пришел с визитом к г-же Дамбрёз. Ему показалось, что она бледнее обыкновенного. Несколько раз она принималась язвительно перечить ему из-за каких-то пустяков. Вообще все мужчины эгоисты.

Но ведь есть же среди них и преданные люди, — взять хотя бы его.

— Ну да! Такой же, как и все прочие!

Глаза у нее были красные, значит, она плакала. Она постаралась улыбнуться:

— Извините меня! Я виновата! Пришли в голову грустные мысли!

Он ничего не понимал.

«Во всяком случае, — подумал он, — она не так тверда, как мне казалось».

Г-жа Дамбрёз позвонила, потребовала стакан воды, отпила глоток, велела унести стакан, потом стала жаловаться, какая скверная у нее прислуга. Чтобы развлечь ее, он предложил себя в лакеи, уверяя, что сумеет подавать тарелки, обметать пыль

с мебели, докладывать о гостях — словом, быть камердинером или, скорее, егерем, хотя мода на них и прошла. Он хотел бы стоять в шляпе с петушиными перьями на запятках ее кареты.

— А как бы величаво я выступал за вами с собачкой на руках!

— Вы веселый, — сказала г-жа Дамбрёз.

Разве не безумие, подхватил он, относиться ко всему серьезно? Горестей и так достаточно, не к чему измышлять их. Ничто не достойно печали. Г-жа Дамбрёз подняла брови, как будто выражая одобрение.

Такое сочувствие побудило Фредерика к большей смелости. Его былые неудачи научили его быть проникательным. Он продолжал:

— Наши деды умели лучше жить. Почему не отдаться влечению? В конце концов любовь сама по себе не такая уж важная вещь.

— Но то, что вы говорите, безнравственно!

Она опустила на диванчик. Он присел с краю, у ее колен.

— Разве вы не видите, что я лгу? Ведь чтобы нравиться женщинам, нужно держать себя беззаботно, точно шут, или неистовствовать, как в трагедии. Они над нами смеются, когда мы просто говорим, что любим их. По-моему, гиперболы, которые их забавляют, — это осквернение подлинной любви. В конце концов не знаешь, как ее выразить, особенно когда вас слушают... женщины... умные.

Она смотрела на него прищурившись. Он понижал голос, наклонялся к ее лицу.

— Да! Я вас боюсь! Я, может быть, оскорбил вас?.. Простите! Ведь я всего этого не хотел говорить! Это не моя вина! Вы так прекрасны!

Г-жа Дамбрёз закрыла глаза, и он изумился, как легко одержана победа. Высокие деревья, томно шелестевшие в саду, замерли. Неподвижные облака тянулись по небу длинными красными полосами, и во всем мире все словно оборвалось. Ему неясно вспомнились такие же вечера, полные такой же тишины. Где это было?

Он опустился на колени, взял ее руку и поклялся в вечной любви. А потом, когда он уже собрался уходить, она знаком подозвала его и сказала совсем тихо:

— Приходите обедать! Мы будем одни!

Когда Фредерик спускался по лестнице, ему казалось, что он стал другим человеком, что на него веет благоуханным зноем теплицы, что наконец-то он вступает в высший круг, в мир патрицианских любовных измен и великосветских интриг. Чтобы занять там первое место, достаточно владеть такой жен-

щиной, как она. Томясь жаждой деятельности и власти, но связанная браком с человеком посредственным, для которого она сделала так много, она, быть может, захотела руководить кем-нибудь более сильным? Теперь нет ничего невозможного! Он чувствовал, что готов проехать верхом двести миль, проработать без усталости несколько ночей кряду; его сердце было преисполнено гордости.

По тротуару впереди него шел, понуря голову, человек в старом пальто; у него был такой измученный вид, что Фредерик обернулся, чтобы посмотреть на него. Тот поднял голову. Это был Делорье. Он почему-то колебался. Фредерик бросился ему на шею:

— А, дружище! Неужели это ты?

И он повел его к себе, забрасывая вопросами.

Бывший комиссар Ледрю-Роллена поведал ему сперва, какие невзгоды ему пришлось перенести. Так как он консерваторам проповедовал братство, а социалистам — уважение к законам, то одни стреляли в него, другие принесли веревку, чтобы его повесить. После июньских событий его без церемоний отрешили от должности. Он бросился в ряды заговорщиков, перехвативших оружие в Труа. За отсутствием улик его отпустили. Затем революционный комитет послал его в Лондон, где во время банкета он подрался со своими соратниками. Вернувшись в Париж...

— Почему ты не пришел ко мне?

— Тебя никогда не бывало дома. Твой швейцар держал себя как-то таинственно, я не знал, что и подумать, да к тому же мне не хотелось явиться побежденным.

Он стучался в двери демократии, предлагая служить ей пером, речью, своей деятельностью, но всюду был отвергнут; ему не доверяли, и пришлось продать часы, книги, белье.

— Лучше околевать на Бель-Ильской каторге вместе с Сенекалем!

Фредерика, завязывавшего в эту минуту галстук, это известие как будто не очень взволновало.

— А-а! Так милейший Сенекаль сослан?

Делорье, с завистью оглядывая стены, ответил:

— Не всем такая удача, как тебе!

— Извини меня, — сказал Фредерик, не замечая намека, — но я нынче обедаю в гостях. Обед тебе приготовят, заказывай все, что хочешь! Спать ложись на моей постели.

Горечь Делорье исчезла, побежденная столь полным радушием.

— На твоей постели? Но... это стеснит тебя.

— Да нет же! У меня есть другие.

— Ну, прекрасно! — смеясь, ответил адвокат. — У кого же ты обедаешь?

— У госпожи Дамбрёз.

— Так ты, чего доброго... того и гляди...

— Ты слишком любопытен, — сказал Фредерик, улыбкой подтверждая его предположение.

Затем, поглядев на часы, он снова сел.

— Вот какие дела! И не надо отчаиваться, старый защитник народа!

— Помилуй бог! Пусть теперь этим занимаются другие!

Адвокат ненавидел рабочих, ибо натерпелся от них у себя в провинции, в каменноугольном округе. Каждая шахта избирала свое временное правительство и давала ему предписания.

— Впрочем, они всюду были хороши — и в Лионе, и в Лилле, и в Гавре, и в Париже! Ведь по примеру фабрикантов, которые хотели бы устранить все заграничные товары, и эти господа тоже требовали изгнания всех рабочих — англичан, немцев, бельгийцев, савойцев! А что до их интеллекта, то какую, собственно, роль сыграли во времена Реставрации их знаменитые общества подмастерьев? В тысяча восемьсот тридцатом году они вступили в национальную гвардию, даже не подумав о том, чтобы подчинить ее себе! А в сорок восьмом году разве не на другой же день появились ремесленные цехи, каждый со своим знаменем! Они даже хотели иметь своих депутатов, которые защищали бы только их интересы! Вроде того, как представители свеклосахарной промышленности только и хлопочут о сахарной свекле! Ох, с меня уж хватит этих мерзавцев, которые падают ниц то перед эшафотом Робеспьера, то перед императорским сапогом, то перед зонтиком Луи-Филиппа, — хватит с меня этой сволочи, всегда преданной тому, кто затыкает ей глотку хлебом! Все еще кричат о продажности Талейрана и Мирабо, но ведь посыльный, что стоит там внизу, продал бы отечество за пятьдесят сантимов, если бы ему пообещали платить три франка за каждое поручение! Ах, какая это была ошибка! Нам надо было со всех четырех концов поджечь Европу!

Фредерик возразил ему:

— Нехватало искры! Вы были всего-навсего мелкими буржуа, и лучшие среди вас были педанты! Что касается рабочих, то им есть на что жаловаться: ведь если не считать того миллиона, который удалось выкроить в бюджете и который вы поднесли им с таким подлым подбострастием, да еще ваших фраз, то ведь вы же ничего для них не сделали! Расчетная книжка находится в руках хозяина, и наемный рабочий (даже перед судом) остается подчиненным своего нанимателя, по-

тому что словам его не верят. В сущности, республика, мне кажется, устарела. Кто знает? Пожалуй, только аристократия или даже только отдельная личность может осуществить прогресс. Инициатива всегда идет сверху! Народ — несовершеннолетний, что бы ни говорили!

— Это, может быть, верно, — сказал Делорье.

По мнению Фредерика, большинство граждан стремится лишь к покою (в доме Дамбрёзов он кое-что воспринял), и все шансы на стороне консерваторов. Но этой партии недостает свежих людей.

— Если бы ты выступил кандидатом, я уверен...

Он не докончил. Делорье понял, провел обеими руками по лбу, потом вдруг сказал:

— А что же ты? Тебе ведь ничто не мешает? Почему тебе не стать депутатом?

В департаменте Обы благодаря дополнительным выборам есть свободная вакансия. Г-н Дамбрёз, избранный в законодательное собрание, — представитель другого округа.

— Хочешь, я этим займусь?

Он знал там много кабатчиков, учителей, врачей, клерков и их патронов.

— Впрочем, крестьяне поверят всему, чему угодно!

Фредерик чувствовал, как вновь разгорается его честолюбие.

Делорье прибавил:

— Ты приискал бы мне место в Париже.

— О, через господина Дамбрёза это будет нетрудно!

— Кстати, раз уж мы заговорили о каменном угле, — продолжал адвокат, — что сталося теперь с его компанией? Мне бы как раз подошло занятие в этом роде, а я бы им был полезен, сохраняя, однако, независимость.

Фредерик обещал зайти с ним к банкиру в один из ближайших дней.

Обед наедине с г-жой Дамбрёз был восхитителен. Она сидела против него, улыбаясь ему, а между ними на столе стояла корзина с цветами; падал свет от висячей лампы, и в открытое окно видны были звезды. Говорили они мало, наверно еще опасаясь друг друга; но как только слуги оказывались к ним спиной, они посылали друг другу воздушные поцелуи. Он поделился с ней планом своей кандидатуры. Она его одобрила, даже обещала добиться содействия г-на Дамбрёза.

Вечером кое-кто из друзей зашел поздравить ее и посочувствовать: должно быть, она огорчена, что с ней больше нет ее племянницы? Все же молодые очень хорошо сделали, что предприняли это путешествие; потом пойдут дети, начнутся разные заботы! Но Италия не соответствует тому представле-

нию, которое сложилось о ней! Впрочем, они еще не вышли из возраста иллюзий, да и медовый месяц все может скрасить!

Последними остались г-н де Гремонвиль и Фредерик. Дипломат все не хотел уходить. Наконец в полночь он поднялся. Г-жа Дамбрёз сделала знак Фредерику, чтобы и он уходил вместе с ним, и за послушание поблагодарила его пожатием руки, более сладостным, чем все остальное.

Капитанша вскрикнула от радости, увидев его. Она уже с пяти часов его ждала. В оправдание он сослался на необходимость предпринять кое-какие шаги ради Делорье. Лицо у него было торжествующее, словно озаренное ореолом, который ослепил Розанетту.

— Может быть, это оттого, что ты в черном фраке, он тебе очень к лицу; но я никогда не видела тебя таким красивым! Какой ты красивый!

В порыве нежности она сама себе дала клятву не отдаваться больше никому другому, что бы ни случилось и хотя бы ей пришлось умирать в нищете. Ее прелестные влажные глаза искрились такой могучей страстью, что Фредерик привлек ее к себе на колени и подумал: «Какой же я мерзавец!», восхищаясь в душе своей испорченностью.

IV

Когда Делорье явился к г-ну Дамбрёзу, тот думал о том, как бы вернуть к жизни свое большое каменноугольное предприятие. Но на слияние всех обществ в одно смотрели косо; кричали, что получится монополия, как будто такое дело не требует огромных капиталов!

Делорье, который только что нарочно прочел книгу Гобе и статьи г-на Шаппа в «Горнозаводском журнале», в совершенстве изучил вопрос. Он пояснил, что закон 1840 года устанавливает незыблемое право концессионера. Впрочем, всему предприятию можно придать демократическую окраску; ведь воспрепятствовать объединению каменноугольных компаний — это значит нарушить самый принцип ассоциации.

Г-н Дамбрёз вручил ему свои заметки для составления докладной записки. Что же касается оплаты его трудов, то он надавал кучу обещаний столь же заманчивых, сколь и неопределенных.

Делорье пришел к Фредерику и сообщил о своем разговоре. Помимо всего, он, уходя, видел в подъезде г-жу Дамбрёз.

— Поздравляю тебя, чорт возьми!

Потом поговорили о выборах. Надо было что-нибудь придумать.

Три дня спустя Делорье принес исписанный лист — статью,

предназначенную для газеты и представлявшую собой открытое письмо г-на Дамбрёза, в котором тот одобрял кандидатуру их друга. Получив поддержку консерватора и заслужив похвалу со стороны красного, она должна была иметь успех. Каким образом капиталист поставил свое имя под этим сочинением? Адвокат, по собственному почину, ничуть не стесняясь, показал его г-же Дамбрёз, которая, найдя его очень удачным, взялась устроить остальное.

Этот шаг удивил Фредерика, однако он его одобрил. Делорье предстояли переговоры с г-ном Рокком. Фредерик рассказал ему о своих отношениях с Луизой.

— Скажи им все, что захочешь: что у меня дела расстроены, что я приведу их в порядок. Она еще достаточно молода, может ждать!

Делорье уехал, а Фредерик стал смотреть на себя как на человека очень ловкого. Вообще он испытывал полное и глубокое удовлетворение. Радостное сознание, что он обладает богатой женщиной, не омрачалось никакими препятствиями, чувства его гармонировали со всем ее окружением. Теперь вся его жизнь полна очарования.

Пожалуй, приятнее всего было созерцать г-жу Дамбрёз, когда она сидела у себя в гостиной, в обществе нескольких знакомых. Видя, как строго она держится, он представлял ее себе в других позах; пока она холодно беседовала с гостями, он вспоминал взволнованные слова любви; уважение, которое было данью ее добродетели, услаждало его, как будто это почитание заслужено им; и подчас ему хотелось закричать: «Да я же знаю ее лучше, чем вы! Она моя!»

Вскоре связь их стала всем известна, превратилась в нечто всеми признанное. Фредерик всю зиму выезжал в свет, не отставая от г-жи Дамбрёз.

Он почти всегда приезжал раньше ее и мог видеть, как она входит с веером в руке, с жемчугом в волосах, с обнаженными плечами. Она останавливалась в дверях (вырисовываясь, точно в рамке) и делала легкое нерешительное движение, щурила глаза, отыскивая его взглядом. Назад она везла его в своей карете; в стекла хлестал дождь; прохожие, подобные теням, скользили по грязи, а Фредерик и г-жа Дамбрёз, прижавшись друг к другу, смотрели на все это рассеянно, с пренебрежительным равнодушием. Потом под разными предлогами он еще добрый час оставался у нее в комнате.

Г-жа Дамбрёз отдалась ему главным образом от скуки. Но этот последний опыт не должен был остаться тщетным усилием. Ей хотелось зажечь в нем страстную любовь, она стала осыпать его ласками, старалась сделать ему приятно.

Она посылала ему цветы, вышила стул; чтобы все его действия были связаны с мыслью о ней, она подарила ему портсигар, чернильницу, множество вещей, необходимых в обиходе. Вначале эти знаки внимания очаровывали его, а вскоре стали казаться вполне естественными.

Она брала фиакр, отсылала его, доехав до какого-нибудь крытого прохода, углублялась в него, а потом с другой стороны снова выходила на тротуар и, пробираясь вдоль домов, с двойной вуалью на лице, достигала улицы, где Фредерик, стоявший, словно на часах, быстро брал ее под руку и уводил к себе. Оба лакея отпускались со двора, швейцара он отсылал по своим поручениям. Она оглядывалась по сторонам; опасаться было нечего, и она с облегчением вздыхала, как изгнанник, узревший родину. Удача придала им смелости. Их свидания стали чаще. Вдруг как-то вечером она неожиданно явилась к нему в бальном наряде. Такие сюрпризы могли быть опасны; он упрекнул ее в неосторожности; к тому же она произвела на него невыгодное впечатление. Открытый лиф слишком обнажал ее тощую грудь.

И он осознал то, что скрывал от себя,— чувственное разочарование в ней. Это не мешало ему притворяться пылко влюбленным; но чтобы почувствовать любовь, он должен был вызывать в своей памяти образ Розанетты или г-жи Арну.

Благодаря этой вялости чувств, мысль его оставалась совершенно свободной, и, более чем когда бы то ни было, он стремился занять высокое положение в свете. Раз у него такая опора, то по крайней мере следует воспользоваться ею.

Однажды упрям, в середине января, к нему в кабинет вошел Сенекаль и в ответ на удивленное восклицание сообщил, что он теперь секретарь Делорье. Он даже передал письмо. В нем были добрые вести, но все-таки Делорье журил его за небрежность; приехать надо было самому.

Будущий депутат ответил, что отправится в путь через день.

Сенекаль не высказал своего мнения о его кандидатуре. Говорил он о себе лично и о положении страны.

Как бы ни было оно плачевно, оно его радовало, ибо открывался путь к коммунизму. Во-первых, само правительство ведет к этому, так как с каждым днем оказывается все больше дел, которые вершит само государство. Что до собственности, то конституция 48-го года, несмотря на свои слабые стороны, не пощадила ее; во имя общественной пользы государство может отныне брать все, что считает для себя подходящим. Сенекаль объявил, что стоит за власть, и Фредерик услышал в его речах преувеличенный отголосок собственных слов— того, что он говорил Делорье. Республиканец стал даже промывать несостоятельность масс.

— Робеспьер, защищая права меньшинства, предал Людовика Шестнадцатого суду Конвента и спас народ. Исход дела узаконивает его. Диктатура иногда неизбежна. Да здравствует тирания, если только тиран творит добро!

Беседа была довольно продолжительна, а собираясь уходить, Сенекаль признался (это, может быть, и составляло цель посещения), что Делорье очень встревожен молчанием г-на Дамбрёза.

Но г-н Дамбрёз болен. Фредерик навещает его каждый день, — он, как близкий человек, имеет доступ к больному.

Отставка генерала Шангарнье крайне взволновала капиталиста. В тот же вечер он почувствовал сильный жар и такое удушье в груди, что не мог лечь. После пиявок сразу же стало легче. Сухой кашель исчез, дыхание стало спокойнее, а неделю спустя он, глотая бульон, сказал:

— Да, дело идет на лад! Но я чуть было не отправился в далекий путь!

— Без меня нельзя! — воскликнула г-жа Дамбрёз, давая понять, что она не пережила бы его.

Вместо ответа он посмотрел на нее и на ее любовника со странной улыбкой, сочетавшей в себе и смирение, и снисходительность, и насмешку, и даже как бы шутку, почти веселый намек.

Фредерик хотел ехать в Ножан, г-жа Дамбрёз была против, и он то укладывал, то распаковывал чемоданы, смотря по тому, какой оборот принимала болезнь.

Вдруг у г-на Дамбрёза пошла кровь горлом. «Князья науки», призванные к больному, не сказали ничего нового. Ноги опухли, слабость увеличивалась. Она несколько раз выражал желание повидать Сесиль, находившуюся на другом конце Франции вместе с мужем, который месяц тому назад был назначен сборщиком податей. Он велел непременно вызвать ее. Г-жа Дамбрёз написала три письма и показала их мужу.

Не доверяя даже сестре милосердия, она ни на секунду не оставляла его, по ночам не ложилась спать. Знакомые, расписывавшиеся у швейцара, с благоговением спрашивали о ней, а прохожие проникались уважением при виде той массы соломы, которую под окнами была устлана мостовая.

12 февраля в пять часов открылось сильное кровохарканье. Врач, дежуривший при больном, предупредил об опасности. Поспешили послать за священником.

Пока г-н Дамбрёз исповедовался, супруга издали с любопытством смотрела на него. Затем молодой врач поставил мушку и стал ждать, что будет.

Лампы, загороженные мебелью, неровно освещали комнату. Фредерик и г-жа Дамбрёз, стоя в ногах постели, смотрели

на умирающего. У окна вполголоса разговаривали священник и врач; сестра милосердия, стоя на коленях, бормотала молитвы.

Наконец послышалось хрипение. Руки холодели, бледнее становилось лицо. Порою он вдруг испускал глубокий вздох; эти вздохи были все реже; вырвалось несколько невнятных слов; он тихонько вздохнул, закатил глаза, и голова свесилась на подушку.

С минуту все стояли неподвижно.

Г-жа Дамбрёз подошла и без усилия, просто, как исполняют долг, закрыла ему глаза.

Потом она развела руками, извиваясь всем телом, словно в припадке затаенного отчаяния, и вышла из комнаты, поддерживаемая врачом и сестрой милосердия. Четверть часа спустя Фредерик вошел в ее комнату.

Там чувствовался какой-то неизъяснимый аромат, исходивший от тех нежных и хрупких вещей, которыми она была наполнена. На постели лежало черное платье, резко выделявшееся на фоне розового покрывала.

Г-жа Дамбрёз стояла у камина. Не думая, что она особенно тоскует, он все же предполагал, что она немного огорчена, и спросил ее скорбным тоном:

— Тебе тяжело?

— Мне? Нет, нисколько.

Обернувшись, она увидела платье, стала его разглядывать; потом сказала ему, чтобы он не стеснялся:

— Кури, если хочешь! Ты у меня!

И глубоко вздохнула:

— О господи! Какое облегчение!

Фредерика это восклицание удивило. Он заметил, целуя ее руку:

— Но ведь никто же не мешал!

Этот намек на их любовную связь и легкость, с которой она далась им, видимо, кольнули г-жу Дамбрёз.

— Ах, ты не знаешь, какие услуги я ему оказывала и какие тревоги мне приходилось переживать!

— Да что ты!

— Ну да! Разве можно было жить спокойно, когда тут же рядом была эта незаконная дочь, эта девочка, которую он ввел в дом через пять лет после свадьбы? И если бы не я, он уж, конечно, сделал бы из-за нее какую-нибудь глупость.

Тут она посвятила его в свои дела. По свадебному контракту, каждый из них оставался владельцем своего имущества. Ее состояние составляло триста тысяч франков. Г-н Дамбрёз, на случай своей смерти, закрепил за ней пятнадцать тысяч годового дохода и дом. Но вскоре он написал завещание, по

которому она являлась его единственной наследницей; она оценивала его состояние, насколько это можно было определить сейчас, более чем в три миллиона.

Фредерик вытаращил глаза.

— Было из-за чего стараться, не правда ли? Впрочем, и я помогала ему нажить их! Я защищала свое же добро. Сесиль меня бы обобрала, это ведь несправедливо.

— Почему она не приехала повидаться с отцом?

Услышав этот вопрос, г-жа Дамбрёз пристально посмотрела на него, потом сухо ответила:

— Не знаю! Верно, потому, что бессердечна! О, я ее знаю! Зато она от меня не получит ни одного су!

— Но она же вовсе не была в тягость, по крайней мере со времени своего замужества.

— Ах, это замужество! — усмехнулась г-жа Дамбрёз.

И она раскаивалась, что слишком хорошо относилась к этой дуре, завистливой, корыстной, лицемерной. «Все недостатки отца!» Она все ожесточеннее бранила его. Не было существа более лживого, к тому же и беспощадного, черствого, как камень. «Злой человек, злой!»

Допустить ошибку может всякий, даже и самый умный. Промак сделала и г-жа Дамбрёз, дав волю накопившейся злобе. Фредерик, сидя против нее в глубоком кресле, размышлял; его это шокировало.

Она встала, медленно опустилась к нему на колени.

— Только ты хороший! Я люблю только тебя!

Она глядела на него, и сердце ее смягчилось, наступила нервная реакция, глаза наполнились слезами, и она прошептала:

— Хочешь на мне жениться?

Сперва он подумал, что не расслышал. Такое богатство ошеломило его. Она громче повторила:

— Хочешь на мне жениться?

Наконец он улыбнулся и сказал:

— Ты сомневаешься?

Потом ему стало стыдно, и, чтобы хоть как-то исправить свою вину перед покойником, он вызвался провести ночь около него. Но, стесняясь этого добродетельного чувства, он развязно прибавил:

— Это, пожалуй, будет приличнее.

— Да, в самом деле, пожалуй, — ответила она, — из-за прислуги!

Кровать совсем выдвинули из алькова. Монахиня стояла в ногах, у изголовья стал священник, не тот, что был днем, а другой, — высокий, тощий человек, похожий на испанца, фанатик

с виду. На ночном столике, покрытом белой салфеткой, горели три свечи.

Фредерик сел на стул и стал смотреть на покойника.

Лицо было желтое, как солома; по углам рта запеклась кровавая пена; голова была повязана фуляром; лежал он в вязаной фуфайке, с распятием в руках, сложенных крестом на груди.

Кончилась эта жизнь, полная суеты. Сколько раз он ездил по всяким канцеляриям, сколько итогов подводил, сколько дел устраивал, сколько выслушивал докладов! Сколько болтовни, улыбок, поклонов! Ведь он приветствовал Наполеона, казаков, Людовика XVIII, 1830 год, рабочих, любое правительство, так нежно любя власть, что сам готов был платить, лишь бы его купили.

Но после него остались поместье в Ла-Фортель, три мануфактуры в Пикардии, лес Крансе в департаменте Ионны, ферма под Орлеаном, ценное движимое имущество.

Так Фредерик пересчитывал его богатства; а ведь они должны достаться ему! Прежде всего он подумал о том, что «скажут люди», о подарке, который он преподнесет своей матери, о своих будущих выездах, о старом кучере их семьи, которого он сделает своим швейцаром. Ливрея, разумеется, будет другая. Большую гостиную он превратит в свой рабочий кабинет. Если в третьем этаже разобрать три стены, то можно будет завести там картинную галерею. Внизу, может быть, удастся устроить турецкую баню. А на что могла бы пригодиться контора г-на Дамбрёза, эта неприятная комната?

Когда священник сморкался или монахиня мешала угли в камине, грезы его нарушались. Но действительность подтверждала их: труп попрежнему лежал здесь. Веки покойника приоткрылись, и зрачки, хоть их и заволакивала темная липкая пелена, смотрели с каким-то невыносимо загадочным выражением. Фредерик словно читал в них осуждение себе и почти испытывал угрызения совести, ибо никогда не мог пожаловаться на этого человека, который, напротив... «Да полно же! Старый мерзавец!» И он пристальнее вглядывался в него, чтобы ободриться, и мысленно кричал ему:

«Ну что же, что же? Разве я тебя убил?»

Священник читал молитвы; монахиня дремала, застыв на месте; пламя свечей удлинялось.

Целых два часа раздавался глухой грохот повозок, ехавших к Крытому рынку. В окнах посветлело; проехал фиакр, потом по мостовой просеменило стадо ослиц; донеслись удары молотка, крик разносчиков, звуки рожка; все сливалось с мощным голосом пробуждающегося Парижа.

Фредерик принялся за хлопоты. Прежде всего он отправился в мэрию, чтобы заявить о смерти; потом, когда врач выдал свидетельство, он снова посетил мэрию, чтобы сообщить, на каком кладбище семья желает хоронить покойника, и поехал в бюро похоронных процессий.

Служащий извлек проспект бюро и рисунок, где указывались различные разряды погребения и полностью все подробности церемониала. Какую желают колесницу — с карнизом или с султанами? Должны ли быть у лошадей заплетены гривы? С галунами ли прислуга? Вензель или герб? Потребуется ли погребальные факелы? Человек, чтобы нести ордена? Сколько нужно карет? Фредерик был щедр. Г-жа Дамбрёз решила ничего не жалеть.

Потом он отправился в церковь.

Викарий, ведавший похоронами, первым делом стал брать похоронное бюро; особое лицо для несения орденов, право же, ни к чему; лучше было заказать побольше свечей! Условились, что заупокойная обедня будет с органом. Фредерик расписался на условии, обязуясь за все уплатить.

Далее он поехал в ратушу, чтобы купить место на кладбище. Участок в два метра длиной и один шириной стоил пятьсот франков. Место приобретается на пятьдесят лет или навсегда?

— О, навсегда! — сказал Фредерик.

Он серьезно принялся за дело, старался изо всех сил. Во дворе особняка его ждал мастер мраморщик с планами памятников в греческом, египетском, мавританском стиле и сметами; но домашний архитектор уже успел обсудить этот вопрос с самой хозяйкой, а на столе в вестибюле лежали всякие объявления о чистке матрацев, дезинфекции комнат, о различных способах бальзамирования.

После обеда он поехал к портному заказать траур для прислуги, и, наконец, ему еще раз пришлось съездить туда же, так как он заказал замшевые перчатки, а надобно шелковые.

Когда он явился на следующее утро, в десять часов, в большой гостиной уже было много народа, и почти все с печальным видом, подходя друг к другу, говорили:

— Еще месяц тому назад я видел его! Боже мой! Всех нас ждет такая участь!

— Да, но постараемся, чтобы это случилось как можно позднее!

После чего, удовлетворенно посмеиваясь, затевали разговор, совершенно не подходящий к случаю. Наконец распорядитель похорон, в черном фраке, по французскому обычаю, и коротких штанах, в плаще с плерезами, со шпагой на перевязи и тре-

угольной шляпой подмышкой, поклонился и произнес традиционные слова:

— Господа, если вам угодно, пожалуйста.

Шествие тронулось.

Был день цветочного базара на площади Мадлен. Было ясно и тепло, и ветерок, чуть-чуть трепавший парусину палаток, надувал с боков огромное черное сукно, висевшее над главным входом в храм. Герб г-на Дамбрёза, заключенный в бархатные квадраты, был изображен на нем три раза. Он представлял *на черном поле золотую шуйцу, сжатую в кулак в серебряной перчатке*, с графской короной и девизом: «*Всеми путями*».

Тяжелый гроб внесли по ступеням, и все вошли в церковь.

Все шесть приделов, полукруг за алтарем и сиденья обтянуты были черным. Катафалк перед алтарем озаряли желтоватые лучи, падавшие от высоких восковых свечей. По углам его в канделябрах горел спирт.

Лица более важные разместились поближе к алтарю, прочие сели в нефе, и служба началась.

За исключением нескольких человек, все были столь несведущи в церковных обрядах, что распорядитель похорон время от времени подавал им знак, приглашая встать, опуститься на колени, снова сесть. Орган и два контрабаса чередовались с голосами певчих; в промежутках слышно было бормотание священника у алтаря; потом пение и музыка возобновлялись.

Из трех куполов лился матовый свет; но в открытую дверь горизонтальными полосами врывались потоки дневного света, который падал на все эти обнаженные головы, а в воздухе, на половине высоты церкви, реяла тень, пронизанная отблесками золотых украшений на ребрах свода и на листьях капителей.

Чтобы рассеяться, Фредерик прислушался к *Dies irae*¹; он оглядывал присутствующих, старался рассмотреть живопись, расположенную слишком высоко и изображавшую жизнь Магдалины. К счастью, Пеллерен сел рядом с ним и тотчас же пустился в долгие рассуждения по поводу фресок. Ударил колокол. Стали выходить из церкви.

Дроги, задрапированные сукном и украшенные высоким плюмажем, направились к кладбищу Пер-Лашез; колесницу везли четыре вороньи лошади с заплетенными в косы гривами, с султанами на головах, в длинных черных пополах, вышитых серебром. Кучер был в ботфортах и в треуголке, с длинным ниспадающим крепом. За шнуры колесницы держались четверо: квестор палаты депутатов, член общего совета департамента Обы, представитель каменноугольной компании и —

¹ День гнева (господня) — первые слова и название заупокойного песнопения в католической церкви (*лат.*).

на правах друга — Фюмишон. За дрогами следовали коляска покойного и двенадцать траурных карет. За ними, посреди бульвара, шли провожающие.

Прохожие останавливались посмотреть похороны, женщины с младенцами на руках влезали на стулья, а посетители кафе, зашедшие выпить кружку пива, появлялись с бильярдными киями у окон.

Путь был длинный, и, — подобно тому, как на парадных обедах гости вначале бывают сдержанны, а потом становятся общительны, — натянутость вскоре у всех исчезла. Говорилось только о том, как палата отказала президенту в ассигнованиях. Г-н Пискатори слишком резок, Монталамбер — «великолепен по обыкновению», господам Шамболу, Пиду, Кретону, словом, всей комиссии, пожалуй, следовало послушаться мнения господ Кантен-Бошара и Дюфура.

Разговоры продолжались и на улице Рокет, окаймленной лавками, в окнах которых видны лишь цепочки из цветного стекла да черные кружки с золотыми узорами и буквами, что придает этим лавкам сходство с пещерами, полными сталактитов, или с посудными магазинами. Но у решетки кладбища все мгновенно замолкли.

Между деревьями возвышались надгробные памятники — усеченные колонны, пирамиды, часовни, дольмены, обелиски, склепы в этрусском стиле с бронзовыми дверями. В некоторых из них были устроены своего рода могильные будуары, с садовыми креслами и складными стульями. Паутина лохмотьями висела на цепочках урн, и пыль покрывала атласные банты букетов и распятий. Между столбиками оград, над могилами — всюду венки из иммортелей и свечильники, вазы, цветы, черные диски, украшенные золотыми буквами, гипсовые статуэтки — мальчики, девочки, ангелочки, повисшие в воздухе на латунной проволоке; над некоторыми были устроены даже цинковые навесы. С надгробных стелл на каменные плиты спускались огромные канаты из крученого стекла, черного, белого и голубого, извиваясь, как удавы. Освещенные солнцем, они искрились среди крестов из черного дерева, и колесница медленно подвигалась вглубь широких проездов, мощенных наподобие городских улиц. Оси время от времени издавали щелкающий звук. Женщины, стоя на коленях и платьями касаясь травы, нежно беседовали с покойниками. Над зеленью тисовых деревьев подымался беловатый дым. Это сжигались остатки старых венков, возложенных на могилы.

Могила г-на Дамбрёза была по соседству с могилами Манюэля и Бенжамена Констана.

В этом месте начинается крутой спуск, обрыв. Внизу видны зеленые вершины деревьев, дальше — трубы паровых насосов,

а вдали — весь огромный город. Пока произносились речи, Фредерик мог любоваться видом.

Первая из них была сказана от имени палаты депутатов, вторая — от имени общего совета департамента Обы, третья — от имени каменноугольной компании Сены и Луары, четвертая — от имени агрономического общества Ионны; была произнесена и речь от имени филантропического общества. Наконец стали уже расходиться, как вдруг некий незнакомец начал читать шестую речь — от имени общества амьенских антикваров.

И каждый пользовался случаем напасть на социализм, жертвой которого умер г-н Дамбрёз. Зрелище анархии и его преданность порядку — вот что сократило его дни. Превозносили его ум, честность, щедрость и даже молчаливость в роли народного представителя, ибо если он не был оратором, то взамен обладал такими положительными, в тысячу раз более ценными качествами, и т. д. Было сказано все, что полагается: «безвременная кончина», «вечные сожаления», «иной мир», «прощай... нет, вернее, до свиданья!»

Посыпалась земля, перемешанная с камешками, и уже никому на свете не было до него дела.

О нем еще немного поговорили, пока шли по кладбищу, и в суждениях не стеснялись. Юссонэ, который должен был дать в газете описание похорон, даже припомнил и высмеял все речи: ведь в конце концов почтенный Дамбрёз был за последнее царствование одним из виднейших взяточников. Потом траурные кареты развезли всех этих буржуа по их конторам, церемония заняла не слишком много времени; все радовались этому, Фредерик, утомленный, вернулся домой.

Когда на другой день он явился к г-же Дамбрёз, ему сказали, что барыня занята внизу, в конторе. Папки, ящики были открыты как попало, счетные книги разбросаны, сверток бумаг с надписью «Безнадежные взыскания» валялся на полу; Фредерик чуть было не упал, зацепившись за него ногой, и поднял его. Г-жа Дамбрёз, казалось, потонула в глубоком кресле.

— Ну что же? Где это вы пропали? Что случилось?

Она тотчас же вскочила.

— Что случилось? Я разорена, разорена! Понимаешь?

Нотариус, г-н Адольф Ланглуа, пригласил ее к себе в контору и сообщил содержание завещания, составленного ее мужем до их свадьбы; он все оставлял Сесиль, а другое завещание было потеряно. Фредерик побледнел. Наверно, она плохо искала.

— Да посмотри! — ответила г-жа Дамбрёз, указывая на комнату.

Оба несгораемых шкафа стояли открытые, замки были сломаны молотком; она перерыла письменный стол, обыскала шкафы в стенах, вытряхнула соломенные половики, как вдруг пронзительно вскрикнула и бросилась в угол, где сейчас только увидела ящичек с медным замком; она открыла его — пусто!

— Ах, мерзавец! А я так самоотверженно ухаживала за ним!

И она зарыдала.

— Может быть, оно в другом месте? — сказал Фредерик.

— Да нет! Оно было здесь, в несгораемом шкафу. Я недавно его видела. Он его сжег! Я уверена!

Как-то раз, в начале своей болезни, г-н Дамбрёз приходил сюда подписать бумаги.

— Тогда-то он и проделал все это!

И она в изнеможении упала на стул. Мать, потерявшая ребенка, не так скорбит над опустевшей колыбелью, как сокрушалась г-жа Дамбрёз у этих зияющих несгораемых шкафов. Как бы то ни было, горе ее, несмотря на низменность мотивов, казалось таким глубоким, что он попытался утешить ее, сказав, что в конце концов это все же не нищета.

— Нет, нищета! Ведь я не могу предложить тебе большого состояния!

У нее оставалось только тридцать тысяч годового дохода, не считая дома, стоившего, пожалуй, тысяч восемнадцать — двадцать.

Хотя в глазах Фредерика и это было богатство, все же он испытывал разочарование. Прощайте, мечты! Прощай, широкая жизнь, которую он собирался вести! Чувство чести требовало, чтобы он женился на г-же Дамбрёз. Он подумал с минуты, потом нежно промолвил:

— Но со мной будешь ты!

Она бросилась к нему в объятия, и он прижал ее к своей груди с нежностью, к которой примешивалось и восхищение самим собою. Г-жа Дамбрёз, осушив слезы, подняла лицо, сияющее от счастья, и взяла его за руку.

— О, я никогда в тебе не сомневалась! Я на это рассчитывала!

Такая заблаговременная уверенность в том, что он считал благородным поступком, не понравилась молодому человеку.

Потом она увела его в свою комнату, и они стали строить планы. Фредерик должен теперь подумать о своей карьере. Она даже дала ему замечательные советы относительно его кандидатуры.

Во-первых, надо выучить две-три фразы из политической экономии. Затем надо избрать себе специальность, например коннозаводство, написать несколько статей о вопросах местно-

го характера, всегда иметь в своем распоряжении почтовые или табачные конторы, оказывать множество мелких услуг. Г-н Дамбрёз мог служить в этом смысле образцом. Как-то раз в деревне, катаясь с друзьями в шарабане, он велел кучеру остановиться перед лавочкой сапожника, купил для своих гостей двенадцать пар обуви, а для себя сапоги и даже проявил такое мужество, что носил их целых две недели. Эта история развеселила их. Она рассказала еще и другие, оживилась и помолодела, стала попрежнему мила и остроумна.

Она одобрила его намерение немедленно съездить в Ножан. Они нежно простились; на пороге она еще раз шепнула ему:

— Ведь ты любишь меня, правда?

— Навеки! — ответил он.

Дома его ждал посыльный с запиской карандашом, сообщавшей ему, что Розанетта должна родить. Последние дни он был так занят, что забыл об этом. Она теперь находилась в специальном заведении в Шайо.

Фредерик нанял фиакр и отправился.

На углу улицы Марбёф он увидел дощечку, на которой крупными буквами было написано: «Лечебница с отделением для рожениц. Содержательница г-жа Алессандри, акушерка первого разряда, окончившая курс в Институте материнства, автор многих сочинений» и т. д. С улицы, над калиткой, заменявшей ворота, вывеска повторяла ту же надпись (с пропуском слов «отделение для рожениц»): «Лечебница г-жи Алессандри» и перечисляла все звания владелицы.

Фредерик коснулся молотка.

Горничная с манерами субретки ввела его в гостиную, где стояли стол красного дерева, кресла, обитые малиновым бархатом, и часы под стеклянным колпаком.

Хозяйка вышла почти сразу же. Это была высокая брюнетка лет сорока, с тонкой талией, красивыми глазами, видимо знающая свет. Она сообщила Фредерику, что мать благополучно разрешилась от бремени, и повела его к ней.

Розанетта встретила его несказанной улыбкой и, словно задыхаясь от любви, утопая в ее волнах, тихо сказала:

— Мальчик... вот там, там! — показывая на колыбельку, стоящую возле ее кровати.

Он раздвинул занавески; среди белья лежало что-то желтовато-красное, страшно сморщенное, дурно пахнущее и кричащее.

— Поцелуй его!

Чтобы скрыть свое отвращение, он ответил:

— Но я боюсь сделать ему больно.

— Нет, нет!

Тогда он еле коснулся губами своего ребенка.

— Как он на тебя похож!

И слабыми руками она обняла его за шею с такой горячей нежностью, какой он никогда не видел.

Он вспомнил о г-же Дамбрёз. Ему показалось чем-то чудовищным обманывать это бедное создание, любившее и страдавшее со всей непосредственностью своей натуры. В течение нескольких дней он сидел у нее до самого вечера.

Она чувствовала себя счастливой в этом уютом доме; у окон, выходящих на улицу, ставни постоянно бывали закрыты; комната ее, обтянутая светлым штофом, выходила в большой сад; г-жа Алессандри, недостатком которой было только то, что о знаменитых врачах она говорила как о своих близких приятелях, окружала ее заботами; товарки ее, все почти — провинциальные барышни, очень скучали, так как никто их не навещал. Розанетта заметила, что ей завидуют, и с гордостью сказала об этом Фредерику. Разговаривать, однако, приходилось вполголоса; стены были тонкие, и хотя, не умолкая, раздавались звуки фортепиано, все напрягали слух и держались настороже.

Он, наконец, собрался ехать в Ножан, как вдруг пришло письмо от Делорье.

Появились два новых кандидата, один — консерватор, другой — красный; третий, каков бы он ни был, уже не мог рассчитывать на успех. Виноват сам Фредерик — он пропустил подходящий момент, ему следовало приехать раньше, расшевелиться. «Тебя даже не видели на сельскохозяйственной выставке!» Адвокат порицал его за то, что у него нет связей с газетами. «Ах, если бы ты в свое время послушался моих советов! Если бы у нас была своя газета!» Он это подчеркивал. Впрочем, многие из тех, кто голосовал бы за него из уважения к г-ну Дамбрёзу, теперь отпадут. В числе их был Делорье. Ему нечего было ждать от капиталиста, и он отступился от его протезе.

Фредерик пошел с этим письмом к г-же Дамбрёз.

— Так ты не был в Ножане? — спросила она.

— Почему ты спрашиваешь?

— Я видела Делорье три дня тому назад.

Узнав о смерти ее мужа, адвокат явился к ней, чтобы вернуть его заметки о каменноугольном предприятии, и предложил свои услуги в качестве поверенного. Фредерику это показалось странным. А что же его друг делает там, в Ножане?

Г-жа Дамбрёз пожелала узнать, чем был занят Фредерик во время их разлуки.

— Я был болен, — ответил он.

— Ты должен был хотя бы уведомить меня.

— О, не стоило! — К тому же у него было множество хлопот, деловых свиданий, визитов.

С этих пор жизнь его раздвоилась: он неуклонно ночевал у Капитанши, а вторую половину дня проводил у г-жи Дамбрёз, так что свободного времени у него оставался какой-нибудь час в день.

Ребенка отправили в деревню, в Андии. Родители навещали его каждую неделю.

Дом кормилицы находился поблизости от самой деревни, в глубине маленького двора, устланного соломой, мрачного, как колодец; бродили куры, под навесом стояла тележка для овощей. Розанетта первым делом осыпала своего мальчика неистовыми поцелуями и, в порыве какого-то безумия, начинала суетиться, пыталась доить козу, ела простой крестьянский хлеб, вдыхала запах навоза, хотела даже взять щепотку его в носовой платок.

Потом они совершали длинную прогулку; она заходила в садоводство, срывала ветки сирени, свешивавшиеся через стену; завидя осла, запряженного в двуколку, кричала: «Ну, пошел, серый!» — останавливалась у решетки какого-нибудь красивого сада, любуясь им; или же кормилица приносила ребенка, его укладывали в тени орешника, и обе женщины целыми часами болтали невыносимые глупости.

Фредерик, оставаясь тут же, созерцал квадраты виноградников, среди которых то тут, то там виднелась густая листва дерева, пыльные тропинки, похожие на серые ленты, дома, выделявшиеся среди зелени белыми и красными пятнами; иногда у подножия холмов, поросших кустами, тянулся горизонтальной полосой дым локомотива, точно гигантское страусовое перо, кончик которого улетал вдаль.

Потом глаза его снова останавливались на сыне. Он представлял его себе юношей, надеялся, что он будет ему товарищем; но, быть может, из него выйдет дурак, во всяком случае — человек несчастный. То, что он незаконнорожденный, всегда будет тяготеть над ним; лучше бы для него не родиться вовсе. И непонятная тоска наполняла сердце Фредерика, шептавшего: «Бедное дитя!»

Они часто опаздывали на последний поезд. Тогда г-жа Дамбрёз журила его за неаккуратность. Он сочинял какую-нибудь небылицу.

Небылицы приходилось изобретать и для Розанетты. Она не понимала, что он делает по вечерам; и когда бы к нему ни послать, его вечно нет дома! Однажды, когда он был у себя, обе появились почти одновременно. Капитаншу он выпроводил, а г-жу Дамбрёз спрятал, сказав, что должна приехать его мать.

Вскоре эта ложь начала занимать его; клятву, которую он давал одной, он повторял и другой, посылал им обeim одинаковые букеты; писал им в одно и то же время, потом сравнивал их; но в мыслях его вечно жила и третья. Ее недостижимость была оправданием этого вероломства, которое обостряло удовольствие, внося в него разнообразие; и чем больше он обманывал одну или другую, тем сильнее она его любила, как будто любовь г-жи Дамбрёз распалая страсть Розанетты, и наоборот, как будто, соревнуясь друг с другом, каждая хотела заставить его забыть о сопернице.

— Оцени мое доверие, — сказала ему однажды г-жа Дамбрёз, развертывая письмо, в котором ей сообщили, что г-н Моро живет с некоей Розой Брон. — Чего доброго, та самая, что была на скачках?

— Что за вздор! — ответил он. — Дай взглянуть.

В письме, начертанном печатными буквами, подпись отсутствовала. Вначале г-жа Дамбрёз терпела эту любовницу, благодаря которой маскировалась их связь. Но теперь, когда любовь ее становилась более страстной, она потребовала разрыва, что, по словам Фредерика, давно уже было сделано; в ответ на все его уверения она, прищурившись и направив на него взгляд, поблескивавший, словно острие кинжала под кисеей, спросила:

— Ну, а другая?

— Какая другая?

— Жена торговца посудой!

Он презрительно пожал плечами. Она не настаивала.

Но месяц спустя как-то раз, когда речь зашла о чести и честности и он похвастался (вскользь, осторожности ради) этим качеством, она ему сказала:

— Это правда, ты честный; ты больше не едешь туда.

Фредерик, думавший о Капитанше, пробормотал:

— Куда?

— К госпоже Арну.

Он стал умолять ее признаться, от кого у нее эти сведения. Она получила их от одной из своих портних — г-жи Ружембар.

Значит, ей была известна его жизнь; он же о ее жизни ничего не знал.

Между тем в ее туалетной он обнаружил миниатюрный портрет какого-то господина с длинными усами; уж не тот ли это, о самоубийстве которого ему когда-то рассказывали нечто неопределенное? Но не было никакой возможности узнать больше. Да, впрочем, и к чему? Сердца женщин, словно ларцы с секретом, со множеством ящичков, вставляемых один в другой; стараешься изо всех сил, ломаешь ногти — и, наконец,

находишь высохший цветок, хлопья пыли или пустоту! И к тому же он боялся, пожалуй, узнать слишком много.

Она заставляла его отказываться от приглашений в те места, куда ей нельзя было ехать вместе с ним, держала его при себе, страшилась потерять его, и, несмотря на близость, возраставшую с каждым днем, вдруг — из-за какой-нибудь бездельницы, различия во взглядах на то или иное лицо или произведение искусства — между ними открывалась бездна.

У нее была особая манера играть на рояле, сдержанная, сухая. Ее спиритуализм (г-жа Дамбрёз верила в переселение душ на звезды) не мешал ей держать свою кассу в замечательном порядке. Она была высокомерна с прислугой; при виде лохмотьев бедняка глаза ее оставались сухи. Наивный эгоизм прорывался в привычных для нее речениях: «Какое мне дело?», «Хороша бы я была!», «С какой стати!», и в тысяче мелких, неуловимых, но отвратительных поступков. Она могла бы подслушивать у дверей; на исповеди она, верно, лгала. Из деспотизма она пожелала, чтобы Фредерик по воскресеньям сопровождал ее в церковь. Он повиновался и носил молитвенник.

Потеря наследства вызвала в ней большую перемену. Эта грусть, которую объясняли смертью г-на Дамбрёза, была ей к лицу, и она попрежнему принимала у себя много народу. С тех пор как Фредерику не повезло на выборах, она мечтала о том, что ему дадут место при посольстве, где-нибудь в Германии; поэтому прежде следовало приноровиться к господствующим взглядам.

Одни желали империи, другие — возвращения Орлеанского дома, третьи — графа Шамбора; но все сходилось на том, что необходима децентрализация, и предлагалось несколько способов, например: разбить Париж на множество больших улиц и устроить из них деревни, правительство перевести в Версаль, учебные заведения — в Бурж, упразднить библиотеки, дела доверить дивизионным генералам; и все перевозили деревню, ибо у неграмотного человека от природы больше ума, чем у прочих. Ненависть имелась в изобилии, — ненависть к учителям начальной школы и к виноторговцам, к курсам философии, лекциям по истории, к романам, красным жилетам, длинным бородам, ко всякой независимости, ко всякому проявлению индивидуальности, ибо надо было восстановить «принцип власти», откуда бы она ни исходила, во имя чего бы она ни действовала, лишь бы это была сила, власть! Консерваторы рассуждали теперь так же, как Сенекаль. Фредерик ничего более не понимал, а в доме своей любовницы он слышал все те же речи, произносимые все теми же людьми.

Салоны кокоток (с того времени они и начинают играть роль) были нейтральной почвой, где встречались реакционеры

разного толка. Юссонэ, занимавшийся поруганием современных знаменитостей (дело полезное для восстановления порядка), возбудил в Розанетте желание устраивать у себя вечера, как это делается у других,— он стал бы писать о них отчеты; и вот для начала он привел человека серьезного — Фюмишона; затем появились Нонанкур, г-н де Гремонвиль, де Ларсийуа, бывший префект, и Сизи, ставший теперь агрономом, жителем нижней Бретани и христианином, более ревностным, чем когда бы то ни было.

Кроме того, приходили и прежние любовники Капитанши, как то: барон де Комен, граф де Жюмийяк и некоторые другие. Развязность их обращения оскорбляла Фредерика.

Желая дать почувствовать, что он хозяин, он более пышно обставил домашний быт. Наняли грума, переменили квартиру и завели новую мебель. Расходы эти были полезны, так как благодаря им брак его казался не столь не соответствующим его собственному состоянию. Зато оно и таяло страшно быстро; Розанетта же во всем этом ничего не понимала.

Мещанка, потерявшая связь со своей средой, она обожала семейную жизнь, тихий домашний уют. Однако она была довольна, что у нее «приемный день»; говоря о себе подобных, называла их: «эти женщины», желала быть и даже воображала себя «светской дамой». Она просила Фредерика больше не курить в гостиной, приличия ради пыталась заставить его есть постное.

Словом, она изменяла своей роли, потому что становилась серьезной, и даже, ложась спать, всякий раз выказывала некоторую меланхолию,— так перед кабаком сажают кипарисы.

Он открыл причину: она тоже мечтала о браке! Фредерика это ожесточило. К тому же он не забывал о ее появлении у г-жи Арну, да и сердился на нее за то, что она долго ему сопротивлялась.

Это не мешало ему расспрашивать, кто были ее любовники. Она всех отрицала. Им овладела своего рода ревность. Его раздражали подарки, которые она получала, продолжала получать, и, по мере того как его все больше возмущал характер этой женщины, какая-то чувственная сила, властная, звериная, влекла его к ней,— мгновенное наслаждение, сразу же пережившее в ненависть.

Ее слова, ее улыбка, ее голос — все в ней опротивело ему, в особенности ее глаза, этот женский взгляд, всегда прозрачный и бессмысленный. Порою он чувствовал себя так невыносимо, что если бы она умерла у него на глазах, он остался бы равнодушен. Но как найти повод для ссоры? Ее кротость приводила его в отчаяние.

Вновь появился Делорье и объяснил свою поездку в Ножан тем, что приценялся к адвокатской конторе. Фредерик обрадовался ему: все-таки человек! Он ввел его к Розанетте.

Адвокат время от времени обедал у них, а если возникали маленькие пререкания, всегда становился на сторону Розанетты, так что однажды Фредерик ему сказал:

— Ну и живи с ней, если тебе это приятно!— так ему хотелось, чтобы какая-нибудь случайность избавила его от нее.

В середине июня Розанетта получила от судебного пристава, мэтра Атаназ Готро, извещение, в котором он ей предлагал выплатить четыре тысячи франков — ее долг девице Клеманс Ватназ; в противном случае он завтра же должен будет произвести опись.

Действительно, из четырех векселей, подписанных в свое время, оплачен был только один; деньги, которые ей с тех пор случалось иметь, уходили на другие нужды.

Она бросилась к Арну. Он жил теперь в Сен-Жерменском предместье, и прежний привратник не знал, на какой улице. Она решила посетить еще нескольких друзей, никого не застала дома и вернулась в отчаянии. Она ничего не хотела говорить Фредерику, дрожа при мысли, что эта новая история помешает ее браку.

На другое утро явился г-н Атаназ Готро в сопровождении двух помощников; один был бледный, с невзрачным лицом, выражавшим муки зависти, другой же щеголял в воротничке, в брюках с тугими штрипками, а указательный палец был у него перевязан кусочком черной тафты; оба казались омерзительно грязными, и у того и у другого ворот сюртука просалился, а рукава были слишком коротки.

Патрон их, — мужчина, напротив, весьма красивый, — стал извиняться, что пришел по неприятному делу, а в то же время оглядывал квартиру, «полную хорошеньких вещей, честное слово!» И прибавил: «Не считая тех, на которые нельзя наложить арест». По его знаку оба понятых скрылись.

Комплиментов посыпалось вдвое больше. Кто бы мог подумать, что у особы столь... прелестной нет надежного друга! Продажа имущества с торгов — истинное несчастье! От этого никогда не оправиться. Он попробовал испугать ее; потом, увидев, что она взволнована, принял отеческий тон. Он знает людей, ему приходилось иметь дело со всеми этими дамами, и, называя их имена, он рассматривал картины на стенах. Это были картины, принадлежавшие прежде милейшему Арну; эскизы Сомбаза, акварели Бюрье, три пейзажа Дитмера. Розанетта, очевидно, не представляла себе их цены. Мэтр Готро обернулся к ней:

— Вот что! Чтобы доказать вам, что я добрый малый, сделаем так: уступите мне этих Дитмеров, и я за все плачу. Решено?

В эту минуту Фредерик, которому Дельфина сообщила обо всем в передней и которому попались на глаза понятия, вошел в комнату, не снимая шляпы, стараясь быть грубым. Мэтр Готро снова принял величественный вид, а так как дверь оставалась открытой, он позвал:

— Ну, господа, пишите! Значит, во второй комнате: дубовый стол с двумя откидными досками, два буфета...

Фредерик перебил его, спросив, нет ли способа избежать описи.

— О, разумеется! Кто платил за обстановку?

— Я.

— Ну, так пишите встречный иск. Вы, во всяком случае, выиграете время.

Мэтр Готро поспешил закончить свои записи и, составив протокол по делу м-ль Брон, удалился.

Фредерик не сделал ни единого упрека. Он рассматривал пятна на ковре, следы побывавших здесь грязных сапог, и, разговаривая сам с собой, сказал:

— Надо достать деньги!

— Ах, боже мой! И дура же я! — воскликнула Капитанша.

Она порылась в ящике, вынула какое-то письмо и поспешила в Общество освещения городов Лангедока, чтобы получить стоимость своих акций.

Она вернулась через час. Бумаги были проданы другому лицу! Служащий, посмотрев на ее документ, обязательство, подписанное Арну, ответил ей: «Эта бумага отнюдь не дает вам права на акции. Компания этого не признает».

Словом, ее спровадили; она задыхалась от волнения, и Фредерик должен был тотчас же отправиться к Арну для выяснения этого вопроса.

Но, быть может, Арну подумал бы, что он хочет косвенным путем получить с него те пятнадцать тысяч франков, которые из-за него пропали; и, к тому же, обращаться с требованием денег к человеку, который был покровителем его любовницы, казалось ему гнусностью. Избрав другой путь, он достал у г-жи Дамбрёз адрес жены Режембара, отправил к ней посыльного и таким образом узнал, какое кафе посещает теперь Гражданин.

Это было маленькое кафе на площади Бастилии; здесь он проводил весь день, сидя направо, в дальнем углу, и не двигаясь с места; казалось, он составлял часть обстановки.

Пройдя последовательно целый ряд стадий, выпив сперва полчашки кофе, затем отведав грога, бишофа, подогретого

вина и даже воды, подкрашенной вином, он обратился к пиву и каждые полчаса ронял одно лишь слово: «Кружку!», сократив свои слова до минимума. Фредерик спросил его, встречается ли он когда-нибудь с Арну.

— Нет!

— Ну? Почему же это?

— Да он болван!

Может быть, их разделяли политические взгляды? И Фредерик счел уместным осведомиться о Компене.

— Что за скотина! — сказал Режембар.

— Как так?

— Телячья голова!

— Ах, объясните мне, что такое телячья голова?

Режембар презрительно улыбнулся.

— Глупости!

После долгого молчания Фредерик снова спросил:

— Так он переехал на другую квартиру?

— Кто?

— Арну.

— Да. На улице Флерюс.

— Номер дома?

— Разве я бываю у иезуитов?

— Как — у иезуитов?

Гражданин ответил в ярости:

— На деньги одного патриота, с которым я его познакомил, этот скот открыл торговлю четками.

— Не может быть!

— Сходите сами, посмотрите!

Оказалось — сущая правда; Арну, перенесший апоплексический удар, обратился к религии; впрочем, «у него всегда имелись склонности к этому», и вот (совмещая торгашество с чистосердечием, как это было ему свойственно), чтобы спасти и душу свою и состояние, он принялся торговать предметами церковного обихода.

Фредерик без труда отыскал магазин, на вывеске которого было написано: «Готическое искусство. Церковное благолепие. Украшения для храмов. Раскрашенные изваяния. Ладан трех волхвов...» и т. д. и т. д.

По углам витрины стояли две деревянные позолоченные статуи, выкрашенные в красный и голубой цвета — св. Иоанн Креститель в овечьей шкуре и св. Женевьева с розами в переднике и с прялкой подмышкой; были и гипсовые группы — монахиня, поучающая девочку, мать на коленях возле кровати, трое школьников перед причастием. Лучшее всего была хорошенькая хижина, внутри которой находились осел, бык и ясли с младенцем Иисусом, лежавшим на соломе, на настоя-

щей соломе. Полки были сверху донизу завалены четками всех видов, медальками, заставлены кропильницами в форме раковин и портретами церковных знаменитостей, среди которых блистали его высокопреосвященство епископ Афр и святейший отец, оба улыбающиеся.

Арну, сидя за прилавком, дремал, опустив голову. Он сильно постарел, на висках у него появились прыщи, и отблеск золотых крестов, освещенных солнцем, падал на них.

Фредерику стало грустно, когда он увидел этот упадок. Все же, храня верность Капитанше, он сделал над собой усилие и вошел. В глубине магазина показалась г-жа Арну; он поспешил уйти.

— Я не мог разыскать его,— сказал Фредерик, вернувшись домой.

И напрасно он уверял Розанетту, что тотчас же напишет расчет денег своему нотариусу в Гавр,— она вышла из себя. Нельзя себе представить человека более слабохарактерного, такую тряпку! Она терпит тысячу лишений, а другие прохлаждаются!

Фредерик думал о бедной г-же Арну, рисуя себе горестную скудость ее жизни. Он сел за письменный стол, а так как пронзительный голос Розанетты не умолкал, он воскликнул:

— Ах, ради бога, замолчи!

— Ты, чего доброго, еще станешь заступаться за них?

— И стану! — крикнул он.— Откуда у тебя такая злоба?

— Но ты-то почему не хочешь, чтоб они заплатили? Боишься огорчить свою прежнюю? Сознайся!

Ему хотелось запустить в нее часами, которые стояли на столе; он не находил слов. Розанетта, расхаживая по комнате, прибавила:

— Я притяну его к ответу, твоего Арну! Обойдусь и без тебя! — И она поджала губы.— Я посоветуюсь с юристом.

Три дня спустя вдруг вбегает Дельфина.

— Сударыня, сударыня, там какой-то человек с банкой клея... напугал меня!

Розанетта прошла на кухню и увидела какого-то бездельника с лицом, изрытым оспой, с парализованной рукой, полупьяного; он что-то бормотал.

Это был рассыльный мэтра Готро, расклеивавший объявления. Встречный иск был отвергнут, и естественным следствием была распродажа с аукциона.

За свои труды, состоявшие в том, что он поднялся по лестнице, рассыльный сперва потребовал стаканчик вина, потом стал просить о другом: ему хотелось билетов в театр, он думал, что барыня — актриса. Затем он несколько минут подмигивал, неизвестно зачем, наконец заявил, что за сорок су

оборвет края объявления, которое он уже наклеил внизу, на дверях. Розанетта была там названа по имени,— исключительная жестокость, доказывавшая всю силу ненависти Ватназ.

Когда-то Ватназ отличалась чувствительностью и даже, переживая сердечное горе, написала письмо Беранже, просила у него совета. Но жизненные тревожения озлобили ее; она давала уроки музыки, держала столовую, сотрудничала в журналах мод, сдавала меблированные комнаты, торговала кружевами, имея дело с женщинами легкого поведения, причем, благодаря своим знакомствам, она многим, в том числе и Арну, могла оказывать услуги. До этого она служила в магазине.

Она раздавала жалованье работницам; для каждой было по две книжки, и одна из них оставалась у нее. Дюссардье, который из любезности вел книжку некоей Гортензии Баслен, пришел в кассу как раз в тот момент, когда м-ль Ватназ принесла счет этой девушки, 1682 франка, тут же выплаченные кассиром. Между тем лишь накануне Дюссардье записал на счет Баслен всего 1082 франка. Под каким-то предлогом он попросил у нее книжку, а потом, желая положить конец этой воровской истории, сказал ей, что книжку потерял. Работница, в простоте своей, пересказала эту выдумку м-ль Ватназ, а Ватназ, чтобы выяснить дело, с равнодушным видом стала расспрашивать честного приказчика. Он ограничился ответом: «Я ее сжег». И все. Вскоре после этого она ушла из магазина, не веря, что книжка уничтожена, и воображая, что она хранится у Дюссардье.

Узнав, что он ранен, она примчалась к нему, собираясь заполучить книжку. Но, ничего не найдя, несмотря на самые тщательные поиски, она прониклась уважением, а вскоре и любовью к этому человеку, такому честному и кроткому, такому отважному и сильному! В ее возрасте нельзя было и надеяться на подобный успех. Она жадно, точно людоедка, набросилась на него и ради него отказалась от литературы, от социализма, «утешительных доктрин и великодушных утопий», лекций «о раскрепощении женщины», которые она читала,— от всего, даже от Дельмара; наконец она предложила Дюссардье вступить с ней в брак.

Хоть она и была его любовницей, он нисколько не был влюблен в нее. К тому же он помнил о ее воровстве. Да она была и слишком богата. Он отказался. Тогда она со слезами рассказала ему о своей мечте — открыть вместе с ним магазин готового платья. Для начала у нее уже имелись деньги, к которым на следующей неделе должны были прибавиться четыре тысячи франков; и она рассказала ему об иске, предъявленном Капитанше.

Дюссардые это огорчило из-за его друга. Он помнил портсигар, подаренный ему на гауптвахте, вечера на набережной Наполеона, задушевные разговоры, книги, которые ему давал Фредерик, множество разных других любезностей. Он попросил Ватназ отказаться от иска.

Она высмеяла его за простоту и проявила непостижимую ненависть к Розанетте; к богатству она стремилась лишь затем, чтобы впоследствии задавить Розанетту своим экипажем.

Эта бездонная черная злоба напугала Дюссардые; когда ему стал точно известен день, на который назначен аукцион, он ушел из дому. Утром на другой день он явился к Фредерику, смущенный.

— Я должен просить у вас извинения.

— В чем же это?

— Вы, наверно, считаете меня неблагодарным: ведь она со мной...— Он запинаясь.— О, я с ней больше не увижусь, я не буду ее сообщником!

А так как Фредерик смотрел на него с большим удивлением, он спросил:

— Разве не правда, что у вашей подруги через три дня будет распродажа?

— От кого вы слышали?

— Да от нее самой, от Ватназ! Но я боюсь, что вы обидитесь...

— Полно, дорогой друг!

— Ах, правда, вы такой хороший!

И он смиренно подал ему маленький сафьяновый бумажник.

В нем было четыре тысячи франков — все его сбережения.

— Что вы! О нет, нет!

— Я так и знал, что вы обидетесь,— со слезами на глазах ответил Дюссардые.

Фредерик пожал ему руку, и честный малый стал уговаривать его с мольбой в голосе:

— Возьмите! Сделайте мне удовольствие! Я в таком отчаянии! Да, впрочем, разве не все погибло? Когда настала революция, я думал, что мы будем счастливы. Помните, как было прекрасно, как легко дышалось! Но теперь еще хуже, чем раньше.

Он уставил глаза в пол.

— Теперь они убивают нашу республику, как убили когда-то римскую! А бедная Венеция, бедная Польша, бедная Венгрия! Возмутительно! Сперва срубили деревья свободы, потом ограничили избирательное право, закрыли клубы, восстановили цензуру и отдали школы в руки священников; нехватает только инквизиции! Почему бы ей не быть? Ведь консервато-

ры были бы рады казакам! Запрещают газеты, если в них пишут против смертной казни, Париж наводняют штывы, в шестнадцать департаментах объявлено осадное положение, а вот амнистию снова отвергли.

Он схватился за голову, потом, как бы в порыве отчаяния, развел руками.

— А все-таки, если бы попробовать? Если бы честности побольше, можно бы столковаться... Да нет! Рабочие не лучше буржуа, вот что! На днях в Эльбёфе, когда там был пожар, они отказались помочь. Какие-то мерзавцы называют Барбеса аристократом! Чтобы народ сделать посмешищем, они хотят избрать в президенты Надо, каменщика, — ну, что вы скажете! И ничего не поделаешь! Ничем не поможешь! Все против нас! Я никогда никому не делал зла, и все-таки у меня какая-то тяжесть на сердце. Я с ума сойду, если так будет продолжаться! Лучше бы меня убили. Уверю вас, этих денег мне не нужно! Ну, вы мне отдадите их, черт возьми! Я даю вам в долг.

Фредерик, вынужденный необходимостью, взял в конце концов эти четыре тысячи франков. Таким образом в отношении Ватназ тревоги прекратились.

Но вскоре Розанетта, возбудившая дело против Арну, проиграла процесс и из упрямства хотела обжаловать решение.

Делорье выбился из сил, стараясь ей растолковать, что обещание Арну не представляет собой ни дарственной записи, ни формальной передачи; она даже не слушала его, считая закон несправедливым; все это оттого, что она женщина, а мужчины друг за друга стоят. В конце концов она все же послушалась его советов.

Он настолько не стеснялся в этом доме, что даже несколько раз приводил обедать Сенекаля. Подобная бесцеремонность была неприятна Фредерику, который помогал ему деньгами, одевал его у своего портного; адвокат же свои старые сюртуки отдавал социалисту, существовавшему неизвестно на какие средства.

Все же он хотел бы оказать услугу Розанетте. Однажды, когда она показала ему двенадцать акций Компании по добыче фарфоровой глины (предприятия, из-за которого Арну приговорили к штрафу в тридцать тысяч франков), он воскликнул:

— Да, тут что-то неладное! Отлично!

Она имела право подать на него в суд, требуя возмещения стоимости этих бумаг. Прежде всего она могла бы доказать, что в силу круговой поруки он за все долги компании должен отвечать своим имуществом, ибо свои личные долги он выдал за долги компании; далее, что он присвоил себе часть имущества, принадлежащего обществу.

— Все это дает повод к обвинению его в злом банкротстве,— статьи пятьсот восемьдесят шестая и пятьсот восемьдесят седьмая Торгового кодекса,— и мы его засадим, прелесть моя, будьте уверены.

Розанетта бросилась ему на шею. На другой день он передал ее дело своему бывшему патрону, сам не имея возможности заняться им, так как ему надо было ехать в Ножан; в случае надобности Сенекаль должен ему написать.

Покупка нотариальной конторы являлась только предложением. Все время он проводил в доме у г-на Рокка, причем с самого же начала не только расхваливал их общего друга, но и старался по возможности подражать его манерам и речам; этим он заслужил доверие Луизы, а благосклонности ее отца добился благодаря яростным нападениям на Ледрю-Роллена.

Фредерик не приезжает, потому что возвращается в высшем свете. И мало-помалу Делорье сообщил им, что он влюблен в кого-то, что у него есть ребенок, есть содержанка.

Луиза была в страшном отчаянье, не менее сильно было негодование г-жи Моро. Она уже видела, как сын ее, захваченный вихрем, летит в какую-то пропасть; она, благоговейно соблюдавшая приличия, была оскорблена и переживала все это словно личное бесчестие; но вдруг выражение ее лица изменилось. Когда ее спрашивали, как поживает Фредерик, она с хитрым видом отвечала:

— Прекрасно, превосходно!

Она узнала, что он женится на г-же Дамбрёз.

День свадьбы уже был назначен, и Фредерик старался придумать, как преподнести это известие Розанетте.

В середине осени она выиграла процесс,— Фредерик узнал об этом от Сенекалья, который как раз шел из суда и встретился ему у подъезда.

Арну признали соучастником во всех злоупотреблениях, и бывший репетитор, видимо, так радовался этому, что Фредерик не дал ему подняться к Розанетте, сказав, что сообщит ей сам. Он вошел к ней раздраженный.

— Ну вот! Можешь радоваться!

Но она не обратила внимания на его слова.

— Посмотри-ка!

И она указала ему на ребенка, лежавшего в колыбели возле камина. Утром у кормилицы она нашла его в таком плохом состоянии, что решила перевезти в Париж.

Ручки и ножки его необыкновенно похудели, губы усеяны были белыми пятнышками, а во рту словно белели сгустки молока.

— Что сказал врач?

— Ах, врач! Он считает, что от переезда у него усилился... не помню уж, какое-то название на «ит»... Словом, у него молочница. Знаешь такую болезнь?

Фредерик без малейшего колебания ответил: «Конечно»,— и прибавил, что это пустяки.

Но вечером он испугался,— такой хилый вид был у младенца и столько появилось белых пятнышек, напоминающих плесень, как будто жизнь уже покинула это жалкое тельце и осталось лишь какое-то вещество, покрывающееся своеобразной растительностью; ручки были холодные; он уже не мог пить, и кормилица, новая, которую привратник нанял для них через контору, твердила:

— Плох он, очень плох!

Розанетта всю ночь не ложилась.

Утром она позвала Фредерика:

— Поди сюда. Он не шевелится.

Действительно, ребенок был мертв. Она взяла его на руки, пробовала трясти, обнимала, называя самыми нежными именами, осыпала поцелуями, сжимала в объятиях, носилась по комнате совершенно растерянная, рвала на себе волосы, кричала; наконец рухнула на диван и так и осталась с открытым ртом, с неподвижными глазами, из которых струились потоки слез. Потом на нее нашло оцепенение, и все утихло в квартире. Кресла и стулья были опрокинуты. Валялось несколько полотенец. Пробыло шесть часов. Ночник погас.

Фредерику, глядевшему на все это, думалось: не сон ли? Сердце его сжималось от тоски. Ему казалось, что эта смерть — только начало и что за ней таится близкое и еще более тяжелое несчастье.

Вдруг Розанетта нежным голосом сказала:

— Не правда ли, мы ведь сделаем так, чтобы он сохранился.

Ей хотелось набальзамировать его. Много говорило против этого. Довод самый веский, по мнению Фредерика, сводился к тому, что нельзя бальзамировать таких маленьких детей. Лучше портрет. Она согласилась с этой мыслью. Он черкнул записку Пеллерену, и Дельфина отнесла ее.

Пеллерен поспешил прийти, желая загладить своим усердием воспоминание о прежних проступках. Сначала он сказал:

— Бедный ангелочек! Ах, боже мой, какое горе!

Но мало-помалу в нем проснулся художник, и он заявил, что с этими коричневыми тенями вокруг глаз, этим посиневшим личиком ничего нельзя сделать, это просто натюрморт, тут нужен большой талант; и он бормотал:

— Ах, трудно, очень трудно!

— Только бы вышло похоже,— заметила Розанетта.

— Ну вот еще, очень мне нужно сходство! Долой реализм! Надо изображать дух! Оставьте меня! Я постараюсь представить себе, чем бы это должно было быть.

Он стал размышлять, подперев лоб левой рукой, локоть он придерживал правой; потом вдруг воскликнул:

— Ах, мне пришло в голову! Пастель! С помощью полутонов и еле обозначенных контуров можно достичь большей рельефности.

Он послал горничную за своим ящиком, потом, подставив себе под ноги скамейку, придвинул стул, начал набрасывать широкие штрихи и был так же невозмутим, как если бы рисовал с гипса. Он восхвалял маленьких Иоаннов Крестителей Корреджо, инфанту Розу Веласкеса, молочные тона Рейнольдса, изысканность Лоуренса, но, главное, того мальчишка с длинными волосами, что сидит на коленях леди Глоуэр.

— Да и может ли быть что-нибудь очаровательнее этих малышек! Тип высшей красоты (Рафаэль доказал это своими мадоннами) — это, пожалуй, мать с младенцем.

Розанетта, которую душили слезы, вышла, и Пеллерен тотчас же сказал:

— А каков Арну!.. Вы знаете, что случилось?

— Нет. А что?

— Так, впрочем, и должно было кончиться!

— Да что такое?

— Теперь он уже, может быть... Простите!

Художник встал и слегка приподнял голову трупика.

— Так вы сказали...— начал Фредерик.

А Пеллерен, прищурившись, чтобы лучше определить порции:

— Я сказал, что приятель наш Арну сейчас, может быть, уже в тюрьме.

Потом с удовлетворением добавил:

— Посмотрите-ка! Ведь это и нужно?

— Да, прекрасно! Но что же Арну?

Пеллерен положил карандаш.

— Насколько я мог понять, его преследует некий Миньо, приятель Режембара,— тоже хорош, ведь каков, а? Что за идит-от! Представьте себе: как-то раз...

— Ах, да ведь не в Режембаре дело!

— Верно! Так вот, вчера вечером Арну должен был где-нибудь достать двенадцать тысяч франков, иначе ему крышка.

— О! Это, может быть, преувеличено,— сказал Фредерик.

— Ничуть! По-моему, дело было серьезное, весьма серьезное.

В эту минуту вернулась Розанетта, с красными веками, воспаленными, как будто подкрашенными. Она стала смотреть на

рисунок. Пеллерен жестом дал понять, что прервал рассказ из-за нее. Но Фредерик не обратил на это внимания.

— Все же я не могу поверить...

— Повторяю вам,— сказал художник,— что я встретил его вчера в семь часов вечера на улице Жакоб. Из предосторожности у него даже паспорт был с собой, и он говорил, что собирается сесть в Гавре на пароход со всем своим семейством.

— Как? И с женой?

— Разумеется! Он слишком хороший семьянин, чтобы жить в одиночестве.

— И вы уверены в этом?

— Еще бы! Где, скажите, ему было раздобыть двенадцать тысяч франков?

Фредерик раза два-три прошелся по комнате. Ему трудно было дышать, он кусал губы, потом взялся за шляпу.

— Куда же ты? — спросила Розанетта.

Он не ответил и ушел.

V

Нужны были двенадцать тысяч франков, иначе он больше не увидится с г-жой Арну; а до сих пор у него все еще оставалась непобедимая надежда. Разве не была она сущностью его сердца, самой основой его жизни? В течение нескольких минут он, шатаясь, ходил по тротуару, терзаемый тревогой, но все-таки довольный, что ушел от той, другой.

Где добыть денег? Фредерик по опыту знал, как трудно получить их сразу, даже за любые проценты. Единственный человек мог выручить его — г-жа Дамбрёз. У нее в секретере всегда хранились банковые билеты. Он пришел к ней и смелым тоном спросил:

— Можешь дать мне взаймы двенадцать тысяч франков?

— Зачем?

Это чужая тайна. Она захотела ее узнать. Он не сдавался. Оба упрямылись. Наконец она объявила, что ничего не даст, пока не узнает, для какой цели. Фредерик густо покраснел. Один из его товарищей совершил растрату. Сумму надо возместить сегодня же.

— Как его зовут? Его фамилия? Ну, как его фамилия?

— Дюссардьё!

И он бросился перед ней на колени, умоляя никому не говорить об этом.

— Какого же ты мнения обо мне? — спросила г-жа Дамбрёз. — Можно подумать, что ты сам провинился. Брось трагические позы! На, возьми! И дай ему бог здоровья!

Он побежал к Арну. Торговца в магазине не оказалось. Но он попрежнему жил на улице Паради, у него были две квартиры.

На улице Паради привратник побожился, что г-на Арну не было со вчерашнего дня; что же касается барыни, он ничего не может сказать. И Фредерик, стрелой промчавшись по лестнице, приложил ухо к замочной скважине. Дверь, наконец, открылась. Барыня уехала вместе с барином. Служанка не знала, когда они вернутся; жалованье ей заплатили, она уходит с этого места.

Вдруг послышался скрип двери.

— Но здесь кто-то есть?

— Да нет же, сударь! Это ветер.

Он удалился. Однако в столь внезапном исчезновении было что-то непостижимое.

Быть может, Режембар, как приятель Миньо, в состоянии объяснить, в чем дело? И Фредерик поехал на Монмартр, на улицу Императора.

Перед домом был садик, обнесенный решеткой с вделанными в нее железными бляхами. Фасад был белый, к дому вели три ступеньки; и, проходя по тротуару, можно было заглянуть в обе комнаты нижнего этажа, из которых первая представляла гостиную, где на всех стульях и креслах разложены были платья, а вторая — мастерскую, где сидели швеи, работавшие у г-жи Режембар.

Все они были уверены, что муж хозяйки занят важными делами, что у него важные знакомства, что это человек совершенно незаурядный. Когда он проходил по коридору, в шляпе с приподнятыми полями, в зеленом сюртуке, с серьезным, вытянутым лицом, они даже отрывались от своей работы. Впрочем, Режембар не упускал случая сказать им что-нибудь в поощрение, какую-нибудь любезность в форме сентенции, и впоследствии, выйдя замуж, они чувствовали себя несчастными, ибо он оставался для них идеалом.

Все же ни одна из них не любила его так сильно, как г-жа Режембар, маленькая толковая женщина, содержавшая его своим ремеслом.

Едва г-н Моро велел доложить о себе, как она поспешила ему навстречу, зная через прислугу о его отношениях к г-же Дамбрёз. Муж ее должен был «сию минуту вернуться», и Фредерик, следуя за ней, изумлялся порядку в квартире и обилию клеенки, которая была повсюду. Затем он несколько минут прождал в какой-то комнате, своего рода кабинете, куда Гражданин удалялся для размышлений.

На этот раз Гражданин был не столь сердит, как обычно. Он рассказал историю Арну. Бывший фабрикант фаянсо-

вых изделий поймал на удочку некоего Миньо, патриота, владельца сотни акций газеты «Век», доказав ему, что с демократической точки зрения следует сменить администрацию и редакцию газеты, и, якобы для того, чтобы одержать верх на ближайшем собрании акционеров, попросил у него пятьдесят акций, обещая передать их надежным друзьям, которые его поддержат при голосовании; Миньо не придется нести ответственности, ни с кем не придется ссориться, а когда успех будет достигнут, он устроит ему хорошее место в дирекции, на пять-шесть тысяч франков по крайней мере. Акции перешли в его руки. Но Арну сразу же продал их и, благодаря вырученным деньгам, вошел в товарищество с торговцем церковными предметами. Тут начались требования со стороны Миньо, Арну увиливал; наконец патриот пригрозил привлечь его к суду за мошенничество, если он не возвратит акций или соответствующей суммы: пятьдесят тысяч франков.

Лицо Фредерика выражало отчаяние.

— Это не все, — сказал Гражданин. — Миньо, человек порядочный, согласился получить хотя бы четверть долга. Новые обещания Арну, и, само собой, новые проделки. Словом, третьего дня утром Миньо потребовал, чтобы он в течение суток вернул двенадцать тысяч франков.

— Да они у меня есть! — сказал Фредерик.

Гражданин медленно повернулся:

— Шутник!

— Простите! Они у меня в кармане. Я хотел их отдать ему.

— Как вы разлетелись, что за прыть! Вот это здорово! Впрочем, уже поздно; жалоба подана, Арну уехал.

— Один?

— Нет, с женой. Их видели на Гаврском вокзале.

Фредерик страшно побледнел. Г-жа Режембар подумала, что он упадет в обморок. Он овладел собой и даже оказался в силах задать еще два-три вопроса об этом событии. Режембара оно огорчило, так как все это в общем вредит демократии. Арну всегда был взбалмошным и неосмотрительным человеком.

— Пустая башка! Прожигатель жизни! Юбки сгубили его! Я не его жалею, а его бедную жену!

Гражданин чтит добродетельных женщин и высоко ставил г-жу Арну.

— Немало ей пришлось выстрадать!

Фредерик был благодарен ему за это сочувствие и, как будто Режембар чем-то услужил ему, с чувством пожал ему руку.

— Ты сделал все, что нужно? — спросила Розанетта, когда он вернулся.

Он ответил, что у него нехватило духу и что он бродил по улицам, стараясь забытья.

В восемь часов они перешли в столовую; они молча сидели друг против друга, время от времени глубоко вздыхали и отсылали тарелки нетронутыми. Фредерик выпил водки. Он чувствовал себя разбитым, раздавленным, уничтоженным, уже ничего не сознавая, кроме страшной усталости.

Она принесла портрет. Красная, желтая, зеленая и синяя краски сталкивались грубыми бликами, оставляли отвратительное, почти комическое впечатление.

Впрочем, маленький покойник стал уже неузнаваем. Фиолетовые губы еще резче оттеняли белизну кожи, ноздри были еще тоньше, глаза ввалились, и голова лежала на подушке из голубой тафты, среди лепестков камелий, осенних роз и фиалок; эту мысль подала служанка, и обе женщины с набольшим чувством убрали его цветами. На камине, покрытом кружевной накидкой, между букетами из веток букса, окропленных святой водой, стояли золоченые подсвечники; по углам в двух вазах горели курительные свечки; все это вместе с колыбелью казалось чем-то вроде алтаря, и Фредерику вспомнилось его бдение у тела г-на Дамбрёза.

Почти каждые четверть часа Розанетта открывала полог колыбели, чтобы посмотреть на своего ребенка. Она представляла себе, как через несколько месяцев он начал бы ходить, как впоследствии среди школьного двора играл бы в городки с товарищами, каким бы он был в двадцать лет, и каждый из этих образов, которые она рисовала себе, становился для нее новой утратой; приступы отчаяния обостряли в ней материнское чувство.

Фредерик, неподвижно сидя в другом кресле, думал о г-же Арну.

Теперь, наверно, она в поезде,— смотрит из окна вагона на поля, мчащиеся в сторону Парижа, или, быть может, стоит на палубе парохода, как в первый раз, когда он ее увидел; но этот пароход уносит ее в беспредельную даль, в края, откуда ей нет возврата. Потом он представлял ее себе в комнате гостиницы: чемоданы на полу, обои свисают лоскутьями, дверь сотрясается от ветра. А что потом? Что она будет делать? Станет учительницей, компаньонкой, может быть, горничной? Теперь она во власти любых случайностей нищеты. Ничего не знать о ее судьбе было для него мучительно. Ему следовало помешать ее бегству или же уехать вслед за нею. Разве не он ее настоящий муж? И, думая о том, что больше никогда не увидит ее, что все кончено, что он безвозвратно утратил ее, Фредерик чувствовал, как все его существо разрывается на части; слезы, накопившиеся с самого утра, полились.

Розанетта заметила это.

— Ах, и ты плачешь? И тебе тяжело?

— Да, да! И мне!..

Он прижал ее к груди, и оба рыдали, обнявшись.

Г-жа Дамбрёз тоже плакала, лежа ничком на постели, схватившись за голову руками.

Олимпия Режембар, приходившая примерить ей первое после траура светлое платье, рассказала о посещении Фредерика и даже о том, что у него наготове было двенадцать тысяч франков, предназначенных для г-на Арну.

Значит, деньги, ее деньги, понадобились ему, чтобы помешать отъезду той, другой, чтобы сохранить любовницу!

Сперва ею овладел приступ ярости, и она решила прогнать его, как выгоняют лакея. Слезы, пролитые в изобилии, успокоили ее. Лучше было бы ничего не говорить, все затаить в себе.

На другой день Фредерик принес ей обратно двенадцать тысяч.

Она ему предложила оставить их у себя — на тот случай, если они понадобятся его другу, и подробно расспросила об этом господине. Кто же заставил его решиться на такое дело? Наверно, женщина? Женщины толкают нас на всякие преступления.

Ее насмешливый тон смутил Фредерика. Он очень раскаивался в клевете, которую возвел на своего друга. Его успокоило то, что г-жа Дамбрёз не могла узнать правды.

Она, однако, продолжала упорствовать, ибо через день снова осведомилась о его приятеле, а затем спросила о другом — о Делюрье.

— Он человек толковый и надежный?

Фредерик расхвалил его.

— Попросите его зайти ко мне на днях, как-нибудь утром: я хотела бы посоветоваться с ним об одном деле.

Ей случилось найти сверток с бумагами, среди которых были векселя Арну, опротестованные, как полагается, и за подписью г-жи Арну. Именно из-за них Фредерик приходил однажды к г-ну Дамбрёзу во время завтрака; хотя капиталист и не собирался предъявлять их ко взысканию, все же он добился того, что Коммерческий суд вынес приговор не только Арну, но и его жене, которая об этом не знала, так как муж не счел уместным предупредить ее.

Вот это было оружие! Г-жа Дамбрёз не сомневалась. Но, пожалуй, ее нотариус посоветует воздержаться; ей хотелось бы поручить дело кому-нибудь менее известному, и она вспомнила об этом высоком, наглom на вид субъекте, который предлагал ей свои услуги.

Фредерик в простоте души исполнил ее поручение.

Адвокат пришел в восторг от того, что ему придется иметь дело с такой важной дамой.

Он поспешил явиться к ней.

Она сообщила ему, что наследство принадлежит ее племяннице, что поэтому ей особенно важно получить по этим векселям, так как ей дороги интересы супругов Мартинон.

Делорье понял, что здесь кроется какая-то тайна; он задумался, глядя на векселя. Имя г-жи Арну, начертанное ее рукою, воскресило в его памяти ее образ и оскорбление, которое он снес. Если представляется случай отомстить, почему не воспользоваться им?

И вот он посоветовал г-же Дамбрёз продать с аукциона оставшиеся в наследство безнадежные векселя. Подставное лицо перекупит их и предьявит ко взысканию. Он взялся сам найти подходящее лицо.

В конце ноября Фредерик, проходя по улице, где жила г-жа Арну, поднял глаза к ее окнам и заметил на двери объявление, где крупными буквами было написано:

«Продается движимое имущество, состоящее из кухонной посуды, белья носильного и столового, рубашек, кружев, юбок, панталон, шалей французских и индийских, рояля Эрара, двух дубовых шкафов во вкусе Возрождения, венецианских зеркал, фарфора китайского и японского».

«Ведь это их вещи!» — подумал Фредерик; привратник подтвердил его предположение.

Что касается лица, которое довело дело до аукциона, то оно ему было неизвестно. Но, пожалуй, разъяснения мог бы дать мэтр Бертельмо, оценщик.

Чиновник сперва не хотел сказать, какой кредитор потребовал распродажи. Фредерик проявил настойчивость. То был некий Сенекаль, поверенный. И мэтр Бертельмо довел свою любезность до того, что дал Фредерику соответствующий номер «Мелких объявлений».

Вернувшись к Розанетте, Фредерик развернул его и бросил на стол.

— На, читай!

— Что такое? — спросила она, и лицо ее было так невозмутимо спокойно, что он исполнился негодования.

— А, знаем мы эту невинность!

— Я не понимаю.

— Это из-за тебя продаются с аукциона вещи г-жи Арну?

Она перечитала объявление.

— Где же ее имя?

— Но ведь это ее вещи! Ты это знаешь лучше, чем я!

— Какое мне дело? — сказала Розанетта, пожав плечами.

— Какое тебе дело? Да ты мстишь, вот и все! Это все плоды твоих преследований! Разве ты не оскорбляла ее, даже ходила к ней! Ты, девка! К ней, к женщине святой, очаровательной, лучшей на свете! Почему тебе так хочется погубить ее?

— Ты ошибаешься, уверяю тебя!

— Брось! Как будто не ты пустила в ход Сенекаля?

— Что за глупости!

Тут он пришел в бешенство.

— Ты лжешь! Ты лжешь, мерзавка! Ты ревнуешь к ней! У тебя исполнительный лист на ее мужа! Сенекаль уже сошелся в твои дела! Он ненавидит Арну, вы с ним столковались. Я видел, как он был рад, когда ты выиграла тяжбу. Ты и тут будешь отпираться?

— Даю тебе слово...

— Ах, знаю я, чего оно стоит!

И Фредерик стал напоминать ей о ее любовниках, перечисляя их по именам, указывая все подробности. Розанетта, побледнев, отступила.

— Это тебя удивляет? Я на все закрывал глаза, и ты думала — я слепой. Теперь с меня довольно! От измен таких женщин, как ты, не умирают! А когда эти измены слишком чудовищны, уходят прочь. Наказывать тебе подобных — значило бы унижаться!

Она ломала руки.

— Боже мой! Да тебя как будто подменили!

— Никто в этом не виноват, кроме тебя.

— И все из-за госпожи Арну!..— со слезами воскликнула Розанетта.

Он холодно ответил:

— Ее одну я и любил всю жизнь.

Оскорбление прервало поток ее слез.

— Это доказывает, какой у тебя хороший вкус! Женщина перезрелая, цвет лица лакричный, талия толстая, глаза большие, как отдушины в подвале, и такие же пустые. Если тебе это нравится, ступай к ней!

— Я так и ждал. Покорно благодарю!

Розанетта застыла на месте, ошеломленная столь необычным поведением. Она даже не помешала ему выйти в переднюю; потом вдруг, одним прыжком, она догнала его там и обвила руками.

— Да ты сумасшедший, сумасшедший! Это бессмыслица! Я тебя люблю!

И она умоляла его:

— Боже мой, хоть во имя нашего ребеночка!

— Сознайся, что это твои проделки,— сказал Фредерик.

Она снова стала уверять его, что невиновна.

— Не хочешь сознаться?

— Нет!

— Ну так прощай! И навсегда!

— Выслушай меня!

Фредерик обернулся.

— Если бы ты лучше знала меня, ты бы поняла, что мое решение бесповоротно.

— О, ты еще вернешься ко мне!

— Никогда!

И он с силой захлопнул дверь.

Розанетта написала Делорье, что ей немедленно нужно видеть его.

Он пришел вечером пять дней спустя; а когда она ему сообщила о своем разрыве с Фредериком, сказал:

— И только-то? Скажите, какое несчастье!

Сперва она думала, что он может привести к ней Фредерика, но теперь все пропало. От привратника ей было известно о его предстоящей женитьбе на г-же Дамбрёз.

Делорье, пожуриив ее сперва, стал потом как-то необыкновенно весел, даже игрив; а когда оказалось, что уж очень поздно, попросил разрешения переночевать у нее в кресле. На другое утро он уехал в Ножан, предупредив Розанетту, что не знает, когда они снова увидятся; в ближайшем будущем в его жизни, может быть, произойдет большая перемена.

Через два часа после его приезда весь городок уже был в полном смятении. Толковали, что Фредерик женится на г-же Дамбрёз. Наконец три девицы Оже, не выдержав, отправились к г-же Моро, которая с гордостью подтвердила это известие. Дядюшка Рок заболел. Луиза заперлась у себя в комнате. Прошел даже слух, что она сошла с ума.

Фредерик между тем не мог скрыть свою печаль. Г-жа Дамбрёз, стараясь, вероятно, развлечь его, стала еще внимательнее к нему. Каждый день пополудни она ездила с ним кататься в своем экипаже, а однажды, когда они проезжали по Биржевой площади, ей вздумалось зайти, забавы ради, в аукционный зал.

Было первое декабря, как раз тот день, на который назначили распродажу вещей г-жи Арну. Он вспомнил про это и сказал, что ему не хочется заходить, что в зале будет невыносимо,— столько там народу и так шумно. Ей хотелось только заглянуть одним глазком. Карета остановилась. Пришлось идти с г-жой Дамбрёз.

Во дворе стояли умывальники без тазов, кресла, с которых была содрана обивка, старые корзины, валялись фарфоровые черепки, пустые бутылки, матрацы, и какие-то люди в блузах и грязных сюртуках, серые от пыли, с отталкивающими лицами,

некоторые — с холщовыми мешками за спиной, разговаривали отдельными кучками и громко друг друга окликали.

Фредерик заметил, что неудобно идти дальше.

— Глупости!

И они стали подниматься по лестнице.

В первой же комнате направо какие-то господа, с каталогами в руках, рассматривали картины, в другой продавалась коллекция китайского оружия. Г-жа Дамбрёз повернула назад. Она всматривалась в номера над дверьми и привела его в самый конец коридора, в какое-то помещение, полное народа.

Он тотчас же узнал обе этажерки из магазина «Художественной промышленности», ее рабочий столик, всю ее мебель! Нагроможденная в глубине комнаты в несколько рядов, расположенных один над другим, она образовала широкую гору от пола до потолка; а на других стенах были развешаны ковры и портьеры. Внизу на скамейках, спускавшихся амфитеатром, дремали какие-то старички. Налево возвышалось нечто вроде прилавка, за которым находился оценщик в белом галстуке; он помахивал молоточком. Молодой человек, тут же рядом, записывал, а ниже стоял здоровенный детина, похожий и на коммивояжера и на продавца контрамарок, и выкрикивал названия вещей. Трое служащих приносили их и клали на стол, вокруг которого, расположившись в ряд, сидели старьевщики и перекупщицы. За их спинами двигалась толпа.

Когда Фредерик вошел, покупатели были заняты юбками, косынками, носовыми платками, и все это, вплоть до рубашек, передавалось из рук в руки, разглядывалось; иногда их издали перебрасывали, и в воздухе вдруг мелькало что-то белое. Потом были проданы ее платья, затем — одна из ее шляп, на которой перо было сломано и свисало, затем — меха, потом — три пары башмаков; дележ этих реликвий, в которых ему неясно виделись очертания ее тела, казался ему зверской жестокостью, как если бы вороны у него на глазах стали раздирать ее труп. Воздух, страшно спертый, вызывал в нем тошноту. Г-жа Дамбрёз предложила ему свой флакон; по ее словам, все это ее очень занимало.

Дошла очередь до обстановки спальни. Мэтр Бертельмо объявил цену. Аукционист тотчас же повторил еще громче, а трое служителей спокойно ждали удара молотка и уносили вещь в соседнюю комнату. Так один за другим скрылись большой усыпанный камелиями синий ковер, которого касались ее ножки, когда она шла Фредерику навстречу; глубокое вышитое кресло, в котором, когда они оставались вдвоем, он всегда сидел лицом к ней; оба экрана, что стояли перед камином и слоновая кость которых становилась нежнее от прикосновения ее рук, бархатная подушечка, в которую еще были воткну-

ты булавки. С этими вещами словно отрывались куски его сердца; однообразие голосов и движений утомляло его, погружая в смертельное оцепенение, вызывало какой-то распад.

Вдруг у самого его уха зашуршало шелковое платье. Рядом стояла Розанетта.

Об аукционе она узнала от самого же Фредерика. Утешившись, она вздумала воспользоваться распродажей. Она приехала в белом атласном жилете с перламутровыми пуговицами, в платье с оборками, в узких перчатках. Вид у нее был победоносный.

Он побледнел от гнева. Розанетта взглянула на женщину, с которой он был.

Г-жа Дамбрёз узнала ее, и с минуту они пристально с головы до ног осматривали друг друга, стараясь подметить какой-нибудь недостаток, изъян,— одна, вероятно, завидовала молодости другой, а та была раздосадована исключительной изысканностью, аристократической простотой соперницы.

Наконец г-жа Дамбрёз отвернулась с невыразимо надменной улыбкой.

Аукционист открыл теперь рояль — ее рояль! Стоя, он правой рукой проиграл гамму и объявил цену инструмента: тысяча двести франков, потом спустил до тысячи, до восьмисот, до семисот.

Г-жа Дамбрёз игривым тоном издевалась над этой «посудиной».

Перед старьевщиками поставили шкатулочку с серебряными медальонами, уголками и застешками, ту самую, которую он увидел, когда в первый раз обедал на улице Шуазель, и которая находилась затем у Розанетты и снова вернулась к г-же Арну; часто во время их бесед глаза его встречали эту шкатулку. Она была связана для него с самыми дорогими воспоминаниями, и он умилялся душой, как вдруг г-жа Дамбрёз сказала:

— А! Это я куплю.

— Но вещь неинтересная,— возразил он.

Она же, напротив, находила ее очень хорошенькой; аукционист превозносил ее изящество:

— Вещица во вкусе Возрождения! Восемьсот франков, господа! Почти вся серебряная! Потереть мелом — заблестит!

Она стала пробираться в толпе.

— Что за странная мысль! — сказал Фредерик.

— Вам неприятно?

— Нет. Но на что может вам понадобиться такая безделушка?

— Как знать? Пригодится, может быть, чтобы хранить любовные письма.

Handwritten manuscript page with dense cursive text, including a page number '837' in the top right corner. The text is written in French and contains several lines of crossed-out or heavily scribbled-out passages, particularly in the middle and lower sections. The handwriting is fluid and characteristic of the 18th or 19th century.

«ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ».

Автограф рукописи.

Взгляд, который она бросила, пояснил ее намек.

— Тем более не следует обнажать тайны умерших.

— Я не считала ее окончательно умершей.— И она отчетливо прибавила:

— Восемьсот восемьдесят франков!

— Как это нехорошо с вашей стороны,— прошептал Фредерик.

Она смеялась.

— Дорогая, это ведь первая милость, о которой я вас прошу.

— А знаете что? Ведь вы будете очень нелюбезным мужем.

Кто-то набавил цену; она подняла руку:

— Девятьсот!

— Девятьсот! — повторил мэтр Бертельмо.

— Девятьсот десять... пятнадцать... двадцать... тридцать,— взвизгивал аукционист, взглядом окидывая присутствующих и показывая головой.

— Теперь говорите, что моя жена благоразумна,— сказал Фредерик.

Он медленно повел ее к выходу.

Оценщик продолжал:

— Ну, что же, ну как же, господа? Девятьсот тридцать! Кто покупает за девятьсот тридцать?

Г-жа Дамбрёз, успевшая дойти до двери, остановилась и громко сказала:

— Тысяча франков!

Публика встрепенулась, наступило молчание.

— Тысяча франков, господа, тысяча франков! Больше нет желающих? Наверно? Тысяча франков! За вами!

Молоточек из слоновой кости опустился.

Она передала свою карточку, ей принесли шкатулку. Она сунула ее в муфту.

У Фредерика на сердце похолодело.

Г-жа Дамбрёз все время держала его под руку и решила посмотреть ему в лицо только на улице, где ее ждала карета.

Она кинулась в экипаж, точно вор, спасающийся бегством, и, уже усевшись, обернулась к Фредерику. Он стоял со шляпой в руке.

— Вы не поедете?

— Нет, сударыня!

И, холодно поклонившись, он захлопнул дверцу; потом велел кучеру трогать.

В первый миг он ощутил радость, почувствовав себя снова свободным. Он был горд, что отомстил за г-жу Арну, ради нее пожертвовав богатством; потом он стал удивляться своему поступку, и бесконечная усталость овладела им.

На другое утро слуга сообщил ему новости: было объявлено военное положение, законодательное собрание распущено, часть народных представителей находилась в тюрьме Мазас. К общественным делам Фредерик остался равнодушен, настолько он был поглощен своими собственными.

Он написал поставщикам, отменил заказы, сделанные в связи с предстоявшей женитьбой, которая теперь представлялась ему не вполне благовидной сделкой. Г-жа Дамбрёз внушала ему отвращение, ибо из-за нее он чуть было не совершил подлость. Он забыл о Капитанше, даже не беспокоился о г-же Арну и был занят мыслью только о себе, о себе одном, блуждая среди обломков своих мечтаний, больной, измученный, павший духом. И, возненавидев полную фальши среду, где он так много выстрадал, Фредерик стал мечтать о зеленой траве, о тишине провинции, о дремотной жизни под сенью родного крова, среди бесхитростных сердец. Наконец в среду вечером он вышел из дому.

Народ толпился на бульваре, собираясь в кучки. Время от времени проходил патруль и рассеивал их; но они тотчас же возникали снова. Говорили без всякого стеснения, войска провожали насмешками и руганью, но и только.

— Как! Драться разве не будут? — спросил Фредерик одного из рабочих.

Блузник ему ответил:

— Не такие уж дураки, чтобы умирать ради буржуа! Пусть сами устраиваются!

А какой-то господин, покосившись на этого жителя предместья, проворчал:

— Сволочи социалисты! Хоть бы теперь удалось прикончить их!

Фредерик не понимал, откуда столько ненависти, столько глупости. Его отвращение к Парижу еще усилилось, и через день он первым утренним поездом уехал в Ножан.

Дома скоро исчезли, начались поля, простор. Сидя один в купе вагона и положив ноги на противоположный диванчик, он размышлял о событиях последних дней, о своем прошлом. Ему вспомнилась Луиза.

«Вот она любила меня! Напрасно я отверг свое счастье... Ну, да что! Забудем про это!»

Минут через пять он говорил себе:

«А впрочем, как знать?.. Со временем — почему бы и нет?»

Его мечты, так же как и его взгляды, уносились в смутную даль.

«Она наивная, совсем крестьяночка, почти дикарка, но такая хорошая!»

Чем ближе подъезжал он к Ножану, тем ближе становилась она ему. Когда показались сурденские луга, ему вспомнилось, как она в былые дни ломала камыш, бродя вдоль заводей. Приехали. Он вышел из вагона.

Он остановился на мосту, облокотился на перила, чтобы посмотреть на остров и сад, где однажды они гуляли в солнечный день; и, еще не успев прийти в себя после путешествия, ошеломленный свежестью воздуха, все еще не оправившись от недавних тревог, которые надломили его силы, он почувствовал какое-то возбуждение и подумал:

«Может быть, ее нет дома? Не встречу ли я ее?»

У св. Лаврентия звонили в колокол, а на площади перед церковью собрались нищие и стояла коляска, единственная в тех краях (ее нанимали для свадеб). Вдруг под порталом, окруженные толпой обывателей в белых галстуках, появились но-вобрачные.

Фредерик решил, что ему почудилось. Да нет! Это ведь она, Луиза — в белой фате, покрывающей ее рыжие волосы и спускающейся до пят. И ведь это он, Делорье! — в синем фраке с серебряным шитьем, в форме префекта. Как же так?

Фредерик скрылся за угол дома, чтобы пропустить свадебный кортеж.

Пристыженный, побежденный, разбитый, он вернулся на вокзал и поехал назад в Париж.

Кучер, нанятый им, уверял, что от площади Шато-д'О до театра «Жимназ» всюду баррикады, и повез его через предместье Сен-Мартен. На углу улицы Прованс Фредерик отпустил фиакр и пешком направился к бульварам.

Было пять часов, моросил мелкий дождь. На тротуаре, по направлению к Опере, толпились буржуа. На противоположной стороне все подъезды были заперты. В окнах — никого. По бульвару, во всю его ширину, пригнувшись к шеям лошадей, карьером неслись драгуны с саблями наголо, а султаны их касок и широкие белые плащи развевались по ветру, мелькая в лучах газовых фонарей, раскачивавшихся среди тумана. Толпа глядела, безмолвная, испуганная.

В промежутках между кавалерийскими наездами появлялись отряды полицейских, оттеснявшие толпу в соседние улицы.

Но на ступеньках кафе Тортони продолжал стоять неподвижный, как кариатида, высокий человек, которого уже издали было видно, — Дюссардье.

Один из полицейских, шедший впереди, в треуголке, надвинутой на глаза, пригрозил ему шпагой.

Тогда Дюссардье, сделав шаг вперед, закричал:

— Да здравствует республика!
Он упал навзничь, раскинув руки.
Рев ужаса пронесся по толпе. Полицейский оглянулся, обвел всех глазами, и ошеломленный Фредерик узнал Сенекаля.

VI

Он отправился в путешествие.

Он изведаль тоску пароходов, утренний холод после ночлега в палатке, забывался, глядя на пейзажи и руины, узнал горечь мимолетной дружбы.

Он вернулся.

Он выезжал в свет и пережил еще не один роман. Но неотступное воспоминание о первой любви обесцвечивало новую любовь; да и острота страсти, вся прелесть чувства была утрачена. Гордые стремления ума тоже заглохли. Годы шли, и он мирился с этой праздностью мысли, косностью сердца.

В конце марта 1867 года, под вечер, когда он сидел в одиночестве у себя в кабинете, к нему вошла женщина.

— Госпожа Арну!

— Фредерик!

Она взяла его за руки, нежно подвела к окну и стала всматриваться в его лицо, повторяя:

— Так это он! Он!

В надвигающихся сумерках он видел только ее глаза под черной кружевной вуалью, закрывавшей лицо.

Она положила на камин маленький бумажник из гранатового бархата и села. Оба не в силах были говорить и молча улыбались друг другу.

Наконец он забросал ее вопросами о ней самой и ее муже.

Они теперь живут в глуши Бретани, стараясь меньше тратить, и выплачивают долги. Арну почти непрестанно болеет, на вид совсем старик. Дочь — замужем, живет в Бордо; сын со своим полком в Мостаганеме. Она подняла голову и сказала:

— Но я опять вижу вас! Я счастлива!

Он не преминул сказать ей, что, узнав о их несчастье, сразу же бросился к ним.

— Я знала.

— Как вы это узнали?

Она видела, как он шел по двору, и спряталась.

— Зачем?

Тогда, с дрожью в голосе и с долгими паузами между словами, она промолвила:

— Я боялась! Да, боялась вас... самой себя!

Дрожь сладострастия овладела им, когда он услышал это признание. Сердце его учащенно билось. Она продолжала:

— Простите, что я не пришла раньше.

И, указав на бархатный, гранатового цвета, бумажничек, расшитый золотом, прибавила:

— Я нарочно для вас вышила его. В нем та сумма денег, за которую был заложен участок в Бельвиле.

Фредерик поблагодарил за подарок, пожурив ее, однако, за то, что она беспокоилась ради этого.

— Нет. Я не из-за этого приехала. Мне хотелось навестить вас, потом я опять поеду... туда.

И она стала описывать ему место, где они живут.

Там низенький одноэтажный дом с садом, где растут огромные буксы, а каштановая аллея подымается на самую вершину холма, откуда видно море.

— Я ухожу туда посидеть на скамейке, которую я назвала «скамейка Фредерика».

Потом она стала жадно рассматривать мебель, безделушки, картины, чтобы запечатлеть их в памяти. Портрет Капитанши наполовину скрывала занавеска. Но золотые и белые пятна, выделявшиеся в темноте, привлекли ее внимание.

— Мне кажется, я знаю эту женщину?

— Нет, не может быть,— сказал Фредерик.— Это старая итальянская картина.

Она призналась, что ей хочется пройти с ним под руку по улицам.

Они вышли.

Огни магазинов время от времени освещали ее бледный профиль, потом ее снова окутывала тень; и, не замечая ни экипажей, ни толпы, ни шума, ничего не слыша, они шли, поглощенные только друг другом, как будто гуляли где-то за городом, по дороге, усеянной сухими листьями.

Они рассказывали друг другу о прежних днях, об обедах времен «Художественной промышленности», чудачествах Арну, вспоминали его привычку оправлять воротничок, мазать усы косметическими средствами и еще о других вещах, более интимных и более значительных. Как он был восхищен, когда в первый раз услышал ее пение! Как она была хороша в день своих именин в Сен-Клу! Он вспоминал садик в Отейле, вечера, проведенные в театре, встречу на бульваре, ее старых слуг, ее негритянку...

Она удивлялась его памяти. Однако сказала:

— Иногда ваши слова кажутся мне далеким эхом, звуками колокола, которые доносит ветер, и когда я в книгах читаю про любовь, мне чудится, что вы здесь.

— Все, что в романах порицают как преувеличение,— все это я пережил благодаря вам,— сказал Фредерик.— Я понимаю Вертера, которому не противны бутерброды Шарлотты.

— Бедный милый друг мой!

Она вздохнула и, после короткого молчания, промолвила:

— Все равно, мы ведь так любили друг друга!

— И все-таки друг другу не принадлежали.

— Может быть, так и лучше,— заметила она.

— Нет, нет! Как бы мы были счастливы!

— О, еще бы, такая любовь!

И какой силой она должна была обладать, если пережила такую долгую разлуку!

Фредерик спросил ее, как она догадалась о его любви.

— Это было однажды вечером, когда вы поцеловали мне руку между перчаткой и рукавом. Я подумала: «Да, он любит меня... любит!» Но я боялась убедиться в этом. Ваша сдержанность была так чудесна, что я наслаждалась ею, как невольной и непрестанной данью уважения.

Он ни о чем не жалел. Он был вознагражден за все былые страдания.

Когда они вернулись, г-жа Арну сняла шляпу. Лампа, поставленная на консоль, осветила ее волосы, теперь седые. Его словно ударило в грудь.

Чтобы скрыть от нее свое разочарование, он опустил на пол у ее ног и, взяв ее за руки, стал говорить ей полные нежности слова:

— Все ваше существо, всякое ваше движение приобретали для меня сверхчеловеческий смысл! Когда вы шли мимо, мое сердце поднималось, словно пыль, вслед вам. Вы были для меня как лунный луч в летнюю ночь, когда всюду благоухания, мягкие тени, белые блики, неизъяснимая прелесть, и все блаженства плоти и души заключались для меня в вашем имени, которое я повторял про себя, стараясь поцеловать его. Выше этого я ничего не мог себе представить. Я любил госпожу Арну именно такую, как она была,— с ее двумя детьми, нежную, серьезную, ослепительно прекрасную и такую добрую! Этот образ затмевал все другие. Да и мог ли я даже думать о чем-нибудь другом? Ведь в глубине моей души всегда звучала музыка вашего голоса и сиял блеск ваших глаз!

Она с восторгом принимала эту дань поклонения — поклонения женщине, которой она уже не была. Фредерик, опьяненный своими словами, начинал уже верить в то, что говорил. Г-жа Арну, сидя спиной к лампе, наклонилась к нему. Он чувствовал на лбу ласку ее дыхания, а сквозь платье смутное прикосновение ее тела. Они сжали друг другу руки. Кончик

башмачка чуть выступал из-под ее платья, и Фредерик, почти в изнеможении, сказал:

— Вид вашей ноги волнует меня.

Внезапно застыдившись, она встала. Потом, не двигаясь с места, проговорила, словно лунатик:

— В мои-то годы — он! Фредерик!.. Ни одна женщина не была так любима, как я! Нет, нет! К чему мне молодость? Не нужна она мне! Я презираю всех этих женщин, которые сюда приходят!

— О, никто сюда не приходит! — любезно возразил он.

Лицо ее просияло, и она захотела узнать, женится ли он.

Он поклялся, что нет.

— Наверно? А почему?

— Ради вас, — сказал Фредерик, сжимая ее в своих объятиях.

Она замерла, откинувшись назад, приоткрыв рот, подняв глаза. Но вдруг на ее лице выразилось отчаяние, и она оттолкнула Фредерика, а вместо ответа, о котором он умолял ее, сказала, опустив голову:

— Мне бы хотелось сделать вас счастливым.

Фредерик подумал — не пришла ли г-жа Арну с тем, чтобы отдаться ему, и в нем снова пробудилось вождление, но более неистовое, более страстное, чем прежде. А между тем он чувствовал что-то невыразимое, какое-то отвращение, как бы боязнь стать кровосмесителем. Остановило его и другое — страх, что потом ему будет противно. К тому же это было бы так неловко. И вот, из осторожности и, вместе с тем, чтобы не осквернить свой идеал, он повернулся на каблуках и стал вертеть папиросу.

Она с восхищением смотрела на него.

— Какой вы чуткий! Вы один такой! Вы один!

Пробило одиннадцать часов.

— Уже! — сказала она. — Четверть двенадцатого, я ухожу.

Она снова села; но теперь она следила за стрелкой часов, а он курил, продолжая ходить. Оба уже не знали, что сказать. Перед расставаньем бывает минута, когда любимый человек уже не с нами.

Наконец, когда стрелка перешла за двадцать пять минут двенадцатого, она медленно взялась за ленты своей шляпки.

— Прощайте, друг мой, милый друг мой! Я больше никогда не увижу вас! Мне, как женщине, теперь уже ничего не остается. Душа моя никогда не расстанется с вами. Да благословит вас небо!

Она поцеловала его в лоб, точно мать.

Но тут же она стала чего-то искать глазами и попросила у него ножницы.

Она вынула гребень; седые волосы упали ей на плечи.

Она порывистым движением отрезала длинную прядь, под самый корень.

— Сохраните ее... Прощайте!

Когда она ушла, Фредерик открыл окно. Г-жа Арну, стоя на тротуаре, знаком подозвала фиакр, проезжавший мимо. Она села. Экипаж скрылся из виду.

И это было все.

VII

В начале зимы Фредерик и Делорье беседовали у камина, еще раз примиренные, еще раз подчинившиеся тому роковому свойству своей натуры, которое заставляло их тяготеть друг к другу и друг друга любить.

Один в общих чертах рассказал о своем разрыве с г-жой Дамбрёз, которая вторым браком вышла замуж за англичанина.

Другой, не пояснив, каким образом он женился на м-ль Рокк, сообщил, что в один прекрасный день жена убежала от него с каким-то певцом. Стараясь несколько сгладить комизм своего положения, он у себя в префектуре проявил такое административное рвение, что скомпрометировал себя. Его сместили. Потом он был начальником поселений в Алжире, секретарем паши, редактором газеты, агентом по объявлениям и в конце концов поступил юрисконсультom в одно промышленное предприятие.

Что касается Фредерика, то, прожив две трети своего состояния, он вел теперь образ жизни скромного буржуа.

Затем они взаимно осведомились об общих знакомых.

Мартинон теперь сенатор.

Юссонэ занимает большое место и ведает всеми театрами, всей прессой.

Сизи, погруженный в благочестие, уже отец восьмерых детей и живет в замке своих предков.

Пеллерен, пройдя через увлечение фурьеризмом, гомеопатией, вертящимися столами, готическим искусством и гуманитарной живописью, стал фотографом, и на любой стене в Париже можно увидеть его изображение — крохотное туловище в черном фраке и огромную голову.

— А что твой друг Сенекаль?

— Исчез. Не знаю! Ну, а твоя великая страсть — г-жа Арну?

— Она, должно быть, в Риме вместе со своим сыном, лейтенантом.

— А ее муж?

— Умер в прошлом году.

— Ну?! — сказал адвокат.

Потом, ударив себя по лбу:

— Кстати, на днях я встретил в магазине милейшую Капитаншу, она вела за руку мальчика, своего приемыша. Она вдова некоего г-на Удри и страшно растолстела, прямо чудовище. Какое падение! А какая у нее была когда-то тонкая талия...

Делорье не скрыл, что в свое время удостоверился в этом, воспользовавшись ее отчаянием.

— Ты, впрочем, сам мне разрешил.

Эта откровенность восполняла то молчание, которое он хранил о своей попытке по отношению к г-же Арну. Фредерик извинил бы ее, раз она не удалась.

Хотя открытие это несколько раздосадовало его, он сделал вид, что ему смешно, а подумав о Капитанше, вспомнил про Ватназ.

Делорье никогда не встречался с нею, так же как и со многими другими, бывавшими у Арну; но он прекрасно помнил Режембара.

— Жив он еще?

— Еле дышит. Каждый вечер он непременно тащится с улицы Грамон до улицы Монмартр, обходит все кафе, слабый, сторбленный, разбитый, — настоящий призрак.

— Ну, а Компен?

Фредерик весело вскрикнул и попросил бывшего комиссара временного правительства открыть ему загадку телячьей головы.

— Это ввезено из Англии. Желая высмеять праздник, который роялисты справляют тридцатого января, независимые учредили ежегодный банкет, на котором едят телячьи головы и пьют красное вино из телячьих черепов, подымая тосты за истребление Стюартов. После термидора террористы основали такое же братство; это указывает, что глупость плодовица.

— Мне кажется, ты стал совсем равнодушен к политике?

— Такие уж годы! — сказал адвокат.

И они стали подводить итоги своей жизни.

Обоим она не удалась — и тому, кто мечтал о любви, и тому, кто мечтал о власти. В чем же была причина?

— Может быть, в недостатке прямолинейности, — сказал Фредерик.

— Что касается тебя, то, возможно, это и так. Я же, напротив, был слишком прямолинеен, не считался с множеством мелочей, которые важнее всего. Я был слишком логичен, а ты слишком чувствителен.

Потом они стали винить случайности судьбы, обстоятельства, время, в которое родились.

Фредерик заметил:

— Не о такой будущности думали мы в былые дни, еще в Сансе, когда ты собирался написать критическую историю философии, а я — большой роман из истории Ножана на средневековый сюжет, который нашел в хронике Фруассара: «Как господин Брокер де Фенестранж и епископ города Труа напали на господина Эсташа д'Амбресикур». Помнишь?

И, углубляясь в воспоминания молодости, они к каждой фразе прибавляли: «Помнишь?»

Они снова видели двор коллежа, часовню, приемную, фехтовальный зал внизу около лестницы, лица классных наставников и воспитанников, некоего Анжельмара из Версаля, который из старых сапог выкраивал себе штрипки, г-на Мирбала и его рыжие бакенбарды, учителей черчения и рисования — Варо и Сюрире, вечно ссорившихся друг с другом, и поляка, соотечественника Коперника, с его планетной системой из картона, странствующего астронома, которому вместо платы за лекцию была предложена трапеза, потом — страшную попойку во время прогулки, впервые выкуренные трубки, распределение наград, радость вакансий...

Во время вакансий 1837 года они побывали у Турчанки.

Так звали женщину, настоящее имя которой было Зораида Тюрк, и весьма многие считали ее мусульманкой, турчанкой, что усиливало поэтическую прелесть ее заведения, находившегося на берегу реки, за городским валом. Даже в самый разгар лета прохладная тень окутывала дом, который легко было узнать, — на окне рядом с горшком резеды стоял стеклянный сосуд с золотыми рыбками. Девицы в белых кофтах, нарумяненные, с длинными серьгами, когда кто-нибудь шел мимо, стучали в окна, а по вечерам, стоя на пороге, тихо напевали хриплыми голосами.

Это пагубное место бросало на округу фантастический отблеск. Говоря о нем, прибегали к иносказаниям: «знакомое вам место», «известная улица», «за мостами». Окрестные фермеры дрожали за мужей, горожанки боялись за свою женскую прислугу, потому что однажды там накрыли кухарку г-на супрефекта, и, само собой разумеется, об этом доме неотступно мечтали втайне все подростки.

И вот однажды в воскресенье, когда все были у вечерни, Фредерик и Делорье сходили завиться, нарвали цветов в саду г-жи Моро, вышли через калитку в поле и, сделав большой крюк, прошли виноградниками, вернулись в город через Рыбачий поселок и проскользнули к Турчанке, держа каждый по большому букету.

Фредерик нес свой букет, точно жених, идущий навстречу невесте. Но от жары, от страха перед неизведанным, от своего рода угрызений совести и, наконец, от самого удовольствия увидеть сразу столько женщин, которые все будут в его распоряжении, он так разволновался, что страшно побледнел и остановился, не говоря ни слова. Все смеялись, всех забавляло его смущение; он решил, что над ним издеваются, и убежал, а так как деньги были у него, то и Делорье пришлось за ним следовать.

Когда они выходили на улицу, их заметили. Произошла целая история, которая не позабылась и три года спустя.

Они с величайшими подробностями припоминали это событие, и каждый пополнял то, что позабыл другой; а когда они кончили, Фредерик сказал:

— Это лучшее, что было у нас в жизни!

— Да, пожалуй! Лучшее, что было у нас в жизни! — согласился Делорье.

«ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ»

После выхода в свет «Саламбо» у Флобера зарождается мысль о создании романа «Воспитание чувств»¹. Намеки на существование нового творческого замысла встречаются в переписке Флобера уже в первой половине 1863 года (письма Жюлю Дюплану, Теофилю Готье, Эдмону и Жюлю Гонкурам).

С начала 1864 года писатель погрузился в изучение большого количества разного рода книжных источников. Хотя, как известно, время действия романа ограничено совершенно определенными данными (сентябрь 1840 года — декабрьский государственный переворот), писатель в своих подготовительных чтениях выходил далеко за пределы указанного периода. Особое внимание Флобера привлекли труды представителей разных течений в утопическом социализме: Сен-Симона, Фурье, Прудона, Леру и других. Он поставил своей целью досконально знать всю сумму обстоятельств, сопровождавших социально-политическую борьбу в сороковые годы и в начале пятидесятых годов, штудируя прессу этого периода, в особенности газеты 1847—1848 годов. «Я утопаю в старых газетах», — сообщал Флобер племяннице Каролине (февраль 1865 года).

Романист начал писать «Воспитание чувств» в сентябре 1864 года, но необходимость тщательнейшего изучения сложной картины идеологической и политической жизни Франции чрезвычайно замедляла темп работы над романом. «Роман совершенно не двигается с места, — жалуется Флобер в письме к Жорж Санд почти через три года после начала работы. — Я погружен в чтение газет 48 года».

В марте 1866 года Флобер обращается к критику Сент-Бёву с просьбой дать ему справку о литературе по «неокатолическому движению

¹ В 1845 г. Флобер написал роман «Воспитание чувств». Это его юношеское произведение имеет сюжет, совершенно отличный от сюжета романа «Воспитание чувств» 1869 года.

1840 года». Следующие слова из этого письма к Сент-Бёву ярко характеризуют облик Флобера — неутомимого труженика литературы: «Само собой разумеется, что мне необходимо все знать и проникнуться духом времени, прежде чем взяться за работу». Вот почему он обращается к широкому кругу лиц — знакомых и незнакомых — за различного рода справками, усердно посещает одно время библиотеку палаты депутатов и вообще собирает сведения «направо и налево». Так, он просит писательницу Жорж Санд, принимавшую участие в Февральской революции 1848 года: «Набросайте на каком-нибудь клочке бумаги все, что помните о 48 годе». В ноябре 1866 года Жорж Санд неделю гостила в Круассе, и Флобер с жадностью слушал рассказы писательницы «о людях 48 года».

Правилом, от которого Флобер никогда не отступал, было: если хочешь хорошо написать — хорошо знай то, о чем пишешь. Воспроизводя различные этапы в коммерческой деятельности Жака Арну, писатель последовательно в ходе создания романа отдается изучению торговли картинками, одновременно знакомится с историей гравюры (февраль 1865 года); через год, в феврале 1866 года, он сообщает, что погрузился в изучение фабрик фарфора...

Героическая честность писателя-реалиста воодушевляет его на неутомимые разыскания, требовавшие огромной затраты сил. Вот картинка одного типичного для Флобера рабочего дня (он знакомится с производством посуды): «Вчера провел весь день с рабочими Сент-Антуанского предместья и Тронной заставы. Утром у меня был кондуктор дилижанса. Нынче отправляюсь на вокзал Иври. Вернувшись домой, читаю книги о фаянсе. Я не был ни на балу в Тюильри, ни в ратуше, слишком занят посудой». В конце января 1869 года Флобер проводит утомительную неделю в поисках сведений, по семь — девять часов не сходя с фиакра. «Я таскался, — пишет он Жорж Санд, — по похоронным бюро, по Пер-Лашезу, по долине Монморанси, по лавкам торговцев предметами культа и т. п.»

Небольшой эпизод в романе (болезнь ребенка Марии Арну) заставил романиста обратиться к медицинским книгам, посвященным крупу; целую неделю он посещает одну из больниц, наблюдая малышей, больных крупом (март 1868 года).

С необычайной щепетильностью входил Флобер в мельчайшие подробности жизни главного персонажа книги Фредерика Моро. Так, например, он забрасывает писателя Эрнеста Фейдо вопросами: какие биржевые ценности были в наибольшем спросе с мая до конца августа 1847 года? У Фредерика возникает желание принять участие в биржевой игре; он берет деньги и отправляется к биржевому маклеру, советуется с ним относительно лучшего их помещения. Так ли это обычно происходит? Он выигрывает. Но сколько и каким образом? Он все проигрывает. Как и отчего? Он просит Фейдо прислать ему эти сведения, которые должны занять в книге не более шести — семи строк.

Флобер проделывает путешествие в Фонтенбло по следам Фредерика и Розанетты (осень 1868 года). С этой поездкой Флобера связана следующая подробность, помогающая понять, какой неутомимой точности добивался писатель в процессе создания романа: обратно из Фонтенбло он предполагал вернуться в Париж по железной дороге (таким же образом могли бы вернуться в Париж и его герои), но обнаруживает, что в 1848 году железной дороги между указанными пунктами еще не суще-

ствовало. Из-за этого, как признается Флобер, ему пришлось уничтожить и вновь написать два эпизода. Он просит своего друга Жюль Дюплана прислать ему крайне необходимые сведения: каким способом передвигались в июне 1848 года из Парижа в Фонтенбло; не был ли готов какой-нибудь отрезок пути, которым уже пользовались; какие были перевозочные средства; где останавливались в Париже? (Эпизод возвращения Фредерика в Париж во время июньского восстания в главе первой третьей части романа.)

Флобер тщательно изучал обстановку июньского восстания, стараясь не погрешить ни в одной из подробностей, описываемых им. В октябре 1868 года он жалуется Э. Фейдо, что не мог получить ответа на два вопроса, с которыми он обращался ко многим людям: каковы были в июне 1848 года сторожевые посты национальной гвардии в кварталах Муфтар, Сен-Виктор и Латинском; кто занимал в Париже левый берег в ночь с 25 на 26 июня — линейные войска или национальная гвардия?..

«Воспитание чувств» потребовало от писателя огромного напряжения сил. Он сообщает в своих письмах, что за семь недель написал пятнадцать страниц (октябрь 1864 года). Или: «Вчера десять часов подряд просидел над тремя строчками — и не сделал их» (сентябрь 1866 года). В декабре 1866 года Флобер пишет Жорж Санд: «...целых два дня бьюсь над одним абзацем, и ничего у меня не выходит. Иногда мне хочется плакать!» Лейтмотивом в его переписке становятся признания, что он «выбивается из сил», что ему тяжело везти «такую тачку с камнями».

По мере продвижения в работе над романом трудности все более возрастали, они заставляли писателя приходиться в отчаяние, доводили его до глубокого физического изнурения. «Я работаю как тридцать тысяч негров... Я чувствую себя совершенно разбитым. Мне трудно стоять на ногах, и я страдаю от одышки» (декабрь 1867 года). «Мой подлый роман истощает меня до мозга костей. Я разбит и становлюсь из-за него мрачным» (октябрь 1868 года) и т. д.

Утром 23 мая 1869 года Флобер писал племяннице Каролине: «Я настолько переутомлен, что у меня едва хватает сил тебе писать. Теперь, когда роман окончен, я вижу, как устал». Но подобное сообщение не означало, однако, что работа над романом была полностью завершена: предстояло вновь вернуться к тексту произведения для скрупулезной его отделки. В одном из писем конца июня — начала июля 1869 года Флобер пишет, что надеется на скорое возвращение своего друга поэта Луи Буйле из Парижа: «...мы примемся исправлять «Воспитание чувств», фразу за фразой». Эта работа должна была, по расчетам писателя, занять по меньшей мере две недели. Как и любая крупная вещь Флобера, «Воспитание чувств» потребовало большого количества разного рода вариантов и набросков, свидетельствующих о титанически упорной работе писателя.

Уже оставив позади первую часть романа, в 1866 году Флобер обронил признание: «Ах, придется мне испытать ужасы стиля». Это и подобные ему признания не должны вводить нас в заблуждение: «Воспитание чувств» вызывало трудности не только чисто стилистического характера.

Флобер неоднократно указывает в письмах, что недоволен замыслом, который, к сожалению, поздно уже менять, и т. п. Его одолевали сомнения: способен ли вызвать интерес читателя столь слабый и пассивный

характер, каким наделен Фредерик Моро? Немалые затруднения возникли в ходе создания романа из-за необходимости как можно более органично спаять воедино частную жизнь персонажей со стремительным и бурным разворотом политических событий. Сюда следует присоединить и крайнюю сложность исторической ситуации, легшей в основу произведения, обилие различных политических течений и социальных учений и теорий, которые должны были найти свое место и свей способ художественно образного воплощения. Кроме того, следует учитывать и то немаловажное обстоятельство, что «Воспитание чувств» рождалось из-под пера Флобера как отклик на нарастающую в шестидесятые годы потребность Франции в пересмотре уроков исторического прошлого, что делало особо ответственной работу писателя над общественно-исторической линией в сюжете романа¹. Флобер очень тонко чувствовал эту неоценимую общественную потребность в обращении к урокам прошлого, указывая в письмах периода работы над романом, что реакция вырыла пропасть между Францией 1848 года и Францией нынешней, что своей книгой он хотел бы воскресить для современного ему читателя «поколение ископаемых»... Как известно, писателю не удалось воссоздать исторически правдивую картину времени во всей ее объективной полноте, донести до читателя подлинный смысл стремлений и надежд революционного народа. Автор «Воспитания чувств» стал жертвой собственного ошибочного убеждения, что ему удалось создать абсолютно объективную книгу, в которой он не «льстил», по его словам, ни реакционерам, ни демократам.

Наконец, значительную долю трудностей, вырвавшихся перед Флобером, по мере того как он продвигался все дальше в своей работе над произведением, составило его (художника) внутреннее сопротивление материалу. Через всю переписку Флобера периода второй половины шестидесятых годов проходит один устойчивый мотив: ему, писателю, противно заниматься изображением быта и нравов буржуазии. Здесь можно почувствовать духовную трагедию большого художника, который ощущал в себе присутствие буржуа, буржуа, страшшегося народа, и вместе с тем видел буржуазный миропорядок в его безнравственности, пошлости, уродливости. Флобер клянется (в который раз!), что он больше не возьмется за «буржуазный сюжет», что ему претит описание уродливой среды и мещанских нравов; он мечтает о «красивом сюжете», возвышенных ситуациях, героическом повествовании...

Таковы моменты идейно-эстетического характера, которые в совокупности своей составили предмет величайших забот и терзаний Гюстава Флобера. Заметим, кстати, что не все из огромного круга книжных источников, изученных Флобером в ходе создания романа, было действительно практически необходимо. Нередко эти предварительные разыскания приобретали самостоятельный для Флобера интерес и зна-

¹ Напомним следующее место из письма Маркса к Кугельману: «...Во Франции происходит очень интересное движение. Парижане снова начинают прямо-таки штудировать свое недавнее революционное прошлое, чтобы подготовиться к предстоящей новой революционной борьбе. Сначала происхождение империи — декабрьский государственный переворот. Последний был совершенно позабыт, подобно тому как реакции удалось в Германии совершенно вытравить воспоминания о 1848—1849 годах» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Избр. письма, 1947, стр. 217).

чение. Он часто говаривал друзьям, что для него чтение книг.— особый способ жить.

Роман «Воспитание чувств» разделил судьбу предыдущих произведений Флобера («Госпожа Бовари» и «Саламбо») Критика встретила выход в свет нового романа резко враждебными отзывами. Это прежде всего относится к литературным критикам из консервативного лагеря (Кювилье-Флери, Барбэ д'Оревильи, Сарсэ и др.).

«Дорогой, добрый мой маэстро! Ваш старый трубадур сильно охаян газетами... Меня обзывают кретином и канальей»,— писал Флобер в письме к Жорж Санд 3 декабря 1869 года. Смысл нападок на писателя можно свести к следующим моментам: роман пропагандирует равнодушие к идеалам и принципам нравственности, в нем виден лишь холодный объективизм автора. Флобера резко упрекали за грубый реализм, за различные «грубые речи» и «гнусные места» в его романе. Почти буквально в тех же выражениях, какие употреблялись по адресу «Госпожи Бовари», и о «Воспитании чувств» говорилось, что в нем можно видеть лишь пессимизм и ненависть к людям и т. п.

Критики старались различными приемами свести на нет сатирическую направленность романа Флобера, его беспощадно правдивое разоблачение социально-политической роли реакционно-буржуазного лагеря. Сатиру Флобера на правящие классы объясняли болезненной мизантропией автора, извращенным желанием его собирать всякого рода моральные уродства и грязные явления, которые, как утверждали критики, лишены глубокого социального значения, присущи лишь общественным «низам» (Кювилье-Флери, Эд. Шерер, Сен-Рене Тальяндье и др.).

Правда, критики Флобера, даже из числа откровенно враждебно расценивших «Воспитание чувств», отмечали художественные достоинства произведения, наблюдательность автора, красоты стиля. Вместе с тем резкое возражение вызывала композиция книги, ей отказывали в единстве; утверждали, что «Воспитание чувств» будто бы не есть роман, но всего лишь серия искусственно соединенных между собою рассказов, картин, эпизодов, лишенных внутренней логической связи.

Флобер был глубоко уязвлен враждебным отношением критики к его роману. «Я только спрашиваю себя, к чему печататься?»— в отчаянии пишет Флобер в одном из писем. Конечно, писатель не мог не отметить несомненный факт: буржуа привела в бешенство неотразимая сила его разоблачения. «Я знаю, что руанские буржуа злятся на меня из-за дядошки Рокка и тюильрийской сплетни. Они считают, что следовало бы воспретить опубликование подобных книжек (буквально), что я заодно с красными, что я способен разжечь революционные страсти, и так далее. Короче говоря, до настоящего времени я получил очень мало лавровых венков, и ни один лепесток розы не ранил меня» (из письма к Жорж Санд). В другом письме к писательнице Флобер подчеркивает, что его «втоптали в грязь самым невероятным образом. Люди, прочитавшие мой роман, боятся говорить о нем со мной из страха себя скомпрометировать или из жалости ко мне...» Неприкрытое отчаяние звучит в словах писателя: «...и никто, решительно никто не берется меня защищать».

На защиту Флобера встала Жорж Санд. В ее критической статье подчеркивается глубина и правдивость писателя, который изобразил «конец романтических устремлений 1840 года, разбивающихся о буржуазную действительность, мошенничества, спекуляции, обманчивые удобства буд-

ничной жизни...» Писатель Теодор де Банвиль отметил высокую познавательную ценность романа в глазах людей, принадлежащих к поколению сороковых годов. В письме к Флоберу он восхищался яркостью, с которой писатель воскресил «эту переходную эпоху с ее немощностью, с ее бессильными стремлениями». Банвиль находил, что «все это правдиво до мозга костей и выражено в бессмертных образах».

Таким образом, одно из самых глубоких, хотя и противоречивых творений Флобера не получило признания в критике его времени, за редкими исключениями.

«Воспитание чувств» встретило разноречивое к себе отношение в русской критике. «Вестник Европы» взял под защиту роман Флобера, хотя автор статьи, между прочим, и ставил вопрос: каким же образом объяснить, например, движение 1848 года, когда в романе действуют только или пошляки, или посредственности, или какие-то недоделанные характеры? И отвечал: «Нам кажется, что романист и не хотел обращаться в высшие сферы, довольствуясь типами «средними»¹. В «Отечественных записках» «Воспитание чувств» встретило резко отрицательную оценку. В рецензии сделана попытка сблизить «Воспитание чувств» с «Взбаламученным морем» Писемского. Основой для подобного сопоставления послужила мысль рецензента о том, что Флобер, как и Писемский, берет лишь отрицательное у всех партий и направлений². В статье «Русского вестника» был сделан акцент на Флобере-психологе, мастере психологического анализа. Флобер, по мнению автора статьи, даже выше Бальзака, так как он обратился к будничным явлениям, обыденно пошлым, банальным, а Бальзак впадал в романтические «крайности». Между прочим, автор статьи, помещенной в «Русском вестнике», находил черты духовного родства Флобера с Тургеневым, но явно ошибочно видел эти черты сходства в легкой снисходительной иронии, олимпийском бесстрастии, тактичном балансировании между идеализацией и сатирой³.

Первое издание романа «Воспитание чувств» было выпущено в ноябре 1869 года М. Леви. Небезинтересно отметить, что в новое издание романа (1880) Флобер внес огромное количество различного рода поправок, свидетельствующих о постоянном благородном стремлении «мастера из Круассе» совершенствовать свои произведения, хотя бы они и казались законченными.

¹ А. С-н. Французское общество в новом романе Г. Флобера («Вестник Европы», январь 1870 г., т. 1, стр. 273).

² Иностранцы беллетристы. Г. Флобер. Сентиментальное воспитание... («Отечественные записки» № 8 за 1870 г.; отдел «Новые книги», стр. 213—215).

³ Л. Нелюбов. Роман во Франции («Русский вестник», август 1870 г., т. 88, стр. 642—658).

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 6 *Диплом бакалавра* — низшая ученая степень, которая во Франции присваивается окончившим среднюю школу и получающим право поступить в высшее учебное заведение.

Стр. 13. *Дело г-жи Лафарж* — нашумевшее судебное дело по обвинению г-жи Лафарж в отравлении мужа; была приговорена к каторге (1840).

Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — французский историк, реакционный политический деятель. В описываемое время (1840 и последующие годы) фактически руководил внешней и внутренней политикой Франции. Выдвинул лозунг: «Обогащайтесь... и вы сделаетесь избирателями».

Стр. 14. *Платон* (427—347 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист; в его политических и философских взглядах нашли отражение интересы рабовладельческой аристократии.

Стр. 15. *Жуффруа* Теодор-Симон (1796—1842) — философ-идеалист, представитель психологической школы.

Кузен Виктор (1792—1867) — реакционный французский философ-идеалист, эклектик; его философию преподавали в университетах и лицеях Франции.

Ларомигьер Пьер (1756—1837) — французский философ-спиритуалист, автор известных в свое время «Уроков философии».

Мальбранш Никола́ (1638—1715) — представитель реакционно-идеалистического течения во французской философии XVII века.

Фруассар Жан (род. ок. 1337, ум. после 1404) — крупный представитель французской литературы XIV века, автор авантюрно-рыцарских романов и знаменитых мемуаров — «Хроник».

Коммин (Комин) Филипп де (1445—1509) — французский историк и политический деятель, автор «Мемуаров» о периоде правления короля Людовика XI.

Летуаль Пьер де (1546—1611) — автор книги «Мемуары Пьера де Летуаля, или «Дневник царствования Генриха III и Генриха IV».

Брантом Пьер де Бурдейль (1540—1614) — французский писатель; его перу принадлежат «Жизнеописания великих полководцев».

Стр. 16. *Вертер* — герой романа Гёте «Страдания молодого Вертера», 1775.

Рене — герой одноименной повести Шатобриана.

Лара — герой одноименной поэмы Байрона.

Лелия — героиня одноименного романа французской писательницы Жорж Санд.

Стр. 18. «...был у г-на Дамбрёза агентом по выборам...» — В период правления Луи-Филиппа правящая клика во время избирательных кампаний прибегала к услугам обширной сети агентов, которые подкупали избирателей, предоставляя им в аренду монопольные табачные лавки, стипендии в школах и т. п.

Мирабо Оноре Габриэль Рикетти, граф (1749—1791) — деятель французской буржуазной революции конца XVIII века; после низложения монархии (1792) был изобличен в предательстве интересов революции (Делорье имеет в виду бурную молодость Мирабо).

Стр. 19. *Пэр Франции* — звание представителей высшего дворянства, уничтоженное во Франции революцией 1789 г., было временно восстановлено в 1814—1848 гг. (Палата пэров).

Левый центр — при Луи-Филиппе одна из двух фракций консервативной партии, разделившейся в 1836 г.; лидер левого центра Тьер провозглашал принцип: «Король царствует, но не управляет».

Стр. 24. *Сен-Жюст* Луи Антуан (1767—1794) — выдающийся деятель французской революции 1789 г., один из руководителей якобинской революционно-демократической диктатуры.

Стр. 25. «*Ревию де Дё Монд*» — журнал, основанный в 1820 г.; в нем сотрудничали крупнейшие французские писатели: Гюго, Бальзак, Мюссе, Жорж Санд, Дюма и др.

«*Коллеж де Франс*» — одно из старейших французских высших учебных заведений, основанное в Париже в 1530 г.; среди его лекторов были известные общественные деятели, литераторы и ученые.

Стр. 26. *Петиции о реформе* — имеется в виду избирательная реформа, с требованием которой выступала оппозиция.

Перепись Юмана — министра финансов в кабинете Гизо; была объявлена 14 июня 1838 г. с целью увеличения налогов, сопровождалась в ряде городов волнениями, доходившими иногда до кровавых столкновений.

Робер Макэр — тип ловкого пройдохи из популярной мелодрамы «Постоялый двор в Андре»; в этой роли прославился известный актер Фредерик-Леметр.

Стр. 27. *Тайные общества*. — В период правления Луи-Филиппа существовали: «Общество друзей народа» (основано в 1830 г.), куда входили Распайль, Г. Кавеньяк, Бланки, Кабэ, Делеклюз, Марраст; «Общество прав человека» (основано в 1833 г.) и др.

Соперник Цахариев и Рудорфов. — Цахарие и Рудорф — немецкие правоведы.

Долой Притчарда! — У Флобера ошибочно в данном случае упоминается Притчард, дело которого относится к 1844 году. Французский адмирал Дюпети Туар занял Маркизские острова, и королева Танти признала протекторат Франции. Английский консул и коммерсант Притчард поднял туземцев на восстание против французов. Он был арестован, англичане потребовали его освобождения и возмещения убытков. Правительство Гизо удовлетворило эти требования.

Стр. 28. *Беранже* Пьер Жан (1780—1857) — популярнейший французский поэт-демократ. Здесь имеется в виду сдержанное отношение его к Июльской монархии. Беранже хотя и доброжелательно отнесся к провозглашению Луи-Филиппа королем, однако держался в стороне от офи-

пиальных кругов, смотря на Июльскую монархию, как на переходную ступень к республике.

Лаффит Жак (1767—1844) — финансист, глава Французского банка во время Империи и Реставрации. Участвовал в Июльской революции, был в оппозиции к Июльской монархии после того, как покинул министерство (1831).

Шатобриан (1768—1848) — реакционный романтик, неизменно поддерживавший легитимизм. В период Июльской монархии из тактических соображений заигрывал с республиканцами и с сочувствием говорил о демократии.

Стр. 31. *Ламартин* Альфонс де (1791—1869) — французский поэт, историк и политический деятель. Был связан с легитимистами (сторонниками монархии Бурбонов), после 1830 г. пришел к идеям буржуазного либерализма. Во время революции 1848 г. вел борьбу с требованиями рабочих масс и пропагандировал лицемерную идею примирения классов в буржуазной республике.

Стр. 32. *Корреджо* (наст. имя — Антонио Аллегри, род. ок. 1490, ум. в 1534) — выдающийся итальянский живописец; для него характерны легкие, жизнерадостные, чувственные образы, сочность красок, свободное истолкование религиозных и мифологических сюжетов.

Мурильо Бартоломе Эстебан (1617—1682) — известный испанский художник; писал картины на религиозные сюжеты, широко вводя в них жанровые мотивы и беря в качестве моделей народные типы. Создал знаменитую серию картин, изображающих уличную детвору («Мальчик с собакой», «Продавщица фруктов» и др.).

Стр. 33. *Микеланджело* Буонарротти (1475—1564) — великий итальянский живописец, скульптор, архитектор и поэт, один из крупнейших представителей художественной культуры эпохи Возрождения. Среди творений Микеланджело особенно знамениты колоссальная статуя Давида, роспись потолка Сикстинской капеллы, гробницы Медичи с аллегорическими фигурами «Утро», «Вечер», «День» и «Ночь», статуя Моисея и др.

Стр. 34. *Керубини* Луиджи (1760—1842) — выдающийся композитор, по происхождению итальянец, сыграл значительную роль в развитии французской музыки; написал 14 опер на французские тексты, стал одним из виднейших представителей музыкального искусства эпохи французской буржуазной революции конца XVIII века.

В жанре Буше — Буше Франсуа (1703—1770) — известный французский живописец и гравер; его излюбленные сюжеты — любовные мотивы, заимствованные из античной мифологии.

Стр. 35. *Калло* Жак (ок. 1592—1635) — французский гравер и рисовальщик; для его произведений характерен интерес к массовым сценам, к жизни общественных низов; в то же время у Калло наблюдаются черты фантастики и гротеска.

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669) — великий голландский живописец и график, один из крупнейших художников-реалистов. Для полотен Рембрандта характерны необычайная жизненность и эмоциональность, глубокая человечность образов, тематическая широта. Им созданы многочисленные портреты, композиции «Возвращение блудного сына», «Ночной дозор», «Снятие со креста», «Ассур, Аман и Эсфирь» и др.

Гойя Франсиско Хосе де (1746—1828) — выдающийся испанский живописец и гравер; выражал в своем творчестве передовые идеи эпохи, чутко откликался на политические события современности. Среди его произведений «Майское народное празднество в Мадриде», «Борьба на Пуэртадель-Соль», «Расстрел французскими солдатами испанских повстанцев», графическая серия «Бедствия войны».

Винкельман Иоганн Иоахим (1717—1768) — немецкий историк античного искусства, автор трудов по эстетике, оказавших влияние на форми-

рование французского классицизма XVIII века. Наиболее известна его «История искусства древности» (1764).

Стр. 36. «*Националь*» — газета, основанная Тьером в январе 1830 года. Играла значительную роль во время Июльской революции, в годы Июльской монархии была органом буржуазной республиканской оппозиции.

Стр. 46. *Россини* Джоакино Антонио (1792—1868) — великий итальянский композитор, автор известных опер: «Севильский цирюльник», «Сорока-воровка», «Вильгельм Телль», «Семирамида» и многих других.

Стр. 47. *Герцог Немурский* — сын Луи-Филиппа; назначен был регентом на случай смерти короля.

Г-н де Жуанвиль — принц Жуанвильский, третий сын Луи-Филиппа, морской офицер, имел некоторую популярность в либерально-буржуазных кругах.

Стр. 49. *Альфред де Дрё* (1808—1860) — французский художник, создававший картины на темы из светской жизни.

Прадье Жан Жак (1790 или 1792 — 1852) — известный французский скульптор.

Стр. 51. *Сентябрьские законы* дали министру юстиции возможность создавать специальные судебные органы, усилили права цензуры; были введены после покушения Фиески на Луи-Филиппа (1835).

Лорд Гизо — здесь имеется в виду англофильство Гизо, за что его упрекала оппозиция.

Стр. 53. *...вопрос о рейнской границе* — вопрос о возвращении левого берега Рейна, отданного по мирному трактату в 1815 г., поднимался во Франции после революции 1830 г., когда республиканцы высказывались за войну во имя возвращения левого берега Рейна, и затем в 1840 году.

Стр. 65. *Понселе* (1790—1843) — известный французский правовед, профессор римского права.

Стр. 66. *Александр Дюма* (Дюма-отец, 1803—1870) — популярный французский писатель, известен как драматург и автор авантюрно-исторических романов («Три мушкетера» и др.).

Стр. 78. *...обвинял камарилью в том, что она теряет в Алжире миллионы.* — Имеется в виду война в Алжире, которая стоила Франции многие миллионы франков.

Стр. 85. «*Атала*» — повесть французского писателя-романтика Шато-бриана.

«*Сен-Мар*» — роман французского писателя Альфреда де Виньи (1826).

«*Осенние листья*» — сборник стихотворений Виктора Гюго (1831).

Стр. 93. «*Век*» — оппозиционная газета, отстаивавшая необходимость избирательной реформы.

«*Шаривари*» — оппозиционный сатирический журнал, основанный Шарлем Филиппом.

Стр. 99. *Камилл Демулен* (1760—1794) — политический деятель и журналист времен французской буржуазной революции конца XVIII века, по профессии адвокат.

Стр. 119. «*Независимое обозрение*» — демократический журнал начала сороковых годов; в нем сотрудничали Пьер Леру, Жорж Санд.

«*Общественный договор*» — трактат выдающегося французского просветителя Жан Жака Руссо (1762).

Мабли Габриэль Бонно де (1709—1785) — аббат, французский социально-политический мыслитель, подвергал критике принципы частной собственности, развивал идеи утопического коммунизма.

Морелли (биографические сведения о нем отсутствуют) — выдающийся французский философ XVIII века, выступал с решительным требованием уничтожения частной собственности. В поэме «Базилиада» и в своем основном труде «Кодекс природы, или Истинный дух ее законов» нарисовал кар-

тину коммунистического строя, требовал установления общественной собственности, ликвидации классовых различий, неравенства и эксплуатации.

Фурье Шарль (1772—1837) и *Сен-Симон Анри Клод* (1760—1825) — великие французские социалисты-утописты; социализм Фурье, Сен-Симона и английского социалиста-утописта Р. Оуэна послужил одним из теоретических источников научного коммунизма.

Конт Огюст (1798—1857) — французский реакционный философ и социолог, родоначальник реакционной философии позитивизма.

Кабэ Этьен (1788—1856) — представитель французского утопического коммунизма, автор социально-философского романа «Путешествие в Икарию» (1840) о коммунистическом обществе будущего.

Блан Луи (1811—1882) — французский утопический социалист, историк; выступил с позиций соглашательства с буржуазией, оппортунизма в вопросах классовый борьбы (луиблановщина).

Лакедемония (Спарта) — аристократическое рабовладельческое государство в древней Греции, расположенное на юге Пелопоннеса.

Стр. 120. *...заговорил об убийствах в Бюзансе и о продовольственном кризисе.* — Имеется в виду голод зимою 1846—1847 гг., вызванный недостатком картофеля в результате картофельной болезни; на почве голода были волнения и правительственные репрессии.

Мальтус Томас Роберт (1766—1834) — английский священник, реакционный экономист, апологет капитализма, проповедник человеконенавистнической теории народонаселения (мальтузианства), объяснявшей бедность трудящихся при капитализме не капиталистической эксплуатацией, а действительным неустрашимых законов природы; единственное средство уменьшения нищеты видел в сокращении численности населения.

Стр. 121. *Испанские браки.* — Луи-Филипп следовал традиционной французской политике, стремившейся связать Францию и Испанию браками членов царствующих домов; Англия противодействовала так называемым испанским бракам.

Рошфоровская растрата. — Рошфор, владелец складов и мастерских, работавших на интендантство, был изобличен в растрате, в которой оказалось замешано и морское министерство. Дело Рошфора, окончившего жизнь самоубийством, дало повод оппозиции выступить против правительства.

Делакруа Эжен (1798—1863) — знаменитый французский живописец, создатель картин: «Резня на Хиосе», «Свобода на баррикадах», «Львиная охота в Марокко» и других, а также портретов Шопена, Жорж Санд, пейзажей, натюрмортов, работ в области монументальной живописи.

Гро Антуан Жан (1771—1835) — французский живописец, известен как автор картин на батальные темы; ему принадлежат картины «Битва при Абукире», «Битва при Эйлау», «Взятие Мадрида» и др.

Стр. 122. *Он тревожился за Барбеса...* — Барбес Арман (1809—1870) — французский мелкобуржуазный революционер-демократ, член тайных обществ. После провала восстания (1839), подготовленного «Обществом времен года», был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Освобожден из тюрьмы Февральской революцией 1848 года.

Лافайет Мари Жозеф Поль (1757—1834) — деятель французской буржуазной революции конца XVIII в. и революции 1830 года.

Стр. 130. *Тиццан Вечеллио* (род. в 70-х годах XV в., ум. в 1576 г.) — великий итальянский живописец эпохи Возрождения, глава венецианской школы живописи; им созданы полотна: «Мадонна с младенцем и четырьмя святыми», «Динарий кесаря», портреты, произведения на мифологические темы и др.

Стр. 130. *Веронезе Паоло* (1528—1588) — знаменитый итальянский художник венецианской школы, один из крупнейших мастеров монумент-

тально-декоративной живописи. Его кисти принадлежат «Мадонна с семейством Куччина», «Несение креста», «Нахождение Моисея» и др.

Стр. 152. *Венсан де Поль* (1576—1660) — французский священник, основатель ордена «Сестер милосердия»; канонизирован католической церковью.

Брут Марк Юний (85—42 до н. э.) — политический деятель в древнем Риме, отстаивал принципы республики, был инициатором заговора против Цезаря и принимал участие в его убийстве.

Стр. 155. *Ликург* — легендарный законодатель древней Спарты, с именем которого спартанцы связывали установление древних законов и обычаев.

Отец Анфантен — Анфантен Бартеlemi Проспер (1796—1864) — французский социалист-утопист, последователь Сен-Симона, развивал религиозную сторону его учения, затем перешел к пропаганде идей буржуазного промышленного прогресса.

Пьер Леру (1797—1871) — французский мелкобуржуазный социалист-утопист.

Стр. 174. *Мюссе* Альфред де (1810—1857) — французский писатель-романтик; автор цикла стихов «Ночи», романа «Исповедь сына века» и других произведений.

...стал превозносить знаменитые литературные типы — *Федру*, *Ромео*, *де Грийё*. — *Федра* — героиня одноименной трагедии Ж. Расина (1677); *Ромео* — герой трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» (написана в 1594—1595 гг., издана в 1597 г.); *де Грийё* — герой романа аббата Прево «Манон Леско» (1731).

Мицкевич Адам (1798—1855) — великий польский поэт; в начале 40-х годов в Париже, в Коллеж де Франс, читал лекции по славянским литературам; выступал как деятель польского освободительного движения. Правительство Луи-Филиппа лишило его кафедры.

Местр Жозеф де (1754—1821) — французский реакционный политический деятель и писатель, защитник светской власти папы, автор книг «О папе» и «Вечера в Санкт-Петербурге».

Стр. 184. *Сенвиль* — актер театра «Пале-Рояль».

Стр. 189. *Кавеньяк* Годфруа (1801—1845) — французский политический деятель и публицист, был одним из руководителей тайного «Общества друзей народа», принимал участие в республиканских восстаниях 1832 и 1834 гг., неоднократно подвергался преследованиям.

Стр. 192. «*Парижские тайны*» — социальный роман Эжена Сю (1842—1843).

Стр. 202. *Тьер* Луи Адольф (1797—1877) — французский буржуазный историк и политический деятель, поддерживал после революции 1830 г. Луи-Филиппа. Палач Парижской Коммуны.

Дюлор (1755—1835) — автор «Исторических очерков об эпохе Революции».

Барант (1782—1866) — автор «Истории графов Бургундских».

Шалье — глава лионских революционеров в 1793 г.; во время контрреволюционного восстания жирондистов и роялистов был обвинен в измене Конвенту и казнен.

«*Общество семейств*» — тайное общество, организованное в 1835—1836 гг. Луи Огюстом Бланки, одним из наиболее видных представителей утопического коммунизма во Франции.

...в мае 1839 года он был в числе сражавшихся... — «Общество времен года», организованное Бланки в 1838 г., сделало попытку 12 мая 1839 г. поднять в Париже восстание. Заговорщики не имели необходимой опоры в массах французского рабочего класса, восстание было подавлено; Бланки, осужденный на смертную казнь, замененную пожизненной каторгой, смог вернуться к политической деятельности только после Февральской революции 1848 года.

Стр. 203. *Алибо* (1810—1836) — стрелял в Луи-Филиппа в 1836 г., был казнен.

Стр. 207. *Граф д'Артуа* (1757—1836) — брат казенного короля Людовика XVI, глава контрреволюционной эмиграции во время революции 1789—1794 годов. Французский король Карл X в период Реставрации (с 1824 г.), проводил крайне реакционную политику, был свергнут Июльской революцией в 1830 году.

Стр. 228. *«Басни» Лашамбоди* — Пьер Лашамбоди (1806—1872) — французский народный поэт-баснописец, был сторонником сен-симонизма, во время революции 1848 г. сблизился с бланкистами. Пользовались большой популярностью его «Народные басни», в которых он показал нищету и бесправие народных масс, их протест против угнетения.

...*Пьемонт, Неаполь, Тоскана...* — Сенекаль имеет здесь в виду народные волнения, охватившие в начале 1848 г. различные королевства Италии и вынудившие правителей Пьемонта и Неаполя пойти на уступки либерального характера.

Стр. 229. *Восточный вопрос остается открытым.* — Здесь имеется в виду соглашение о проливах (1841), по которому Турция имела право запереть военным кораблям всех наций вход в Дарданеллы и Босфор.

Посыпались жалобы на биржевиков... — Идет речь о биржевом ажиотаже в связи со строительством первых железнодорожных линий.

Процесс Тест — Кюбьера. — Тест, председатель кассационной палаты, был осужден в 1847 г. за получение крупной взятки. Генерал Кюбьер был осужден также как соучастник.

Герцогиня де Прален — была убита в августе 1847 года. В убийстве был обвинен ее муж, герцог Шуазель, который накануне суда покончил с собой в тюрьме.

Стр. 230. *Папа Пий Девятый* — папа Римский в 1846—1878 гг.; своими зангряваниями с либеральными кругами снискал некоторую популярность; впоследствии один из вдохновителей европейской политической реакции.

Стр. 231. *«Фигляр из ратуши».* — Имеется в виду карикатура на короля Луи-Филиппа, которая изображала его фокусником, жонглирующим тремя мускатными орехами: один назывался Июлем, другой — Революцией, третий — Свободой.

Друг председателя Дюмурье. — В 1793 г. Луи-Филипп (в то время герцог Шартрский) служил в войсках генерала Дюмурье, заговорщика и изменника, перебежавшего к врагам Французской республики.

«Нельская башня» — пьеса французского писателя А. Дюма-отца (1832).

Стр. 238. *Восстание в Палермо.* — 12 января 1848 г. в Палермо разразилось народное восстание; восставшие требовали независимости Сицилии и провозглашения конституции.

Банкет 12-го округа — банкет в 12-м округе Парижа, организованный либеральной оппозицией в январе 1848 г. и запрещенный властями.

Стр. 241. *Одилон Барро* (1791—1873) — французский буржуазный политический деятель. В 30—40-х годах возглавлял либеральную оппозицию, действовавшую в интересах промышленной буржуазии.

Стр. 246. *«Жирондисты»* — патриотическая песенка в драме А. Дюма и О. Макэ «Кавалер де Мезон-Руж». Некоторые строфы песни были видоизменены революционными поэтами и пользовались большим успехом у народа.

Стр. 253. *Герцогиня Орлеанская* — мать графа Парижского; в 1848 г. пыталась провозгласить его королем, а себя регентшей.

Стр. 254. *Дюнае* — капитан национальной гвардии, возглавивший первый отряд восставших, проникших во двор королевского дворца 24 февраля 1848 года.

Стр. 255. *Ледрю-Роллен* Александр Огюст (1808—1874) — французский политический деятель, мелкобуржуазный республиканец. После Фев-

ральской революции 1848 г. был министром внутренних дел, принимал участие в подавлении июньского восстания парижских пролетариев; после разгрома восстания был выведен из правительства; в 1849 г., после неудачного уличного выступления мелкобуржуазных демократов, эмигрировал в Англию.

Стр. 256. *...люди Коссидьера с их саблями и шарфами пугали ее.*— Коссидьер Марк (1808—1861) — французский политический деятель, республиканец, участник Лионского восстания 1834 года. После победы Февральской революции занял пост префекта полиции Парижа. Полицейские Коссидьера носили голубые блузы с красными шарфами. После июньского восстания Коссидьер эмигрировал в Англию.

Стр. 257. *Дюпон де л'Эр* — адвокат; до Февральской революции был в рядах либеральной оппозиции, выступавшей против господства финансовой аристократии при Луи-Филиппе. В 1848 г. — председатель временно-го правительства.

Альбер (настоящая фамилия — Мартен) Александр (1815 — 1895) — французский социалист, рабочий. В 1848 г. вместе с Луи Бланом возглавлял «правительственную комиссию по труду» (Люксембургскую комиссию). Принимал участие в революционном выступлении пролетариата 15 мая 1848 г., за что был приговорен к тюремному заключению, амнистирован в 1859 году

Разером замков Нейи и Сюрен. — Замок в Нейи — резиденция Луи-Филиппа, Сюрен — замок банкира Ротшильда.

Стр. 263. *Он был из числа тех, которые 25 февраля требовали немедленной организации труда.* — В этот день были выдвинуты требования, обращенные к временному правительству, о праве на обеспеченный труд, о минимуме заработка для рабочего, об обеспечении инвалидов труда.

Стр. 264. *...они сжигают перед Пантеоном номер «Национального собрания».* — Речь идет о реакционной газете, враждебной временному правительству и редактировавшейся бывшими деятелями Июльской монархии.

Стр. 273. *Когда народ ворвался в палату.* — 15 мая 1848 г. пролетарские массы пытались добиться роспуска Национального учредительного собрания и создания нового правительства, то есть повернуть ход развития революции в интересах трудящихся; пролетарское выступление 15 мая было подавлено, а вожди его брошены в тюрьму.

Стр. 274. *Национальные мастерские* — общественные работы для безработных во Франции, были созданы декретом от 25 февраля 1848 года. К середине июня в национальных мастерских в Париже насчитывалось свыше 117 тысяч человек, которые были заняты главным образом на непроизводительных земляных работах. Реакция носилась с планом использовать создание национальных мастерских для борьбы с революционным движением народа. Этот план не осуществился. 22 июня правительство дало распоряжение зачислить неженатых молодых рабочих в армию, а остальных рабочих отправить в провинцию, на земляные работы. Пролетарии ответили на указ правительства героическим июньским восстанием.

Стр. 277. *Да здравствует Наполеон!* — После Февральской революции Луи-Наполеон пытался вернуться во Францию. Сторонники Наполеона старались сделать популярным его имя, привлечь к нему симпатии широких слоев населения.

Долой Мари! — Член временного правительства Мари поддерживал проект закона против собраний.

Консидеран Виктор (1808—1893) — французский социалист-утопист, ученик Фурье; добивался мирного преобразования общества, стремился к предотвращению революционного взрыва, верил в постепенное смягчение классовых противоречий, противоречий между трудом и капиталом.

Ламеннэ Фелиситэ (1782—1854) — французский аббат, публицист, один из идеологов христианского социализма.

Стр. 291. *Бреа* — генерал, участвовавший в подавлении июньского восстания 1848 года. Убит инсургентами 25 июня.

Негрие — генерал; убит 25 июня 1848 года.

Депутат Шарбонель — убит 25 июня 1848 года.

Архиепископ Парижский Аффр (1793—1848) — был убит во время июньских дней.

Стр. 301. ...он даже решил изобразить «г-на Прюдона на баррикаде»...— Прюдом — сатирический образ буржуа, созданный Анри Монье («Народные сценки, нарисованные пером»). Во времена Июльской монархии распространялось множество рисунков, изображавших различные моменты жизни г-на Прюдона.

Ламорисьер (1806—1865) — генерал, буржуазный республиканец; принимал участие в подавлении июньского восстания.

Кавеньяк Луи-Эжен (1802—1857) — генерал, руководивший жестоким подавлением июньского восстания парижского пролетариата.

Стр. 315. *Интимное отделение улицы Пуатье* — место сборов реакционной группы монархистов в 1848—1851 годах.

Хватит с нас лиры! — возглас из рядов пролетарской демонстрации (15 мая 1848 г.) по адресу Ламартина, который пытался увещевать инсургентов.

Шангарнье (1793—1877) — генерал, орлеанист; участвовал в подавлении июньского восстания.

Стр. 319. *Бель-Ильская каторга*.— Многие июньские повстанцы были заключены в крепость на острове Бель-Иль.

Стр. 338. *Граф Шамбор* (1820—1883) — внук Людовика XVIII, легитимистский претендент на французский престол под именем Генриха V

Стр. 345. ...они убивают нашу республику.— Намек на подготовку бонапартистами государственного переворота.

...ограничили избирательное право...— По избирательному закону 1850 г. избирателем мог быть плательщик налогов, сохраняющ;й постоянное местожительство в течение трех лет.

...отдали школы в руки священников...— По закону 1850 г. учителя начальных школ назначались муниципальными советами, находившимися под влиянием духовенства.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- Стр. 96—97 «Воспитание чувств». Художник Н. Кузьмин. 1947.
- Стр. 128. Баррикады (Июльские дни 1830 года). Художник В. Адам.
- Стр. 129. «Этого можно отпустить на свободу, он больше не опасен». (Карикатура, характеризующая жестокость Луи-Филиппа.) Из журнала «Карикатур» 11 сентября 1834 г. Художник О. Домье.
- Стр. 224 «Да здравствует реформа! Долой Гизо!» (Народ впервые вышел на улицу 22 февраля 1848 г., требуя отставки правительства Гизо.) Из серии «Летопись французской революции. 1848 г.» Художники Ж. Б. Арну и В. Адам.
- Стр. 225. «К оружию! Нас предали!» (Обстрел уличной демонстрации 23 февраля 1848 г.) Из серии «Летопись французской революции. 1848 г.» Художники Ж. Б. Арну и В. Адам.
- Стр. 256. Бой на площади Пале-Рояль 24 февраля 1848 г. Из серии «Летопись французской революции. 1848 г.» Художники Ж. Б. Арну и В. Адам.
- Стр. 257. «Последний совет бывших министров». (Министры в страхе убегают при виде Республики в образе женщины) Из журнала «Шаривари» 9 марта 1848 г. Художник О. Домье.
- Стр. 360. «Воспитание чувств». Автограф рукописи.

СОДЕРЖАНИЕ

Воспитание чувств. <i>Перев. А. Федорова</i>	5
«Воспитание чувств». <i>А. Иващенко</i>	372
Примечания	378
Перечень иллюстраций	387

ГЮСТАВ ФЛОБЕР.
Собрание сочинений
в пяти томах. Том 3.

Оформление художника
Е. И. Когана.

Технический редактор А. Ефимова.

А 05735. Подп. к печати 12/V 1956 г. Тираж 250 000 экз.
Изд. № 444. Заказ 343. Формат бум. 60×92¹/₁₆. Бум. л. 12,125. Печ. л. 24,25.
+ 4 вкл. (0,5 п. л.). Уч.-изд. л. 25,76.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.

